ISSN 0027–8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№ 4 2021

60 лет полёту в Космос
ЮРИЯ ГАГАРИНА

Приехали!

Окончен часовой шаг в космическую эру, показавший всему миру, на что способна Россия после того, как победила в самой главной и страшной войне за всю историю человечества.

Победа и Космос — две главные вехи XX века, которыми мы гордимся и в веке XXI. От первой вехи нас отделяют 76 лет, от второй — 60, и сегодня, в апреле 2021 года мы празднуем славный юбилей первого полёта.

Солнце гагаринской улыбки никогда не погаснет!

Наш современник 2021 №4

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Содержание

Евгений КИСЕЛЁВ
Поздравление с Днём геолога 3

Проза

Георгий БЛОМ
Лик Христа на валунах. *Рассказ* 13
Николай ВАГИН
Воспоминание буровика. *Рассказ* 21
Ким ВЫСОЦКИЙ
Рыжий Бес. *Рассказ* 32
Николай ГУДОШНИКОВ
Глухарь. *Рассказ* 35
Александр КУРТ
Живой мамонт. *Рассказ* 42
Владимир ЛИМ
Светит месяц. *Рассказ* 46
Александр КРЕМЕНЕЦКИЙ
Одинокий пингвин. *Рассказы* 54
Ирина ОСНАЧ
Вездеход на улице Звёздной. *Повесть* 69
Владимир ТАБАЧКОВ
Полевые работы. *Рассказ* 90
Виталий ФЕДОРЕЕВ
Случайный попутчик. *Рассказ* 94
Алексей ШАБОЛОВСКИЙ
Крюк. *Рассказ* 100
Виктор ЛИХОНОСОВ
Ветхая тишина у гирла. *Рассказ* 109
Владимир КРУПИН
Громкая читка. *Повесть* 119

Поэзия

Евгений ЕВТУШЕНКО
Мои товарищи — геологи... 4
Станислав КУНЯЕВ
Прощание с молодостью 10
Леонид АГЕЕВ
В земле *(с предисловием К. Шакаряна)* 16
Ярослав ВАСИЛЬЕВ
Цвети, мой северный цветок 24
Игорь ГРАМБЕРГ
Мы из земли, из камня, из болота... 28
Валерий РОМАНОВ
Карабин на шее, за спиной рюкзак 37
Игорь ШПУРОВ
Пожар моего бытия 51

© “Наш современник”, 2021

МОСКВА

16+

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
заместитель главного редактора, зав. отделом критики —
(495) 625-01-81
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —
редактор отдела критики —
(495) 621-48-71

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Альфред ФАДЕИЧЕВ
Кладовые земли 66
Владимир НЕЧАЕВ
На перегонах России 87
Сергей РОМАНОВ
Люблю я то, что дышит светом 92
Никита БРАГИН
Здесь видна изнанка мира 96
Вячеслав КУПРИЯНОВ
Проект человека 105
Евгений СЕМИЧЕВ
На летучем подвесном мосту... 115
Евгений САЛОВ
Крик над Чернобылем..... 160
Сергей АРУТЮНОВ
Страну мою верните!.. 165

Очерк и публицистика

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ
Есть такая профессия – геолог.... 168
Владимир НИКОНОВ
Рассказы из индигирского рюкзака 176
Леонид ПАВЛОВ
“Поющие пески” 204
Игорь ШУМЕЙКО
“Нужен ли России её Дальний Восток?” 208

Критика

Виктор ЛИХОНОСОВ
А его уже нет... 214
Александр СМЫШЛЯЕВ
Время полярных бродяг 219
Алексей КОЛОМИЕЦ
Гимн рабочему человеку 245
Вагит АЛЕКПЕРОВ
Поздравление с Днём геолога 250
Валерий ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ
Как и почему уничтожают русский театр 252
Андрей ТИМОФЕЕВ
Преодоление хаоса..... 263
Максим ЕРШОВ
Своевременный писатель 269
Сергей АРУТЮНОВ
Лицо со шрамом 274
Руслан СЕМЯШКИН
Великое служение литературе 276

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**
Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru,** эл. почта**: n-sovrem@yandex.ru**
Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".
Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова
Подписано в печать 31.03.2021. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №1937-2021. Тираж 3900 экз.
Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

Уважаемые геологи – работники и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём геолога! 55 лет назад страна по достоинству оценила наш труд, утвердив государственный статус Дня геолога!

Геологи внесли уникальный вклад в создание российской минерально-сырьевой базы, укрепление отечественного промышленного, энергетического потенциала, способствовали освоению огромных территорий. Сегодня благодаря самоотверженному труду геологов открываются и осваиваются новые месторождения на суше и в акваториях морей, увеличиваются запасы полезных ископаемых, стабильно работают промышленные предприятия.

Быть геологом – это большая честь и большая ответственность. Уверен, что ваши знания, опыт и высокий профессионализм и в дальнейшем будут продвигать геологическую отрасль вперёд и укреплять экономику России.

Коллеги, друзья! В день профессионального праздника примите искренние слова благодарности за ваш нелёгкий труд. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким, а также оптимизма в жизни и радости новых открытий!

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации –
руководитель Федерального агентства по недропользованию
Е. А. Киселёв

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

МОИ ТОВАРИЩИ – ГЕОЛОГИ...

Эта стихотворная страничка возникла у раннего Евтушенко не случайно. Геологами были не только его "товарищи", но и отец с матерью. Как пишет биограф поэта Илья Фаликов, ***"родители были ровесниками, им было по двадцать два, когда у них появился сын. Они работали как раз в тех местах, где потом произросла Братская ГЭС. Сохранилась фотография, датированная 1932 годом. Зина спрыгивает с коня, Александр придерживает стремя, рядом горит костёр*** *<...> Родители Жени здесь оказались не случайно. Летом 1932 года студентка 4-го курса Московского геологоразведочного института Зинаида Евтушенко, работавшая в экспедиции в бассейне Ангары, приехала к своей матери Марии Иосифовне, проживающей в Нижнеудинске, и родила первенца".*

А в 1948 году шестнадцатилетний отрок уезжает на работу в геологоразведочную партию, где начальником является уже известный геолог, его отец Александр Гангнус. Воспоминания об этой кочевой жизни в казахской степи стали для Евтушенко основой первых поэтических сборников – "Третий снег", "Шоссе энтузиастов", "Обещание".

* * *

Г. Мазурину

Я на сырой земле лежу
в обнимочку с лопатою.
Во рту травинку я держу,
травинку кисловатую.
Такой проклятый грунт копать —
лопата поломается,
и очень хочется мне спать,
а спать не полагается.

“Что,
не стоится на ногах?
Взгляните на голубчика!” —
хохочет девка в сапогах
и в маечке голубенькой.
Заводит песню, на беду
певучую-певучую:
“Когда я милого найду,
уж я его помучаю”.
Смеются все:
“Ну и змея!
Ну, Анька,
и сморозила!”
И знаю разве только я
да звёзды и смородина,
как, в лес ночной со мной входя,
в смородинники пряные,
траву
руками
разводя,
идет она, что пьяная.
Как, неумела и слаба,
роняя руки смуглые,
мне говорит она слова
красивые и смутные.

19 декабря 1956

В этих первых “геологических” стихах поэта уже были обозначены главные особенности его таланта – лирическая естественность, цепкое внимание к “подробностям бытия”, способность объять чувствами внешний мир, захватывающая воля к жизни, – словом, всё, что особенно дорого геологам, романтикам, землепроходцам...

* * *

Я у рудничной чайной,
у косого плетня,
молодой и отчаянный,
расседлаю коня.
О железную скобку
сапоги оботру,
закажу себе стопку
и достану махру.
Два степенных казаха
прилагают к устам
с уважением сахар,
будто горный хрусталь.
Брючки географини
все — репей на репье.
Орден “Мать-героиня”
у цыганки в тряпье.
И, невзрачный, потешный,
странноватый на вид,
старикашка подсевший
мне бессвязно твердит,
как в парах самогонных
в синеватом дыму
золотой самородок
являлся ему,

как, раскрыв свою сумку,
после сотой версты
самородком он стукнул
в кабаке о весы,
как шалавых девчонок
за собою водил
и в портянках парчовых
по Иркутску ходил...

Удивительно то, что он сам, как персонажи его стихов тех лет – "золотоискатели", "авантюристы", "бессеребреники", "рисковые люди", – которые своевольно и радостно "брали" его в свою компанию"... Удивительно и то, что в годы юности он хотя и смутно, но прозревал своё будущее:

В старой рудничной чайной
городским хвастуном,
молодой и отчаянный,
я сижу за столом.
Пью на зависть любому,
и блестят сапоги.
Гармонисту слепому
я кричу: "Сыпани!"
Горячо мне и зыбко,
и беда нипочем,
а буфетчица Зинка
всё поводит плечом.
Всё, что было, истратив,
как подстреленный влёт,
плачет старый старатель
оттого, что он врёт.
Может, тоже заплачу
и на стол упаду,
всё, что было, истрачу,
ничего не найду.
Но пока что мне зыбко
и легко на земле,
и буфетчица Зинка
улыбается мне.

Декабрь 1956

* * *

Бывало, спит у ног собака,
костёр занявшийся гудит,
и женщина из полумрака
глазами зыбкими глядит.

Потом под пихтою приляжет
на куртку рыжую мою
и мне,
задумчивая,
скажет:
"А ну-ка, спой!.." —
и я пою.

Лежит, отдавшаяся песням,
и подпевает про себя,

рукой с латышским светлым перстнем
цветок алтайский теребя.
Мы были рядом в том походе.
Все говорили, что она
и рассудительная вроде,
а вот в мальчишку влюблена.

От шуток едких и топорных
я замыкался и молчал,
когда лысеющий топограф
меня лениво поучал:

“Таких встречаешь, брат, не часто...
В тайге всё проще, чем в Москве.
Да ты не думай, что начальство!
Такая ж баба, как и все...”

А я был тихий и серьёзный
и в ночи длинные свои
мечтал о пламенной и грозной,
о замечательной любви.

Но как-то вынес одеяло
и лёг в саду,
                а у плетня
она с подругою стояла
и говорила про меня.

К плетню растерянно приникший,
я услыхал в тени ветвей,
что с нецелованным парнишкой
занятно баловаться ей...

Побрёл я берегом туманным,
побрёл один в ночную тьму,
и всё казалось мне обманным,
и я не верил ничему:

ни песням девичьим в долине,
ни воркованию ручья...
Я лёг ничком в густой полыни,
и горько-горько плакал я.

Но как моё,
                моё владенье,
в текучих отблесках огня
всходило смутное виденье
и наплывало на меня.

Я видел —
                спит у ног собака,
костёр занявшийся гудит,
и женщина
                из полумрака
глазами зыбкими глядит.

6 сентября 1955

* * *

Заснул посёлок Джеламбет,
в степи темнеющей затерянный,
и раздаётся лай затейливый,
неясно на какой предмет.
А мне исполнилось четырнадцать.
Передо мной стоит чернильница,
и я строчу,
строчу приподнято...
Перо, которым я пишу,
суровой ниткою примотано
к гранёному карандашу.
Огни далёкие дрожат...
Под закопчёнными овчинами
в обнимку с дюжими дивчинами
чернорабочие лежат.
Застыли тени рябоватые,
и, прислонённые к стене,
лопаты, чуть голубоватые,
устало дремлют в тишине.

И казахский посёлок Джеламбет, и лай собак тёмной азиатской степи, и закопчённые овчины, и лопаты, блестящие от выкопанных шурфов, и чернорабочие, спящие в обнимку "с дюжими дивчинами", — вся эта проза жизни под пером подростка начинает светится светом поэзии:

О лампу бабочка колотится.
В окно глядит журавль колодезный,
и петухов я слышу пение,
и выбегаю на крыльцо,
и, прыгая,
собака пегая
мне носом тычется в лицо.
И голоса,
и ночи таянье,
и звоны вёдер,
и заря,
и вера сладкая и тайная,
что это всё со мной не зря.

1957

* * *

Георгию Адамовичу

Играла девка на гармошке.
Она была пьяна слегка,
и корка чёрная горбушки
лоснилась вся от чеснока.

И безо всяческой героики,
в избе устроив пир горой,
мои товарищи-геологи,
обнявшись, пели под гармонь.

У ног студентки-практикантки
сидел я около скамьи.

Сквозь её пальцы протекали
с шуршаньем волосы мои.
.....

“Чёрная горбушка”, лоснящаяся от чеснока, калоши на ногах играющей на гармошке “студентки-практикантки”, “пир горой” в деревенской “избе” — всё это скудное великолепие жизни изображено молодым поэтом с такой любовью, что он посвящает это стихотворенье русскому эмигранту-эстету Георгию Адамовичу, видимо, попросившему сделать это посвящение.

Играла девка на гармошке,
о жизни пела кочевой,
и шлёпали её галошки,
прихваченные бечевой.

Была в гармошке одинокость,
тоской обугленные дни
и беспредельная далёкость,
плетни, деревья и огни.

Играла девка, пела девка,
и потихоньку до утра
по-бабьи плакала студентка —
её учёная сестра.

1 августа 1957

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ПРОЩАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ

* * *

Затосковав по дому,
по семье,
скучая по единственному сыну,
я с нежной грустью Азию покину —
я вдоволь набродился по земле...
Настала осень.
Жёлтая листва
летит с ореха в голубую воду,
и золотая дымка облегла
угрюмую тянь-шаньскую природу,
Всё явственней дыханье вечных льдов,
всё холодней вода в Обизаранге...
Всё реже и всё реже спозаранку
я слышу пенье розовых дроздов.
Не потому ли
мыслей мошкара,
подобная назойливой отраве,
мне говорит,
что, мол, пришла пора,
что я уже бродяжничать не вправе.
Хоть не фанатик я домашних уз,
но всё ж милы мне
кровные устои.
Тепло живых и человечьих чувств,
как ни кощунствуй,
дело не пустое.

Так жили предки —
и отец, и дед.
Такой уклад
всю жизнь копил мой прадед.
И эти сбереженья сотен лет
за жизнь одну
никто не разбазарит.
Довольно в самого себя глядеть —
всё высмотрел,
всё выкроил до крохи,
пора бы знать,
как говорится, честь,
чтобы воздать Отчизне и эпохе.
Жаль одного:
что крутится земля,
что час придёт —
судьба тебя не спросит,
берёшь её, как лошадь, в шенкеля,
но всё равно,
когда-нибудь да сбросит.
И подложив под голову ладонь,
в молчанье я гляжу не оттого ли,
как мотыльки стремятся на огонь
и падают,
и корчатся от боли...
Роняя горький дым,
трещит костёр.
От звёзд что проку! — не согреешь руки,
хотя хорош сверкающий простор
и Млечный путь,
как шлейф февральской вьюги.
Я свист метели некогда любил,
мне близок был
её разгул холодный...
Но сколько можно слушать этот пыл
и этот вой надгробно-хороводный?
Пора.
Я перед родиной в долгу.
Я всё больней её судьбой болею.
Пора взглянуть на тёмную Оку,
в своей любови объясниться с нею.
В который раз —
я не хочу считать
и не приемлю критиков упрёки...
В который раз откроет двери мать,
и охнет,
и обнимет на пороге.
И если бы я жребий попросил,
то об одном — чтобы хватило шири
соединить
игру двух вечных сил,
враждующих и неразрывных в мире.
Чтобы пока живу,
над головой
сливались в свет таинственный и властный
блеск очага —
невзрачный, но живой,
и луч звезды —
бесплодный, но прекрасный!

* * *

Азия!
Звёзды твои
страшной своей красотою
путали мысли мои
в час приближенья к покою.
В мертвенном звёздном огне
плыли вершины Алая,
и приходили ко мне
строки,
меня потрясая.
От голубого огня
плавились звёздные дали...
Сколько прозрений меня
в эти часы окружали!..
И уплывали к утру...
Думаю,
что и поныне
кружат они на ветру
где-нибудь в Чуйской долине.

ПРОЩАНЬЕ С ТЯНЬ-ШАНЕМ

Высокогорная страна,
всю жизнь звала меня не ты ли,
чтоб синь твоя и желтизна
в моей крови перебродили.

Я забредал в такую даль,
чтобы узнать за эти годы,
как пьёт в расщелинах миндаль
твои заоблачные воды.

Я видел, как, пронзая снег,
средь поднебесного безлюдья
тянулся розовый побег
и трепетал от жизнелюбья.

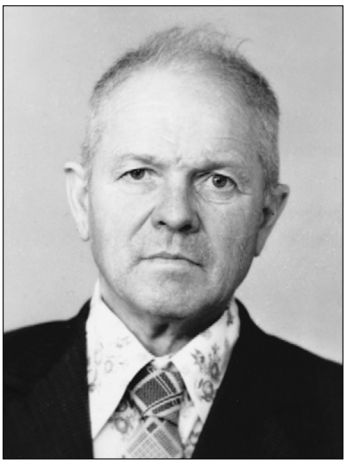
И я подслушал твой секрет,
который выболтала птица:
нельзя покинуть белый свет
и ни во что не воплотиться.

Прощай! Я не хочу спешить,
но всё же час пришёл сознаться:
затем, чтоб новой жизнью жить —
от старой надо отказаться.

Не верь, что молодость прошла,
не плачь, что юность отзвучала —
не могут выгореть дотла
все жизнестойкие начала.

Не потому ли, как привет,
как обещанье жизни новой,
кивнул мне на прощанье вслед
подсолнух золотоголовый.

ГЕОРГИЙ БЛОМ



ЛИК ХРИСТА НА ВАЛУНАХ

РАССКАЗ

Мне неоднократно приходилось бывать в Костромской области: в середине и конце 50-х годов при геологической службе в смежных районах с Нижегородской областью, в 60-х годах при изучении триасовых образований Московской синеклизы и в 70-х годах при работах по доизучению и опробованию Мантурского месторождения горючих сланцев.

Вся территория Костромской области когда-то была покрыта ледником максимального оледенения, после таяния которого осталось много валунов, состоящих из твердых изверженных и метаморфических пород, принесённых из Карелии и Финляндии. Эти камни местное население использовало для строительства дорог с твёрдым покрытием и фундаментов для деревянных построек.

Своеобразно использовали валуны верующие: они полировали поверхность крупных камней и на них выбивали религиозные сюжеты, главным образом, лик Иисуса Христа. Для этой цели применяли в основном валуны шокшинского песчаника и граниты рапакиви.

БЛОМ Георгий Иванович (1918–2002) родился в Латвии. Окончил Казанский государственный университет по специальности “геология”. Работал в Горьковском геологическом управлении. Редактор и соавтор подготовленного и опубликованного в 1967 году XI тома “Геология СССР”, охватывающего территорию Поволжья и Прикамья. В 1972 году — главный геолог Средне-Волжской комплексной геологоразведочной экспедиции. При непосредственном участии и под его руководством были разведаны и переданы промышленности десятки месторождений строительных материалов и подземных вод. Составил и опубликовал 4 фундаментальных монографии — настольные книги геологов-съёмщиков Поволжья, более 80 научных работ. Доктор геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РСФСР, первооткрыватель месторождения. Награждён медалями “За трудовую доблесть”, “За трудовое отличие”, “За доблестный труд”, “Ветеран труда”.

Обычно с рисунками встречались единичные валуны в разных населённых пунктах области. В 1978 году при поездке на Мантурское месторождение горючих сланцев совместно с начальником геологического отдела Средне-Волжской геологоразведочной экспедиции В. Ф. Табачковым мы наблюдали большое количество валунов с изображением Иисуса Христа в селе Островское, районном центре Костромской области.

Верующие затратили много усилий, чтобы отполировать поверхности валунов, и ещё больше энергии и художественного мастерства, чтобы выбить на них изображение Иисуса Христа. Такая работа равносильна подвигу и, безусловно, способствует укреплению веры. В пределах смежных частей Нижегородской и Ивановской областей, где также встречаются валуны, принесённые ледниками, таких массовых скоплений отполированных валунов с рисунками, выбитыми на их поверхности, наблюдать не приходилось. Здесь нередко встречаются грубо обтёсанные камни с выбитыми на их поверхности крестами разных размеров. В настоящее время практикуется применение валунов для надгробных камней и памятников, но это может привести к тому, что они исчезнут из природных ландшафтов и останутся лишь на многочисленных кладбищах.

ЗА ВАЛУНАМИ К СТАРОВЕРАМ

РАССКАЗ

В 1980 году исполнилось 50 лет со дня организации геологической службы в Горьком (Нижний Новгород), обслуживавшей значительную часть Поволжья и Прикамья. Организованная здесь Средне-Волжская геологоразведочная экспедиция заняла вновь построенное четырёхэтажное здание на улице Ванеева, где раньше находилось Средне-Волжское геологическое управление, ликвидированное в 1972 году. Этот портик с фасада по широкой улице не имеет надлежащего вида и смотрится, как коробка, на пустом месте с довольно широкой площадкой между зданием и проезжей частью улицы.

Руководство экспедиции давно собиралось как-то обустроить и оживить площадку перед зданием, приближающийся юбилей ускорил это событие. Было решено создать своеобразный небольшой сад, среди которого были бы видны крупные глыбы разно окатанных твёрдых горных пород, принесённых материковым ледником в Поволжье. Такой ландшафт весьма характерен для севера Нижегородской и Кировской областей. Встречающиеся здесь валуны состоят преимущественно из шокшинского сливного песчаника и гранита рапакиви, то есть из пород, встречающихся в Карелии и Финляндии.

Мне как главному геологу, проводившему в районе Поволжья и Прикамья геологические съёмки среднего масштаба, поручено было найти скопления валунов и привезти их к зданию экспедиции. Просмотрев фактические материалы своих отчётов по геологической съёмке междуречья Волги и Ветлуги (в то время описание обнажений входило в их состав), я наметил район долины Северного Козленца, правобережного притока Керженца. Здесь в ряде обнажений отмечена многовалунная морена и скопление валунов на поверхности. Так как местность залесенная, шоссейные дороги отсутствуют, валуны тоже сохранились, их не вывезли. Этому способствовало и то обстоятельство, что населяющие эту местность староверы весьма отрицательно относятся к приезжим “молодцам”, считая валуны своим достоянием.

В начале 1980 года на грузовой машине в сопровождении самоходного крана мы тронулись в путь. Так как я предварительно выезжал в долину

Северного Козленца и наметил пути подъезда к местам скоплений валунов, мы удачно добрались до этих пунктов, также довольно успешно погрузили валуны и привезли к зданию экспедиции. В основном валуны состояли из розового сливного шокшинского песчаника, в которых прекрасно просматривались прослои из гравия и гальки белого кварца. Это придавало валунам, размер которых достигал 2,5 м по длинной оси, живописный вид.

Разгрузка в основном прошла благополучно, за исключением того, что порвали телефонные провода. Руководство Советского района, увидев впечатляющую картину у фасада нашей экспедиции, попросило нас привезти валуны для сквера у фасада здания райисполкома. Просьбу-распоряжение пришлось выполнить. В этот раз за валунами со мной поехал и замначальника, прекрасный, энергичный человек и умелый руководитель, ныне покойный Николай Алексеевич Сычёв. После длительных поисков нам удалось найти валун шокшинского розового песчаника кубической формы и другие характерные камни. Он прекрасно украшает сквер перед фасадом мэрии Советского района Нижнего Новгорода наряду с другими валунами. Они являются своеобразным памятником и Николаю Алексеевичу Сычёву, так много сделавшему для развития нашей экспедиции, сумевшему осуществить и постройку нескольких жилых зданий вблизи её конторы.

“ВОТ ЖИЗНЬ МОЯ — ПОБЕРЕГИТЕ...”

В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века в Ленинграде зазвучали голоса поэтов, которым было суждено стать создателями и единственными представителями направления, названного в шутку “горняцкой правдой”. Конечно, и “направлением” это может быть названо не без улыбки. Но то, что в Лито при Горном институте собралась молодёжь, подающая надежды, стало понятно едва ли не сразу.

Называть ли ленинградских поэтов-“горняков” “шестидесятниками”, “пятидесятниками” или ещё как-то – вопрос второй.

Лучше назвать их самих, обозначить важнейшие имена, без которых сегодня невозможно представить ленинградскую поэзию второй половины XX века. Это Владимир Британишский, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Александр Городницкий. На какое-то время к этой группе примкнули также Глеб Горбовский и даже Александр Кушнер, – впрочем, последний, пришедший в Лито Горного с филфака, ничего “горняцко-геологического” так и не написал. Вёл знаменитое литобъединение прекрасный человек и поэт Глеб Семёнов – учитель, “идейный вдохновитель”, ученики которого с гордостью именовали себя “рядовыми Глеб-гвардии Семёновского полка”.

...Как-то, ещё в самом начале 60-х в Ленинград приехал Борис Слуцкий. После его выступления была организована встреча знаменитого фронтовика-“шестидесятника” с молодыми “горняками”. Один из них, Александр Городницкий, оставил об этом воспоминания, где в частности, было такое свидетельство:

“...Начали читать стихи. Слуцкий вёл себя властно и, на первый взгляд, бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всём этом стихи он слушал с огромным вниманием и как будто сразу безошибочно определял их качество. Больше других ему понравились стихи Лёни Агеева, и он тут же заявил: “Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, всё прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жёсткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!..”

Известно, что Борис Слуцкий помогал напечататься многим молодым поэтам. Однако редактировал он книги всего двух авторов: вторую книгу Станислава Куняева “Звено” и первую – Леонида Агеева с неслучайным названием “Земля”. Стоит заметить, что обе книжки вышли в 1962 году в Москве – несмотря на то, что первая книга Куняева до того выходила в Калуге, а все последующие издания Агеева – в его родном Ленинграде.

Сейчас, по прошествии более полувека, надо признать: Слуцкий не ошибся. Но безвременье последних 30 лет распорядилось так, что большинство поэтов ушедшей эпохи осталось за бортом читательского сознания – и имена их сегодня продолжают пребывать в благодарной памяти читателей старшего поколения, а молодым, увы, ничего не говорят. Остаётся уповать на время, помогая ему в меру сил...

Хочется надеяться, что эта небольшая публикация ранних агеевских стихов, пропитанных запахом земли и ветрами дорог, духом тайги и человеческим теплом, рабочим потом и геологической романтикой, а главное – любовью и участием ко всему живому, хоть отчасти “вернут” поэта Леонида Агеева (1935–1991) современному читателю.

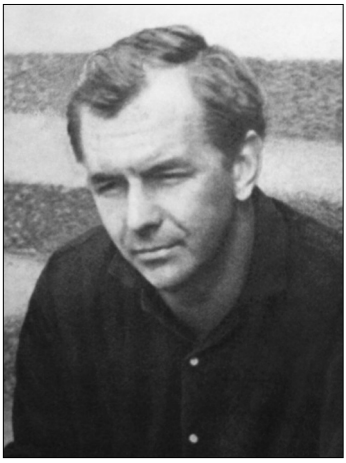
Это и есть его жизнь, которую он так доверчиво вручает сегодня нам со словами:

Вот жизнь моя — поберегите...

Будем же достойны доверия поэта, побережём.

Константин Шакарян

ЛЕОНИД АГЕЕВ



В ЗЕМЛЕ

Ю. М.

Мы лезли в землю — в камень серый,
к пещерам, в непробудность скал.
А оказались не пещеры,
а оказался бальный зал.
Громады каменных сосулек,
луга цветов на потолках...
Кто лепит их? Кто их рисует?
Очеловечивает как?
Земли привычной тут не сыщешь,
не разомнёшь в ладонях рук,
нигде воды не встретишь чище,
у наших ног возникшей вдруг;
не ощутимая глазами
(свет фонарей — на камне дна),
когда в ней отразились сами,
тогда и ожила она.
А тишь какая! Тьма какая!
Едва погасишь фонари...
Тут ветер камни не катает,
здесь не дождаться нам зари.
...Уже я плавал над землёю.
Как все, живу я на земле.
Стою сейчас я под землёю.
Сейчас я воду пью в земле.
Ещё что может быть со мною,
иным сегодня, чем вчера?
Мне остаётся стать землёю,
когда тому придёт пора.

* * *

В. Б.

Палатки наши на ветру —
как паруса земли.
Нам надо выспаться к утру,
чтоб ноги нас несли,
а мы заспорили опять
о чём-то о таком,
что не даёт
ни крепко спать,
ни думать о другом.
До пены спорим,
до обид...
А солнце оживёт —
опять наш общий путь лежит
в неведомость болот.
Я каждый шаг твой берегу,
когда ты впереди,
идти спокойно я могу,
когда ты позади.
Идти — наш труд.
Идти — наш пот.
Нам до́ смерти — идти...
Шагает рядом с нам спор
и ждёт конца пути.

ИЗ ТАЙГИ

Он срывал рубашку с тела
клочьями.
Не мог иначе
снять её.
Она впотела
в тело.
Тело — как у клячи.
В обомшелой жаркой бане
кости веником распарив,
с добродушной, мирной бранью
выбегал на волю парень.

Снег шипел под утюгами
ног его,
не мытых вечность.
Солнце всплыло над снегами,
парню прыгнуло на плечи.
Падал он в сугроб с разбега
и махал руками,
словно
плыл на зорьке через реку,
через искристые волны,
и, вскочив, бежал обратно,
чёрный стыд прикрыв рукою...
Тело розовое в пятнах,
снежной выжженных рекою.

...Пар сквозь щель окна струился,
стлался наземь — быть пурге.
Нынче к людям воротился
заблудившийся в тайге...

* * *

Проснуться от мысли какой-то
и вспомнить пытаться — какой...
Застонет случайная койка,
тревожа случайный покой
соседей по дальней дороге,
уставших не меньше меня.
Протезами кажутся ноги
к исходу свершённого дня.
Проснуться от мысли, наплывшей
при ви́денье первого сна,
где были несущие лыжи
и чьё-то лицо — из окна.
Не лыжи — огромные лодки
скользили по синей воде,
по синей траве
и — в полёте —
по синей пустой высоте.
Несли меня дальше и выше
и мимо, всё мимо и прочь.
Качались цветущие вишни,
окно проступало сквозь ночь...
Проснуться от мысли...
А мысли
и не было, может, ей-ей!
И сна отпечаток размылся
на памяти сонной твоей —
водой негатив...
Но однажды
всплывёт с недоступного дна:
“Любимый! Куда ты? Куда ж ты?!” —
надломленный крик из окна...

* * *

Я деревом пророс,
и вот я вырос,
раскинулся — созвучный всем ветрам.
Моим корням и сумрачно, и сыро,
светло с утра до вечера ветвям.
Старуха! Привяжи ко мне корову,
краюху доставай из узелка.
Хлеб-соль тебе, мамаша! Будь здорова!
Ходи по свету, ходится пока...
Влюблённые! Свои велосипеды
на час облокотите на меня!..
Искатели! Не все ещё пропеты
полуночные песни у огня!..
Старухе, и корове, и влюблённым,
и облакам, и диким птицам вслед
машу под просветлённым небосклоном,
как мне когда-то... (было или нет?).
Людей, дождей, снегов чередованье,
и снова время на каком-то дню
моё приостановит кольцеванье —
я вновь усну, засохну на корню.
Мужчина за просёлками в посёлке,
тебе — мои последние слова:

не надо ни для стула, ни для полки —
спили меня, мужчина, на дрова.
Ты натопи в избе своей пожарче,
скажи: “Моя любимая...” — жене,
ты запали в избе своей поярче
одну из жизней — в память обо мне...

* * *

Доверить жизнь свою шофёру,
и потянуться, и уснуть,
и — с горки вниз,
и — снизу в гору,
и ровный путь —
проспать весь путь.
Не знать сомнения и муки,
поверив разом в тормоза,
в шофёра кряжистые руки,
в шофёра цепкие глаза...
День изо дня и год за годом
мы доверяем тут и там
то машинистам, то пилотам,
и докторам, и поварам,
земной жене и Аэлите...
Мы перед многими в долгу.
Вот жизнь моя — поберегите!
А ваши — я поберегу...

НИКОЛАЙ ВАГИН

ВОСПОМИНАНИЕ БУРОВИКА

РАССКАЗ

В апреле 1968 года мне нужно было передать буровую установку другому старшему мастеру, я в то время работал старшим буровым мастером. Буровая установка находилась в Костромской области в Макарьевском районе. Рано утром я выехал с базы экспедиции электричкой до станции Лапшанга. Здесь меня должен был встречать АТЛ и дальше по совершенно ненаселённой местности, на расстояние 50 км, доставить до буровой. Приехал я на станцию Лапшанга и стал ждать. Время 10 часов утра, а тягача всё нет. Наверное, сломался, это часто бывало. Передо мной встал выбор: вернуться назад в Горький или пройти пешком по тайге эти 50 км. Начало апреля, ночью всё подмерзало, а часам к 11 утра стояли большие лужи. На ногах у меня ботинки, явно не предназначенные для такой погоды. Хорошо, с собой была

ВАГИН Николай Алексеевич родился в 1938 году в городе Дзержинске Горьковской области. Экстерном окончил Старооскольский геологоразведочный техникум по специальности "техника и технология геологоразведочных работ". Работал землекопом, помощником бурильщика, сменным мастером на роторном бурении, в Монголии возглавлял буровую технологическую службу советских специалистов, в Эфиопии работал старшим буровым мастером, затем был заместителем генерального директора предприятия "Волгагеология" по внешнеэкономическим связям, генеральным директором Инновационного геологического центра — базовой организации Министерства природных ресурсов РФ по разработке и внедрению прогрессивной технологии при сооружении скважин на воду, директором Инновационного геологического центра. Крупный специалист в области разработки, совершенствования и внедрения новых эффективных и рациональных технологий бурения скважин в сложных условиях. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также многими другими наградами. Является членом научно-технического Совета МПР РФ по бурению, председателем Нижегородского регионального отделения Российского геологического общества.

карта стотысячного масштаба. Предстояло пройти 25 километров по Горьковской области, затем поворот на 90 градусов и 25 километров по Костромской области. На расстоянии 10 километров от Лапшанги стоял дом лесника, а дальше — лежнёвка, вся сгнившая, только по бокам лежнёвки лежал песок. Вдоль всей лежнёвки в сплошном лесу изредка стояли полусгнившие казармы, раньше это были казармы для заключённых. Лежнёвка упиралась в речку Торзать, а на другом берегу стояла моя буровая и на всём пути — ни одной деревушки. Я не геолог-съёмщик, а буровик и в такие маршруты никогда не ходил, тем более в одиночестве. После долгих колебаний решил идти. Первые 25 километров шёл быстро, прошёл без всяких приключений домик лесника, дальше по полусгнившей лежнёвке. Неприятности доставляли мокрые ноги, так как лёд растаял, и дорога была почти вся в лужах. Так я дошёл до Костромской области, предстояло ещё 25 километров пути. Запал пропал, день потихоньку клонился к вечеру. И вдруг на обочине лежнёвки на песке увидел отпечатки человеческих босых ног. Откуда здесь могут быть следы человека, да ещё и босиком? Присмотрелся — ба! — да это же следы медведя, видать, талая вода заставила его покинуть берлогу. Следы шли вдоль дороги по моему маршруту. Теперь встал вопрос, идти ли дальше быстрым шагом? А вдруг медведя догонишь? Идти медленным тоже нельзя — скоро темнеть начнёт. Нашёл я палку метра на два и пошёл дальше, не сбавляя хода. Будь что будет!

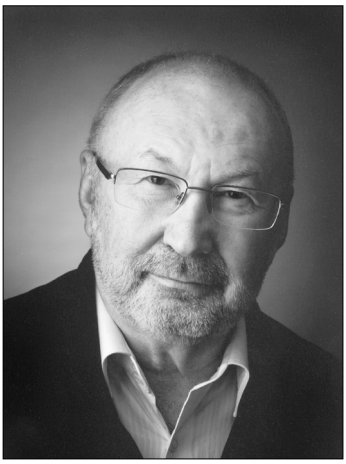
Километра через два следы ушли вглубь леса. Я продолжал свой путь, стемнело, наконец, лес закончился и впереди — огромная гладь воды. Это речка Торзать, она разлилась, я даже не мог увидеть противоположного берега. Дальше идти бессмысленно. Весь промокший, стал устраиваться на ночлег. Развёл костёр, подтянул к костру несколько больших брёвен сосны, чтобы хватило на всю ночь. Ботинки положил поближе к костру, чтобы они немного подсохли, и попытался заснуть. Ну, а какой сон был, каждые двадцать-тридцать минут просыпался. Утром рано прошли лесники. Они сообщили, что через речку положили более десятка брёвен, чтобы можно было пройти на другой берег. Так я попал на противоположный берег Торзати, где стояла буровая, рядом с деревней. В тот же день я закончил свои дела и на другой день собирался в обратный путь, снова пешком — тягач стоял в ремонте.

Хозяйка дома, где я ночевал, сварила мне три яйца, дала бутылку молока, и, взяв свою палку, рано утром, пока ещё стоял мороз, я отправился в обратный путь. Первые двадцать пять километров прошёл быстрым шагом, остановился, решил перекусить. Съел яйцо, стал запивать молоком, а ветер начал завывать, я сразу насторожился, думал, медведь рядом, бутылку в карман и пошёл ещё быстрее. Так через некоторое время дошёл до домика лесника и решил пообедать. Доел оставшиеся два яйца, стал запивать молоком, а ветер опять завывает. Только тут я догадался, что это не медведь, а ветер. Дальнейший мой путь прошёл без приключений. Вот так закончился мой первый и последний пятидесятикилометровый маршрут.

Мне много лет пришлось работать за пределами нашей родины, в разных странах. Более пяти лет проработал в Монголии. Интересно было там работать. Месторождений полезных ископаемых — вся таблица Менделеева. В Эфиопии я работал старшим буровым мастером в советской гидрогеологической экспедиции. Бурили скважины на воду, глубиной 400 метров. Воду для бурения скважин, да и для питьевых нужд возили за 150 километров. Буровая — это целый городок: несколько вагончиков для проживания советских специалистов, эфиопских рабочих, вагон-столовая, а также вагончики для охраны. Буровую и нас, советских специалистов, охраняли двадцать человек эфиопских охранников, вооружённых автоматами Калашникова. В то время происходили боевые стычки правительственных войск с боевиками, боровшимися за отделение Эритреи от Эфиопии. Так называемые боевики ничем не отличались от правительственных войск, одежда произвольная, и у тех, и у других автоматы Калашникова. Погода в то время стояла жаркая, доходило до 55 градусов.

В один прекрасный день с базы экспедиции ко мне на буровую приезжает инженер по бурению. Он совсем недавно в Эфиопии. На другой день утром завтракали в вагоне-столовой, смотрим в окно, а перед нами такая картина. Почти рядом видим море, около берега — десятки кораблей. Этот товарищ говорит мне, что это вы возите воду за 150 километров, когда у вас целое море под боком. Я ему объяснил, что не успел пока найти подъезды к воде. "Ну ничего, сейчас позавтракаем, и я схожу найду подъездные пути к морю", — сказал инженер по бурению. Я предложил ему машину, чтобы не ходить пешком. К обеду вернулся усталый, злой, на меня не смотрит. А это был мираж, он-то ничего не знал об этом.

ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВ



ЦВЕТИ, МОЙ СЕВЕРНЫЙ ЦВЕТОК...

СЕВЕР

Это не лебеди передумали,
Это снега возвратились домой.
Дали раздвинулись, выступив в сумраке
Мощью своей ледяной.

Всё, что болело, стало незначимым,
Стали бесценными крохи тепла,
Даже от звёзд, что по краю маячили
Вымерзшего стекла.

* * *

Ночная птица правду прокричит,
А утро, может быть, меня обманет,
Что новый путь всегда по снегу чист,
И солнце, глядя в душу, не поранит.

И что за точкой следует пробел,
И можно всё начать с заглавной буквы,

ВАСИЛЬЕВ Ярослав Иванович родился в г. Молотов (ныне Пермь). Окончил Московский геологоразведочный институт, работал геологом, печатается в центральных изданиях с начала 70-х годов. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России.

Забыв, что жизнь крошится, словно мел,
Которым кто-то пишет наши судьбы.

* * *

Поэт и ювелир — по сути вы близки, —
Без ядовитой ртути не будет амальгамы.
Но всё же так стихи бывают велики,
Что золота страны не хватит им для рамы.

* * *

Жизнь — неожиданный маневр
В безжизненном пространстве.
Она натянута, как нерв,
В своём непостоянстве.

И только там, где Бог Отец,
И Сын Его, и Дух,
Мне будет жаль, что есть конец
И радостей, и мук.

СМС

"Доброе утро, хорошего дня!"
Дождик мышиный кропит на меня.
Если б ты знала, мой алый цветок,
Как тяжело разгорится восток,
Как улетают со свистом года,
И по утрам замерзает вода,
И вечерами так хочется спать.
Всё говорит, что пора отцветать...

* * *

В. Р. Семёнову

Выпал снег.
Посёлки, точно стразы,
На горах, где в недрах спят алмазы,
А Якутия, как перстни на руке
Великодержавной матушки —
России,
А казалось раньше — в закутке...

Где ещё живут мои друзья,
И один из первых — Виктор Рюрикович,
Может быть, и помнит про меня.

НОЯБРЬ

В начале было слово, а потом — полёт,
Страна распластана до океана,
Но в землю вдавлен так прозрачный небосвод,
Что кажется — лишь шаг до Магадана.

Да, и такой, страна, тебя люблю —
Обманчивой, холодной, нежной,
Где стольный град Москва, подобно кораблю,
Плывёт по дали белоснежной.

* * *

Ноябрь гремел, как товарняк,
Дни лязгали в железной сцепке.
И ветер рвался на чердак,
Качая дверцы, как прищепки.

И я любил тебя такой,
Мне непонятной, как природа.
Прозрачной, ветреной, пустой,
Сосредоточенной и гордой.

Порой глядевшей на себя,
Как дерева — очнувшись в снеге,
Себя и всех вокруг любя,
Забыв, в каком живём мы веке.

РОЖДЕСТВО 1942 ГОДА

Москва смерзалась глыбой ледяной,
Кремль в камуфляже стал, как оловянный.
Войска придвинулись второй стеной
К столице, снежным небом осиянной.

О чём морозной ночью думал тот,
Кто с храмов рвал кресты легко, как шапки, —
О том, как сжать народ в стальную плоть?
И о своей душе молился в Ставке?

* * *

Ты — ласточка, и тянешься на юг,
Тебе ужасны русские морозы.
Но всё-таки, земля, не шар, а круг,
Где солнце движется на ледяных полозьях.

И руки — крылья тонкие твои —
Привыкли к тяжести сибирского тулупа.
Они не выпорхнут среди зимы
На станцию районного Тулуна.

Да, мы с тобой — и клетка, и полёт,
Которые не могут жить в разлуке.
Мы даже не поймём, что так весна поёт,
Услышав лёд, трещащий на излуке.

И хорошо, что вскроется река,
И птиц ещё немного будет в небе,
А с юга первыми вернутся облака,
И почками раскроются на вербе.

* * *

Из снега вылупился март,
Раскрылось небо синей трещиной;
Распахивался тёплый шарф
И бабочкой летел за женщиной.

Ещё непрочное тепло
Дышало с неба на прохожих;
И счастье так недалеко,
Когда на молодость похоже.

СЕВЕРНЫЙ ЦВЕТОК

Цвети, мой северный цветок,
Блести наивными очами,
Когда весь Северо-Восток
Играет белыми ночами.

Здесь у людей и у цветов
Короткое для многих лето,
А ты любить его готов
Хотя б за то, что много света,

За то, что снеги лягут в срок,
И небо чёрное, как знамя,
Звезду поднимет, как цветок,
Над убелёнными лесами.

* * *

Весной и осенью равно прозрачен лес,
Но воздух в нём по-разному настоян:
Весной струится свежестью небес,
А осенью землёй сырой напоен.

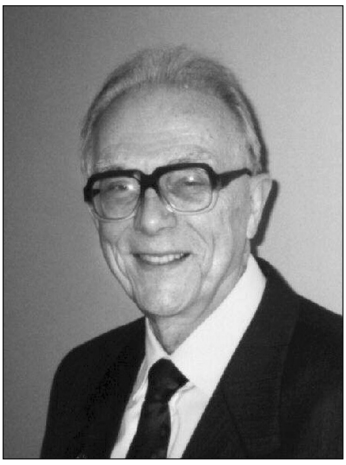
И только человек уходит сам в себя
Весной и осенью, как будто замирая;
И обожжёт его суровость бытия,
И сердце заболит. Тогда — душа живая.

МАГАДАН

Здесь даже весна идёт до конца,
На Севере дня уже не хватает,
И холодом схваченные деревца
Ночами выглядывают из проталин.

И вместо цветов синеет лёд,
Как будто поля голубого ириса,
Или земля букет несёт
И сжала в руке его до инея.

ИГОРЬ ГРАМБЕРГ



МЫ ИЗ ЗЕМЛИ, ИЗ КАМНЯ, ИЗ БОЛОТА...

БАЛЛАДА О ФРЕГАТЕ “НИИГА”

Скользит планета по орбите.
И знайте, жители Невы, —
Хотите вы иль не хотите,
Но вместе с ней скользите вы!
Скользят и люди, и постройки,
Всё-всё в движенье, всё летит,
И только лишь фрегат на Мойке
Стоит, скрипит, но не скользит.

Мой любознательный читатель,
Ты, верно, будешь озадачен,
Узнав о том, что сей фрегат
Стоит уж 20 лет подряд.

Стоит, как храм, порой — как хлев,
Законы физики презрев.

ГРАМБЕРГ Игорь Сергеевич родился в 1922 году в Петрограде. В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. Воевал под Старой Руссой и Новгородом, был дважды ранен. После второго ранения с 1942 года стал работать в геологической партии коллектором. Окончил с отличием Свердловский горный институт. В 1955 году получил степень кандидата геолого-минералогических наук, а в 1971 году ему была присвоена учёная степень доктора наук. В 1972 году был назначен директором НИИГА и одновременно — генеральным директором объединения “Севморгео”. В 1979 году был избран член-корреспондентом, в 1987 — действительным членом Академии наук СССР.

Да, 20 лет — немалый срок,
Но ведь и сделано немало.
Ведь сколько пройдено дорог?
Отчётов в фондах сколько стало?

Хоть не один миллион истрачен,
Зато кой-кто окандидачен.
А тот, кто щедро одарён,
Теперь уже одокторён.

Не раз, не два и очень щедро
Нам открывали тайны недра.
Казалось, все отлично, но...
Не получилося кино:

Талнах недавно был оплакан,
Алмазный бум давно прокакан,
И даже газ, не утаю,
Нам оказался не в струю.

Опять проспали, как ни жаль,
Лауреатскую медаль.

О, время! Время! Страшный яд.
На заседаниях учёных
Уж не погоны, не шевроны,
А только лысины блестят.

Слегка замшели капитаны,
У капитанш разбухли станы,
И лейтенантов ждал подвох —
Кто располнел, а кто усох.
Былого нет уже запала,
Ведь жизнь — отнюдь не сладкий сон.
Одни ушли на пенсион,
Других средь нас совсем не стало.

Но как и 20 лет назад,
Стоит фрегат, скрипит фрегат!

НОСТАЛЬГИЯ

С наступления весны
Снится людям в поле клевер,
У меня ж другие сны —
Снится мне далёкий Север.

Ожидают там меня
От заката до восхода
Полудикая земля,
Непогода, непогода.

А когда весенний шквал
Пронесётся над планетой,
Я как будто побывал
В стороне далёкой этой.

Обласкал меня туман,
В лапы ветер заграбастал

И могучий океан
Мне сказал: “Дружище, здравствуй!

Там у северных широт
Пусть сворачивает круто
Самолёт и вездеход —
От маршрута до маршрута.

Дальних звёзд холодный свет,
Дым от лагерной стоянки,
Здесь, как в жизни, — станций нет,
Полустанки, полустанки...”

АРХАНГЕЛЬСК

Сижу у моря, жду погоды,
Трескою тешу свой живот,
И кажется уже, что годы
Я здесь сижу у двинских вод.

Я хоть сижу, а Пётр Первый
Стоит почти что сотню лет,
Что значит бронзовые нервы
И жажда воинских побед.

Новоземельские ребята
Живут в отеле “Интурист”.
А что не жить? Идёт зарплата,
На пляже солнце, воздух чист...

Народ беспечный, но толковый,
Они земли не жаждут новой.
Да и чего её желать,
Когда на старой благодать.

А у меня на сердце муть,
И душу мучает сомненье —
Удачно ли избрал я путь
На север, к месту назначенья?

* * *

Земля давно уходит из-под ног,
И с памятью чего-то стало туго,
Но рыцари бесчисленных дорог
Умеют опираться друг на друга.

Уплыли годы в голубую даль,
А прошлое как будто стало ближе:
И вас, друзья, я молодыми вижу,
И ничего не страшно и не жаль.

Как сладок нам сиреневый туман,
Жизнь улыбалась Гале и Марьяне,
Трём Зинам, Лене, Софье и Татьяне —
Пути слились в один большой роман.

Я перечислить всех бы, право, мог,
Но назову, кого уж нет на свете:
Нет больше Лёши, Николая, Пети —
Нет рыцарей бесчисленных дорог.

Трудились мы, чтоб было хорошо
Стране, да и, пожалуй, всей планете...
Романтики! Ведь нынче даже дети
Уверены, что думать так смешно.

Но мы тогда не ведали сомнений,
И трудности нам были по плечу.
Хвалиться этим вовсе не хочу —
Заслуги есть у многих поколений.

Живыми вышли мы из лихолетья,
И в дни войны смешалась наша кровь,
Теперь, когда прошли десятилетья,
Единство наше подтверждаем вновь.

Потери есть. Смешались наши роты,
Но мы стоим, как будто с нами Бог.
Мы из земли, из камня, из болота —
Мы рыцари бесчисленных дорог.

КИМ ВЫСОЦКИЙ

РЫЖИЙ БЕС

РАССКАЗ

Эта история была предопределена двумя бутылками спирта и природным жизнелюбием Николая Васильевича. В среде горных рабочих-проходчиков поисковой партии, ежемесячно обременённых тревогами о возможной несправедливости в оплате труда, Николай Васильевич слыл бесшабашным весельчаком и неутомимым рассказчиком. Но шутом он не стал. Что-то в его хитрой улыбке бывалого жилистого человека предохраняло от этой незавидной роли. За его постоянно сияющий золотой зуб он уважительно был наречён Клыком.

Чёрт его знает, каким образом в многомесячной изоляции от мира и его соблазнов из случайного разнотравья людей геологических партий вдруг создаётся весьма здравое общество, где каждый занимает место по своей истинной цене.

Следует заметить, однако, когда высшее руководство решило продолжать оценку рудоносной зоны зимой, Клык пожелал угнездиться подальше от базы партии, выбрав намечаемую отдельную хижину на юге зоны, в шести километрах от общего зимовья. Домишки строили собственными силами и закончили по морозу и обильным снегопадам лишь к октябрю. Самую скверную хижину, маленькую и низкую, смастерили по лености Клык и К^{о}.

ВЫСОЦКИЙ Ким Алексеевич родился в 1938 году в Гатчине. Окончил Свердловский горный институт по специальности “геология и разведка радиоактивных и редких металлов”, работал в системе “Главтюменьгеология” на Приполярном и Полярном Урале, в системе Средне-Волжской комплексной геологоразведочной экспедиции. Занимался вопросами строения крупных платформенных структур и металлогенической оценкой территории. С 1993-го по 2000 год возглавлял участок региональных работ в “Волгагеологии”. Разработал нетрадиционную модель строения и развития региона и новый подход к оценке перспектив ведущих полезных ископаемых и нефти. Имеет множество наград.

Начались однообразные дни проходки канав с бесконечными салютами взрывных работ. В напарники Клык взял себе огромного молчаливого татарина Фёдора, с неясной биографией, и малорослого проходчика-взрывника Петра Лаврентьева — человека случайного, сорвавшегося на Север из какого-то городка Тульской области.

Долгими вечерами под свет керосиновой лампы и отблески огня из железной печки Клык частенько развлекал свою компанию монологами о богатой событиями его непутёвой личной жизни, порой для разнообразия пугая Лаврентьева случаями зверства неизвестных свирепых хищников, особенно налегая на трагические встречи с бурундуками.

Время катилось в работе, и к Новому году вертолётом доставили ящик спирта и разную праздничную ерунду вроде конфет, печенья и китайских яблок. 31 декабря утром на базу прибыл и Клык со своими отшельниками. Узнав о спирте, он целый день, болтая и веселя публику, тайно мучился решением сложной арифметической задачи — как поделить 20 бутылок спирта на 36 человек, зная, что эти вычисления волнуют всё сознательное общество. Под вечер Клык, нахально сверкая зубом, заявил начальнику партии, что он, Николай Васильевич, и его соратники решили праздновать отдельно, в собственном доме, и им троим, заслуженным отшельникам, по высшим арифметическим расчётам положено две бутылки спирта. Добившись своего, они навьючили на старого мерина по кличке Рыжий Бес, который зимовал на базе, продукты и ушли, оскорбив общество своим глубоко безнравственным поступком. Ушли к перевалу тропой, наезженной в тайге многомесячными лыжными поездками, и путь их причудливо подсвечивала поднимающаяся полная луна.

Эти отщепенцы вернулись на базу через день, вызывающе скрипя валенками и копытами по морозному вечернему снегу.

— Что, Клык, спиртишка не хватило? — крикнули ему навстречу.

— Да они его ещё по дороге к избе выпили! — гоготали другие.

Клык независимо похлопал по мохнатому, как у мамонта, боку Рыжего Беса:

— Его, старика, пожалели. Второй день голодный, а нашу похлёбку не жрёт.

Мерина кормили сеном, сброшенным для него прессованными тюками с Ан-2.

Подумав немного, Клык с простецкой дружелюбной улыбкой нераскаявшегося мошенника заявил:

— Ну, мужики, попали мы в непонятное!

И под хохот собравшихся рассказал о новогодних приключениях. В предновогодний вечер они долго поднимались к перевалу отрога горы Турман-Нел, таща в поводу ленивого мерина. На перевале с редкими кедрами, заваленными снегами, наломав лапника, сели перекурить. Впервые оказавшись в полнолуние высоко в горах, они увидели чёрное, почти беззвёздное небо, омытое лунным светом, немыслимую белизну водораздельных пространств и восставшие белесые вершины гор. Лишь на востоке, откуда они пришли, по склонам гор чернела тайга, понижаясь в бесконечность. Что-то тревожное поднималось в душе — в этом обиталище неведомых богов из детских, давно позабытых сказок не было места для человека.

Как средство спасения потрясённый Клык достал бутылку и с тихим торжеством произнёс:

— Выпьем! А кто хочет, тот снегом запьёт.

И облегчение от непонятных тревог пришло. Они растворились в нечеловеческом великолепии и, возможно, приобщились к богам. Во всяком случае, все трое презрительно щурились в сторону покинутого зимовья, где за столами избёнок, пропахших мокрой одеждой и табаком, кто-то там пил пошлый спирт и ничего не видел, кроме бревенчатых стен. Они пытались найти слова приобщения, но слова, возгласы и рассказы хотя и были, как им казалось, возвышенными, но безнадёжно земными.

Лаврентьев пытался передать красоту развала вдрызг нудного семейного житья, Клык вспоминал, как о чуде, игру на трубе в похоронном оркестре, и только Фёдор тихо поведал о своей детской любви к давно забытой бабушке.

Расплата пришла неотвратимо, когда они решили скатываться с перевала к своей, пока ещё далёкой избушке. Они то и дело слетали с тропы и тонули в глубоких снегах. Лишь Рыжий Бес не сбивался с пути, терпеливо ожидая, когда они в очередной раз выберутся на тропу. Никто из них толком не помнил, как они пришли к своему жилищу и когда потеряли вторую недопитую бутылку. Обледенелые, с пересохшими от снега и жажды глотками, с обожжёнными морозом руками, они ввалились в родное зимовье и умудрились растопить печь.

Клык проснулся часа через два от тишины и холода, сразу вспомнив о спасительном мерине. Он растолкал напарников и выглянул наружу. Мерин стоял у двери.

— Ты у нас взрывник, Петро, а значит, начальник, — заявил он Лаврентьеву. — Ты же знаешь, что наш Рыжий на государственном балансе экспедиции? Пропадёт мерин, тебе как начальнику — срок! Его надо сберечь в избе!

Никто из слушателей не понял, как они его втащили, но они это сделали, втиснули в узкий, короткий проход между нарами и стеной с маленьким оконцем. Перед его мордой в торцевой стене висели полки с продуктами и посудой. Отогревшись, мерин решил слегка подкрепиться крупой, сухарями и комковым сахаром. На пол из отёсанных лесин с грохотом полетело содержимое полок. Затем он облегчил свою утробу и так, и эдак.

К этому времени сердобольные коноводы пришли к окончательному выводу о том, что в избушке должны жить либо они, либо этот чёртов мерин.

— Всё! — заорал Клык. — Лаврентьев! Выводи эту скотину из избы!

— Так как она задним ходом пойдёт? — робко отозвался взрывник, памятуя о своем начальственном положении. — Да и дверь ниже его ростом!

— Как завёл, так и выводи! — не совсем решительно ответил Клык.

Рыжий Бес тем временем нагло освоился в избушке и невозмутимо хрустел сухарями и сахаром, кое-что добавляя у порога.

Для всех осталось тайной, как они в полной темноте (печку и лампу побоялись разжигать) всё-таки его вывели! А как затащили? Известно только то, что вся операция завершилась поздним утренним рассветом.

Большинство слушателей сошлись во мнении, что Клык с Петром сгибали колени несчастной скотине, а Фёдор своей могучей силой толкал мерина в избушку, а затем наоборот.

На насмешки Клык потом говорил, весело показывая в улыбке свой золотой зуб:

— Зато жизнь нам спас!

В конце мая, во время таяния снегов, поисковые работы были приостановлены. Все рабочие улетели в отпуск. Клык и Фёдор из отпуска не вернулись, растворившись в огромном обитаемом мире. Лаврентьев, вернувшись, перешёл взрывником в горный отряд съёмочной партии. В августе он умер от чрезмерного употребления чифиря и был похоронен в верховьях горной речки.

Домишки зимовья за лето полностью развалились, а Рыжий Бес осенью был отправлен с каюрами в посёлок, где его по старости ободрали на корм черно-бурым лисицам зверосовхоза.

НИКОЛАЙ ГУДОШНИКОВ

ГЛУХАРЬ

РАССКАЗ

Раннее утро. Только что взошедшее солнце ярко полыхает среди деревьев. Полузаросшая старая дорога с трудом пробивается через буйный подлесок молодого пихтача и ольховника.

Я уже второй час в пути. Иду на базу с итогами работ за месяц. Впереди меня бежит мой верный пёс Казбек. Вдруг он уткнулся носом в землю, закрутил хвостом и ринулся в чащу. Через несколько минут таёжное безмолвие всколыхнул громкий собачий лай. Догадываюсь: Казбек нашёл птицу. По привычке тянусь за ружьём, но тут же вспоминаю, что его нет. Стою и слушаю, как четвероногий друг настойчиво зовёт меня за верной добычей. Хорошо зная нрав собаки, способной лаять на птицу хоть целый день, решаюсь пойти и спугнуть, кто бы там ни был.

ГУДОШНИКОВ Николай Георгиевич родился в 1922 году в Удмуртии. С января 1942-го по май 1945 года участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Прошёл путь от командира взвода до начальника штаба батальона. Войну окончил под Прагой. Пять раз был ранен. Награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями "За отвагу" и '"За победу над Германией". Закончил Московский политехнический институт по специальности "горный инженер-геолог". В середине 1950-х годов занимался изучением медных рудопроявлений в системе реки Большой Пит на Енисейском кряже. Больше двадцати лет проработал на поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Позднее работал гидрогеологом в Комплексной тематической экспедиции КГУ. С 1973 года серьёзно занимался краеведением, участвовал в создании Историко-родословного общества в Красноярске. Собрал богатейший архив — письма, слайды, фотографии — и частично передал его в краеведческий музей. Написал две рукописи воспоминаний — о фронтовых годах "Война глазами взводного" и о работе в геологии "20 лет в дебрях Приангарья". Скончался в 1994 году в Красноярске.

С этим намерением я свернул с дороги. Через полсотни шагов придорожная чаща поредела, начался чистый бор. Ещё издали заметил крупного глухаря, сидящего на толстом суку дерева.

Чёрное оперение птицы в солнечных лучах отливало воронёной сталью. Светлые места были похожи на блики металла. Подойдя немного поближе, я начал кричать и хлопать в ладоши. Глухарь, заметив меня, хотел, видимо, взлететь: сильно вытянул шею, приподнялся на ногах, всем корпусом подался немного вперёд. Но в последний момент остановился и замер, словно спортсмен в ожидании стартового сигнала.

Его грациозный силуэт чётко вырисовывался на безоблачной синеве неба и своим великолепием захватил моё внимание. Я остановился, чтобы полюбоваться таёжной царь-птицей. Такое не часто увидишь!

Я снова ударил в ладоши, свистнул. Глухарь не шелохнулся. Тогда я быстро пошёл прямо на него, не переставая шуметь. Собака, завидев подмогу хозяина, ещё яростнее залилась лаем. Глухарь подпустил меня к самому дереву. Сейчас до него оставалось не более пятнадцати метров. "Неужели и впрямь он обратил внимание на то, что человек идёт без ружья и его бояться не стоит?" — думал я, разглядывая пернатого таёжника, как музейное чучело. А он стоял надо мной с надменно поднятой головой и не обращал никакого внимания.

— Кши, кши! Пошёл! — закричал я опять, махая руками. Никакого эффекта! Тогда я снял накомарник и стал размахивать им — не помогает. Я уже не знал, как кричать и чем махать, чтобы его, наконец, спугнуть.

Неожиданно для себя я начал обеими руками враз хлопать по бедрам. Ого! Это уже на что-то похоже. Глухарь тотчас вышел из оцепенения, встряхнул крыльями, резко опустил голову до уровня сучка и стал меня бесцеремонно рассматривать. При этом почему-то всё время старался смотреть только одним глазом, забавно поворачивая голову. Мне казалось, что он то хмурит, то вздёргивает свои роскошные ярко-красные брови. Увидев, что впечатление произведено, я увеличил темп взмахов, сопровождая их резкими нечленораздельными звуками.

Мой бедный Казбек явно от недоумения оставил птицу и выпустил заряд собачьей брехни по хозяину. Если бы в тот момент он меня ещё и укусил, то я бы не рассердился за столь справедливое выражение гнева. Я сам на себя был зол за проявленную халатность. Будь ружьё — я бы на базу мог прийти с великолепным трофеем. А теперь вместо этого вынужден скоморошничать перед глупой птицей.

Выкинув ещё несколько разнообразных колен, я остановился. Глухарь по-прежнему наводил поочередно свои монокли на странного охотника и к тому же издавал короткие трещоточные звуки, которые в данной ситуации я принял за возгласы одобрения:

— Браво, браво, маэстро! — слышалось мне. — Прошу ещё.

— Да улетишь ты, проклятая птица? — громко крикнул я и запустил в наглеца сучком, но промазал.

Глухарь пристальным взглядом проводил весь полёт палки и снова обернулся ко мне, явно выжидая, чем же я его ещё потешу. И потешил! Несколько минут я кидал в него чем попало, а он прогуливался взад-вперёд по сучку, следил то за полётом предметов, то за мной, когда я в поисках метательных средств ходил вокруг дерева.

Попасть было трудно. Но вот одна палка угодила в цель. Глухарь от удара потерял равновесие, однако не полетел, а распустив крылья, удержался на месте. Потом сообразил, что любопытство для него может кончиться плохо, бросил в мою сторону ещё несколько косых взглядов, медленно, словно нехотя, расправил могучие крылья и тяжело полетел в сторону речки.

Собака бросилась преследовать. Я пошёл обратно на дорогу, немало удивляясь загадочному поведению птицы.

ВАЛЕРИЙ РОМАНОВ

КАРАБИН НА ШЕЕ, ЗА СПИНОЙ РЮКЗАК

МИ-2

Рвёт винтами движок вертолёта
Необъятную высь синевы,
И блестит на исходе полёта
Неширокая змейка Зевы.

И пилот безо всякой оглядки
(Он в стрельбе и в бильярде мастак),
Словно шар, кладёт в лузу площадки
“МИ-второй” на листвяный пятак.

Техник выпрыгнет, руки крестом:
Мол, глушись, все о’кей, старина!

РОМАНОВ Валерий Павлович родился 22 февраля 1958 года в городе Свободном Амурской области. В 1980 году окончил ДВПИ им. В. В. Куйбышева с квалификацией “горный инженер-геолог”. Поступил в Геологосъёмочную экспедицию ПГО “Приморгеология”. Работал геологом, начальником отряда, изучал стратиграфические комплексы пород олово-вольфрамового месторождения Тигриное. Исследовал чешуйчато-надвиговые тектонические структуры Владивостокского промышленного района. Занимался обработкой и анализом проб на камне-самоцветное сырьё (сапфиры) с месторождения Незаметного. С 1997 года и по настоящее время работает в территориальном органе по Приморскому краю Федерального агентства по недропользованию. Награждён отраслевыми грамотами и ведомственными знаками отличия. Издал книгу стихов, посвящённую жизни геологов.

Почта прибыла с этим бортом,
Керосином канистра полна.

Задрожит фюзеляж на подвисе,
Нам махнёт на прощанье пилот,
И от этой машины зависит
Жизнь в полях без проблем и забот.

Сообщит направление ветра
От испревшей рубашки рука.
И рванётся мотать километры
"МИ-второй" высоко в облака.

Сентябрь 2009

НЕ ГРУСТИ

Когда рюкзак надавит плечи
И мокрый ватник стал тяжёл,
Зайди в балок, присядь у печки.
И вспомни, от чего ушёл.
Дыхнёт сурово Ледовитый
Дождём в окошко невзначай,
А ты сидишь, давно небритый,
И на столе остывший чай.

Ты не грусти о той, которой
Так много в жизни обещал.
Её уносит поезд скорый,
Тебя же ждёт морской причал.
Всё довелось тебе увидеть,
Пройти сквозь холод и жару,
Взахлёб любить и ненавидеть,
Жизнь принимать не как игру.

Для прозябающих в кварталах
Многоголосых городов
Ты ищешь залежи металлов
И, выжимая семь потов,
Ты месишь тундру и болота,
Идёшь нехоженой тайгой.
Здесь настоящая работа,
Здесь навсегда забыт покой.

г. Певек, 1979

СЕНТЯБРЬСКИЙ ВЫБРОС

Край планшета, дальний угол,
Надо взять его, хоть тресни!
Рюкзаки набиты туго,
Ну, вперёд, ребята, с песней!

Впереди распадок узкий,
Накомарник, тонкий спальник.
Десять дней такой нагрузки
Распланировал начальник.

Ходим мы не по асфальту,
Уготовила природа
Всё базальты да базальты —
Однотипная порода!

Зря гулять по пенеплену?
Думай, ты же голова!
Выпрямим, давай, колена,
С четырёх составим два!

(Сбей-ка несколько маршрутов,
Увеличь километраж.)
Дождик меленький поутру...
Ничего, на абордаж!

По долине много кочек
И борта нависли круто.
Выгадав ещё денёчек,
Возвращаемся маршрутом.

Вечером: "Сорок восьмой!"
Шеф басит по рации!
И своей радиограммой
Ввёл меня в прострацию!

Завтра в город, однозначно,
Вертолёт мне, как на блюдце!
Это ж надо, так удачно
Угадали мы вернуться!

Над палаткой ёлки сень,
Спирт на дне зелёной кружки.
И в осенний этот день
Родились мои девчушки.

* * *

Жизнь, как рюмка беленькой,
Пролетает пташкой,
Заполняя меленько
Книжку-пикетажку.

Выбран нужный азимут
По горам, равнинам.
Ожирел ты зá зиму,
Погуляй, рванина!

Рюкзачок увесистый
На спину взвали.
Будет тебе весело
В полевой дали!

Безо всяческих диет
Будешь снова строен,
Поглядишь на белый свет,
Как весь мир устроен.

Вывод сделай правильный:
"Сердцем не стареть"!

Коль не жил ты праведно,
Не́ о чем жалеть!

Все грехи обмоются
Утренней росой,
Неудачи скроются
За речной косой.

Будет нам опорой
Длинный молоток!
Будет праздник скоро!
Наливай, браток!

* * *

Карабин на шее, за спиной рюкзак,
Тянешь ещё сзади лошадь в поводу.
А на тёмном небе молнии зигзаг...
Вспоминаешь, где это и в каком году?

Вспомнишь ли распадок, первый свой лоток,
Где в шлихе нежданно высветился "знак",
Вспомнишь, как на сплаве ты попал в поток,
Думал, что хана тебе, выбраться никак.

Вспоминаешь, где это и в каком году?
Рокот вертолёта слышен вдалеке,
Ягоду бруснику — горстью на ходу,
Свой удачный выстрел, мясо в котелке.

Ты идёшь по профилю, затеси в смоле,
Взгляд прощальный женщин, тех, кого любил...
Тёплый день апреля, рюмки на столе,
И в мозгу надежда — нет, не всё забыл.

* * *

День геолога — странный праздник.
Намечает апрель-проказник
Сбор тяжёлого рюкзака,
Ноги в руки — ну, всё, пока!

И, вдохнувши апрельского воздуха,
Отупевши от зимнего отдыха,
Будоражатся люди странные,
Далеко не красавцы экранные,

Истаскавши себя на маршрутах,
Измотавшись в горе на рудах,
Каждый год, как апрель приходит,
Они места себе не находят.

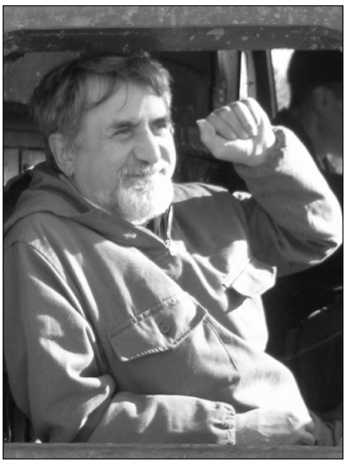
Плачут женщины, на лето брошенные,
Проклинают апрель непрошеный!
Но разводятся в стороны руки:
"Не грустите без нас, подруги!"

И вернутся, заросшие, грязные,
Пусть не телом — душою прекрасные,
Загрубелые люди странные,
Сядут за отчёты пространные.

За отчёты засядут пространные.

Будут праздник ждать,
новый апрель,
Стиснув зубы,
глазами мокреть.
Матерком провожая
на долгую зиму,
Успокаивать снова
любимых.

АЛЕКСАНДР КУРТ



ЖИВОЙ МАМОНТ

РАССКАЗ

Посвящается геологу
Виталию Хисамутдинову

Вторые сутки я и мой попутчик Жора Вяткин, жилистый сутуловатый мужик лет сорока, ожидали погоду в экспедиционной "заезжке". Это типичное строение, обязательное для любой геологической конторы, с низким потолком, небольшим оконцем, печуркой и сплошными нарами вдоль свободных стен, располагалось на отшибе леспромхозовского посёлка рядом с вертолётной площадкой. Наш борт, вертолёт МИ-8, был давно загружен и одиноко мок невдалеке, опустив все свои винты чуть ли не до земли. На юге, прямо за ним, начинались отроги Саянских гор, невидимые сейчас из-за затяжного дождя.

В этом году, там, на высоких гольцах, организовывалась поисковая партия под редкоземельные пегматиты. Я летел туда впервые, а Вяткин сопровождал груз. За двое суток мы быстро сошлись, нашли кучу общих знакомых, пересказали все новости, о которых слышали или которым были свидетелями. Сам Жора был широко известен в "бичёвской" среде, этих работяг со сложной биографией, мигрирующих по обширным северно-восточным территориям от сезона к сезону, от одного геологического начальника к другому. Он слыл хорошим конюхом, но прославился своими неординарными поступками и приколами. Не раз мне рассказывали о его причудах. Самую

КУРТ Александр — геолог, с 1970-х работал в полевых партиях в разных труднодоступных уголках Советского Союза от Кольского полуострова до Камчатки. Начинал трудовую деятельность помощником бурового мастера, мастером 6-го разряда, старшим мастером, потом — геологом, старшим геологом, ведущим геологом, научным сотрудником, ведущим инженером, начальником геолого-информационного отдела. Ветеран труда.

ходовую байку — про въезд верхом на лошади в магазин знали даже пришлые бичи с северов. Поэтому я с интересом приглядывался к этому серьёзному, степенному на вид и на редкость дружелюбному человеку. В настоящий момент Жора слегка опух после недельного "кувыркания" в посёлке, тем не менее был полностью доволен своим состоянием и текущей жизнью.

После обеда дождик стал стихать, и мы собрались, было, размять немного ноги, когда в дверях нарисовался длинный очкарик со впалой грудью. В одной руке он держал диковинный на вид клетчатый чемоданчик на молнии, другой неудобно обнимал куль спального мешка, так как у замусоленного чехла была оторвана ручка.

— Здравствуйте, мне сказали здесь можно переночевать. — Он вежливо улыбался, оглядываясь в полутёмном с улицы помещении.

— Проходи, мест много. Где понравится, там и падай, — отозвался Жора. Он перехватил у него мешок и бросил его на нары, критически осмотрел и добавил, обращаясь ко мне. — Заслуженный спальничек, сразу видно, не один бич в нём помер.

— На выбор дали, другие похуже были, — отозвался парень.

— Утиль списанный в оборот пустили. А где сейчас другой возьмёшь? Народу-то сколько на гольцы отправили — тьма, — прокомментировал Жора, устраиваясь на одном из чурбанов возле массивного самодельного стола. — Как звать, куда путь держишь? — дав парню оглядеться, спросил он.

— Леонид я, журналист из Москвы, буду писать статью о геологах. Мне в конторе сказали, что завтра к ним полетит вертолёт, возможно, даже сегодня, — парень отвечал охотно и с подчёркнутым достоинством. — Вы его тоже ждёте?

— Везёт тебе, Лёня, а значит, и нам повезёт, мы с Лександром заждались уже. — Вяткин усмехнулся. — Следующий борт будет только через пару недель, а этот позавчера должен был улететь. Вон стоит, тебя ждёт, — кивнул он в окно. — А ложка у тебя есть?

— Есть, — опешил корреспондент, — а что?

— Там на плите гречка с тушёнкой да чай, всё ещё горячее, порубай с дороги.

— Спасибо, я уже в столовой поел.

— Ну, как знаешь. Не заметил, когда из столовой шёл, магазин ещё не закрыли?

— Не обратил внимания, спешил, небо-то проясняется, — признался Леонид.

— Примета такая есть, — вздохнул Вяткин и начал споласкивать кружки. — Дождик хотя и перестал, да туман вверх ползёт, вот если бы вниз упал, то завтра точно улетели бы, — он с прищуром, как бы оценивая весомость своих слов, посмотрел в окошко, — а так неясно пока. Но если в это время путник сбрызнет по сторонам водкой, то горный дух сразу забудет про дождь.

Я с интересом слушал Вяткина, понимая, куда он клонит. Денег у нас давно не было, а Палыч строго-настрого "попросил" продавщицу не принимать от нас дефицитную тушёнку в обмен на водку. Несмотря на то, что Вяткин говорил совершенно серьёзно, парень, сверкнув очками, понимающе улыбнулся.

— Ну, если спирт сойдёт, то можно и поколдовать, — он без колебания вскрыл свой куцый чемодан и вытащил алюминиевую армейскую фляжку.

— Спирт, паря, завсегда лучше водки действует на горного духа, — Жора сразу же ополовинил флягу в черпак, предварительно зачерпнув из ведра водицы.

Целый час конюх вовсю рассказывал московскому журналисту про таёжную жизнь, про злобных по весне и добрых осенью медведей, про прыгающих сверху коварных рысей и про хитрых росомах, отпугивающих собак своим зловонием. Леонид добросовестно уточнял детали, периодически чиркал что-то в зелёный блокнотик, пока его не остановил вопрос Вяткина, задумчиво разбавлявшего остатки спирта:

— А что, Лёнь, уже и до Москвы дошло о нашей находке?

— Да, это замечательное открытие, уникальное месторождение. — Раскрасневшийся корреспондент начал пересказывать свою будущую статью, которую он уже, видно, заготовил. Он говорил о необходимости для промышленности тантала, рубидия и цезия, о бурном освоении этого края, о железной дороге и горном комбинате, о превращении этого посёлка в город.

— Да я не о пегматитах, — прервал его Жора, — их здесь навалом, если надо, весь Союз обеспечим, хоть танталом, хоть цезием. Ты-то в своей статье об этом как раз потише, это гостайна, сырьё стратегическое, для оборонки в основном, — многозначительно протянул он. — Подписку о неразглашении давал?

— Нет, — удивился Леонид, — никто не говорил даже, что это секретно.

— Кто тебе заранее скажет, — хмыкнул Вяткин, — на месте и скажут, и подписку возьмут. У нас там дармоедов этих больше, чем бичей.

— А как же писать тогда, если подписку возьмут?

— Будешь писать эзоповым языком, слышал, наверное, о нём, из Греции он. Так говоришь, тебя из Академии наук прислали?

— Нет, я из молодёжного журнала.

— А-а, — разочарованно протянул Жора, — значит, и это засекретили, — он выделил голосом слово "это". — Вон на Колыме откопали в мерзлоте мамонтёнка, так на весь мир прогремело, какой он целый да какой он хороший. А у нас вторую неделю как мамонт живёт, и тишина. Засекретили, паразиты.

Жора крепко и с чувством выругался, а я поперхнулся своим спиртом.

— Извините. — Леонид начал протирать очки. Он уже опьянел, но здравый смысл сидел в нём прочно. — Что значит — мамонт живёт? Живой мамонт?

— Обыкновенно, живой, — пожал плечами Вяткин, — только худой очень, боимся, сдохнет, не дождётся академиков. Тут ещё погода нелётная, пол-лета можно проторчать в этих хоромах, а другой дороги на гольцы нет.

— Ну-ну, — корреспондент нацепил очки, — с горным духом всё понятно, а про живого мамонта рассказывайте кому-нибудь другому.

— А чё рассказывать. — Зевая, Вяткин полез на нары. — Завтра прилетим, руками пощупать сможешь. — И добавил уже сонным голосом: — Только он вонючий, этот мамонт.

Наступила тишина, мы тоже стали укладываться.

— И откуда он у вас взялся, тоже из вечной мерзлоты откопали? — съехидничал корреспондент, ему не спалось, и он решил ещё потрепаться.

— Нет, из расселины одной, — сразу оживился Жора, — как раз после майских праздников. Палыч тогда ещё два ящика водки забросил с бортом, а мы изюбря завалили, отгуляли, понятно, чин чином. А потом пахота началась — "магистралку" били на взрыв через весь участок. Вот от этих-то взрывов один ледничок с вершинки гольца и стронулся, и пополз себе еле-еле, а под ним в крутом склоне расселина метров на десять была, ледничок её, как крышкой, прикрывал. Когда геофизики профиль тянули, на неё и наткнулись. Ребята заглянули туда, а там на дне мамонт лежит, как будто спит, весь заиндевевший. Понятно, Палыч радиограмму в Иркутск, а оттуда ответ: ждите, из Москвы вылетает комиссия от Академии наук, и велели организовать круглосуточную охрану. За неделю ледник совсем сошёл, и мамонт под весенним ветерком начал оттаивать. А тут ещё взрывы бум да бум каждый день, ну, и разбудили мамонта, когда он совсем отогрелся на солнышке. В спячке видно, как медведь, был, да ещё закупоренный под ледником, да на высоте, где не воздух, а благодать Божья, вот и сохранился в невредимости. Начал реветь, буянить, оголодал за столько лет, а выйти не может. Мы стали ему туда всё подряд бросать — ветки кедрача, мох, за травой вниз спускаться начали, работу всю забросили, лишь бы не сдох. Сейчас Палыч с боем, через Иркутск, у леспромхоза немного сена и овса выбил, в начале лета это большой дефицит, да вот погода подкачала. — Вяткин протяжно зевнул. — Привезём завтра сено, а он того уже, копыта кверху, придётся обратно сено везти. Да что гадать, завтра прилетим, увидим.

Не зря был выпит вчера весь корреспондентский спирт, духи гор смилостивились и подарили нам ясное утро. Вскоре подъехала полуторка с экипажем вертолёта и нашим начальником. Пока лётчики возились со своим хозяйством, мы уже сидели среди ящиков и мешков, устроившись, кто как мог, так как, кроме обычного экспедиционного барахла, борт был забит под завязку аккуратными кубиками спрессованного сена.

— Один лишний, — сказал усатый лётчик Палычу, — или сбрасывай четыре тюка сена.

— Вылезай! — ткнул Палыч пальцем в корреспондента. — У меня без сена Мамонт ноги протянет, а на Велосипеде много не наездишь.

— Мне надо обязательно лететь, я из Москвы уже полмесяца добираюсь. У меня командировка кончается! Это моё первое задание! — Леонид нешуточно раскраснелся, но с места не сдвинулся.

— Через пару дней комиссию к нам чёрт несёт, с ними и прилетишь. Погода наладилась, а борт им всегда подадут, — доброжелательно обратился обычно немногословный Палыч. Видно, ему не очень хотелось ссаживать съёжившего корреспондента.

— Давай, давай, — ласково хлопнул его по плечу Вяткин, — видишь, мамонт важней, чем ты. Если он сдохнет, а академики прилетят, то нехорошо получится. Палыча могут под суд отдать, да и нас по головке не погладят. А так ты статью о живом мамонте напишешь, тебе сенсация, а нам премию подкинут, а, Палыч? — Вяткин очень серьёзно посмотрел на начальника. Тот всё понял, сплюнул и отвернулся.

— Володь! — Жора сразу же обратился к лётчику, который терпеливо слушал перепалку. — Согласись, что для мамонта этих харчей на два-три дня, а потом тебе опять придётся борт гнать за сеном, пока эти академики доберутся до нас.

У летуна под усами заиграла понимающая улыбка, он неопределённо махнул рукой, словно отгоняя овода, и осмотрел Леонида, как бы взвешивая в уме его щуплую фигуру. А журналист, набычившись, переживал страшную бурю в душе — солидные и авторитетные для него люди вполне серьёзно обсуждают проблему транспортировки сена для мамонта и встречу комиссии из Академии. А с ними, уж точно, припрётся куча мастистых журналистов, и если его сейчас ссадят с вертолёта, то кому тогда будет нужна его статья о живом мамонте! Вот если бы первым написать, то его статью перепечатают во всём мире, и автором сенсации будет он, Леонид Мамулин.

Наконец, сделавшись совсем красным, он выпалил, обращаясь к лётчику:

— Я месяц назад с парашютом прыгал, удостоверение и значок дали, — и ткнул себя в грудь, где действительно был значок, незаметный сразу на пёстрой рубахе.

— Ладно, раз летун, значит, наш человек, беру под свою ответственность — Володя решил проявить щедрость души, — только уговор: в случае чего ты выпрыгиваешь первым, — подмигнул он враз повеселевшему корреспонденту и полез к себе в кабину. Вообще-то вертолётчики не упускают случая установить статус-кво по отношению ко всем, у кого не было голубых фуражек.

Взлетели, однако, легко. Палыч начал перебирать свои бумаги, Леонид сразу же прильнул к иллюминатору, а Вяткин стал мститься, чтобы подремать. Я наклонился к нему и сквозь шум спросил: — Что, Жор, Велосипед ваш на заднюю ногу хромает?

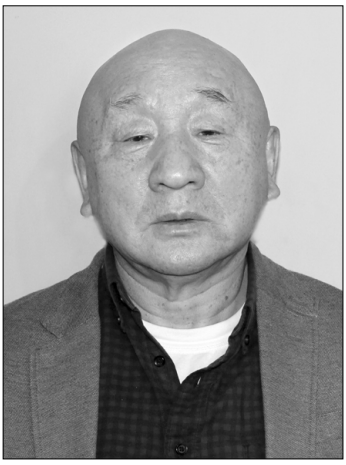
— На заднюю левую, в прошлом году отшибло, а так хороший лошак был, он её так задирает, будто педаль крутит.

— Понятно, ну, а Мамонт почему, лохматый, что ли?

— Здоровый просто мерин, порода есть такая тяжеловозов. Я всю жизнь с лошадьми вожусь, а такого бугая первый раз встретил. С запада откуда-то к нам попал. Не мерин, а сущий мамонт.

Я тоже пристроился среди мешков с овсом и под гул мотора и лёгкую вибрацию задремал.

ВЛАДИМИР ЛИМ



СВЕТИТ МЕСЯЦ

РАССКАЗ

Была годовщина смерти отца, и вы поехали домой, в Долину.

Весь этот год вы ей не писали. Нельзя сказать, что вы не любили её, но никогда не называли мамой, не могли называть и по имени-отчеству — Роза Искандеровна, — с детства говорили “вы”, а это “вы” в разговоре с ней и “она” в разговоре между вами стало её именем.

Вы быстро росли, притолоки родного дома стали низки для вас, тесной — кроткая долина; вы ушли за перевал к Большой воде.

Другие женщины, юные, тонкорукие, отстирывали залоснившиеся вороты ваших рубах, другие ветры трепали над серыми городскими дворами ваше заношенное в трудах бельё.

Вы стали отцами, а жены ваши — матерями, огрубели их руки, помутились, поскучнели от долгих забот их ясные взоры; вы заглядывали в чужие лёгкие глаза, жадно грешили душой и торопливо — телом, а она ждала вас.

И сейчас она ждала вас, выглядывала из густой не оседающей пыли под горячим железным боком сильно состарившегося корейского “Хёндая”.

ЛИМ Владимир Ильич родился в 1948 году в п. Кировском Соболевского района Камчатской области, закончил школу в Петропавловске, затем Литературный институт им. Горького в Москве. После службы в армии работал корреспондентом отдела экономики “Комсомольской правды”, в 90-е вернулся на Камчатку, работал в областных газетах, возглавлял еженедельник “Вести плюс ТВ”. Повести и рассказы писателя Владимира Лима публиковались в журналах “Октябрь”, “Дружба народов”, “Дальний Восток”, и в других центральных всероссийских изданиях. В 2015 году в Москве вышла книга “Горсть океана”, в 2019–2020 годах в литературном альманахе “Камчатка” был опубликован роман “Смерть приходит на рассвете” о трудных судьбах простых людей – жителей побережья полуострова.

Вас разделяли большие немытые стекла; некая дама с белым пуделькомна руках стояла на ступеньках, не решаясь ступить в клубящуюся у самых дверей белесую завесу. Пуделёк, поворочав женской своей головкой, выскользнул на застеленную гравием площадь, и кинулись к нему мосластые псы. Дама вытянула руки и бесстрашно шагнула наперерез. Посмеиваясь над ней и её собачьей любовью, повалил народ в двери — за раму застывшего деревенского светлого дня.

Она касалась вас, ощупывала ваши щетинистые лица, становясь на цыпочки; маленькая, сухая, она жадно и торопливо тянула к вам чёрные твёрдые ладони: здравствуй, Илюша, сыночек, здравствуй, Никита, сыночек, здравствуй, Алёша, сыночек, здравствуйте, родные деточки...

Она пыталась нести ваши и без того лёгкие ноши, она семенила меж вас, прислоняясь на мгновение то к Илюше, то к Никите и, конечно же, к Алёше, как к вырвавшимся из леса деревьям.

Шли быстро, потом ещё быстрее в надежде опередить её и прийти к родителям втроём, хотя бы несколько минут побыть у них без неё.

Она не отставала: как всегда, так и в старости легка на ноги. Вы злились, нет, злился старший — Илья, а вы ему сочувствовали, но и её, побледневшую, с потом в серых чистых морщинах, жалели.

Гуськом, невольно смягчая шаг, пошли за оградку, услышали, как коротко прихлопнул Илья за собой железную калитку.

Вы не оглянулись, сели на скамью, но знали, что она, отрубленная от вас, с ласковой болью смотрит в ваши крепкие крутые спины.

Широкий плоский холмик ровно засажен кудрявым клевером; у памятника из светлой мраморной гладкой плиты со свежими мелкими царапинами — счищали птичий помет — бархатились по-женски траурно и ветрено анютины глазки.

Из плиты дружно и удивлённо смотрели в этот свет отец и мать — это вы соединили их, примирив посмертно. Всё пространство, охваченное оградкой, было обжитым и ухоженным, и даже самый воздух над тёплой травяной могилой пах чем-то домашним, крепким...

Вы выпили: Илья, Никита и Алёша. Потом, наполнив стаканчик всклень, оставили родителям, примяв донышком головку клевера. Вяло закусили городским очерствевшим хлебом. В молодой рябине, в сквозившей кроне, пряталась сорока и не своим — певучим влажным — голосом звала кого-то. Так же гуськом вышли. Она нерешительно приблизилась.

— Спасибо вам, могилу соблюдаете, — сказал Илья.

Она замахала руками, роняя привычные слёзы:

— Господь с тобой, Илюша, мне это в радость, в утешение...

— В радость?

— И в утешение, — легко подтвердила она.

Вновь семенила; глазами, руками, опавшим лицом об одном молила: живой к нему не пускали, так мёртвой пустите...

Вы спали во дворе, раскинув вольно тяжёлые руки в верёвочках вен. Илья сердито дергал большой головой, напрягался телом — и во сне ворочал грубые литые части перетрудившихся дизелей. Никита лежал колодой, лишь иногда покойно и сыто шевелил губами. Алёша спал на боку в жалобной детской позе и во сне тосковал по молодой жене.

Вы проснулись далеко за полдень. Она оттрепала в мыльной воде ваши запылившиеся сорочки, подсунула под ваши тяжёлые головы белые подушки и веяла полотенцем на ленивых комаров.

Тебя, Алёша, она любила за красивое лицо и лёгкое сердце.

Тебя, Никита, за спокойный податливый нрав.

Тебя, Илья, больше всех, за въедливую, обо всем страдающую душу.

Не ты ли стерёг отца от неё, не ты ли со взрослым презрением провожал её взглядом в родительскую половину, не ты ли разбил большое мамино зеркало, когда она засмотрелась в него, не ты ли пачкал и рвал на себе и братьях рубахи, марал её тканые половики, подрезал лезвием её платья в мамином шкафу?

Она молчала, не жалуясь, по целым дням не разгибаясь, латала, стирала, шила; иногда против воли ты засматривался на неё — так плавно,

красиво ворочая кистью, продёргивала она иглу, так робко сушила свои волосы у открытого окна.

Слёзы закипали оттого, что мамы нет и вместо неё в доме эта красивая чужая женщина. Это её, вздрагивающую, с откинутым набок, неприятно алевшим лицом, нёс над бродом отец, а мама, больная, родная, плакала, накрыв своё горе больничным одеялом.

Ты воткнул в мыло острые сапожные гвозди, и она, стирая, поранила ладонь, и, когда она, слизывая кровь с мыльной руки, плакала над корытом, ты жалел её, но против воли показал язык, и она ударила тебя, потом, опомнившись, била ударившей рукой о тонкий край ванны до тех пор, пока...

Вас разбудили ягодники: сестра по отцу Варя, её муж прапорщик Соловей и племянница Элла. Во дворе стало тесно: от металлического блеска "Лады", от стереофонической музыки, от воркованья Вари, от пущенных на волю розовых свиней и визга Эллы.

Соловей втаскивал в дом вёдра со смородиной, увесистые кули с сахаром, по-хозяйски стуча подкованными сапогами. Ходил по дому, как на родном плацу, покрикивал на баб, появлялся на крыльце и подмигивал — сначала без ремней, потом без кителя и засаленного в узле галстука и, наконец, в шикарных махровых спортивных трусах, адидасовских кроссовках, курортно загорелый. Он шёл на вас, раскинув руки, в мнимой угрозе шевелил круглыми плечами: а ну, богатыри, померяемся силушкой!

Вы смотрели лениво из-под опущенных век, как Соловей кружился, вцепившись в Алёшу, тянул его от земли, багровея стриженым затылком, отрывал — и вдруг каким-то ловким коротким заморским движением тихо усадил в колосившийся пырей.

Алёша не поверил, кинулся, с весёлой яростью, оскалив молодые зубы, звучно рухнул кулём — и так несколько раз.

Послали Никиту, Никита, хитрец, отвертелся: не люблю я это дело.

— А мы тебя, жеребца обутого, по-простому, по-русски, — погрозился Илья, поднимаясь на Соловья.

Зять был на голову ниже, казался слабее, но Илья не верил, остерегался, забирая в ладонь служивый затылок, сторожил его умелые ноги...

Тут и она подоспела, рассудила мокрым полотенцем; сердцем почуяв ещё далёкую беду. Соловей подчинился, с показным великодушием оставил поле боя, занозив тебе душу.

Зять надумал мыться. С трудом достали из колодца несколько вёдер мутной воды. Колодец давно уж обмелел, заилился, теперь из него не пили. Сруб подгнил, зацвёл омертвело. А вы ещё помнили его живой древесный цвет, освещавшую его желтизну; вода чистая, калёная, всегда прохладно пахла листвяком.

Чистить колодец теперь опасно — сруб, утратив прямизну, ослабел, было слышно, как тяжело и придушенно он дышал.

Был бы хорош в застолье Соловей, да заел своей похвальбой:

— Сколько вы имеете? Ты вот, старшой, сколько имеешь на верфи? Я имею сто, на всём казённом опять же! Иди к нам! Заметь — у меня склад, а на складе — ого-го!

Алёша с ответным восторгом внимал, Никита морщил лоб, с ученической заботой считал в уме чужие деньги, а зять цвёл — приятен не достаток, а уважение на нём. Соловей вёл застолье широко, прежде чем выпить, долго говорил, каждого одаривал улыбкой или лаской. К нему тянулись — справа дочка Элла обнимала, слева влюблённо теснилась жена, и только ты, Илья, смотрел подавленно, ревниво...

Затеялись петь. Соловей только мигнул, а Варька уже летела с гитарой, стыдливо, как от мужского намёка, алея лицом. Он долго прилаживался, трогал струны, щуря чёрный глаз от струйки сигаретного дыма. И ты, Илья, узнал повадку умелого гитариста, и так утешился, будто долго пел с ним о любимом.

Заиграл Соловей странно знакомое, но неузнаваемое, и, только когда запела Варя, придерживая сильный рвущийся голос, ты оторопело понял — с нежным глубоким чувством выводила она слова никчёмной песенки:

По полям, по полям
синий трактор едет к нам,
у него в прицепе кто-то
песенку поёт...

Так же вдохновенно, жмурясь, пел и Соловей. Всякий раз на слове "трактор" он восторженно поднимал палец, окидывал всех мечтательным, призывающим к сочувствию взглядом.

Пели все, кроме тебя и... Эллы. Она легонько, но назойливо подталкивала отца под локоть, потом объявила: "Зачем вы поёте мою песню? Пойте свою!"

— Песни не еда, — ласково поправил Соловей, — песни общие!

И тогда запел ты:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны!

Соловей поддержал снисходительным цыганским перебором, но ты сконфуженно умолк — забыл слова. Ты даже закрыл глаза, напрягся, как в работе, всем телом, усилием мышц помогая памяти.

— Я тут решил подстроиться, — выручил Соловей. — Скинуться бы...

Ты, переживая свою забывчивость, невнимательно кивнул.

— А давай, — согласился следом Алёша.

— Я как все, — отозвался Никита.

— Как это — подстроиться? — очнулся ты.

— Планировочку изменить, а то! Входишь в дом и сразу кухня, негигиенично, каждый опять же гость нос в твою тарелку сует.

— Не тобой заведено, не тебе и переиначивать!

— Не от хорошей жизни заведено, от отсталости...

— Ты вот что, Соловей, не свисти, дом этот мои родители ставили, нам он родной, и всё останется как есть, ага? — ты притянул его за ворот, холодея душой, зять послушно подался к тебе, мирно разведя свои ухватистые руки.

Ты пошёл из-за стола. Все смотрели мимо. Ты чувствовал: что-то не так, неладно — то ли на сердце, то ли в жизни. Она стояла лицом к тебе, быстро крутила ручку мясорубки. На полу в тазах — пересыпанная сахаром кислая смородина.

— Что, сынок?

Волосы русые поредели, теперь сохнут быстро... перестала крутить.

— Устал, сынок?

Всегда так смотрит, будто ждёт чего-то.

Ты только раз назвал её мамой, в смертной тоске увидел в ней родную: телега опрокинулась в протоке, вынырнул на мгновение, увидел её лицо над мутным потоком, плывущие волосы, крикнул задушенно: "Мама!" — она так рванулась, что уронила грудную Варьку, едва не потеряла, спелёнутую, в быстрой, густой от размытой глины воде.

— Похудел на лицо, так тебе виднее, — ласково похвалила она.

— Вы простите, что мы вас мамой не зовём, — ты, тоскуя за неё, смотрел слепо и не видел, как она задохнулась, зажмурилась, будто в лицо плеснули чем-то горячим,— вы нас растили, поднимали, вы нам родная, — ты замолчал и увидел вдруг, как подломились её колени, как, закручиваясь на пятках, мягко осела она на пол, успел подхватить...

Слабая улыбка сходила с её распавшихся губ, веки дрожали.

— Что вы, зачем вы, — говорил ты, ещё не веря. В детстве, бывало, играя с вами, падал отец в траву, притворялся мёртвым.

Через её лицо, расправляя морщины, бежала быстрая грозная тень.

— Эй, ну-у... Братья! — жалобно крикнул ты. — Кто-нибудь...

Ввалились гурьбой, Соловей быстро приник к её груди ухом.

— О-ё-ёй, мамочки родные! — криком рвала душу Варя.

— Молчать! — отрезал Соловей. — Аптечку! Бегом!

— Какую аптечку? Где аптечка? — голосила Варя.

Соловей, оттолкнув её, бросился вон, вернулся, на ходу потроша автомобильную аптечку. Вы с надеждой смотрели на него: пальцами раздвинул ей зубы, поднял язык, сунул таблетку.

— Иди сюда, — позвал он Варю.

— Ой, мамочки, боюсь…

— Иди сюда, дура, — он так дёрнул её книзу, что она со стуком упала на колени, — если не очнётся сейчас, дыши ей в рот, дыши!

— Не умею я, ой, не умею, — ревела, мотая облитым слезами лицом, Варя.

Вы пошли за Соловьём, Алёша сел к нему в машину, а ты некоторое время бежал за ними, держась за капот.

Вернулся в дом — как в могилу. Осторожно, не чуя тяжести, перенесли мать в спальню. Варвара, давясь рыданиями, приникла к её губам — дышала за неё, потом ты, потом Никита.

Соловей и Алёша вернулись с врачом. Врач выгнала всех, и вы, одинокие, столпились на кухне.

Соловей ссыпал в бак для белья смородину, она не вмещалась, он давил её безжалостно, по локоть топя в ней руки, выволок бутыль со спиртом, грохнул её во дворе…

— Как же так, Илюшенька, как же это? — причитала Варя.

— Это я, — покаялся ты, — я только прощения попросил… попросил, — чем-то горячим грубым перехватило горло, — что мы мамой никогда не звали…

— Ой, убил, убил! — кинулась Варя, ударила кулачками по поникшей голове.

— Мать она нам, — сказал Алёша, — будем звать её мамой, повыкали…

— Будем, — сказал ты.

— Будем, если не… — не договорил Никита.

— Живая ваша мама, — весело сказала врач с порога.

Вы увидели, что врач совсем ещё юная женщина. Радуясь, она подошла к вам и облегчённо оглядела простыми глазами. Алёша быстро обнял её, она не смутилась, подождала и сказала:

— Глубокий обморок… сердечно-сосудистая дистония…

Варя вас к матери не пустила, взяла её на себя, и вы согласились.

Никита, Алёша и зять уехали с врачом, тебе не с кем было разделить радость, ты ходил вокруг дома, трогая тёплые стены, потом присел под открытыми окнами, чтобы быть поближе к родным голосам.

В сумерках так чисто и ясно светились в пол-оконницы белые занавески.

— Ой, мама, зачем ты их так любишь, — говорила Варька, — люби нас, мы тебе всё ж родные…

— Вы мне родные, — тихо, тепло говорила в темноту мать, — а они мои сироты, и сердце от них болит…

Ты встал и пошёл прочь от дома; в быстрой круговой ходьбе тебе было легче выносить муку сострадания, вместе с резким и глубоким дыханием выветривалось из неё что-то жгучее, и она оседала нежным тёплым дымом.

В стороне, пыля до небес, мягко неслась “Лада”, белым огнём фар опаляя картофельное поле.

Кто-то лёгкий, тихий стал позади тебя, ты обернулся, увидел родное тёплое лицо.

— Это вы? — удивился ты и осёкся.

— Ничего, ничего, родный, ничего, Илюша, — утешила сына мать.

Вы долго молча возвращались. Над далёкой рекой, над ясным стеклом сумерек восходил острый месяц, он светил всем — над полем, над домом и родными могилами.

…Когда-нибудь уйдём и мы, но над смертною мглою светлый месяц взойдёт, протянутся острые ясные тени, и кто-то другой над светлым полем песню другую споёт.

ИГОРЬ ШПУРОВ

ПОЖАР МОЕГО БЫТИЯ

ОЖИДАНИЕ ЗАВТРАШНЕГО СНЕГА

Темноволосый вечер
Зажигает глазницы окон.
Его осенняя куртка
Застёгнута молнией улиц.
Его влажное тело
В холодном поту тумана.
И мы просто слезинки
В его плаче о лете.
И в венах его проспектов
Нет места горячей крови.
Но горечь холодного кофе
Заставит нас выйти из дома.
На улице странный голос
Поёт о завтрашнем снеге,
Который выпадет в полночь,
Закрыв собой всё, что было.
Мудрая сущность снега
Сделает вечер пьяным,
Мы будем кидаться друг в друга
Снежками вчерашней боли.
И когда странный голос стихнет,

ШПУРОВ Игорь Викторович родился в 1964 году в Тюмени. Автор трёх сборников стихов и множества публикаций. Доктор технических наук, профессор, заслуженный геолог РФ, член Союза писателей России.

Умерев от вечной простуды,
Мы покинем холодные стены
В ожидании полночного снега.

* * *

Марине

Алиса сказала: “Всё страньше и страньше
Сейчас я живу, но жила ли я раньше?
Ведь вместо “вчера” лишь его отраженье,
Так что было словом, а что — возражением?”

Калитка у дома распахнута настежь.
Ты пустишь кого-нибудь? Что это? Страсти?
Какое занятье дурнее плохого?
Что жизненно важно? А что — пустяково?

Ты просто прекрасна! А может, роскошна?
Я оду пою иль кричу я истошно?
Как много слов важных, но пустопорожних...
Так жизнь протекает в метаньях ничтожных.

* * *

Твои речи, как день,
А глаза — словно ложь.
И сплошные сутки — любовь.

Я-то мёртв, словно пень,
И двигаюсь прочь
От холодных, как иней, слов.

Мне бы надо забыть
Цвет сияющих глаз
И наивную сладость речей.

Мне бы помнить, что дар
Начинать каждый день,
Он не твой и не мой — Ничей.

Зато есть электричество
В каждом из нас.
Оно может не слабо бить.

Каждый знает о том —
Чтоб ослабить удар,
Надо просто побольше пить.

Что потом? Ничего.
Никуда. Низачем.
Место чувств заполняет тоска.

Твои речи, как день,
Только дождь моросит,
И, наверно, зима близка.

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА КАК СРЕДСТВО ТОСКИ

Чёрная трубка — ведьминский волос.
Бьётся, как ритм строк,
Не желая опять слышать твой голос,
Всё ж боюсь пропустить звонок.

Не стремясь быть смешным,
Но боясь прослыть скучным,
Зная точность случайных фраз,
Я кричу, словно в рупор,
В мире бездушном
Неуклюжие фразы о нас.

* * *

С одной стороны, светает,
С другой — наступает ночь,
Вокруг незнакомые лица,
Что здесь я делаю? Прочь!
Свеча на столе, как призрак, —
Пожар моего бытия,
Я жгу время этой жизни,
Сжигая в огне себя.

Завод повседневных желаний
Не первый раз без угля,
Шахтёры покинули шахты,
Узнав изнутри меня.
Забавный кроссворд разгадан,
Все буквы знают места,
Нет лишь одного ответа —
Где место забытой “Я”.

Банальны твои вопросы,
Известен на них ответ —
Шахтёрам достанутся розы,
Мне — в вечность плацкартный билет.

АЛЕКСАНДР КРЕМЕНЕЦКИЙ

ОДИНОКИЙ ПИНГВИН

РАССКАЗЫ

ЕВА-ХОН

Он не любил маленьких собак. Беззащитные мордочки с выпуклыми грустными глазами, трясущиеся туловища и в довершение — мышиные лапки и голый хвостик. Цвет, даже чёрный, этих собак тоже никак не украшал. Что же касается их характера, то уж если кого не любишь, то и в ответ тебе — тонкий противный лай, да ещё, если замешкаешься, можно и за ногу схлопотать… исподтишка… По этой причине он не любил и чеховскую "Даму с собачкой". Две такие маленькие собачки: вечные слёзы, сопли и поджатые хвосты…

Другое дело большие, настоящие собаки. Особенно те, что как волки. Они были его слабостью с детства: Белый Клык, Бэк, Джульбарс… Свободные и преданные, они умели дружить… гордо и безоглядно. Ещё он любил лаек. Во-первых, они все, как одна, красавицы; во-вторых, неприхотливы, выносливы, беззлобны.

Когда-то раньше и у него была лайка, западносибирская, охотничья, по кличке Марта. Она с ним пешим ходом, на машинах, поездах и самолётах не один раз пересекла полземли с запада на восток и с юга на север.

КРЕМЕНЕЦКИЙ Александр Александрович родился в 1941 году. Известный ученый, Заслуженный геолог Российской федерации, доктор геолого-минералогических наук, директор Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. В последние годы А. А. Кременецкий возглавляет проект по геолого-геохимическому и изотопно-геохронологическому изучению пород дна Северного Ледовитого океана, а также геохимическому картированию российского сектора Арктики. Предлагаемые читателю рассказы выходили в книге "Чука" — это и воспоминания о близких, и путевые зарисовки, и истории научных открытий.

В тайге, в пустыне, на берегу океана она всегда была полезной и вольной. И только в Москве, в доме на третьем этаже, в углу на коврике она вынужденно и терпеливо отбывала свою гауптвахту. Они дружили, но их дружба была неравной. Он был более требователен к ней, чем она к нему. Она его всегда и беспрекословно слушалась, но особую любовь — прижиматься там, лизаться — не проявляла. Ну, подойдёт иной раз к нему, сидящему на привале, ткнётся мокрым носом в руку — "мол, я здесь..." Вот, пожалуй, и всё. Ещё у него с ней был заведён такой порядок: у стола не торчать — в лесу все и так есть; в маршруте под ногами не тереться — зверя вокруг искать надо; ночью спать за палаткой — нечего мешать соседям. Каждый вечер, когда он забирался в свой спальный мешок и гасил свечку, с внешней стороны палатки, слегка наваливаясь на неё сбоку, укладывалась Марта. От этого ему становилось тепло и спокойно. "Может, это и есть любовь?!" — думал он, засыпая.

* * *

Далеко от Москвы, на юге, на краю Ташкента, в небольшом посёлке Эшонгузар жили его друзья. Жили они в стандартном блочном доме на четвёртом этаже. Друг его Абдували работал в геологической экспедиции, его жена Света — в поселковой конторе, их дочь Гуля — школьница младших классов и, наконец, внук — Искандер, в то время хозяин типовой детской коляски. Дома у них жил кот Маркиз, а во дворе — Ева-хон* — маленькая короткошёрстная собака на трёх лапах; на месте отсутствующей передней правой лапы ясно был виден давно заросший крестовидный шрам.

Хозяин Евы-хон, пожилой узбек, жил в том же подъезде на первом этаже. Он то часто болел, то пил, и поэтому Ева-хон была почти беспризорной. Днём она, как и все, прячась от жары, спала где-нибудь в тени, а к вечеру приступала к своим прямым собачьим обязанностям. Бегала по двору и лаяла на случайных прохожих, а ночью молча шла сзади, а затем, если ей что-то не нравилось, коротко и зло впивалась в его ногу своими маленькими острыми зубками.

Облаянные и покусанные таким образом гости, естественно, жаловались соседям, те — хозяину, но он то болел, то пил.

* * *

Когда появился внук, Света утром, перед работой, и вечером, после работы, стала укладывать его в коляску и выходить во двор. Сначала они делали пару кругов между домами, а затем заезжали под навес летней веранды. Там внук спал, а Света читала или общалась с соседскими женщинами. Там же в тени обычно лежала и Ева-хон, но, как только на веранду приходили люди, она быстро вставала и уходила.

Однажды Света подъехала к веранде и, увидев там лежащую Еву-хон, остановилась. Внук не спал. Света стала покачивать коляску и что-то ласково приговаривать. Ева-хон, подняв свои короткие острые ушки и почти не мигая своими выпуклыми глазками, прислушалась. Когда внук уснул, Света придвинула коляску ближе к веранде, но вовнутрь не зашла. Ева-хон оценила это. Она поднялась с пола, облизала свою переднюю лапу и подошла к коляске, мол, заходите...

— Спасибо, Ева-хон, — сказала Света, — идём вместе с нами.

На веранде Света села на скамейку, рядом поставила коляску и ещё раз позвала собаку: "Ну, что ты там стоишь? Иди к нам!" Ева-хон, не спуская глаз со Светы, зашла на веранду, но легла чуть поодаль.

На следующий день Света взяла с собой хлеба и косточек. Когда они снова встретились у веранды, Ева-хон оценила и это: выпуклые глазки её заблестели, а голый хвостик заходил мелким ходуном.

---

* Хон в переводе с узбекского — уважаемая.

Дальше, как водится, больше. Теперь Света, внук Искандер и Ева-хон были неразлучны. Во дворе наступил мир или, по крайней мере, перемирие. Теперь днём Ева-хон, прежде чем залаять или, не дай бог, на кого-нибудь кинуться, всегда советовалась со Светой.

— Успокойся, — ласково, но твёрдо говорила Света, — это свои.

Короткая шерсть, готовая встать дыбом, медленно возвращалась на место, хвостик из боевой стойки переходил в согласительное виляние, и Ева-хон, не без сомнений, но разрешала чужаку или иному нарушителю порядка пересекать двор.

Беда явилась с иной, с неожиданной стороны. Теперь каждый раз, проводив Свету с внуком до четвёртого этажа, Ева-хон ложилась у их двери. Ждать и охранять. Теперь вечером, а тем более ночью войти в подъезд и подняться по лестнице вверх для чужих людей стало делом почти невозможным или, по крайней мере, героическим. Сверху тотчас раздавались тонкий противный лай и мелкая дробь коготков нервно бегающей на трёх лапах Евы-хон.

* * *

Он не любил ни маленьких собак, ни кошек, но Абдували, Света, их дочь и внук были его друзьями. Когда он появился в их доме, его сразу же познакомили с ленивым и пушистым любимцем Абдували — котом Маркизом и Светиной подружкой — Евой-хон. Что касается Маркиза, то тот, понятное дело, первое время, как мог, боролся с новым соперником — сердито урчал и втихаря писал на его рюкзак и полевую сумку. Ева-хон приняла его сразу и без вопросов... Днём ему разрешалось находиться во дворе где хочешь и сколько хочешь. Вечером же, а чаще ночью, когда он, иной раз сильно навеселе, искал вход в их всегда тёмный подъезд, он уже с улицы начинал громко хвалить Еву-хон: “Ева-хон — хорошая собака! Ева-хон — умная собака! Ева-хон — самая лучшая на свете собака...”

В ответ он слышал частое громкое дыхание и знакомую мелкую дробь её коготков по бетону ступенек.

— Всё, — говорил он себе, — можно идти.

Он никогда не ласкал Еву-хон. Во-первых, очень маленькая — на две, не больше, ладошки; во-вторых — очень гордая. Он никогда её не угощал. Во-первых, любой кусок хлеба или мяса был намного больше её маленького аккуратного ротика; во-вторых, как настоящая спартанка, она не нуждалась в подачках. Он никогда не просил её дать лапу. Было очевидно, что при одной передней левой это неизбежно приведёт к конфузу. Но если бы он и попросил, она бы, а он был в этом абсолютно уверен, дала ему эту свою единственную лапу, не приседая на задние...

* * *

Он работал в пустыне и в Эшонгузар заезжал по пути, раз в год, обычно осенью. Он всегда останавливался у этих своих друзей, и всегда Ева-хон первой встречала его во дворе. Она легко узнавала его и, провожая к подъезду, приветливо трясла своим голым хвостиком и что-то взахлёб рассказывала шарами своих выпуклых чёрных глаз.

Так было всегда.

На этот раз Евы-хон во дворе не было. Не было её и в подъезде.

— А где Ева-хон?! — спросил он у друзей.

— Евы-хон нет...

— Что случилось?!

— Она кого-то укусила.

— И что?

— Человек этот обратился в милицию. Милиция — к хозяину, а тот — как обычно... Милиционер пригрозил отловить и убить Еву-хон.

— И что?

— Хозяин сунул её в сумку и куда-то отвёз.

— Куда?

— Никто не знает. Видели только, что он садился в междугородний автобус.

* * *

На следующий день он уехал в свою пустыню, а когда через пару месяцев вернулся в Эшонгузар, ни во дворе, ни в подъезде его никто не встретил. “Не нашлась, — подумал он, — жаль! Хорошая была собака, умная…”

Он поднялся на четвёртый этаж.

— Привет! Проходи, располагайся, — встретили его друзья. Даже постаревший и подобревший кот Маркиз, и тот вылез к нему в прихожую: “Привет…”

— А Ева-хон?

— Жива-здорова! Представляешь, недавно вернулась… И как она только дорогу назад нашла?!.

— Как?

— Я была дома одна, — стала рассказывать Света, — Абдували на работе, дети в школе, и вдруг… вдруг слышу — кто-то скребётся в дверь. Я к двери. Открываю, а на пороге Ева-хон… Пыльная, худющая, шерсть торчком, рот открыт, язык наружу, часто и трудно дышит… Я бегом на кухню, налила воды в миску… Она её мигом выпила. Я налила ещё… Накормила её и говорю: “Где же ты была? Ладно, раз уже пришла к нам, то заходи в дом… Отдохни”.

— И что? Зашла?

— Нет. Осталась на площадке в подъезде.

— А что же её нынче нет во дворе?

— Хозяин посадил её на цепь за домами, на огородах. Искандер, покажи, где Ева-хон.

* * *

Он с Искандером вышел на улицу. Они зашли в булочную, купили там большую круглую тёплую лепешку и направились к огородам. Там за высоким железным забором рядом с деревянной будкой с короткой цепью на маленькой шее сидела Ева-хон.

— Ваасалам алейкум, Ева-хон, — сказал он, — это здорово, что ты вернулась… Ты самая хорошая, самая умная собака на свете…

Они с Искандером крупно, как принято в Узбекистане, поломали лепешку на куски и по одному просунули их через узкую щель в высоком железном заборе.

Москва
2010

“ПОСЕЙДОН”

Карелия. Онежское озеро. С юга от торгового порта Петрозаводск до лесопогрузочного терминала близ города Медвежьегорск на севере по прямой 125 миль или шесть часов хода при скорости 20—30 узлов. Если же идти не прямо, а заходить в каждую шхеру и стоять там весь день на якоре, то на круг — почти две недели выходит. Это и есть наш маршрут.

Для изучения рудного района на западном побережье Онеги мы арендовали небольшое исследовательское судно “Посейдон” — бело-голубое, однопалубное, с тесными каютами, камбузом, уютной кают-компанией и двумя

спасательными шлюпками. Команда: пять матросов и капитан Андрюс Антонов. Наша группа — семь человек с горой рюкзаков, с болотными резиновыми сапогами, с молотками и картами. Порядок корабельный: побудка в 7.00, затем бегом вдоль качающегося узкого борта в гальюн и под кран с холодной водой, торопливый завтрак с обязательным квадратиком масла и компотом и, наконец, спуск на воду шлюпки и загрузка в неё маршрутных пар. После того как шлюпка уткнётся в берег, геологи уходят "на дело", а вечером, когда они снова выйдут к озеру, но уже где-нибудь в другом месте, они у самой воды разведут дымный костёр. Это знак для "Посейдона". Капитан снимается с якоря и подводит судно как можно ближе к костру. Снова шлюпка, снова гальюн, снова кран с холодной водой; и вот он, долгожданный для всех ужин в кают-компании. У капитана здесь своё постоянное законное место; остальные — как сядут. Шум, гам, споры, шутки, смех... За кормой — широкий белый пенистый след. Идём на новую точку.

— Товарищ начальник, — обращается ко мне капитан, — как насчёт ста грамм?

— За.

— Жду вас у себя в каюте.

Андрюс Антонов — пожилой крепыш с характерной морской походкой. Белые, коротко стриженные волосы, широкое лицо, лукавые глаза и большой мясистый нос.

— Отчего такое странное сочетание фамилии и имени? — спрашиваю Андрюса.

— Я — литовец.

— Откуда?

— С севера Литвы. Я там родился до войны на маленьком хуторе.

— Родители литовцы?

— Да. Жена вот только подкачала, она русская. Мы с ней почти всю жизнь живём в России.

— Почему Антонов? Это что, фамилия жены?

— Нет, это почти моя фамилия. Мы ведь из переселенцев.

— Как это?

— Сразу после войны, в 1945-м, отца моего арестовали и расстреляли в тюрьме НКВД, а нас с мамой и братьями депортировали в Сибирь. Когда мне выдавали паспорт, мама настояла, чтобы фамилия была русская, от нашей Энтони-люс! Уж очень она тогда настрадалась и намучилась.

— Сколько вам было лет, когда началась война?

— Неполных восемь. Я уже говорил — мы жили на хуторе. У нас было две коровы и лошадь. Отец работал на железнодорожной станции. У него была красивая чёрная фуражка, и на работу он ездил на велосипеде. У меня тоже был велосипед, поменьше, и я каждый день возил отцу на работу молоко и хлеб.

Недалеко от нашего хутора стоял отряд русских военных. Они брали у мамы молоко. Каждое утро молоденький солдат приезжал к нам на велосипеде. Как-то он вот так же приехал, а мама говорит ему: "Бегите, ребята, в лес. Соседи говорят, что немцы скоро будут". Солдатик смеется: "Это вас буржуи ваши пугают. Граница на замке, и танки наши быстры!"

— И что?

— Через несколько дней пришли немцы. Пришли неожиданно, и было их очень много. Я из окна видел, как русские военные со своими длинными винтовками врассыпную бежали по полю, а сзади, с мотоциклов, по ним стреляли немцы.

— Что ещё помните?

— Помню, что в железнодорожном депо, где продолжал работать отец, было много пленных русских. Они чинили вагоны, стругали доски и сбивали из них какие-то рамы и ящики. Пленные всегда были очень голодные и, когда я привозил отцу молоко и хлеб, жадно смотрели на еду. Отец как-то не выдержал. Он отломил кусок хлеба и незаметно сунул его в руку стоящему рядом пленному. Когда тот стал есть, это увидели другие пленные, они кинулись отбирать и делить этот кусок. Немецкие часовые, конечно же, из-

били русских, а старший из конвоя подошёл к моему отцу и несколько раз наотмашь ударил его по лицу. Голова отца безвольно моталась из стороны в сторону, а он молчал и даже не заслонился рукой. Из его большого, как и у меня, носа хлестала кровь. Я был страшно растерян. "Как же так, — думал я, — ведь мой отец самый сильный человек на свете?! Что же случилось? Почему он не защищает себя? Почему он молчит?"

— И потом его расстреляли русские?

— Да, потому что он работал и на русских, и на немцев. А как иначе?

— Не понимаю.

— А что тут понимать? Когда за год до войны Прибалтику оккупировала Красная армия, а затем Литву насильно включили в СССР, в железнодорожном депо отца сразу появились русские, они под конвоем пригнали литовцев, которые не признали новую власть. Их заставили переделывать грузовые вагоны в клетки для перевозки людей. Как только очередной состав был готов, на станцию со всей Литвы привозили мужчин, женщин, стариков, детей, набивали ими до отказа эти клетки и отправляли в Россию.

— Вы это лично помните?

— Смутно. Помню шум, крики, собачий лай... Потом, много позже, мама мне многое рассказала. Мама боялась, что нас тоже увезут. Они с отцом считались кулаками, но отец, один из немногих в нашей округе, хорошо знал железнодорожное дело, и его тогда не тронули ни русские, ни немцы.

* * *

Снова побудка, снова гальюн, снова кран с холодной водой, снова завтрак... снова долгий полевой маршрут. К середине дня мы вышли к жилому хутору. Хутор обычный, а у ворот — замызганная грязью диковинная чёрная машина. Подошли поближе — номера иностранные. Стали здороваться с хозяевами, а те ведут к нам двух стариков.

— Помогите, — говорят нам хозяева, — это финны. Они где-то здесь воевали и теперь ищут могилу их товарища.

Мы достали свои топокарты и, изъясняясь на тарабарском языке слов и жестов, показали старикам место, где мы сейчас находимся, какие и куда дороги ведут, и где ещё какие хутора есть, благо карты наши того же 1941 года.

Старики согласно кивали, благодарили нас, и от этого было как-то нереально и жутко. Перед нами стояли два бывших солдата, которые не так давно где-то здесь целились в наших отцов, а наши отцы убили их товарища...

* * *

Снова вечер, снова наш "Посейдон", снова уютная и шумная кают-компания.

— Ну что, товарищ начальник, может, по сто грамм?

— За.

— Тогда жду у себя в каюте.

Андрюс режет большой красный помидор на две части, густо посыпает их солью, разливает по стаканам водку.

— Будем!

— Будем!

— Что новенького на суше?

— Сегодня в маршруте, — начинаю я, — мы встретили двух финнов.

— Эка невидаль! Небось, оба в стельку?

— Мы встретили двух белофинских лыжников. В маскхалатах с чёрными автоматами за спиной.

— Всё шутите?

— Немножко. Они спрашивали дорогу у местных жителей.

— Что-то очень далеко от фронта, тем более от их знаменитой линии обороны.

— Они искали могилу своего товарища.

— Наверное, одного из тех, кто был выселен с территорий Финляндии, занятых советскими войсками.

— Что, было и такое?

— Да. Это была первая советская оккупация. Если вы помните, то начиная с 1938 года СССР и Финляндия всё никак не могли договориться об отношениях между собой, и тогда Красная армия напала на своего маленького соседа. В результате Сталин был объявлен военным агрессором, СССР исключён из Лиги наций, Красная армия понесла огромные потери в живой силе и технике, а командиры советских дивизий Виноградов, Пахоменко и, кажется, Волков бежали с поля боя.

— Быть такого не может!!!

— Может, может. Их потом расстреляли перед строем... У вас, товарищ начальник, на глазах до сих пор розовая повязка.

— Не думаю. Просто я родился и вырос в СССР, да и до сих пор мир вижу через красное полотнище: революция, война, победа, космос... Всё вроде как надо. Все одеты, обуты, накормлены, обучены... Ан нет! Вашим же прибалтам, тем же "щирым западэнцам", да и цыганам-молдаванам всё неймётся, всё им не так, всё они косят глазами в сторону. Туда же свою голову воротят и вечные наши друзья-противники — поляки.

— А что вы хотите? Ведь Германия начала войну в Европе не одна, а вместе с вашим красным флагом — с Советским Союзом.

— Чушь собачья!

— Постойте, а пакт Молотова — Риббентропа?

— Это всего-навсего договор о ненападении, и не более того. Время было такое, неспокойное...

— Не только, — начинает горячиться Андрюс. — Вам известен секретный протокол к этому договору?

— Откуда же?

— А мы, литовцы, знаем, что такой протокол был и в нём чёрным по белому было написано, что Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Восточная Польша и, кажется, ещё Бессарабия в случае переустройства Восточной Европы должны будут отойти к СССР.

— Всё это враки и спекуляции.

— Вы, русские, всегда так. Чуть что не по вам, так "сразу — вон с глазу..." А Катынь?

— Да, с Катынью мы прокололись по полной программе. Помню, я ещё пацаном был и видел документальный фильм, как наши известные учёные-медики и другие авторитеты, кажется, даже писатель Алексей Толстой, осматривают под Смоленском захоронения трупов польских офицеров. Я тогда хорошо запомнил круглые чёрные дырки от пуль в тыловой части черепов и голос диктора: "Так в затылок могли стрелять только фашисты". Ещё крупным планом показывали найденные среди трупов записные книжки и какие-то причиндалы немецких солдат. При виде всего этого наши юные души переполнялись злобой и острым желанием мести к немцам, к этим нелюдям...

— Кстати, а знаете ли вы, товарищ начальник, что тогда, в 1940 году в катынском лесу по распоряжению НКВД были расстреляны не только польские офицеры? Среди более чем 20 000 казнённых было множество обычных польских граждан, не признавших новый советский порядок. Скажите, как можно простить эту жестокость и этот обман? Вот почему поляки не смотрят с вами в одну сторону.

— Согласен. Это подло. Но мы освободили Краков, Варшаву...

— Русские освободили Польшу не для поляков, а для себя. Точно так же Красная армия в 1939-м оккупировала, а в 1944-м "освободила" Литву. Литовцы, как и поляки, с первого и до последнего дня, как могли, всегда сопротивлялись Советам.

— "Лесные братья"?

— В том числе и они, но их борьба носила больше частный характер и сводилась к уничтожению, прежде всего, советского актива.

— “Никто не хотел умирать”?!

— Да, плюс партизаны, а с приходом немцев и открытые нападения на колонны советских войск.

— Вас послушаешь, Андрюс, так получается, что литовцы, все до единого, патриоты.

— Нет. Конечно же, нет. Литва, как грецкий орех, раскололась на две половинки, и если бы не скотское отношение немцев и к нам, и к полякам как к неполноценному, неарийскому народу, то противников у Советского Союза было бы абсолютное большинство.

— Не скрою, для меня это открытие.

— А для меня это жизнь. Жизнь и смерть моих родных и близких. Добавлю, что “освобождение” Литвы в 1944-м превратилось для нас ещё в один страшный суд — сотни тысяч литовцев были отправлены в ссылки и в лагеря. Обвинения стандартные: “военные преступления против СССР” и “геноцид еврейского населения”.

— Первое понятно, а при чём здесь евреи?

— Ну, это очень старая и очень больная тема. Испокон века литовские евреи пытались обратить христиан в иудаизм, а русско-казацкие войска, в том числе и Б. Хмельницкий, наоборот, насильно крестили евреев. Ко времени советской оккупации в Литве находилось около 3 000 своих евреев плюс десятки тысяч бежавших из Польши. Никто из них, естественно, не успел эвакуироваться, и все они до единого попали под немецкую оккупационную машину. Особо против евреев лютовали не столько полицаи, сколько местное литовское население. Так что к концу 1941 года половина евреев была уничтожена физически, а остальные сидели в гетто.

— Да-а...

— Вот вам и “да...”. Теперь-то вы понимаете, почему сегодня в Литве пытаются запретить и забыть всё, что так или иначе связано как с Советским Союзом, так и с Германией, в том числе и любую их символику: гимны, флаги, свастики, серпы, молоты?.. Уж очень много они принесли нам крови и страданий.

— Да-а...

— Теперь-то вы понимаете, почему “лесные братья” до сих пор устраивают свои шествия, почему в Прибалтике сносят памятники советским воинам, почему судят ветеранов Красной армии?!

— Умом — да, понимаю, но всё моё нутро — против! Уж очень долго я, как и многие, верил в иное...

* * *

Идём на новую точку. Стою рядом с Андрюсом в ходовой рубке. Слегка штормит. Ветер срывает белые гребни волн и бросает их мокрыми зарядами на переднее стекло рубки. Безразличные “дворники” раз за разом превращают крупные капли озёрной воды в две широких дуги, через которые виден мокрый нос нашего “Посейдона”, синусоиды волн и низкие чёрные тучи.

Андрюс смотрит то на карту, то в бинокль.

— Правильно идём? — спрашиваю я.

— Как в аптеке. Однако погодите... кажется, нас ждут неприятности.

Андрюс протягивает мне бинокль: “Посмотрите туда...”

Я навожу на резкость и вижу безвольно ныряющую в волнах лодку. В ней, широко расставив ноги, стоит человек в длинном плаще с высоким капюшоном. В правой руке он держит красно-белый спасательный круг.

— Что это?

— SOS. Извините, я должен изменить курс.

— Конечно. Чем я могу быть полезен?

— Подойдём ближе — узнаем.

Приключение, однако, не состоялось. Где-то рядом на острове у рыбаков кончился хлеб, они увидели нас и послали гонца-попрошайку.

Следующий день был тихим и солнечным. Мы причалили к давно заброшенной пристани и объявили всем членам команды и отряда увольнение до 18 часов 00 минут. Через полчаса всех "як корова языком злызала". Остались мы с капитаном и вахтенный дежурный. Я ещё с вечера на корме замочил в двух тазах своё грязное бельё и теперь намеревался устроить большую стирку.

— Ну вот, — смеётся капитан, — вы все мои расчёты поломали.

— Не понимаю.

— А что тут понимать... В вашем отряде три женщины. Вот я и стал ждать, какая же из них развесит сушить ваше барахло.

— Шерлок Холмс?!

— Нет. Я капитан, а капитан на корабле должен знать всё!

Москва
2010

ЛУКИЧ

В посёлке все звали его Лукич. И взрослые, и дети. Дети, правда, за глаза, потому как Пантелеймон Лукич был директором их школы. Посёлок этот, если смотреть на школьный глобус сверху и чуть сбоку, находился ровно посередине полуострова Камчатка на левом берегу самой большой здесь реки и назывался Ключи. О причине такого названия местные жители спорили. Одни говорили, что Ключи — это такие родники, что бьют со дна реки около пристани. Вода там всегда холодная и крутит воронками. Рыба там не стоит, да и купаться опасно: судорога может схватить и вниз затянуть. Лошади да коровы, и те предпочитали пастись не здесь, у берега, а на дальних заводях.

Другие жители не соглашались с первыми и показывали на горизонт, где над всем, что здесь росло, водилось и летало, одиноко белел острый конус Ключевской сопки. Эти другие горделиво повторяли слова известного путешественника Крашенинникова: "...ежели шесть дён без всякого перерыва плыть по реке Камчатка вверх, то тогда увидеть можно большой высоты вулкан Ключевской, из снежной вершины которого высоко в небо дыма струя поднимается..."

Словом, как бы то ни было, а в посёлке по имени Ключи, кроме одноэтажной школы, были ещё деревянная больница, она же роддом и "скорая помощь"; два деревянных магазина — "Большой" и "Дальний"; пожарная каланча, почта и метеостанция. Особое место в посёлке занимала вулканологическая станция имени Левинсон-Лессинга, где бородатые геологи вели наблюдения за действующими вулканами. Вверх по реке, в нескольких километрах за посёлком, располагался "аэропорт" — маленькая тесная будка рядом с утрамбованным квадратом земли для посадки Ан-2 и санитарного вертолёта. Вниз по течению реки, в лесу за высоким зелёным забором пряталась небольшая военная часть — говорили, что это служба слежения за спутниками. Вот, собственно, и весь джентльменский набор для приехавших с материка добровольцев, чтобы жить здесь, поживать да добра наживать.

Лукич приехал сюда из Ленинграда. Думал преподавать детям только свою любимую историю, а на деле оказалось, что и словесность читать надо, и ботанику с зоологией, а ещё учить и физкультуре, и пению. За остальные предметы отвечали его жена Вера Михайловна и глуховатый учитель математики по прозвищу Цифиркин. Кроме них, в школе временно работали истопник Макарович, буфетчица Клава и уборщица тётя Нюра. Детей было немного, человек пятьдесят, и некоторые из них учились в двух-трёх классах одновременно.

Лукича любили. Во-первых, он задушевно пел. Про "землянку", про "эх, дороги", про то, как "шёл отряд по берегу" и как однажды ночью боец молодой упал и умер у ног своего коня. Во-вторых, Лукич больше всех подтягивался на турнике, дальше всех прыгал в длину и мог с самой дальней линии раз двадцать подряд забросить баскетбольный мяч в сетку.

Но больше всего Лукича любили за его истории. В младших классах он развешивал на доске картинки с генуэзскими башнями и кучей-малой под ними из тяжёлых шлемов, круглых, как сковородки, щитов и окровавленных рук с короткими мечами. “Люди, где бы и когда бы они ни жили, — говорил при этом Лукич, — всегда должны любить свою родину и уметь защищать её. “Свобода или смерть!” — кровью написано на всех боевых знаменах — от Древнего Рима до фиделевской Кубы”. Ещё он любил рассказывать о Спартаке, Робин Гуде и Данко.

В старших классах Лукич заговорщицки предупреждал: “Сейчас я вам кое-что расскажу такое, чего нет в учебниках”, — и он читал им, мальчишкам и девчонкам, случайно заброшенным сюда на край Земли, письма Маяковского к Лилии Брик: “...на цепь нацарапаю имя Лилино, и цепь губами своими выцелую...” или “я лучше блядям подавать ананасную воду буду...” Читал отрывки из запрещённого Мариенгофа о страстях и стихах Есенина. Читал письма и записки Ленина к Инессе Арманд: “Сообщи размер твоей ноги. Поступил вагон с обувью. Могу купить тебе пару калош...” Ещё Лукич всегда охотно и с волнением рассказывал о непокорстве декабристов и об их женах. “Люди, когда бы они и где бы они ни жили, — говорил Лукич, — должны уметь защищать свою любовь. И всё потому, что жизнь без любви и без свободы никакая не жизнь, а самая что ни на есть тоска долгая и нудная...”

Дети слушали Лукича взахлёб. Для них он был инопланетянин. Дома и в книжках всё было совсем наоборот. Маяковский там был не ласковый и беззащитный “щен”, а “горлан и главарь”. Есенина тогда вообще не было. Его не издавали — “пьяница и дебошир”. Ленин жил и работал с Крупской, а любил исключительно народ и советскую власть. Пушкин считался чуть ли не самым главным декабристом и любил друзей-лицеистов больше, чем жену свою Наталью. Из царей признавались только Пётр Великий и Иван Грозный, в остальных же народовольцы, революционеры и большевики совершенно справедливо метали бомбы и в упор палили из револьверов.

В итоге слова Лукича и дело Ильича никак не стыковались. А тут этот самый конфликт возьми да вылези наружу! В тот год в самом начале осени в посёлок Ключи приехала бригада лесоустроителей. Для них рядом со школой стали строить контору и жилой дом. Пилят, рубят, землю копают, и всё бы ничего, да когда забор стали ставить, то почти наполовину его завели на школьную спортивную площадку. Лукич, конечно же, запротестовал, а ему в ответ: “Сиди и не чирикай, а то ещё больше оттяпаем. Земля эта по бумагам за школой не значится; твоя только под зданием и ещё там, где аллея с двумя лавками и клумба с цветами”.

Лукич в поссовет — так, мол, и так, это же наши дети, им и спортом заниматься надо, и “на головах походить” простор требуется.

— Сделать ничего не можем. У лесников распоряжение сверху.

Лукич собрал родителей. Мнения разошлись. Кто-то предложил ночью снести забор бульдозером, кто-то — написать жалобу в гороно в Петропавловск-Камчатский, а кто-то и вовсе неожиданно заявил: “Вот, однако, и хорошо. Больше дома сидеть будут, а то прибегут из школы и чепуху несут всякую...”

— Вы, Лукич, — обратился к учителю бородатый вулканолог, — документы о статусе советской школы посмотрите... Может, там найдёте что-нибудь путное в свою пользу.

— Раз ты так, — встретил Лукича после собрания начальник лесоустроителей, — то не я буду, если через пару дней не заберу всю землю, что незаконно захватила твоя школа. Тоже мне, Дон Кихот Камчатский!

* * *

На следующее утро Лукич первым рейсом Ан-2 вылетел в Петропавловск. Там он разыскал мастерскую по изготовлению декоративных садово-парковых фигур и сделал заказ.

— Мне это нужно завтра.

— Ты что, мужик, спятил?! Пока то да сё — форма, заливка, обработка — считай, месяц уйдёт, никак не короче.

— Мне надо завтра да так, чтобы к последнему рейсу успеть на Ключи.

— Ну, не знаю. Если только эту штуку гипсом залить?

— Пусть гипсом, пусть хоть из бумаги и клея, только обязательно завтра.

— А ты кто будешь, мужик?

— Учитель.

— Лады. Будет тебе завтра.

— Я того... если надо... я доплачу.

— Ишь Рокфеллер нашёлся. Небось рублики с деток посшибал...

— Нет. Я на свои.

* * *

На следующий день поздно вечером Лукич и Макарович сколотили из неструганых досок высокий узкий ящик, вкопали его перед школой и поставили сверху привезённый из города гипсовый бюст Ленина.

— Вот он, наш защитник, — гордо сказал Лукич, — ему по закону положена земля, на которой вокруг в радиусе до 200 м ни строить, ни вкапывать ничего нельзя.

* * *

— Странный ты человек, — выговаривала ночью Лукичу жена, — зачем тебе всё это?

— Что это?

— Ну, ссоры с начальниками, памятник этот дурацкий, завтрашние пересуды по посёлку.

— Это всё ерунда.

— А что не ерунда?

— Свобода!!! И ещё... любовь...

Сев. Урал, р. Тасманья,
2009

ОДИНОКИЙ ПИНГВИН

Это был королевский пингвин: чёрная голова, серая спина, яркие оранжевые пятна на груди, белое брюхо и, конечно же, прямой длинный клюв. Жил он со своей мамой в небольшой пингвиньей колонии на берегу моря Дейвиса в Антарктиде. Рядом располагалась русская полярная станция. Как и все пингвины, он часто ходил в гости к полярникам полакомиться свежей рыбой и однажды случайно забрался в палатку метеостанции, запутался в проводах и один-одинёшенек просидел там до утра. Утром, когда пришли люди и распутали провода, оказалось, что у него сломана правая лапка. Один из полярников, бородатый Митрич, забрал раненого пингвинёнка к себе в домик, забинтовал ему больную лапу и прозвал Жоржиком.

А уже через месяц утром и вечером, Жоржик, прихрамывая и переваливаясь с боку на бок, послушно семенил вслед за Митричем, когда тот ходил работать в свою метеопалатку. Ещё через пару месяцев в бухте Дейвиса появился высокий белый пароход с новой сменой полярников, и Митрич вместе со своими друзьями-товарищами засобирался в обратный путь на Большую Землю.

— Ну, вот и всё, — сказал Митрич Жоржику, — мне пора домой.

— А как же я?

— Даже и не знаю.

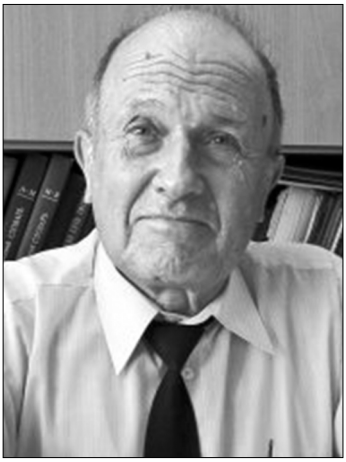
— А ты возьми меня с собой.
— Но там же нет ни льдов, ни океана.
— А что там есть?
— Речка, лес и степь.
— А рыба в речке водится?
— Да…
— Я буду ловить тебе рыбу из этой речки.
— Ну, хорошо, поехали!

И вот стали они жить-поживать в городе, в маленькой квартире большого каменного дома. Днём Митрич гулял с Жоржиком в лесу, а рано утром и по вечерам они ходили на реку. Там, на берегу, Митрич разводил костёр, а Жоржик плавал, нырял и ловил рыбу.

И всё бы хорошо, если бы Митрич не затосковал по своей метеостанции. Каждую ночь ему стали сниться льды, полярное сияние и бородатые друзья-товарищи. Теперь днём, в лесу, Митрич угощал Жоржика рачками, а себе резал хлеб, колбасу и пил водку. Они перестали ходить на речку, и однажды Митрич умер…

Жоржик остался совсем один. И тоже умер.

АЛЬФРЕД ФАДЕИЧЕВ



КЛАДОВЫЕ ЗЕМЛИ

ГЕОЛОГ

Есть такая профессия странная
(Так считают, кто с ней не знаком) —
В даль за сизую дымку туманную
По весне уходить с рюкзаком...

По горам, по долам и равнинам
За кочующим ветром блуждать,
Чтоб на благо Отчизны любимой
Кладовые земли открывать.

Возвращаться усталым к палаткам,
Даже если вечерней порой
Синий плащ с золотыми заплатками
Ночь раскинет над тёмной тайгой.

И в задумчивом сумраке лунном,
В непроглядной ночи до утра
Не смолкают гитарные струны,
Пляшет пламя ночного костра...

ФАДЕИЧЕВ Альфред Францевич родился в 1935 году в Ташкенте. С 1937 года жил на Урале. Окончил Свердловский горный институт, геолог. Литературной деятельностью занимался с 1984 года. Некоторые стихотворения автора стали песнями и романсами. Не стало Альфреда Францевича в 2017 году.

Тот душой бесконечною молод,
Кто в походах встречает рассвет.
Будь удачлив, товарищ геолог,
Открыватель, романтик, поэт!

* * *

Постучалась в сердце к нам весна,
И в душе вдруг встрепенулось что-то,
И пришла внезапно мысль одна:
Позабыть бы прежние заботы,

Отложить текущие дела.
Ведь не зря у нас такая доля:
Даль всегда геолога звала,
Жить нельзя геологу без поля!

Отдыхай, мой старый микроскоп,
Отдыхай до осени, компьютер,
Я возьму рюкзак и молоток
И пойду неведомым маршрутом.

Выйду в мир волшебный, полный грёз,
Затерявшийся в пространстве где-то...
В вышине горят алмазы звёзд,
А в земле — созвездия самоцветов!

Ну, а кто не может выйти в путь
И рюкзак тащить не в силах боле,
Пройденных дорог не позабудь,
Выпей за здоровье тех, кто в поле.

И с друзьями сидя за столом,
Песни спой, что все ещё не спеты,
Вспомни в День геолога о том,
Как горят огнями самоцветы!

* * *

Много есть у нас профессий разных,
Каждая из них на свой манер
Хороша, но только нет прекрасней,
Чем геолог, чем разведчик недр!

Припев:
Труден путь геолога опасный.
Знаем все о том, друзья мои.
Но из них лишь тот геолог классный,
Тот, кто наш закончил СГИ!

Среди гор, тайги и бурелома
Пролетели быстро наши дни,
Но когда мы оказались дома,
Кажутся чудесными они.

Припев:
Труден путь геолога опасный.
Были не напрасными труды.

Сколько мы разведали запасов
Дорогой невиданной руды!

И теперь, на склоне лет минувших
Каждый, кто душою юн и щедр,
Говорит, что нет профессий лучше,
Чем геолог, чем разведчик недр!

Припев:
Труден путь геолога опасный.
Знаем все о том, друзья мои.
Но из них лишь тот геолог классный,
Тот, кто наш окончил СГИ.

ИРИНА ОСНАЧ

ВЕЗДЕХОД НА УЛИЦЕ ЗВЁЗДНОЙ

ПОВЕСТЬ

Я первой выскочила на тропу вдоль огромных валунов, проехала на снегоходе метров пятьдесят и попыталась повернуть на вылизанном ветрами гребне. Не смогла, на гребне лежал фирн — слежавшийся, зернистый снег, почти лёд, и ветер был ураганный. У меня хватило ума сбавить скорость, хотя подмывало утопить гашетку газа до упора: ещё пару сотен метров перевала, и был бы спуск на ту сторону.

Порыв и без того ураганного ветра, и я заорала, потому что ветер завалил набок снегоход, а тот придавил мою ногу.

Застыла, стараясь не двигаться, и тихонько заскулила:

— Витька!

* * *

— Мы завтра к Горячему озеру едем. — Вчерашний звонок Витьки застал меня врасплох. — Ты с нами? — продолжал Витька. — Небось, и забыла, как на снегоходе кататься? — Витька не дал мне ответить и спросил,

ОСНАЧ Ирина Владимировна родилась и выросла на севере Камчатки, в селе Манилы Пенжинского района. Училась в Литературном институте им. М. Горького. Работала в камчатской газете “Вести”, собкором “Российской газеты” по Камчатской области. Автор повестей и рассказов, которые публиковались в альманахах “Особняк”, “Камчатка”, журналах “Юность”, “Октябрь”, “Дальний Восток”, “Независимой газете” и др. Рассказы Ирины переводились на болгарский язык, входили в лонг-листы международного Волошинского конкурса и литературной премии им. О. Генри “Дары волхвов”. В сентябре 2018 года стала дипломантом XVI международного литературного Волошинского конкурса. Член Союза писателей России.

будто видел: я сижу на кухне, смотрю в окно и ржавею, как мой снегоход: — Куксишься?

— Откуда ты знаешь?

— Оттуда.

Витьке бесполезно врать. Мы с ним были космонавтами, потому что жили в звёздно-космическом районе Петропавловска. Он начинался с БАМа: торговый центр, почта и несколько домов. Ещё на БАМе была пельменная, в которую мы бегали после школы. Наши мамы работали, обед готовить было некому, и пельмени, мне — с горчицей, а Витьке — со сметаной, казались нам очень вкусными.

После БАМа, когда поднимешься на подножие сопки, — микрорайон Звёздный с космическими улицами Королёва, Циолковского, Курчатова. Проезды Орбитальный, Космический...

Я жила и живу в доме на улице Звёздной. А рыжий Витька — в длинном доме на Терешковой. Мы учились в одном классе. Биология у нас была на крыше школы в большой стеклянной оранжерее, похожей на летающую тарелку. На лыжах бегали по ближней сопке. Однажды у меня сломалась лыжа, я подвернула ногу, и Витька помог мне ковылять до школы, приговаривая: "Почти дошли!" Оптимист! Так бы и шли полдня, если бы физрук нас не хватился.

— Я еду со своим старшим, — повторил Витька. — Ты с нами?

Я запросто могла отказаться. Суббота, рано вставать, полдня ехать, чтобы потом лежать в кипятке. В воскресенье та же история: вставать рано, полдня на дорогу в город, и уже вечер. А в понедельник на работу: газетная планёрка, и ехать на интервью. Вот и весь отдых. И на снегоходе я давно не ездила, поясница будет болеть с непривычки.

— Поеду, — сказала я.

— Андрей?

— Сейчас спрошу, подожди. Сказал: "Нет", — одна поеду.

— Можем тебя пассажиркой взять.

— Поеду на своем снегоходе.

— Ну, может, твой муж завтра надумает. — Витька остался оптимистом даже сейчас, став дядькой под сто кило.

Как же мы с Андреем когда-то мечтали о снегоходе! Наконец, купили. Андрей не мог дождаться выходных, я же как штурман прокладывала на карте маршрут, расспрашивала того же Витьку о дороге. Объездили почти весь юг Камчатки. А теперь снегоход стоит в гараже, я сижу у окна на кухне, Андрей в комнате смотрит ралли по спутниковой тарелке.

* * *

Я встала в четыре утра. Андрей не поехал. Мы с Витькой и его старшим сыном Мишей выехали в шесть на двух снегоходах. Свернули с асфальта на шахму и началось. Шахма — это накатанный снегоходный путь, но накатывают его обычно к середине зимы. Мы же ехали по шахме, будто по стиральной доске, такая была у моей бабули в Эссо для стирки белья.

Наконец, свернули на мягкую лесную дорогу. Лес закончился, выехали к реке, на ней старый и дырявый мост. Витька проехал первым, я — за ним.

Навстречу ехали два снегохода. Остановились, Витька принялся расспрашивать — что да как наверху.

— Поворачивайте, на перевале ветер бешеный!

Подъехали к перевалу. Ветер, снег, но вроде терпимо. Витька сказал:

— Возвращаемся? Или поднимемся, нос высунем, посмотрим, какой ветер. Если штормовой, спустимся по нашим следам, если дальше едем, лучше уйти влево, там будет пешеходная тропа и пара огромных камней, за ними попробуем проскочить. Ещё вариант — не поедем к Горячему. Можем влево под гребнем спуститься и проехать, там будет дом Матвея Угрюмыча, бывшего лётчика. У него погреемся и вниз поедем, к океану. Вдоль океана идет шахма, мне говорили, что её хорошо накатали. По шахме в город вернёмся.

Мы с Мишей в один голос сказали:

— Едем дальше, под камнями проскочим!

Я первой выскочила на тропу вдоль каменных боков, проехала немного, попыталась повернуть, но ветер был ураганный, и я сбавила скорость. Тут ветер завалил снегоход на бок, придавив мне ногу. Очки забило снегом, ничего не было видно. Поднять снегоход я и не пыталась, хорошо, что он не перевернулся.

Витька с Мишей приехали минут через пять, поставили мой снегоход. Я потёрла ногу, вроде бы ничего. Мы обменялись знаками — что дальше? Решили пробиться вперёд гуськом. Рывками проскочили до спуска и махнули вниз. За перевалом с подветренной стороны надуло снега, но сильного ветра уже не было. Доехали до приюта возле Горячего озера. Тут уж я как следует посмотрела пострадавшую ногу: мне повезло, обошлось.

Горячее озеро будто кипело, его дно пробивали мощные потоки газа. Вода поначалу казалась кипятком, а когда привыкла, тело стало лёгким, ушла вся усталость.

Витькина жена дала в дорогу пирожки с рыбой. У меня был магазинный пирог с яблоками и гречка с грибами. Мы поели, попили чаю. Ещё был день, но глаза слипались, и мы решили отдохнуть, а потом пойти к соседнему озеру, крошечному и тоже горячему. Тут позвонил Андрей, я вышла на крыльцо, чтобы не мешать Витьке с сыном.

— Ты как, Оля? Всё хорошо? — услышала я спокойный голос мужа.

— Да… — я вдохнула воздух, чтобы рассказать, как мы ехали по колдобинам шахмы, по скрипучему мосту с дырками и старыми бревнами, забрались на перевал, а там ураганный ветер. Выдохнула и сказала:

— Всё хорошо! Мы у озера.

Выключила мобильный, почувствовала, что замерзаю — вышла-то я в свитере, и побежала в домик. Достала из рюкзака свой тёплый и мягкий спальник, забралась в него и заснула.

Рано утром Витька спросил: спим дальше или едем в Петропавловск. Я предложила: спим, озеро, завтрак, а потом поедем. Ну его, этот город. К вечеру успеем.

* * *

Первое время, когда мы с Андреем купили снегоход, в выходные не ленились вставать пораньше и ехать на Халактырский пляж: никого, только мы, берег и океан. Потом стали ездить на машине, так удобнее. И выбирались к океану уже ближе к вечеру.

Однажды поссорились и довольно нелепо. Поехали к океану, но Андрей из машины не вышел. Был штиль, яркое солнце, морская пена шипела на чёрном вулканическом песке. Можно было достать термос с чаем, бутербродами, сесть на дерево, выброшенное волнами на берег, и слушать волны. Я пошла к машине, открыла дверь, а там грохотала музыка.

— Зачем тогда нужно было ехать к океану? — спросила я.

— Да потому, что ты так решила! Так нужно! Нужно собираться, ехать, слушать твой трёп, потом смотреть, как ты бегаешь по берегу и изумляешься тому, что видела сто раз!

Поссорились. И я стала ездить к океану ранним утром одна.

* * *

Кофемашину нам в редакцию привезли по бартеру, за рекламу, и мы изощрялись, как могли: латте, капучино, эспрессо, американо… Кто не мог разобраться в программе кофемашины, спрашивал у главбуха Марины Михайловны, у неё такая кофеварка стояла на кухне. Марина Михайловна снисходительно объясняла:

— Американо — легко. Нужно сварить эспрессо, вот кнопка, когда он будет готов, в него нужно влить кипячёную воду, осторожно, осторожно, не повреди пенку!

Себе она варила густой и крепкий итальянский ристретто: в два раза меньше воды, чем эспрессо, и варить чуть дольше. Наш фотограф сделал себе ристретто, допил до конца и сказал, что эти апеннинские причуды не для него.

На одном из послеобеденных кофе Марина Михайловна неожиданно пригласила меня с мужем к себе в гости. Дело было той зимней порой, когда циклон за циклоном, и сумерки после обеда спускаются почти мгновенно, кажется, что живёшь в сплошной полярной ночи. И даже к океану не поедешь — дорогу замело.

Я приехала с интервью и мечтала о кофе и булочке с корицей. Хотя бы такая крошечная радость.

— У меня зайцы на балконе лежат, — сказала Марина Михайловна, готовя ристретто.

Малознакомый с нашим главбухом человек удивился бы и ничего не понял, что за чудеса такие, какие такие зайцы и почему они лежат, да ещё и на балконе. Но те, кто работал в нашей газете, пару-тройку раз в год с удовольствием лакомились то гусем с яблоками, обычно на день рождения нашего главбуха, то зайчатиной. У Марины Михайловны было хобби, не совсем обычное бухгалтеров: она любила охоту.

— Это декабрь, зима, циклоны, мало солнца. Вот откуда депрессия, Оля, — Марина Михайловна говорила со мной, будто лучшая подруга. — А как её лечить? Бокалом вина, ароматной зайчатиной… Ничего страшного, у меня то же самое было ещё два года назад. Но потом я нашла потрясающую гимнастику тибетских монахов. Всё просто и быстро, максимум десять минут. Нормализуется эндокринная система, корректируется биополе, и появляется энергия! Я тебе скину ссылку, но лучше увидеть вживую, покажу, как делать. — Марина Михайловна энергично кивнула, подтверждая отличную репутацию тибетских монахов, и пригласила меня в гости. Не забыла и моего мужа Андрея:

— Вряд ли ему будет интересна гимнастика, но мы найдём, чем его занять!

* * *

Я поздно поняла, что Марина Михайловна охотится не только на зайцев и уток. Вначале был безобидный салатик — руккола с креветками. Марина Михайловна быстро пожарила их на сковороде, где до этого шипел, благоухая, чеснок, положила в миску для салата, добавила сыр, бальзамический уксус, очень щедро моей любимой рукколы… И я потеряла бдительность.

Я же почти всё знала о Марине Михайловне: возле левого уха тонкий шрам, который она прячет под тональной пудрой, говорит, что остался от лески на неудачной рыбалке; ищет мужа; на вечеринках в редакции прикидывается нетрезвой барышней, которая никак сама не доберётся домой без помощи нашего сисадмина, менеджера по рекламе или “вон того новенького, в очках, смотри, какие у него крепкие плечи”; любит крепкий кофе; её подобострастно зовут по отчеству, потому что главбух, а попробуй Маринкой назвать — и всё, никакого расположения и аванса пораньше.

И вот я сидела тёха тёхой у неё на кухне за столом, лакомилась креветками и рукколой, а Марина Михайловна на моих глазах расставляла подсадных уток и призывно за них крякала. А потом вскинула ружье и прицелилась, точь-в-точь, как на фотографии, которую она нам показывала, когда мы пришли, охали и ахали, радуясь встрече и светски обсуждая пробки и погоду. После пробок и погоды была экскурсия по квартире. Марина Михайловна похвасталась своим балконом: столик и два стульчика.

— Здесь я по утрам кофе пью и смотрю на вулкан! Боже, как здесь классно вечером с бокалом вина!

Кокетливо прикрыла (не сразу, дав разглядеть и кровать, и картину с обнажённой женщиной над ней, всё в сиренево-розовых тонах) дверь в спальню. В гостиной на стенах висели большие фотографии той поры, когда за Мариной Михайловной ухаживал владелец пекарни Антон, пытавшийся покорить её тем, что вместе с ней ездил на утиную охоту. Роман с пекарем закончился пшиком, охотником Антон оказался никудышным и жаловался, что от выстрелов у него глохнут уши. Марина Михайловна не сдалась и повезла пекаря на рыбалку: никаких выстрелов, тишина, только всплески воды. Пекарь взялся за спиннинг, вместо рыбы поймал Марину Михайловну и поранил её леской. Но фотографии, висевшие то там, то сям на стенах, были хороши. Марина Михайловна с ружьём возле камышей. Тут она целится. А здесь уже стоит с пекарем, который показывает убитую птицу.

— Держит-то её Антон, но этого селезня подстрелила я!

Я проморгала даже второй салат, который Марина Михайловна назвала "ачичук". С шутками-прибаутками рассказывая про узбека-продавца на рынке, который пару лет назад и открыл ей тайну ачичука, Марина Михайловна со словами: "Сейчас сами увидите, насколько это классно!" — быстренько расположилась на столе, за которым мы сидели, и стала кромсать багровые помидоры. К истекающим кровью помидорным ломтям Марина Михайловна добавила тонко порезанный красный лук, фиолетовые листья базилика и принялась перемешивать салат руками. Сок тёк по её пальцам, Марина Михайловна пробормотала: "До неприличия простой рецепт", — и прикрыла глаза с таким выражением на лице, будто её в это мгновение ласкал мужчина.

Слегка насторожилась я — наконец-то! — когда Марина Михайловна попросила Андрея достать из духовки зайчатину. Марина Михайловна коснулась плеча Андрея, хозяйским жестом показала на столешницу в углу кухни и стала объяснять, как резать мясо, потом засмеялась.

Я сидела на диванчике возле стола, смаковала помидоры, базилик, изредка запивая их глотком вина, и в голове крутилось только: "Классно!" — любимое словечко Марины Михайловны. Она вставляла его везде, будто ставила оценку себе, любимой, я хмыкнула, представив, как с кухонной люстры свисает бирка, на которой огромными буквами написано: "Моя классная люстра", — фартук Марины Михайловны с многочисленными рюшечками отмечен: "Очень классный фартук!" — а её груди (Марина Михайловна нагнулась над столом, поставив миску с салатом), безусловно, самые классные груди на свете.

— А теперь зайчатина! Андрей, вот вилка для дичи, а вот тарелки! Дичью должен заниматься мужчина.

* * *

Мы ехали домой молча, не в силах говорить — после зайчатины на десерт был торт "Павлова": безе, облако воздушных взбитых сливок и клубника. Я сидела рядом с Андреем, смотрела, как он держит руль, курит, и гадала, о чём он думает сейчас? Приехали домой, я заварила чай, достала тоненькие печенья из геркулеса — они были пресной сменой безе и сливкам.

"А вот чай у Марины Михайловны так себе", — подумала я и улыбнулась.

* * *

Дальше всё было, как и прежде. С Мариной Михайловной мы виделись изредка в редакции, она пеняла, что приходится работать за двоих, коллега в отпуск ушла. На аврал жаловался и Андрей. Я довольно быстро поняла, что к чему, и уступать просто так не собиралась. Началась битва, если так можно назвать то, что происходило.

Я сделала всё, чтобы уговорить Андрея поехать в посёлок на побережье Камчатки: в тамошнем рыбозаводе открывали консервный цех.

— На снегоходе? — В его голосе я услышала сомнение и поспешно ответила, что на машине.

Был конец декабря, надо было съездить, взять интервью на рыбозаводе, вернуться в Петропавловск, написать в газету и подарки купить к Новому году.

* * *

Пурга остановила нас на том самом перевале, за которым было Горячее озеро, но на другой дороге, ближе к океану. На перевале стояли дом и сарай на высоких опорах, скорее всего, это был балаган для рыбы и дичи. Во дворе, будто обычная легковая машина, вездеход.

Не иначе, как тут жил Матвей. Я не была с ним знакома, знала по рассказам друзей — есть такой, сыч и нелюдим. Угрюмыч, как отозвался о нём мой одноклассник Витька.

Хозяин оказался дома, открыл дверь, впустил нас и сказал, обращаясь ко мне, что живёт один, хозяйки нет давно, и желающих на её место пока не нашлось. В коридоре висят вяленые утки, можно их готовить. Хмыкнул и добавил:

— Если сможете приготовить.

А сам комбинезон натянул и рюкзак взял. Я спросила, куда в такую погоду собрался.

— Хочу к океану спуститься, порыбачить.

— В пургу?

— Ну и что? Вот вам одеяла, где тарелки, ложки — разберётесь.

Андрей молча разглядывал жильё Матвея: одна большая комната с печкой, деревянный стол, тут же верстак, полки с книгами. Разглядывал старательно и спросил, наконец:

— Телевизор-то есть? А интернет?

— Была жена, был и телевизор. Интернет жена не забрала, но он бывает, когда захочет, — ответил хозяин.

Взял снегоступы и ушёл. Сыч и нелюдим!

На печке стоял ещё горячий чайник, в заварнике плескался чай с шиповником и полевой мятой, на столе — вкусное печенье: а сыч-то любитель почаёвничать! И в одеялах понимает толк: мягкие, скорее всего, из гусиного пуха.

— Странный человек! Кого он изображает? — возмущался Андрей, промаявшись весь вечер: интернета не было, интересной ему книги не нашлось. — Ты посмотри, книги про вулканы да путешественников… А-а, вот фотография на полке! Сыч тут и не сыч, в форме, да это лётная форма! Лётчик! Так он, оказывается, бывший лётчик! А тут он с женщиной, наверное, жена, что ушла от него. А теперь он сидит на перевале один, вокруг сопки да вулканы, точно, социопат! А нормальный чай есть?

— Нормального нет.

— А ужинать мы будем?

— Будем! — пошла в коридор, сняла с крючка утку.

После дороги хотелось горячего, поэтому решила сварить утку, порезала её на куски и опустила в кипяток. Открыла кухонный шкаф и засмеялась.

— Чему ты так радуешься? — спросил Андрей.

— Я ещё грибы сушёные нашла! Давай, я к утке грибы добавлю, вкусно будет!

Андрей подошёл к печке на запах супа.

— Мои бабушка с дедом, мамины родители, из Эссо. Дед и рыбаком был, и охотником, никогда из леса и тундры с пустыми руками не приходил. — Я посолила суп, попробовала — вкусно! — Приносил с охоты куропаток, уток, гусей, куликов, глухарей. Бабушка их и жарила, и варила, и тушёнку делала, солила, вялила…

— А висели они потом на улице, где мухи?

— Не просто на улице, а там, где ветер со всех сторон продувает, никаких мух. Ещё я знаю, что чаек вялят, вернее, чаячьих птенцов, но это на

побережье, где на островах колонии чаек. Есть и вовсе диковинный для нас рецепт: тюлень, фаршированный чайками. Так на севере делали. Потом закапывали тюленя в вечную мерзлоту. Когда нужно, доставали, как из холодильника…

— Аппетит перебьёшь! — остановил меня Андрей, и мы принялись за утино-грибной суп.

* * *

Пурга мела два дня и вытворяла, что хотела: выла, стучала в стены, трясла дом. Утром третьего дня, когда я топила печь, снаружи стало тихо, будто дом ватой обложили. Я пошла в коридор и открыла дверь (на севере двери открываются внутрь). Вход в дом занесло. Я взяла лопату в коридоре и потихоньку начала откапываться. Тут и Матвей вернулся. Кинул в коридоре мешок с рыбой, забрал у меня лопату, откинул снег от входа. Поставил на печь сковородку, пожарил рыбу.

Я начала благодарить за то, что он дал приют. Матвей не особо слушал, поставил на стол сковородку с рыбой, показал рукой — садитесь!

— Вкусная рыба, спасибо! Где же вы пурговали? — спросила я.

— На берегу есть рыбацкая землянка. А я вас вспоминал — как без телевизора и вайфая обходитесь! — засмеялся он. — А вы и полы помыли, и с утками разобрались, молодец! Я вам шишек собрал с кедрача возле землянки, подсушить их надо…

Не такой уж и сыч. Серо-голубые глаза, прямой нос, длинные волосы стянуты в хвост. Удобная одежда — спортивные штаны, потрёпанная байковая рубашка в клетку, в паре мест зашита большими стежками. В доме ходил босиком.

Матвей протянул мне шишки, они пахли пургой, мокрым снегом, смолой. Я держала пакет с шишками и смотрела на Матвея. Андрей уже оделся и ждал меня у порога. Возникла неловкая пауза.

— Я вам другую дорогу покажу, так короче будет, — предложил Матвей.

Он оделся, сел в вездеход и поехал вперёд, пробивая колею после пурги. Дорога шла вдоль океана. Быстро стемнело, и океан мы не увидели, услышали. Он был рядом, вздыхал и бил огромным хвостом.

На рыбзавод мы успели: из-за пурги консервный цех открыли на три дня позже.

* * *

На первом курсе института мы ездили на картошку. За день лихо управлялись с картошкой, а под вечер, в ожидании ужина, брались за канат, найденный в спортзале пансионата, в котором нас поселили. Делились на две команды и выясняли, кто быстрее перетянет канат на свою сторону. Такая была забава, не надоедавшая нам до тех пор, пока мы не разбились на парочки.

Там я и познакомилась с Димой, своим первым мужем, именно он старательно тянул канат позади меня, и, когда начиналась куча мала, Дима норовил первым навалиться на меня всем телом, чтобы отвадить других кавалеров. Я чувствовала себя курицей табака, и уступила Диме, мы поженились перед Новым годом.

Ну вот, я проговорилась про первого мужа. Да, был и первый муж, с которым я развелась на третьем курсе, и началась долгая чехарда с документами — я решила вернуть себе девичью фамилию. Но подробности про студенческие игрища, Диму и нашу с ним короткую семейную жизнь здесь ни к чему. Главное — канат, который мы с Мариной Михайловной принялись усердно тянуть каждая в свою сторону.

У меня пошли в ход вино с сыром по вечерам, шёлковый короткий халат, мы дважды выбирались на дачу к знакомым, где я ходила в купальнике,

который мне очень идёт, купалась в озере и напропалую кокетничала. Уговорила Андрея слетать на пять дней во Вьетнам, в отель возле маленького городка. Тягуче-неторопливое время, дневное пекло, аромат благовоний в святилищах, тропические ливни с молниями, громом и потоками воды. Целыми днями мы сидели на террасе ресторана или пропадали в номере, а к морю выходили рано утром смыть следы ночных утех. Однажды, когда Вьетнам закончился, и мы вернулись, Андрей вечером принялся рассказывать мне о своих делах… И вдруг запнулся, задумался и уронил вилку, я поняла — пора доставать тетрадку моей бабули.

С тех пор, как бабушки не стало, я открывала её тетрадку от силы раз пять. Но тогда написанное там было только рецептами, готовить по которым было лень, пустой тратой времени, да ещё и абракадаброй-головоломкой с чайными ложками (или того хуже — соль на кончике ножа, это сколько?), четвертями стакана и запеканием-выпеканием при 180 градусах.

Тетрадка лежала на антресолях среди фотоальбомов и была почти от них неотличима: в такой же твёрдой обложке, обернутой в синюю с жёлто-фиолетовыми цветочками нежно-шёлковую ткань. Но внутри были не фотографии, а страницы с рецептами и рисунками простым карандашом или шариковой ручкой. Бабушкины рецепты были подробные, она пересказывала их так, будто вела диалог.

Я полистала тетрадку, отложила. Следующим вечером вновь принялась её листать.

* * *

В Эссо к бабушке с дедом меня отвезли в середине июля. Так решили родители: нужно, чтобы ребёнок, то есть я, окреп перед школой, побыл в прекрасном климате, подышал хвойным воздухом, поплавал в термальных источниках и поел домашненького (это была поправка бабули).

Центр Камчатки, морозы зимой, летом жара, хвойные леса, Ичинский вулкан, горячие источники обогревают дома и теплицы, в которых растёт даже виноград, сопки вокруг села, река Быстрая… Так я потом рассказывала об Эссо друзьям с материка, которые любопытствовали, где можно отдохнуть на Камчатке. Но в ту пору, когда родители возили меня к деду и бабушке, я не знала ни про вулкан, ни про континентальный климат в долине.

Я завтракала тем, что бабуля оставляла для меня под полотенцем на столе. Она сама уже работала в огороде. Потом я брала пару бутербродов с собой и скорей на улицу, где меня ждали друзья-приятели. Мы бежали на сопки или к Быстрой, на берегах которой паслись коровы, лошади и козы.

У бабули имелись три теплицы, которые грели трубы с термальной водой. В двух росли помидоры и огурцы. А третья была с диковинкой, виноградом, это в Эссо, где лютые морозы! В ней росли два сорта винограда. Один — с зелёными гроздьями, не помню его название, бабушка про него говорила, что молодая лоза, трёхлетка, и года через два непременно удивит всех своим урожаем. Вторая лоза вилась по металлической арке, это был обожаемый бабушкой виноград Шасла розовая. Бабушка разговаривала с этой Шаслой, как с живой, и всё ждала, когда же Шасла созреет, и я смогу съесть её, будто драгоценную амброзию. Тёмно-розовые грозди были торжественно срезаны перед самым моим отъездом — виноград оказался вкусный, да и только.

* * *

И было лето, и свобода, и вылазки с местными мальчишками на сопку, на речку, и несказанная щедрость вечерних застолий, когда под лампочкой с кружащимися мотыльками собирались дедушка с бабушкой, их соседи, пёс Акуль и две кошки, Шурка и Люся.

На столе — кастрюльки, кастрюлечки и кастрюли (в мисках остынет, считала бабушка), и всего столько, что съесть невозможно. Но съедали.

И долго сидели и пили чай с булочками, которые ждали своего часа в тазике, накрытом детским одеялом. Бабушка говорила, что укрывала им мою маленькую маму, а "теперь вишь, и ещё пригодилось! Да ты ешь, ешь, Олюшка, ешь, внученька! Смотри, какая румяная булочка! Утром к курочке сходила, яичко взяла, била-била и разбила, потом вилкой в миске взболтала, и когда булочки в духовку ставить, перышко в болтанку обмакнула, и каждую булочку перышком поверху смазала. И теперь булочка румяная, катится, к тебе в рот просится!"

— Лиза, у тебя сказки переплелись! — смеялся, прислушиваясь к нашему разговору, дед.

— Какие такие сказки?

— О Колобке и Курочке Рябе...

— Может, и обе, — легко соглашалась бабушка, — все сказки когда-то из одной общей сказки вышли...

И они ещё много говорили и говорили, а у меня слипались глаза, и дед брал меня на руки и нёс в дом: пора спать, спать...

Утром бабуля подбивала тесто, которое свисало с краев и торопилось сбежать из огромного таза. Половина теста на булочки, остальное — для рыбного пирога. Дед вчера сговорился с соседом пойти на рыбалку. Бабушка поджимала губы, ворчала, что в прошлый раз всё провоняло рыбой, потом проветривали дом целую неделю. Дед ухмылялся, торопил соседа, и они уходили на рыбалку.

Мужчины возвращались вечером, приносили мокрый мешок, от которого остро пахло рыбой. И через пять-десять минут во дворе появлялся один сосед, потом другой — надо же подсобить.

Вскоре пахло жареной рыбой и пирогом. Бабушка охала, что подгорел рыбный пирог! Посмел бы он подгореть! Все садились за стол, и наступала тишина, только вилки с ложками стучали. Жёлтое сливочное масло, собственноручно сбитое бабушкой, давно растаяло в разварной картошке, да и сама картошка остыла, на задворках стола и салат с черемшой, и грибная икра... Самые главные блюда на столе — жареная рыба и пирог, это их день.

Я больше не вернусь в то лето. Этот мир ушёл, и его не повторить.

Но читая рецепты бабули, я неожиданно ощутила запахи и вкус того давнего лета так, будто сижу за большим бабушкиным столом и жду, когда она мне положит в тарелку икру из черемши.

Бабушкины рецепты были не просто рецептами, по ним готовили, они переделывались, комментировались: "Лучше положить на тёплый противень", — или: "На два часа в холодильник, потом раскатывать".

В середине тетрадки я нашла рецепт тельного, бабушка называла его тэльно. "Филе рыбы истолочь вместе с черемшой в берёзовом корыте пестом или камнем. Отварить картошку в мундирах или кимчигу, тоже их истолочь, — писала бабушка. — Сделать из рыбного фарша лепёшки, в центр лепёшки положить картофельное пюре. Края лепёшки соединить и залепить, чтобы получилась котлета. Смазать противень жиром, положить тэльно и поставить в духовку".

Тельное я собиралась сделать в пику торту "Павлова", которым нас угощала Марина Михайловна весной.

* * *

Детство, по крайней мере, его сладкая часть, закончилось для меня в семь лет. В сентябре я пошла в первый класс. В школьной столовой встречала пережаренная печёнка с картофельным пюре, залитым мучным соусом, слипшиеся макароны, вечный запах кислой капусты и алюминиевые ложки и вилки с гнутыми зубцами.

Через два года родители развелись. А меня на время развода и осенних каникул передали бабуле, которая меня пару недель холила и лелеяла, но уже вполсилы. Бабушка была больна, ходила медленно, по многу раз на день присаживалась на крыльцо.

Дед про рыбалку и не вспоминал и всё спрашивал у бабушки, называя её непривычно для меня:

— Лизанька, помочь чем?

Бабушка отмахивалась от него рукой и сидела на крыльце, прислушиваясь и принюхиваясь.

Звала меня присесть с собой. Я садилась, тоже слушала, как скрипит старый велосипед соседа за забором, лениво лает Акулька, кудахчут куры, которых пошёл кормить дед.

* * *

Двор, стол. За одним краем стола сидит сосед деда в тельняшке, мне уже не вспомнить, как его зовут, ждёт деда, курит и смотрит на кур во дворе. А на другом конце стола — мы с моим другом Лёней. Лёня объявляет мне шах, впереди у моих белых неотвратимый мат… Я огорчена до слёз, — была уверена, что выигрываю, — и уже готова разрыдаться, но Лёня нагибается и звонко чмокает меня в щеку. Я и вовсе ошарашена, звук поцелуя слышен на весь двор, сосед в тельняшке хмыкает, дед выносит ему какой-то инструмент, сосед благодарит, но деду не до этого…

За мной на машине приехал отец. Он говорил с дедом на повышенных тонах. “Любовь, бу-бу, любовь… Надо разводиться!” — И дед ему в ответ тоже про любовь: “Бу-бу, любовь, ты же не знаешь! Как же тебе объяснить… бу-бу… Это вот сейчас мне понятно всё про любовь… Любовь, бу-бу…”

Потом они замолчали. Мы пошли к машине, ко мне метнулся Лёня, сунул мне несколько горячих от его ладони конфет.

Мы ехали, я рыдала на заднем сидении, смотрела назад, опять рыдала, съела конфеты, заснула. И проснулась, когда мы подъезжали к Петропавловску.

Папа увидел, что я проснулась, и стал быстро говорить, будто уговаривал не только меня, но и себя. Что он меня любит, но так бывает, и это жизнь, и всё будет хорошо, и мы будем часто видеться, и чтобы я приходила к ним с Катей, и какая Катя хорошая… И ты не подумай, мама тоже хорошая, но так бывает…

Мы виделись с ним потом от силы раза три. Он уехал с Катей, своей новой женой, на материк. Потом, когда я выросла, мне позвонил его знакомый и сказал, что он умер, — где, что, как? Никаких подробностей. Мамы не стало спустя два года после его смерти.

Когда я выросла, перестала обижаться на родителей. Что толку. Напрасно они развелись. Друг без друга им было плохо, никакие Кати и Пети (был у мамы такой Петя, иногда приходивший в гости) не заменили того, что у них было…

Но это всё случилось потом, а пока папа был жив и говорил мне про Катю, и сам себе верил.

* * *

Я читала бабушкины рецепты и начала понимать, почему дед так долго не мог отпустить от себя бабушку, когда её не стало. У неё было то, чего не было у меня. Она владела магией дома. Наверное, что-то передалось и мне. Но это тёплое, вкусное, ароматное было задавлено, как асфальтным катком, общепитом, а потом химическо-пищевой промышленностью. Наверное, пройдёт немного времени, и все продукты станут делать из одного сырья, а отличать их будут красители, ароматизаторы и упаковка. Покупаешь серо-белую массу, приносишь её домой, и делай всё, что в голову придёт. Сегодня понедельник — значит, насыпать красный краситель, приправы с копченым запахом — и будет ветчина. Во вторник — творог. В среду — котлеты.

Я была завсегдатаем в отделах супермаркетов, где продавалась нарезка — мясо, сыр, рыба. Всё уже нарезано, упаковано, пришла вечером с работы,

поставила на плиту сковородку, шлепнула в неё пару кусков рыбы или мяса, и готово.

Я продолжала читать бабушкин рецепт: “К тэльно хороши молодые пучки, шеломайник. Почистить стебли, снять с них кожицу, — писала бабушка. — Пучка хороша с тэльно, сухой красной икрой, жареной рыбой”.

Пестика и берёзового корыта у меня не было, негде взять и кимчигу. После двух попыток тельное получилось таким, как его пекла бабушка. Но и тельное оказалось бессильно. Андрей не вернулся с работы. Было это в конце июля. Поздним вечером прислал СМСку: “Я у себя, не волнуйся”. У себя — значит, в своей однушке в районе Красной Сопки, которую он собирался продать после нашей женитьбы, да так и не продал, и куда сбегал, когда мы ссорились.

У себя — значит, не у Марины Михайловны.

Андрей ещё четыре раза за неделю присылал СМСки, которые заканчивались одинаково: “Не волнуйся”. А потом замолчал.

* * *

О том, что я проиграла, я узнала от Марины Михайловны после обеда, за чашечкой кофе.

— Извини, — сказала она.

Я поджала губы. И промолчала. А что тут скажешь? Что она стерва, и вылить кофе на её белую блузку?

— Ты ещё себе найдёшь. — Марина Михайловна не хотела портить наши кофейные отношения.

Я промолчала и на этот раз.

— Ты только посмотри, сколько неженатых вокруг, — продолжала Марина Михайловна, — а ты на три года меня младше.

— Где? — развела я руками, имея в виду, что наши сисадмин, менеджер по продажам и новенький в очках с крепкими плечами давно прибраны к рукам…

— Найдёшь, — уверенно продолжала Марина Михайловна в белоснежной блузке, допивая свой кофе. — Андрея же нашла. И ещё найдешь. А я… ты же знаешь…

Что я знаю, она не уточнила. Марина Михайловна сказала всё, что хотела, допила кофе, стёрла доброжелательно-сочувственное выражение с лица и пошла в бухгалтерию.

Странно, но мне вовсе не хотелось её задушить или подсыпать яд в кофе. Похоже, мы с Мариной Михайловной и дальше будем пить кофе и говорить о погоде и гимнастике тибетских монахов.

Я приехала домой, заглянула в холодильник — помидоры, лук и зелень. И ещё картошка. Но картошку надо жарить или варить. Мне было лень. Я сделала ачичук. Ну, и что из того, что вражеский рецепт? Это было именно то, что мне нужно, — резать, давить в кровь помидоры, ощущать на пальцах их сок и мякоть.

* * *

Витька, узнав о разводе, хмыкнул. И без особых комментариев откликнулся на мою просьбу посмотреть старый мотоцикл, который я купила на свои первые газетные гонорары.

— Бензин я залил, масло посмотрел, ты знаешь, живой твой мотоцикл! А снегоход не делили?

— Андрей оставил мне снегоход и квартиру.

— Так квартира же твоя, родителей?

— Да. А у него есть своя на Красной Сопке.

Витька завёл мотоцикл, выехал из гаража, сделал пару кругов.

— Куда поедешь?

— Можно в Тай, Лаос, Вьетнам…

— Шутишь, это хорошо! — хмыкнул Витька.

Я села на мотоцикл и поехала на перевал. К моему разочарованию, Матвея не оказалось дома. Я заглянула в окна, тронула дверь. Не заперта. Я зашла в дом, походила по комнате, увидела на кровати распечатку. "День второй. С восточного берега озера поднимаемся на седловину. С неё будет хорошо виден застывший лавовый поток. Дальше наш путь на юго-восток вдоль левого края потока лав. И мы выйдем к реке, здесь остановимся на ночёвку. Есть шестиместная палатка и спальники".

Маршруты были самые разные — к термальным источникам, вулканам, пешеходные и на вездеходе. Так вот чем Матвей зарабатывает на жизнь!

Потом взяла с полки книгу, это был справочник по вулканам Камчатки, стала листать. О многих вулканах я даже не слышала: "Вулкан Кихпиныч относится к действующим, располагается к юго-востоку от вулкана Крашенинникова. Это сложный массив, состоящий из потухшего стратовулкана Старый Кихпиныч, сильно разрушенного эрозией…" Читала, читала и заснула. Проснулась заполночь: на столе горела лампа, которую я не выключила, в окнах темно. Вышла на крыльцо. Мой мотоцикл, ельник вокруг, и шумит ветер.

Вернулась в дом, но спать с незапертой дверью побоялась, заперла её изнутри на щеколду.

Проснулась утром от скрипа половиц: Матвей ходил босиком, подкладывал дрова в печь, вскоре зашумел чайник на печке, запахло душистой травой. Шёл дождь, трещали дрова.

— А щеколда? — вспомнила я. — Я же закрыла дверь на щеколду изнутри, ты как зашёл?

Он хмыкнул и принёс мне кружку с чаем. Сел рядом на кровать, тоже прихлёбывая чай, потом спохватился:

— Вот я балда, не спросил! Может, ты сгущёнку к чаю будешь?

— Буду! Как в детстве, я очень сгущёнку любила!

— Сейчас!

Матвей пошёл в коридор, вернулся с банкой сгущёнки и пакетом, в котором лежало что-то круглое.

— А это нам на обед! Чувствуешь, как пахнет?

Я принюхалась, запах был… я не смогла его ни с чем сравнить, пока не вспомнила — так пахли оленьи шкуры, которые соседка бабушки выделывала во дворе. Она их скоблила, смазывала чем-то, потом они у неё мокли в бочках.

— Это вильмулимуль, слышала о таком? В желудок оленя кладут варёные почки, печень, оленьи уши, добавляют ягоды и щавель, чтобы кислинка была. Заливают оленьей кровью, зашивают, и в ледник.

— Вот это гостинец! Не пробовала! Квашеные рыбьи головы ела, строганину, килыкил…

— Это оленья печень с ягодами?

— Да. И как этот вильмулимуль едят?

— Порезать ломтями, посолить.

— На сальтисон похоже, я в Чехии такой пробовала, это свиной желудок с лёгкими, сердцем, почками, салом, чесноком, потом варят и запекают. А можно я себе пожарю вильмулимуль?

— Пожарь! А я уже привык. У меня приятель есть, на севере Камчатки живёт. Он мне пару раз в год передаёт гостинцы или сам привозит. А ты что читала?

— Вчера? Про вулканы. И ещё про твои маршруты, очень интересно.

— Можем поехать к водопадам и голубому озеру. Хочешь? Но часть дороги нужно будет пешком идти, вездеход там не пройдёт.

— Хочу! Когда?

— Как соберёмся. Туристов у меня на этой неделе нет, у тебя выходные. Приедем к вечеру на заимку, там переночуем, а утром к озеру.

Сели в его вездеход, который он держал возле дома как раз для таких поездок по камчатскому захолустью. Внутри оказалось на удивление уютно:

мягкие сиденья, ремни безопасности, а рядом с водителем — небольшой холодильник и держатель для термоса.

— Купил списанным, не на ходу, мне его на буксире привезли. Я над ним лето шаманил, и мы с ним поладили. Уговор у нас такой — он туристов возит, иногда мы с ним в город выбираемся за едой и патронами. А я его смазываю, ремонтирую.

Вездеход подъехал к сопке, нашёл дырявую дорогу и, кряхтя и урча, пополз по ней. Его трясло так, что я уже не хотела никакого диковинного озера, потом спустился в распадок.

— Всё, — сказал Матвей. — Приехали. Дальше не поедем, машина в кочках застрянет. Пойдём пешком, накинь ветровку, комары тут злые.

— А вездеход здесь оставим?

— Оставим. Места здесь дикие, только мы да медведи. А медведям зачем вездеход?

Мы пошли по сухому руслу реки, а потом в траве по пояс, безо всяких тропинок и следов. Шли и шли по траве, собирая на штанах цепкие семена травы, повернули и уткнулись в заимку: маленький домик и рядом балаган — сарай на высоких опорах. Возле домика стоял стол с пеньками вместо стульев. Дальше идти некуда, дальше — река.

Матвей открыл дверь заимки, положил рюкзак с вещами; одна комната, самодельные столик, топчан, табуретка, крохотное окошко — чтобы медведь не залез. И печка-буржуйка.

С реки дул ветер, он разогнал комаров, и на заимке можно было снять ветровки. Матвей повёл меня к реке умыться после дороги. На берегу мы стали целоваться, но случилась неловкая заминка. И пока возвращались к домику, говорили о какой-то ерунде, чтобы сгладить смущение, которое возникло после поцелуев.

Я постелила клеёнку на уличный стол, поставила картошку с луком, что привезла с собой. Матвей и тут удивил, сходил в сарай, вернее, не сходил, а забрался по невысокой лестнице и достал связку не пойми чего. Когда положил на стол, показалось — длинные стружки высохшей древесной коры, а на самом деле — тонко нарезанные брюшки нерки, вкуснейшего лосося, которые вялились в сарае. Картошка к нерке была как раз то, что нужно. Мы ели и никак наесться не могли, потом Матвей занялся генератором, который надо было завести, чтобы на заимке появилось электричество. Он возился с ним долго, обращаясь к нему ласково:

— Ну, давай, давай, старый!

Генератор и правда был старичком, Матвей купил его в ларьке возле дома после эпохи танкера “Бориса Бутомы”. В конце девяностых Камчатка то сидела в темноте, то озарялась электричеством на несколько часов. Это зависело от того, как быстро нальют во Владивостоке мазут для Камчатки, и танкер “Борис Бутома” довезёт его до полуострова. Все только и говорили о “Борисе Бутоме”: сколько он прошёл от Владивостока, сколько ему ещё идти до Камчатки, остановят ли котлы на ТЭЦ, будет ли свет, пусть и на несколько часов в сутки. Генераторы тогда стояли в кафе, магазинах, ларьках, даже тарахтели и пыхтели на балконах.

А когда в Петропавловск-Камчатский начали регулярно привозить мазут, генераторы стали потихоньку продавать. Матвей свой купил за бесценок.

— Когда заведётся, работает, как зверь, но уговаривать надо долго.

— Ты его купил, когда лётчиком был?

— Нет, когда на перевал перебрался. Откуда про лётчика знаешь?

— Витька рассказал. Витька многих знает, мне иногда кажется, что он с половиной камчатцев знаком.

— У тебя с ним…

— Не-ет, что ты, мы дружбаны, в одном классе учились. У него жена, сыновья. А ты каким лётчиком был?

Матвей понял мой неловкий вопрос:

— Вертолётчиком. Летал, летал, а потом на землю захотел. Жена удивилась, когда ей сказал, что на пенсию ухожу.

— На пенсию?

— У меня часов налёта было на две пенсии… А потом я жену огорошил ещё больше, сказал, что мне в городе жить надоело. И уговорил её в дом на перевале переехать. Она вытерпела два года, потом вернулась в городскую квартиру и со мной развелась.

— А эта заимка откуда взялась? Сам построил?

— По наследству досталась. В былые годы тут мой друг браконьерил.

— А куда друг делся?

Матвей показал на небо, невесело усмехнулся.

* * *

— Я взял сапоги и ветровки на случай непогоды. — Матвей разбудил меня ещё затемно. — А ты положи хлеб, рыбу, котелок, кружки. Наверху перекусим. Пойдём налегке, так ты меньше устанешь. Мы на день уходим, вечером вернёмся. Поднимемся вдоль речки, будет горная тундра, белый ягель, кедрач и особые подосиновики.

— Особые? Что я, подосиновики не видела? Красная шляпка, крепкая ножка, почти как белые грибы.

— Эти тундровые. Маленькая красная шляпка, очень крепкая. А ножка формой с грушу — вся в ягеле. Хочешь сорвать гриб — запускай руки в мох и выковыривай ножку.

Я положила в рюкзак хлеб с рыбой, кружки. Пыталась засунуть туда котелок, Матвей засмеялся и прицепил его поверх рюкзака. Мы пошли вдоль горной речки. Когда-то тут пронёсся селевой поток, волоча огромные камни. Камни выдрали низкие деревца, перевернув их вверх корнями, и застряли в этих корнях. Речка выглядела довольно странно, даже устрашающе.

— Вот и тундра. Видишь грибы? Здесь красная шляпка, другая, а там два подосиновика. Тундру пройдём, потом будет туман.

— Туман? Он по расписанию бывает?

— Он всегда там к полудню. Ветер меняет направление и приносит туман с водопадов. Начнётся кальдера. Мы не будем идти по всей кальдере, пройдём с края и выйдем к водопадам.

Дошли до небольшой сопки. Поднялись на неё — заполненный водой кратер.

— Это и есть голубое озеро?

— Нет, это маар, плоский кратер с жерлом без конуса, в нём теперь тоже озеро, но не голубое, посмотри на дно.

Вода озера была прозрачной и мёртвой, ни рыб, ни водорослей, а на дне — оранжевые камни. Матвей объяснил, что это осадок гидроокислов железа. Обошли маар по кромке кратера, дошли до противоположной стороны, на которой громоздились огромные камни. Нашли тропинку между камнями и зашли в туман, такой густой, что я не видела ни своих ног, ни земли. Шли, шли и вышли к водопадам, небольшим, но очень громким. А возле них лежало голубое озеро. Я ахнула — оно было не просто голубым, а фиолетовым.

— Тебе повезло, озеро обычно голубое.

— Почему же сейчас фиолетовое?

— Его цвет зависит от того, сколько льда на дне, лёд и вода отражают солнечный свет, и озеро может быть голубым, синим, даже вот таким, как сейчас, будто фиолетовые чернила налили.

— А цветов вокруг сколько! И во-он евражка побежала!

Мы вернулись на заимку, когда начало темнеть. Матвей поставил три свечи на поляне возле домика: разрубил топором поленья до половины, капнул в середину расщепки бензин, а потом поджег и поставил. Говорят, что с такими свечами хорошо ночью на реке рыбу ловить: ставишь её на берегу, и на реке хорошо видно, и горит она долго. Я смотрела-смотрела на свечи, а потом пошла в домик, легла на топчан и поплыла в озере с голубым дном…

Наутро я проснулась рано, Матвей ещё спал — чтобы не будить меня, положил куртки на пол и лёг на них. Утро стояло холодное, росяное,

я пошла на реку, оглядываясь, нет ли медведя, умылась водой, от которой сводило руки, зажгла костёр, поставила на огонь закопченный чайник. И сидела на крыльце заимки, ждала, пока вскипит вода. Заварка была в домике-сарае, я не хотела тревожить Матвея, сорвала несколько веточек кедрача, помяла их в ладонях, да и кинула в кипяток.

К чаю вышел Матвей, попробовал чай, кивнул одобрительно. Мы пили смолистый кипяток, молчали. Матвей принёс куртку, накинул мне на плечи. Сел рядом, поцеловал.

И мы пошли в домик. Голова моя кружилась, чувство неловкости прошло, и это был такой сладко-мучительный круговорот с руками Матвея, его губами, его стоном, моим выдохом: "А-а-а..."

Потом мы накрылись ватным одеялом и проспали ещё пару часов.

* * *

Я вышла из домика. Матвея не было. Потом заметила какое-то движение: Матвей махал рукой со стороны реки. На берегу выше по течению стоял и смотрел на нас медведь. Толстый, мокрый, только что из воды вышел, рыбачил. Посмотрел на нас и ушёл в прибрежные кусты.

— К заимке близко не подойдёт, мы ему не нужны, он рыбалкой занят. Я рыбу поймал, будем жарить!

Встало солнце и тут же потеплело. Матвей поставил на огонь большую чугунную сковороду для рыбы. Я пошла к невысокому лесу, вглубь заходить не стала, опасаясь медведя, и на окраине собрала черемши, крапивы и сорвала верхушки кипрея. В тени травы росли не так быстро, как на солнце, и ещё были пригодны для сочного зелёного салата.

На несколько десятков километров вокруг были только мы да медведь, и всякое зверьё. Земля пахла летом, возле заимки, в двух шагах, росли переросшие грибы, в зарослях жимолости было полным-полно ягод, в реке плескалась рыба, а в небе низко над нами пролетали утки. Тем утром счастье коснулось нас своим крылом.

У меня оставались ещё свободные от работы дни, и мы вернулись на перевал, в дом Матвея. Завтракали, Матвей занимался вездеходом, а я шла по перевалу и спускалась к океану. Слушала океан, возвращалась, варила кофе, наспех делала что-то вроде блинов из муки, к ним жарила грибы, которые собрала по дороге.

Сидели за столом, не спеша обедали и говорили о том, что у вездехода надо менять звёзды в гусеницах, сколько грибов я нашла по дороге, ещё чая, как океан, океан всегда океан, надо же как назвали — звёзды, ну да, это звёзды привода, они вращают гусеницу, что приготовить на ужин, кажется, я натёрла ногу, давай, я посмотрю, вот ещё, натёрла и натёрла, подумаешь, ну нет, у меня жир есть гусиный, и я большой спец по натёртым ногам, знаешь, сколько их в походах мои туристы натирают...

Матвей топил печь, чтобы было тепло ночью. Мы лежали и слушали, как шумит огонь. И говорили о том, что на душе.

— Почему ты ушёл из вертолётчиков?

— Хватило неба. К земле потянуло.

— Поэтому босиком ходишь?

— Может быть, и поэтому...

— Я не думала, что всё будет так, я жила и жила, словно плыла по течению, а потом... споткнулась. И оказалось, что у меня нет ни лодки, ни плота, ни даже спасательного круга. Ничего нет, вокруг мокрая и холодная вода. И уже осень. Попрыгунья-стрекоза, я не пела и не плясала, но всё равно осень...

— У меня был друг, он умер, — отвечал мне Матвей. — Ещё один друг, рак... Ещё друг жил во Владике, ходил в море, был суперштурман, саркома бедра, я летом летал на похороны. Брат разбился на мотоцикле. Я говорил себе — ничего, терпи, это жизнь. И теперь я живу. Просто живу.

— Я всегда спешила, всё торопила — скорее, скорее. И работала, и жила так. И всё было нормально. Ничего не тревожило. А сейчас не могу найти покоя. И дело вовсе не том, что от меня ушел муж.

— Дело совсем в другом: ты приехала на перевал.

— Сама не знаю, что на меня нашло... Я вспомнила твои руки, как ты протягивал мне шишки. Они были мокрые...

— Руки или шишки?

— Смеёшься? Ты помнишь? Была пурга, ты поехал на рыбалку, пурговал в какой-то землянке на берегу. Я думала, как же ты там. А потом стало тихо, пурга ушла. Ты привёз рыбу, жарил её. И подарил мне кедровые шишки...

Матвей слушал и гладил меня по спине, эти поглаживания были целительными, почти магическими. Ещё недавно я удивлялась самой себе: почему приехала на перевал, и зачем мне роман с Матвеем, который старше меня, и у нас вряд ли что сложится, кроме этих нескольких дней? А сейчас говорила, перебивая Матвея, и плакала, и подставляла ему спину, которую он гладил так, будто помогал проклюнуться крыльям.

По ночам я чувствовала его дыхание на своей шее, он спал, обхватив меня руками, положив левую ладонь мне на грудь. И это было ночное счастье — просыпаться, слышать его дыхание, возвращаться в сон...

* * *

— Приезжай ещё, — сказал Матвей. — Я достану свою моторку, поедем на банку. Когда ходила к океану, видела скалы? Возле скал есть банка, мелководье, и туда приходит треска.

— У тебя есть моторка? — удивилась я.

— Есть. Давно не спускал на воду.

— Заржавела? — Я вспомнила, как мой снегоход долго стоял в гараже.

— Не заржавела, но пора на воду. На банку приходит треска, а за ней — косатки, ты видела, как охотятся косатки?

Я слушала его, кивала и понимала — моя история, разлетевшаяся на куски, каким-то чудом сложилась. И сложилась так, как мне сейчас нужно. И я могу жить в таком мире.

* * *

Я давненько не видела Марину Михайловну — сначала я была в отпуске, потом она на больничном.

Марина Михайловна подсела ко мне за столик в кафе, где мы обычно обедаем.

— Да ты загорела! И взгляд совсем другой! Я же тебе говорила! — могла бы всё это сказать торжествующе, но она пробормотала скороговоркой, между делом, изучая меню, хотя что там было смотреть? Два салата, три супа, котлеты, жаркое — вот и весь выбор бизнес-ланча.

Я смотрела на салат из морковки, вспомнила, как пахла рыба, которую жарил Матвей. А рядом со сковородкой на печке кипел чайник. И улыбнулась, делая вид, что слушаю Марину Михайловну.

* * *

В конце сентября в Петропавловск приехал Матвей за патронами в охотмагазин. И зашёл ко мне в редакцию, в комбинезоне, в старых лётных сапогах.

— Когда тебе звонил, ты сказала, что нужно срочно текст в номер писать, на первую полосу. Я не хотел тебе мешать. Думал, в вездеходе подожду.

— Вездеход у редакции поставил? Прохожим будет на что поглазеть. А текст в номер — мне твоя помощь нужна, поэтому попросила зайти. Самолёт летел в наш аэропорт, утром аварийная посадка была. Не слышал? Мне нужно написать. Поможешь?

Матвей подсел ко мне за рабочий стол, быстро и понятно всё объяснил: про воздушный коридор для самолётов в зоне аэропорта, какая ширина и навигация, и ось коридора…

Домой ко мне на Звёздную мы поехали на вездеходе. И пахло в вездеходе… теперь-то я сразу поняла: вильмулимулем.

— Знакомый приезжал, привёз гостинец из тундры?

Матвей кивнул.

Ехали громко, с треском и грохотом, когда парковались возле моего дома, сбежались мальчишки.

Наутро Матвей сходил в газетный ларёк. Принес газету, устроился на кухне с чаем, долго читал. Похоже, мой текст Матвею понравился. Мы пили чай, ели вильмулимуль, как на перевале пару месяцев назад, когда я приехала к Матвею…

Я всё боялась, что Матвей скажет, что ему пора. Но он никуда не торопился.

* * *

Осенью на автобусной остановке меня больно ткнул в спину кончик зонта. Я обернулась. Андрей.

— Отойдём на минутку! — почему-то шёпотом попросил он. — Как ты?

Что я могла ответить? Рассказать про вертолётчика на пенсии, который живёт на перевале, ездит на вездеходе? О том, что я неожиданно для самой себя изменилась или что я жду осенних праздников, чтобы поехать на перевал? О том, как в минувшие выходные мы с этим бывшим вертолётчиком ловили на лайде навагу? Но тогда пришлось бы объяснять, что лайдой камчатские рыбаки называют береговую полосу между большой и малой водой, рассказывать, что рыба отлично клевала, и мы за полдня наловили по ведру наваги…

Я пробормотала что-то, злясь на свой зонтик, который никак не складывался — подъезжал мой автобус.

— Ты где была? Я тебе звонил, а твой мобильный молчит…

— На перевале.

— На перевале… Ну вот… — обиделся он, будто я сказала, что летала в Таиланд. — На перевале. А я болел. Проблемы с поджелудочной, врач запретил жареное мясо, острое, сладкое…

— Хм… Не сошёлся же свет клином на мясе и десертах, — я вспомнила зайчатину и “Павлову” с безе и клубникой.

— Я по утрам сам геркулес варю, знаешь, хорошо научился… А ты ещё печёшь тельное? — жалобно спросил он.

Наверное, можно было его схватить за руку и… Это была бы моя победа, и я перетянула канат в свою сторону. Но мне не хотелось торжествовать. Я пожалела о том, что мы встретились. Всё утряслось, уложилось… А теперь буду вспоминать, как мы стояли под дождём.

Я побежала к автобусу, прижимая к юбке мокрый и холодный зонт.

— Привет! — звонил Витька. — К горячему озеру поедешь? Выдвигаемся завтра с утра.

— Завтра? Ветра не будет? Циклон же идёт?

— Идёт, я смотрел прогноз. Пока циклон накроет юг Камчатки и дальше пойдёт, мы успеем съездить и вернуться. Если рванём пораньше.

— Поеду. На перевал.

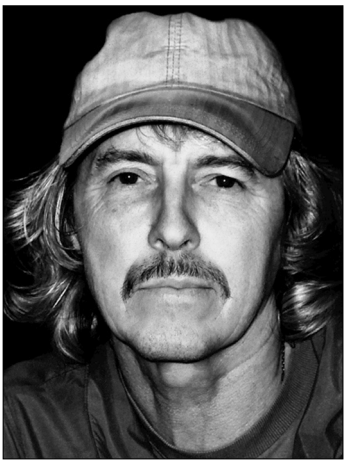
— А-а, — засмеялся Витька. — Угрюмыч!

* * *

Бабушкину тетрадку я продолжала читать, иногда что-то пробовала сделать по её рецептам. Грибной суп из мороженых подосиновиков, которые я собрала неподалёку от дома Матвея (бульон — непременно из говяжьей косточки, и грибы перед тем, как добавлять в суп, нарезать пластинами, от шляпки до ножки, выложить на сковородку и жарить на сливочном масле, чтобы подрумянились). Когда приехал Матвей, сделала тельное, Матвею понравилось.

Я даже начала придумывать и добавлять что-то своё. И ещё я полюбила салат “ачичук”: к истекающим кровью помидорным ломтям добавить тонко порезанный красный лук и листья фиолетового базилика, спасибо Марине Михайловне. Спасибо.

ВЛАДИМИР НЕЧАЕВ



НА ПЕРЕГОНАХ РОССИИ

НА СЕВЕРАХ

Не слово, не молчанье правят здесь,
Но Ворон и капризная погода,
И карабин, каюра окрик, спесь
Чиновника от малого народа.

Ты здесь в кухлянке — бисером расшит
Весь круг земной, откуда вышла
Горячая земля, где общий вид
Из тесного окна исполнен смысла.

Язычество роскошное на глаз
Оценит иностранный антрополог.
Он даст немного денег, и как раз
Приедет магазин, поднимут полог.

Из мелочей — всё нужное — возьми! —
Товар китайский в яркой упаковке.
Они — охотники — становятся детьми,
Шумят и мнут нелепые обновки.

НЕЧАЕВ Владимир Иванович родился в 1957 году на побережье Берингова моря в посёлке Оссора. После окончания Владимирского политехнического института прошёл срочную военную службу на Урале. В 1982 году вернулся на Камчатку, где ныне и проживает. Автор шести книг (стихи, рассказы, эссе). Публиковался в региональном альманахе “Камчатка”, журналах “Дальний Восток”, “Москва”, “Литературная учёба”, “Октябрь”, и др. Член Союза писателей России.

Здесь мельгитанин* хитрый глаз скосит,
И будет выручка, за разговором — водка.
Кусает гнус. Наш Куйкинняку спит.
И антрополога в туман уносит лодка.

* * *

Пережили две войны,
Выборы, Олимпиаду.
Танцевало полстраны
И смеялось до упаду.

В телеящике война,
Смех и танцы — всё едино,
Оттого что не видна
Нам вторая половина,

Та, что молча хлеб жуёт,
Чёрный — пусть хотя бы это,
Не танцует, не поёт,
Если спето-перепето.

И всё те же за окном
Сушь да гниль. Дожди косые
Ходят кругом ли, круго́м,
Пусть расскажут о другом:
Чем жива ещё Россия.

ОСТАНОВКА В ПУТИ

Злая натура Москвы
Не в справедливости — в силе.
Сколько усталой травы
На перегонах России!

С кем ты, столица моя?
Да не моя ты — чужая.
Нам остаются края
От твоего каравая.

Не обойти, не свернуть
В кольцах московского дыма,
И не жалею ничуть
Я, проезжающий мимо.

И не скучаю, когда
Встанет в лесах электричка.
Слышно: гудят провода.
Гаснет зажжённая спичка

В тамбуре — ветер войдёт —
Настежь распахнуты двери.
Крикнет кулик из болот
Жалостливо о потере.

---

* Мельгитанин – пришлый, белый человек (*эвен.*).

Слёзных селений огни.
Тише, раздумчивей речи.
Светятся лица в тени,
Словно забытые свечи.

К СОЗДАТЕЛЮ

Положи на ладонь и ладонью укрой —
Стану косточкой сонной и время забуду,
Прозеваю, просплю — обойдёт стороной
Осторожное чудо.

Ближе к сердцу, а кажется — так далеко!
Пусть ни лада, ни смысла, ни проку.
На путях мировых отпускаешь легко,
Поднимаешь высоко.

ВЛАДИМИР ТАБАЧКОВ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

РАССКАЗ

Первый раз Георгий Иванович приехал ко мне в поле в 1957 году. Естественно, его интересовал разрез триасовых отложений. В кернохранилище разложили керн, и Блом стал описывать разрез. Я внимательно следил за его действиями. Одновременно с описанием керна Георгий Иванович стал искать остракоды и конхостраки, причём он предложил нам принять участие в поисках. Кто найдёт — приз, пузырёк водки за его счёт. Мы трое не знали, как подойти к этому делу, и поэтому ковырялись в глинистых породах без понятия. А в это время Георгий Иванович, дока в триасе, то и дело завоёвывал призы. Это уже потом он объяснил нам, в каких породах предпочтительнее искать фауну, когда мы распивали все им установленные и завоёванные призы.

В работе Георгий Иванович был одержим, не жалел ни себя, ни своих соратников по полевой партии, ни нас — своих учеников. Было несколько случаев, когда я, работая с Бломом, попадал в интересные ситуации. Однажды Георгий Иванович решил, помогая нам в работе, показать контакт триасовых и юрских отложений. Обнажение расчищали на правом берегу Унжи, в устьевой её части. Почти прямо от устья, на правом берегу Волги находился Юрьевец, известный, помимо прочего, тем, что в нём в разное

ТАБАЧКОВ Владимир Фёдорович родился в 1932 году в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Северо-Осетинской АССР (ныне республика Северная Осетия — Алания). Окончил Ростовский-на-Дону государственный университет по специальности “геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. Работал в Волжской комплексной геологоразведочной экспедиции. Им разведаны крупные месторождения формовочных песков, карбонатного сырья, каменной соли, мела и других полезных ископаемых с запасами, утверждёнными в ГКЗ России. Заслуженный геолог РСФСР, Почётный разведчик недр. Удостоен многих наград.

время проживали кинорежиссёр Тарковский, в честь которого названа одна из улиц города, и эстрадный артист Леонтьев.

Целый день, что называется, “пахали”, расчищая склон. А пахарей, кроме Блома, было ещё четверо: я, Миша Эдлин, Аркадий Клеванский и Том Юнанидзе. Работали целый день, устали, хотелось есть, и здо́рово хотелось. Несколько раз уговаривали Георгия Ивановича закончить работу на сегодня и на пароходике вернуться в гостиницу Юрьевца, покушать и отдохнуть. Уговоры заканчивались безрезультатно, успели мы лишь на последний рейс. Естественно, столовая уже закрыта, в городе погашены огни. Но Блом сказал:

— Не расстраивайтесь, ребята, у меня всё есть, еды хватит на всех.

При свечах оформили прописку в гостинице, прошли в номер на пятнадцать человек, разделись, сели к столу, и тут Георгий Иванович достаёт из рюкзака буханку ржаного хлеба и пол-литровую банку яблочного пюре. На мой недоумённый возглас: “И это все?!” — Георгий Иванович ответил:

— На ночь много есть вредно.

В другой раз Георгий Иванович предложил мне, тогда уже главному геологу Горьковской геологоразведочной экспедиции, составить ему компанию в описании триасовых отложений и сбору фаунистических остатков наземных позвоночных, приуроченных к конгломератам, залегающим среди глинистых пород. Предстояло поездом добраться до базы группы партий, входящей в состав экспедиции, и оттуда на вертолёте, сбросив лишний груз и взяв дополнительно бочку с горючим, лететь до реки Юг. Вылетели мы из села Песковки втроём. Начальник группы партий Алексей Арсентьевич Котов дал нам своего рабочего — Ивана Ивановича Анциферова, исполнительного, трудолюбивого и скромного человека, которого мы в дальнейшем использовали в качестве сторожа двух палаток: одна — для Блома и меня, вторая, поменьше — для Ивана Ивановича. Прилетев на место, расположенное близ леспромхозовского посёлка, мы разбили лагерь на правобережной пойме реки и на другой день приступили к расчисткам.

Левый берег был не очень высок, но крутой. Недалеко от места наших расчисток работал лодочник, перевозивший людей с одного берега на другой, в том числе и нас двоих. Три дня мы работали в таком режиме: когда дело подходило к 5 вечера, а именно в это время лодочник заканчивал свою работу, я бежал к нему, давал денег на вино, благо магазин был рядышком, и просил задержаться.

В последний день Георгий Иванович никак не мог оторваться от сбора фаунистических остатков. Я два раза бегал к лодочнику, и тот уже хорошо набрался. В третий раз он отказался от взятки и засобирался домой. Поработав ещё некоторое время, стали собираться и мы. Лодочника уже не было, и нам пришлось переправляться вплавь. Георгий Иванович переплыл один раз, а мне пришлось три раза: много груза. Вода в реке была холодновата: как ни крути, а начало сентября. Согрелись у костра и пошли спать. Ночью в палатке я проснулся от стона. Стонал Георгий Иванович, судорога сводила ноги. Ничего под рукой не было, и я стал растирать ему ноги жидкостью от комаров.

— Отчего это у вас, Георгий Иванович?

— В молодости не жалел себя, много ходил и перетрудил ноги, вот теперь это и сказалось после купания в холодной воде. У тебя тоже со временем будет такое, — успокоил он меня.

СЕРГЕЙ РОМАНОВ

ЛЮБЛЮ Я ТО, ЧТО ДЫШИТ СВЕТОМ

ТО, ЧТО ЛЮБЛЮ

Люблю я то, что дышит летом,
Твои слова с теплом согретым,
Трава, тропинка, ноги босиком,
Ведущие туда, где встретились тайком.

Люблю я то, что дышит ветром,
Пронзая скованность ответом.
Бросая все проблемы в пустоту
И унося с собой воспоминаний наготу.

Люблю я то, что дышит светом,
Душа и дух, воспетые поэтом.
Церковный звон, молитвы стон
И переполненный духовностью престол.

Люблю я то, что дышит делом,
Кто управлять умеет телом.
Чьё слово может быть живым,
А ум до старости не будет жить больным.

РОМАНОВ Сергей прошёл путь от машиниста экскаватора до заместителя главного инженера по перспективному развитию на разрезе “Березовский” компании АО “Стройсервис” в Кузбассе.

СЛОВА

О, сколько люди вкладывают чувств
В слова, которые не понимаем мы доколе,
Когда проходят, незаметно пусть,
Года, и смысл их всплывает нам не вскоре.

Осмыслив то, что говорил отец,
И вспомнив то, что говорила мама.
Поймёшь всё это наконец,
Поймёшь — вздохнёшь устало!

И повторится всё кольцом,
Опять непонимание, слёзы.
Детей противоречия с отцом
Ознаменуют будущего грёзы.

ВЕТЕР

У ветра нет уж направлений!
Гудит, шумит, ласкает слух.
Он видел много поколений,
Что аж захватывает дух.

Слова на ветер не бросали?
Все те, кто искренности враг,
Возможно, много потеряли,
Но ветер всё унес. Пустяк?

Словами судьбы ведь вершатся,
Словами душ корежит суть.
И невозможно надышаться,
Когда по правде шанс шагнуть!

Да ветер всё перемешает.
Он весь в себе накопит спам.
Как жаль, что это он не потеряет,
Отдав назад всё это нам.

ВИТАЛИЙ ФЕДОРЕЕВ

СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК

РАССКАЗ

Посвящается
Никите Михайловичу
Семёнову, геологу

Вечерело. На автовокзале собрались отъезжающие и провожающие их родственники и знакомые. В назначенное время подошёл небольшой автобус с мягкими креслами, к которому дружно устремились пассажиры, разные люди как по возрасту, так и по профессиям. Молодёжь, видимо, студенты, оживлённо обсуждала свои проблемы, вкусно хрустя сочными яблоками. Кто-то из уезжающих навсегда со слезами прощался с близкими и друзьями. Командированные деловито и уверенно стремились занять свои места. Небольшая группка корреспондентов с аппаратурой и какими-то ящиками пыталась устроить своё имущество так, чтобы оно не повредилось и в то же время не мешало другим.

Скоро автобус заполнился и, хотя имелись свободные места, тронулся строго по расписанию. В первые минуты пассажиры ещё продолжали усаживаться и переговариваться между собой, но затем затихли. Предстояла многочасовая ночная поездка, и люди внутренне готовились к ней.

Минут через сорок с начала поездки автобус притормозил у обочины. Пассажиры с любопытством стали смотреть в окна: в чём причина непред-

---

ФЕДОРЕЕВ Виталий Николаевич родился в 1941 году в Приморском крае. Окончил Томский государственный университет как инженер-геолог. С 1961 года по настоящее время работает на Камчатке. В настоящее время — руководитель филиала ФГУ "ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу". Более 20 лет занимается учётом и обобщением информации по минерально-сырьевым ресурсам Камчатки. Автор нескольких десятков статей. Ветеран труда, ветеран геологической службы Камчатки, Почётный разведчик недр.

виденной остановки? В автобус вошёл мужчина средних лет в защитной штормовке с эмблемой “Мингео” на рукаве, большим зелёным рюкзаком и гитарой в чёрном чехле. Он поблагодарил водителя за то, что тот подобрал его, и о чём-то попросил. Потом огляделся в салоне, увидев свободное место, сел. Свой рюкзак он оставил на площадке рядом с водителем, а гитару бережно придерживал в руках. Выяснив причину остановки, пассажиры некоторое время разглядывали нового попутчика, а затем каждый погрузился в своё. Так проехали около часа.

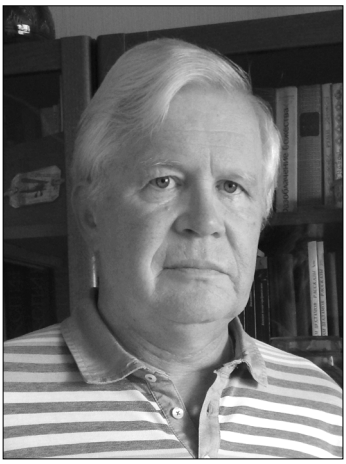
Кто-то из молодёжи, которая явно не торопилась уснуть, тронул нового попутчика за рукав и спросил, не сыграет ли он что-нибудь на гитаре. Человек в штормовке посмотрел по сторонам и ответил, что если это не помешает остальным пассажирам, он готов немного поиграть. Большинство промолчали, а молодёжь горячо поддержала, мужчина осторожно снял чехол, аккуратно достал гитару и начал настраивать её. И вдруг пальцы его стали быстро-быстро перебирать струны, и в салоне зазвучала музыка. Причём это не были ритмичные аккорды, гитара пела. Красивая, знакомая многим мелодия лилась по автобусу, сопровождаемая рычаньем двигателя автобуса. Затем гитарист запел. Сильный приятный голос с чуть заметной хрипотцой заставил бóльшую часть пассажиров повернуть головы в его сторону. Начав с песни “Лыжи у печки стоят...”, певец перешёл к “Бабьему лету”, к старинным русским и цыганским романсам. Теперь уже все пассажиры сидели, развернувшись к певцу. Казалось, что даже водитель утихомирил двигатель, чтобы не мешал исполнению.

За окнами автобуса было уже темновато, но свет в салоне не включали. В несущемся в ночь автобусе звучала гитара и песня. Не было блатных, крикливо-походных песен. Помимо романсов, звучала классика — лирика на слова Есенина, Фета, других известных поэтов. Когда голос умолкал, гитара словно продолжала песню, мелодией договаривала слова. Никто не хлопал, не благодарил по окончании очередной песни. Люди сидели, словно оцепенев от услышанного.

Вдруг водитель, повернувшись в салон, громко сказал: “Подъезжаем”. Певец умолк. Достал чехол, уложил в него гитару и подошёл к передней двери. Автобус остановился перед мостом через небольшую речку. Мужчина протянул водителю деньги. Тот резко возразил: “Да за такой концерт самому платить нужно! Большое вам спасибо”. И словно очнувшись от спячки, пассажиры наперебой стали благодарить мужчину. Он, набросив на плечо рюкзак, повернулся к салону и сказал: “Спасибо за то, что слушали. Доброго всем пути”. Водитель спросил, куда ему идти. “Тут недалеко, несколько километров, дойду”. И вышел. Молодая женщина из группы корреспондентов соскочила со своего места, подбежала к двери и крикнула в ночь: “Кто вы, как вас зовут? — Геолог, просто геолог”, — послышалось в ответ. Автобус тронулся в полной тишине. И вдруг, ни к кому не обращаясь, один из пассажиров громко сказал: “Вот ведь как бывает. Просто спел человек, а всю душу перевернул. Это вам не телевизионные звёзды...”

Ему никто не ответил.

НИКИТА БРАГИН



ЗДЕСЬ ВИДНА ИЗНАНКА МИРА

ВОПРЕКИ

Вопреки расчёту и опыту,
вопреки утверждённым словам,
понижаю голос до шёпота,
соразмерного только слезам —
оттого и чувствую сам,
что разгладились волны плавно,
что слепое предстало явным,
и душа покорна стихам...

Вопреки жестокому времени,
вопреки распорядку зла,
ухожу следами оленьими,
талым снегом, плеском весла
в те края, где песок да зола
на местах покинутых стойбищ,
где понятно, чего ты стоишь,
перелистанный догола!

БРАГИН Никита Юрьевич родился в 1956 году в Москве. Главный научный сотрудник Геологического института РАН, доктор геолого-минералогических наук. Член Союза писателей России, автор одиннадцати сборников стихов. Лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина (2018), Международной литературной премии имени Сергея Есенина “О Русь, взмахни крылами” (2019), победитель Большого дистанционного литературного конкурса “Преодоление” МГО СП России (2020).

Там костров увядшее золото
обжигает кровь на губах,
и слезинки вешнего солода
проступают на бледных стволах,
и томятся на чистых листах
дни любви и декады разлуки!
Миг покоя среди разрухи...
Миг молчания на пирах...

КОСТЁР

Уехать бы в какой-нибудь Надым,
зазимовать в заснеженном бараке,
зажечь огонь под Новый год во мраке,
дыша морозом, жгучим и седым.

Прищуриться на лиственничный дым,
нарезать мясо, дать шматок собаке
и, забывая городские враки,
увидеть мир простым и молодым.

Проснусь и чувствую скупым и старым
свой город, и к рутинному труду
опять иду по скучным тротуарам.

Среди толпы я электричку жду
и вспоминаю совершенным даром
костёр в ночи да ясную звезду.

ТРОПА

По медвежьей тропе ты ушла
в талый сумрак ольховой чащобы,
а в росе, ледяной до озноба,
остывала ночная зола;
и просветом пронзительно-синим
открывался воздушный простор,
мир незыблемых красок и линий,
снежных гор чёрно-белый узор.

Как вода, утекала беда
из ладоней, немевших от боли,
а вдали задыхались в неволе
и в разлуке с тобой города,
где, не помня ни роз, ни сирени,
тёмно-пыльный асфальт площадей
провожал полусонные тени
обречённо спешащих людей.

Но текли первородным вином
время ветра, пространство заката,
и река, повечерьем заклята,
догорала в котле ледяном,
отдавая осеннюю негу,
принимая любви наготу,
улыбаясь холодному небу
и распадкам в лилейном цвету.

А тропа уводила назад,
в окаймлённую чащей долину,
и выбеливал мокрую глину
провожавший тебя снегопад...
Осыпались разлуки страницы,
золотые листы в седине,
и во сне задрожали ресницы —
это вспомнила ты обо мне.

ГРОЗА НАД КЕРУЛЕНОМ

В небе назревают перемены,
шлейфы туч всё шире, всё белей,
гребни гор над синим Керуленом
как форштевни древних кораблей.
Движутся воздушные громады
к бою, воздымая паруса,
ждёшь — вот-вот начнётся канонада,
и природы грозная краса
гром и камень свяжет воедино,
град и листья бросит на траву,
а потом, по праву господина,
замолчит, являя синеву.

Но её пути не угадаешь —
налетит, пройдёт ли стороной,
и Хэнтея высота седая
тихо терпит беспощадный зной,
терпят и гранит, и камнеломка,
терпят и сосна, и муравей,
только тучи, натянув постромки,
по небу несутся всё резвей.

Юность много ждёт, да мало знает,
дышит небом, не считая звёзд,
до́роги ей широта земная
и стихии исполинский рост.
С ней остались на хэнтейских кручах —
в солнечных лишайниках скала,
ветви смоляные, ветер жгучий,
и гроза, что в прошлое ушла.

ХРУПКАЯ ВЕЧНОСТЬ

Ветер, веющий с лимана,
полон холода больного —
выйдешь поздно или рано,
всё давным-давно не ново:
тяжек снег на месте лобном,
сколько душу ни трави,
тундра вечности подобна,
хрупкой вечности любви.

Проводи меня на пристань,
погадай мне на дорогу,
горький век наш перелистан
до начала эпилога.

Годы старости — что птицы
на расклёванный гранат,
но последние страницы
откровение хранят.

Про себя его читая,
ощутишь, как сердце бьётся —
от Днепра и до Китая,
от креста и до колодца!
Боль подобна тонкой линзе,
собирающей огонь, —
только тронь, она и брызнет
жаркой смертью на ладонь!

Но на Севере всё просто,
если спят в стволах патроны,
если щедрость — полной горстью,
и прощание — с поклоном!
Здесь неправда — свет болотный,
а ошибка — самострел,
здесь за точку платишь сотню
и полсотни — за пробел.

Север наизусть заучен,
но всегда берёт врасплох он —
перед горем неминучим
всё беспомощно и плохо.
Здесь видна изнанка мира,
швы, заклёпки и болты
да зияющие дыры
заполярной пустоты.

Но у пропасти прощаний
неба весточка святая
на лишайник и песчаник
серой пуночкой слетает,
тихой птичкой, лёгким пухом
на протаявшем снегу...
Этот ясный образ Духа
я до смерти сберегу.

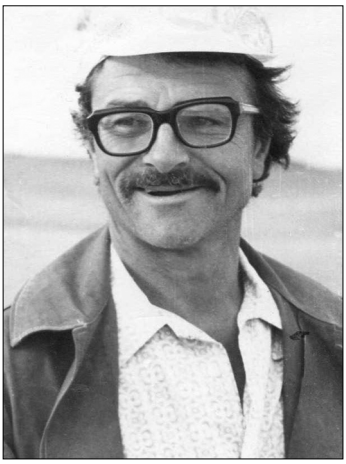
ЦВЕТЫ В СНЕГУ

Трава да мох с цветами вперемежку
меж пятен снега, талой синевы.
Освободился — расцветай, не мешкай,
и с нетерпеньем каждый луч лови.

Так и живём — в короткий летний проблеск
любовь и смерть одним венком собрав,
а дальше — тьма, зимы слепая пропасть,
как только завершится ледостав.

И будет небо в донышке стакана,
осколок солнца — в жарком угольке,
в замерзшей капле — сердце океана
и вечность — в облетевшем лепестке.

АЛЕКСЕЙ ШАБОЛОВСКИЙ



КРЮК

РАССКАЗ

За спиной, совсем рядом пронзительно крикнула большая птица. Семён не оглянулся: он распластался на выступе скального гребня, круто уходившего вверх. Далеко внизу, на плоском дне выпаханной ледником долины, — пухлая зелень, и по ней расползлось стадо: крохотные белые и чёрные точки. А чуть побольше — треугольничек: пастух на коне. Сквозь прохладный ветер слабо доносится рокот горного потока. Высота 3600 метров...

Вокруг, как заточенные, врезались в небо пики Алайского хребта. По глубоким долинам веками ползут многокилометровые ледники, толкая впереди себя многоэтажные каменные нагромождения — морены. А на севере над Ферганской долиной, скрытой в сплошной дымке, повис в воздухе сказочный мираж Чаткальского хребта, его чёткие голубые грани. До него — трудно поверить — больше ста километров, а можно разглядеть каждую долинку, каждый гребень и вершину.

ШАБОЛОВСКИЙ Алексей Евгеньевич (1923–1989) со школьной скамьи ушёл на фронт. Зимой 1941–1942 годов участвовал в рейдах в тыл врага как боец комсомольского истребительного отряда, затем воевал в регулярных частях Красной армии на Ленинградском фронте. После тяжёлого ранения потерял левую руку. В 1949 году окончил Московский геологоразведочный институт. Вёл поиски и разведку полезных ископаемых на Дальнем Востоке, Северном Урале, в Сибири, Забайкалье и Монголии. Возглавлял геофизическую партию ЦНИГРИ в Саянах, осуществлял техническое руководство разведочной партией в Албании, несколько лет работал в аппарате экономического советника в правительстве Монгольской Народной Республики, был заместителем уполномоченного Министерства геологии СССР в МНР. Кандидат геолого-минералогических наук. Несколько рассказов А. Е. Шаболовского были опубликованы в журналах "Звезда", "Аврора", звучали в радиоэфире в день снятия блокады Ленинграда.

Рано утром, когда солнце ещё не показалось из-за гор, Семён начал очередной маршрут и вскоре подобрался к широкой каменной осыпи, конусом уходившей вверх по склону. Здесь среди серых, невзрачных гранитов заметил обломки более светлых, характерных пород. Заволновался. Достал из-за пояса молоток, заработал, разбивая глыбы. На сколе одной из них засверкала ярко-белая зернистая масса, в которой как будто плавали бледно-зелёные многогранные кристаллы. Драгоценный камень. Его прозрачные разновидности после огранки украшают бесценные колье и кольца. А то, что не годится ювелирам, идёт в самую тонкую металлургию — на вес золота. Это была удача: именно его искали они всей партией, где Семён проходил производственную практику.

Выше, в осыпи, Семён встретил ещё несколько обломков белых пород: по-видимому, где-то вверху в скалах есть рудоносная жила. Она разрушалась со временем, и её обломки скатывались в осыпь. Другого пути у них быть не могло! Однако снизу, насколько хватает глаз, жилы не видно. Значит, она где-то там, на склоне, может быть, высоко.

На вершине осыпи Семён осмотрелся. Впереди — прямая узкая расщелина с гладкими краями. Скальный склон крут и выглядит внушительно. Нужно лезть. Он прекрасно понимал рискованность такого поступка и предвидел возможные последствия: ведь рабочих рук у него только одна! Да и сделанная им находка уже важна: это успех всей партии. Завтра он приведёт сюда товарищей и, привычно заложив свою изуродованную войной руку в карман, задрав голову, будет следить, как ползут они вверх с выступа на выступ...

Понадёжнее закрепив за спиной полевую сумку и молоток, Семён пошёл по скалам. Первые сотни метров не пугали особой трудностью. Он поднимался довольно споро и как туманное, давно прошедшее, вспоминал альпинистское Приэльбрусье. Последний раз Семён там был в 1940 году. И многое случилось с тех пор: прошла страшная война... Ему помнились серебристые "гималайки" на берегу грохочущего Баксана, буйная черника, песни у костра и учебные занятия "с двойным охранением" на совсем пустяковых скалах... Эти, сегодняшние, куда серьёзнее! Но он знает, помнит, как нужно идти, как дышать.

На трудных скалах, чтобы просто держаться, необходимы три опоры: скажем, для ног и одной руки. И для каждой нужен выступ или трещина, или просто неровность. А чтобы двинуться вперёд и вверх, обычно требуется и четвёртая опора, чтобы на всех четырёх подтянуться сантиметров на двадцать или тридцать и поочередно переменить их. Четыре-три-четыре-три... Так учил когда-то рыжий инструктор Жора Андрюшкевич, погибший от немецкой пули на Клухорском перевале. Но сегодня на четвёртую опору у Семёна надежды нет: она никуда не годится. Что ж, он пойдёт на трёх: три-две-три-две... Так труднее, конечно, но он приспособится. Должен приспособиться!

Семён неторопливо продвигался вверх. Без толчков, мягкими движениями переходил с опоры на опору, стараясь достичь классической непрерывности хода, как кошка, когда идёт по крыше. Не останавливаясь, рассматривал скалы выше по маршруту, намечал путь на несколько метров вперёд. Вниз не глядел, но по ветру, по меняющимся звукам чувствовал, как медленно прибывает высота и распахивается за спиной прохладный простор.

Почти не останавливаясь, он двигался около двух часов. Солнце стояло уже высоко, и остывшие за ночь скалы прогревались, теплели. Из затенённых расселин поднимался едва заметный парок, разнося неповторимые запахи утреннего высокогорья: чуть кисловатые — талого снега, мокрых, высыхающих камней — и совершенно особенный, очень тонкий, уже не запах, а скорее пресноватый аромат живых, зеленовато-бурых лишайников. На такой высоте растительности уже нет совсем, и это тоже можно почувствовать по тому, что нет сильного терпкого запаха влажной почвы и гниющих корней, горьких трав и цветов.

Семён поднимался всё выше, и в душе крепло радостное чувство уверенности. Искалеченный войной, карабкается он по круче, и всё у него

получается. И, наверное, многие с двумя руками, никогда не видевшие гор, не знающие радости такой вот борьбы, не смогли бы пройти здесь. А он идёт и будет идти, пока не доберётся до жилы!

Однако сейчас важность этой жилы и "высокая" цель как-то отошли на второй план. Его влекло вверх уже что-то личное, захватил азарт борьбы и близкое к восторгу ощущение полной своей пригодности выполнять то, что становится теперь целью и смыслом его жизни. А ведь совсем ещё недавно был такой момент, когда его глубоко потрясло вдруг созревшее сознание своего увечья и неполноценности.

Солнце уже подбиралось к своей полуденной точке, когда, перевалившись через очередной уступ, Семён увидел правее и выше сахарно-белое пятно. Это была большая жила. Она полого вытянулась в верхней части почти отвесной стенки. Один край жилы уходил за гребень, а другой несколькими узкими полосками тянулся влево и терялся где-то над головой. Подобраться к самой широкой части, где обычно больше всего бывает драгоценных включений, сейчас — одному, без верёвок — нечего было и думать. Оставалась надежда встретиться с ней выше, прямо по ходу.

Дальше предстоял крутой участок. Семён почти на ощупь выискивал выступы и неровности, перебираясь от одной опоры к другой. Крутизна заставляла всё время прижиматься грудью к скале и скользить, почти ползти. Наконец, метрах в трёх, прямо перед собой, он увидел две близко расположенных одна от другой белых полосы. Но пройти эти последние метры оказалось труднее, чем весь путь, который сегодня уже позади. Семёна отделяло от жилы подобие каменной парадной лестницы шириной метра два, но только уроненной набок. Полуметровые ступени торчали грядой. Всего два метра.

А внизу под ногами... Ну, сколько там под ногами метров или километров — теперь не имело значения. С огромным трудом Семён подтянулся почти к самой жиле: уже в метре от лица видел её зернистую поверхность, различал зелёные кристаллические вкрапления. Он мог бы дотянуться до неё рукой, если сделать ещё полшага.

Но Семён оказался не в состоянии сделать эти полшага — широко расставленные ноги стояли довольно прочно, а тело сильно наклонилось влево, и значительный вес приходился на руку. Чтобы переместить её на следующую опору, нужно хотя бы на несколько секунд снять этот вес, перенести его на ноги. Но этого-то и не получалось: как ни старался он укрепить своё положение, помогая плечами и коленями, третья опора не отпускала.

Так продолжалось довольно долго, и ему стало жарко, а по напряжённой ноге, что опиралась на самый носок, прошёл холодок. Так бывает, когда долго висишь на скале в неудобном положении, и нет возможности двинуться дальше: нога вдруг холодеет и как будто начинает неметь. Потом по икре вверх и вниз пробегает мелкая дрожь. Она медленно и неотвратимо нарастает, усиливается, и вот уже ступня и колено дергаются судорожно, беспорядочно, и их никак нельзя остановить. И если не убрать ногу с опоры, не переменить позу, тогда судорога. А под тобой бездна... И ощущение беспомощности порождает страх...

Семён рывком выбросил вверх руку и перехватился — ничего другого не оставалось. На уровне глаз, перед самой жилой, вытянулась не широкая, почти горизонтальная скальная "полочка", за край которой он теперь держался рукой. Подтянулся вверх, сколько было возможно, и положил подбородок на чуть скошенный выступ. Подбородок — тоже опора! И вот немеющая нога отдыхает. Ещё несколько секунд, и предательская дрожь совсем затихает.

Тогда, не меняя положения, он пошарил по стенке носком ботинка, нащупал опору и немного приподнялся... Но тут нога всё-таки соскользнула, он ударился подбородком и замер. По спине пошёл озноб. Положение стало критическим. Превозмогая боль в подбородке, в пальцах, отчаянным усилием воли и мускулов Семён забросил ногу на "полочку" и осторожно сантиметр за сантиметром, выполз на спасительную поверхность. Ещё усилие — он развернулся и сел на неровных и острых, но надёжных камнях.

Борьба отчаянная, короткая — всего несколько минут, и он выиграл: вот она, жила!

Тыльной стороной ладони Семён поглаживал шершавую поверхность жилы. Сидеть было неловко — сверху нависала остроугольная глыба, и с каждым движением он натыкался на неё спиной и плечами. Размахнуться как следует, чтобы отколоть порядочный образец, тоже никак невозможно. И он принялся расковыривать жилу по трещине острым концом молотка. С трудом наковырял два небольших мешочка чёрных и зелёных включений, связал их вместе и пристроил на поясе за спиной. Потом, счастливый и успокоенный, записал про всё виденное и сделанное в полевой дневник и приготовился в обратный путь.

Однако в его положении спуститься тем же путём нечего и думать. Давила усталость, болели икры, саднило кожу натруженных, стёртых пальцев. Двигаясь вверх больше трёх часов, он удачно выбирал дорогу, и не раз положение оказывалось сложным, просто опасным. Но на спуске никак нельзя рассчитывать попасть строго на те же опоры! А возьми чуть в сторону, на какой-нибудь нависающий выступ или карниз — и тогда худо…

Семён сильно, до боли зажмурился, потряс головой, чтобы согнать растерянность и страх. Ну, если нельзя вниз, так ведь можно ещё дальше вверх?

Откинувшись, насколько позволяло неудобное положение, он осмотрел скалы над головой и по сторонам. Вот сюда правее по чуть заметному выступу можно пройти метров восемь. А дальше не видно, но склон как будто становится более пологим. Да как бы там ни было, всё равно никто не придёт, не снимет его отсюда! Только сам…

Выше склон действительно стал относительно пологим. Но то, что можно было увидеть, скорой развязки не сулило. Вся надежда теперь на длинный, почти горизонтальный уступ, который едва просматривался далеко вверху. Возможно, по этому карнизу удастся пробраться в соседнюю, более ровную долину и уж по ней спустится к лагерю партии.

Однако сил положено слишком много, а идти придётся ещё несколько часов, и из них не меньше двух — вверх. Всё тело ныло, сопротивлялось, болели мышцы на шее, которые он всё-таки потянул, ударившись подбородком. С отвращением вспомнил, как лязгнули при этом зубы. Ладони кровоточили.

Прошёл час. Семён поднимался крутыми диагональными ходами — галсами. Двадцать шагов в минуту, не больше, иначе не дотянуть.

Прошёл второй час. Склон снова стал немного круче и уступ в верхней его части скрылся где-то за перегибом. Иногда становилось страшно — вдруг не попасть на этот уступ, и тогда придётся лезть на самый гребень.

А последние силы уходили, утекали. Теперь уже Семён отмерял пройденные расстояния совсем короткими отрезками: от острого камня до расщелины, забитой снегом, от пологой трещины до нависающего выступа. А когда приходилось всё же придержаться рукой или чуть подтянуться — это вызывало сильную, как ожог, боль.

Обессиленный, Семён лёг грудью на край карниза. Ноги уже без опор висели в пустоте, и это было против всяких правил. Но сил больше не оставалось совсем. Он прижался щекой к гладкой холодной поверхности и отдыхал, отдыхал… Дышалось почти спокойно, и сердце билось ровно, но силы иссякли вовсе.

Через несколько минут Семён выполз на карниз, не поднимаясь, отцепил сумку, перевернулся на спину и мгновенно заснул. Сколько это длилось, минуту или час, он не знал, но всё изменилось: сознание вспыхнуло сразу и было ясным. Семён не шевелился, но чувствовал, что изнеможение сменилось знакомой болью усталости в икрах, в пояснице, под правой лопаткой.

Он осторожно потянулся, не поворачивая головы, ощупал правой рукой край карниза и сел. Батюшки… Это же ковёр-самолёт! Справа пустота, а дальше, в бездне, — изумрудно-зелёное дно долины и белая прерывистая лента потока. А ещё дальше — неприступно крутой противоположный склон долины.

Карниз, на который выбрался Семён, тянулся до следующего гребня, и за ним начинался относительно пологий спуск — довольно спокойная дорога домой, в лагерь. Отлично!

Солнце ещё высоко, в сумке — кусок шоколада, а к ремню на поясе привязаны два небольших мешочка с бледно-зелёными кристаллами в белой породе. “Боженьки ж мои! — как говорила бабушка. — Хорошо-то как!..”

Опираясь на стенку, чтобы не качнуло в пропасть, Семён поднялся на ноги. Нормально! Осторожно прошёл несколько шагов влево, за выступ, там карниз продолжался и становился шире. А вверху, совсем недалеко, седловина, а за ней уже только чистое небо. Семён вернулся к сумке и тут увидел торчащий из расщелины край плоской четырёхугольной консервной банки из-под сардин. Банка совсем проржавела, но в ней когда-то обязательно были сардины: на Кавказе их всегда брали на восхождения, это была вроде как традиция.

Семён долго смотрел на этот ржавый привет из прошлого. Потом огляделся и тут же, на уровне плеча, в полуметре увидел справно забитый в трещину страховочный альпинистский крюк. Он был забит как положено, по самое “ухо”. Ну, конечно же, именно здесь, тем же путём, что и он, прошли (может быть, ещё до войны?) незнакомые ребята, возможно, несколько “связок”. Тут они отдыхали и ушли влево по карнизу, наверно, к тому светлому пику, что отлично виден снизу от палаток.

Он сел. Неудержимое, радостное шевелилось в душе, подступало к горлу, на глаза наворачивались счастливые слёзы. Семён откинулся на спину и заорал. Заорал небу и скалам, и этому старому надёжному крюку. Кричал то, что рвалось от пережитого, отнятого, достигнутого. И просто от молодости.

— А-а-а-а... Эй-й-й... Как я вас сделал, голубчики дорогие мои? Ишь вы, чайнички, физкультурнички! На крючочках, на страховочках... А я? Стреляться хотел — калека печальный... И вот — без верёвочек, зубками, на трёх пальчиках!..

Так в одиночку, почти в поднебесье, отпраздновал Семён свою новую, может быть, самую важную победу.

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ

ПРОЕКТ ЧЕЛОВЕКА

Я ДИКАРЬ

Я дикарь.
Я живу в окружении передовых цивилизаций.
Я выживаю, прячась под связанной из сказки
Шапкой-невидимкой.
Как только сниму шапку —
Не то чтобы показаться во всей красе,
Всё-таки ради чего мне скрываться? —
Но тут же во всех сторон
От имени удачных изобретений
Летят в меня стрелы передовых цивилизаций,
Потомков гуннов, гиксосов, неандертальцев...
Их лукавые луки сделаны из корешков умных книг;
Их тетива, свитая ещё из жил мамонта, всегда права;
Их стрелы острее недвижных стрел Зенона.
Я едва успеваю снова надеть свою шапку.
Стрелы смело летят сквозь мою прозрачность,
Задевая братьев моих по разуму,
Которые неосмотрительно снимают
Перед передовыми цивилизациями
Свои шапки, шляпы, шлемы, пилотки, каски,

КУПРИЯНОВ Вячеслав Глебович родился в 1939 году в Новосибирске. Поэт, прозаик, переводчик, теоретик русского свободного стиха, лауреат многих зарубежных и отечественных литературных премий, в том числе премии фестиваля поэзии в Гоннезе (Италия), Европейской литературной премии (Югославия), премии Министерства образования и искусства Австрии, Бунинской премии, премии "Европейский атлас поэзии" (Сербия) и других. Его поэтические произведения переведены на более чем пятьдесят языков мира. Живёт в Москве.

Которые их едва защищают...
И я едва успеваю снова надеть свою шапку,
Чтобы многим назло напомнить
О моём праве на незаметное существование.
Стрелы тут же срываются с тетивы.
Именем изобретения, они правы,
И я знаю, что никому не нужна моя голова,
Но нужна моя шапка, связанная из сказки,
Чтобы я не смел нарушать видимые
И невидимые границы цивилизации,
Или, быть может, нужна для расправы
Сама эта добрая старая русская сказка...

* * *

От улитки до божьей коровки,
Всё живое живым говорит:
"Мы не звери, мы только уловки...
Как сберечь свой единственный вид?!"

Мы уходим в себя, как улитки,
Избегая с подобными встреч.
Мы не люди, мы только попытки...
Как Проект Человека сберечь?..

* * *

Я на ближних не в обиде,
Я среди далёких рос.
В этом виде я Овидий
Над строкой "Метаморфоз".

Или я бреду, как Данте
За Вергилием вослед.
Мне кричат: "В сторонку встаньте!
Там останьтесь, где вас нет!"

Как непросто в этом мире
Петь заставить тень свою!
То ли я бренчу на лире,
То ли лиру продаю...

Космонавты на орбите
Мне грозят из синевы:
"Вы огонь в себе уймите,
Дым идёт из головы!"

Я уйму, и станет внятно:
Свет на самом деле бел.
Выгорят на солнце пятна
Там, где я на них глядел.

* * *

До рассвета залив пуглив,
в нём даже дрожат облака,
он ещё не верит, что он залив,
а не смутный сон рыбака.

А рыбак видит седьмой сон,
сон смутен и неумолим,
в нём ворочается рыба сом
и плещется рыба налим.

До рассвета рыбак сонлив,
но не хочет сон пропустить,
где он может молча выпить залив
и облаком закусить.

* * *

В мире высот и впадин
На всё есть свои причины.
Кто всё-таки больше жаден —
Женщины или мужчины?

В грохоте медных труб
Кто будет играть на кларнете?
Кто всё-таки более скуп —
Взрослые или дети?

При справедливом строе,
В новой счастливой эре,
Кто больше берёт чужое —
Граждане или звери?

Друг в друге души не чаем,
Привыкли к любой причуде!
Кто более приручаем —
Животные или люди?

СЛОВО

Слово называет вещи своими именами,
И вещи живут надеждой на Слово.
Слово всегда держит слово.
Слово может назвать молчанье золотом.
Кто слышит, как кричит слово “молчание”,
Когда нам нечего сказать?
Кто слышит, как плачет слово,
Когда ему есть что сказать,
Но вы не хотите слышать?
Слово смеётся над нами
Сквозь слёзы наших слов.
А как плачет слово “любовь”,
Узнав, что для нас любовь — это только слово!..
И когда нас уже нет,
Слово повторяет нашу жизнь
Слово в слово...

МОНОЛОГ МОГИЛЬЩИКА

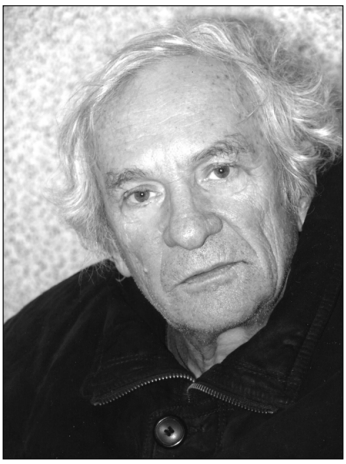
Достиг я высшей власти.
Который срок я властвую спокойно,
Но мира в мире нет. Я вижу,
Как буйно разрослось моё кладбище,
Какие здесь достойные надгробья...

Порфир и мрамор — это ли не знак,
Что я даю художникам свободу
Здесь созидать уж точно на века...
Падут дворцы, потомки могут свергнуть
Иные монументы с площадей,
Но кто, когда посмеет посягнуть
На изваянья кладбищ? Боги, боги,
Как славно вы когда-то поступили,
Что смертным сотворили человека!
Одна печаль — ужель и мне придётся
Сойти под эти своды... Но пока...
Да, многие споспешествуют мне
В моих заботах. Трудятся врачи,
Усердно поставляя мне здоровых,
Я о больных уже не говорю. И судьи
На смерть легко невинных осуждают...
Все, все ко мне! Учителя
Заботятся, чтоб поскорее дети,
Взрослеть не успевая, снова
Впадали в детство. Нет помехи мне
В неистовом стремлении моём
Могилами просторы заселить
Ещё нетронутые... Я смотрю
С надеждой в этот мир, в котором
Из всех искусств важнейшим
Является моё. Оно доступно всем.
Здесь всем хватает места.
В могильной демократии. Но вот
Одно меня тревожит: вдруг мои
Покойники восстанут, то бишь
Воскреснут... Заранее бы знать,
Чтоб вовремя предотвратить
Народа будущее исчезновенье,
Но как? (Входит охранник)
Охранник: Позвольте доложить, к вам человек.
Могильщик: Он один?
Охранник: Пока один.
Могильщик: Живой уже?! Иль может, наши сети
Опять нам притащили мертвеца?
Охранник: Не знаю, он не сказал.
Могильщик: Вот как?..

"ЧУДЕН ДНЕПР..."

Чуден Днепр,
Когда не делит
На левую и правую
Свою величавую широту;
Чуден Днепр, когда
Редкая пуля долетит
До его золотой середины;
Чуден Днепр при любой погоде,
Когда не льёт свои воды
На мельницу нечестивых;
Чуден Днепр
И блажен муж,
Иже не делит
На левое и правое
Величавую широту
Своей славянской души...

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ



ВЕТХАЯ ТИШИНА У ГИРЛА

РАССКАЗ

Если бы знать, что ожидает нашу ровную советскую жизнь, если бы Сам Господь насторожил нас на несчастную перемену и прочие бедствия, больше бы дорожили отпущенным благом, успели бы ещё пожить в охотку, ничего такого, что не достанется запросто потом, не упустить, всякой всеми вместе нажитой привычной привилегией воспользоваться. О если бы, если бы....

Всё в той потерянной жизни обходилось проще, неприхотливей, дешевле, можно было устремляться во все концы и нигде вдалеке не пропасть.

Теперь есть о чём пожалеть... Зря я не торопился, не объездил даже те земли, где меня приняла бы родня. В Ташкенте жил брат отца Тимофей Фёдорович, который к братьям Степану и Петру ни разу в Новосибирск не выбирался; до войны и после войны подняться в дорогу из Средней Азии — это целая история, хотя наши елизаветинские хохлы в Кривощёкове не раз попадали в бригаду проводников, ездивших в Ташкент и Ашхабад и привозивших, помню, вкусный урюк. По отцу родня была не той заботливой дружной породы, что со стороны матери (ласковая, щедрая, никого из своих не забывавшая). С двоюродными сестрёнками и братишками я и виделся чаще и знаюсь до сих пор, а по отцовскому корню дружил только с тремя сестрёнками, любившими и жалевшими "тётю Таню", мою матушку. В Ташкенте

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович родился в 1936 году на станции Тотки Кемеровской области. Детские и школьные годы прошли в Новосибирске. Окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института. Автор книг "Вечера", "На долгую память", "Осень в Тамани", "Элегия", романов "Когда же мы встретимся?" и "Наш маленький Париж". Лауреат Государственной премии России и международной премии имени Шолохова. Главный редактор журнала "Родная Кубань". Живёт в Краснодаре.

могла бы застрять моя биография, если бы дядя Тимофей не испугался, что я приеду поступать в институт и потесню его семейство: на жалобную просьбу мою он не ответил. И может, к лучшему. Не было бы у меня Тамани, Пересыпи, не написал бы я роман о Екатеринодаре и не встретил в хуторе у речки Псебепс моих спасителей Терентия Кузьмича и Марию Матвеевну, о которых мой первый рассказ "Брянские". И уж ни за что не переехала бы из Сибири в Ташкент или в Ургенч моя матушка.

Ашхабад, Душанбе, Алма-Ата промелькнули для меня только в разговорах и в литературе. Да и в Тбилиси не проскочил я покопаться в архиве в фонде царского наместника на Кавказе. И поездом Симферополь-Баку не прибывал я к азербайджанским писателям. А в Махачкале не посидел на вечере Расула Гамзатова и не постоял там, где князь Барятинский встретил пленного Шамиля.

Всё откладывал и надеялся на другие дни. Вся земля общая, успею. А потом уж, когда после ельцинского переворота стакан чая на вокзалах стоил сто рублей и всюду можно было ожидать разбоя, много не наездишься.

Да и поздно уже, мои сроки прошли.

Самая короткая моя дорога — в Пересыпь и в Тамань. У гирла, вытекающего из Ахтанизовского лимана и впадающего в море, сижу я среди чаек, разгребаю ракушки и с кем-нибудь далёким разговариваю. Мне легко кого-то приплетать к себе. Побуду с одним, перемолвлюсь вдаль словцом, подцеплю другого: нынче со мной ты, так послушай, как ворочаются волны, вбрасывают ракушку, за день нагребут целую горку. Я один, со мной только чайки — над водою, на песке. Впереди, к востоку, с гравюрной чёткостью виден холмистый край Голубицкой, именно там белый маяк, от которого я, приближаясь, всегда приветствую душой Пересыпь и лукоморье. А на западе под тучами гнётся серпом Кучугурский берег, и за мысом, если стать там на круче, можно разглядеть Керчь. Повернусь к востоку — подумаю о нашем нежном зауральском писателе в сосновой деревне у Тобола и протянусь в Сибирь, к родным берегам Оби.

А нынче ты, мой быстроногий вятский летописец, перебираешь со мной мокрые ракушки. Ты скачешь по белу свету, как молодой, двенадцатый раз падаешь на колени у Гроба Господня и ещё подаришь мне книжки о пядях земных и "море житейском." Я же с тростинкой хожу вдоль воды, и хрустят под моими подошвами ракушки.

Никуда далеко не выбираюсь, самая длинная моя дорога — сорок вёрст, в Тамань. Вчера там был. В той, голубчик, Тамани, где построил монастырь преподобный Никон, где (уж позволь напомнить тебе лишний раз) вытеснялись век за веком греки, татары, черкесы, генуэзцы, турки, где Суворов пил чай с запорожцем Захарием Чепигой, а лёгкий молодой Пушкин постоял мгновение на круче, печальный Лермонтов невзлюбил слепого мальчика, где высаживался на берег по пути в Екатеринодар Александр Второй и ночевал, может, в какой-то хате, в той самой Тамани, где спустя много десятилетий нечаянно, но только для тебя одного возникла девочка Надя и притянула тебя однажды за руку полюбоваться горою Лыской и Керчью. В этой, о Господи, Тамани не пристают уже четверть века к берегу катера и не качаются на волнах лодки рыбаков и столько же не плачет у морской камки та самая девочка, которую ты выманул в Москву навсегда.

Вы не пишете мне из своего знаменитого Камергерского проезда, не вспоминаете меня и мои пересыпские углы. А я нет-нет, да и полистаю твои страницы.

Нынче целый день ленился во дворе, разговаривал с матушкой, перечитывал ей письма из Топок, Запорожья и Петрозаводска, перебирал и раскрывал книги.

"В Вифлееме, — пишешь ты, — я жил целых десять дней. Как же я любил и люблю его! И какое пронзительное, почти отчаянное чувство страдания я испытывал, когда во второй раз завезли нас в Вифлеем на два часа. Да ещё и подталкивали: скорей! скорей!"

Я тоже бывал в Вифлееме, спускался к яслям Христовым на одно мгновение.

“К счастью, — пишешь, — я много минут был один-одинёшенек у Вифлеемской звезды, у яселек”.

А я был в маленькой толпе писателей, и в то мгновение не понравились мне наши знаменитости: они постояли и поглядели на всё, как туристы, не крестились, не подползали на коленях к звезде — такая была на лицах привычная учёность, усталая мудрость, будто они сами явились из древности, звезду в небесах заметили раньше пастухов и в сей миг ждут почтения к себе. Неужели игумен Даниил в XII веке, описавший своё *хожение* в Константинополь и Иерусалим, был темнее и достоин “милостивого снисхождения” просвещённой братвы? Не поленился, отыскал его томик.

Видел ли ты в двух верстах от Вифлеема “заброшенную часовню в масличной роще” во имя ангела-благовестника? О ней пишет Фаррар, его тяжёлый том “Жизнь Иисуса Христа” я разворачиваю в канун святых праздников... Отчего так? У Фаррара и в старых книгах о Святой земле рисунки, гравюры, первые фотографии украшают мотивы священных преданий с какой-то чудесной допотопной ветхостью и так чутко притягивают к Богу, к молитве, что весь как-то мигом смиряешься, вздохнёшь, поклонишься равнинам Галилеи и Иерихона, заложенным окнам церкви Гроба Господня, холмам и низинам с библейскими овцами.

Теперь, в тесноте цивилизации, трудно собрать чувства, как в старину.

Разве что в позднюю осень пустота намекает на нетронутую песчаную округу (где нынче Голубицкая и Пересыпь), вечно одинокую в те стародавние времена, когда греки плавали мимо по Меотиде и из Ахтанизовского лимана выгибалась протока пошире нынешнего гирла. Я у гирла-то и вспоминаю тебя, держу твою паломническую книжку “Незакатный свет”. Чайки в кучке белеют грудками и будто следят за мной. Никого! Пустота в море и в небе, и кажется, за высоким берегом в посёлке всё вымерло. И эта мелодия тысячелетней пустоты в этих окрестностях слышна мне.

Но что я тебе посылаю свои вздохи? Ты далеко-далеко от меня и ничего не угадываешь, и зависти моей не чувствуешь. Всё-то ты повидал, всему поклонился, крестики освятил, камешки подобрал и там, где крестили княгиню Ольгу (в Айя-Софии), предполагаемый уголок облюбовал, а я, бедный, лишь чайкам читаю твои признания: “Прощай, Стамбул! И да живёт в наших душах Царьград, столица Византии, город храма Святой Софии, Влахернской иконы Божией Матери...” А ещё я не забываю, что ты по девять часов стоял на молитве в Пантелеймоновом монастыре с монахами, двенадцать раз падал на колени у Гроба Господня, босиком шёл к Иерихону.

Здесь, у гирла я начал писать в тетрадке о поездке писателей на Север и после первой странички не могу стронуться дальше. Нет подходящих слов. Всё затаённо-дорогое остаётся тонкими волосками в тебе, тянется долгим напевом, слова убоги.

Теперь, после того, что случилось в нашей стране в конце века, отражается во мне какая-то другая жизнь, поездка наша кажется прощальной, и потому прощальной, что больше такое не повторилось, хотя до ельцинского переворота начислялось ещё целых десять лет. Так много утекло воды и столько из той компании покинуло Божий свет, что мне теперь горько выбирать мгновения, жалеть, что их больше так не прожить. Вот на Ленинградском вокзале появляются писатели-“деревенщики” и радуются друг другу, как родственники: Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Крупин, Виктор Потанин, Анатолий Ким, Владимир Личутин, Владимир Гусев, Владимир Коробов, Борис Романов, добрый покровитель русских почвенников Валерий Ганичев и ещё кое-кто; в Петрозаводске и Мурманске пристанут к ним Дмитрий Балашов, Владимир Бондаренко, Виктор Маслов.

И это я, бывший школьный учитель под песчаной Анапой, в сей честной компании? Теперь только восклицаю: о, как посчастливилось!

Рассказ “Брянские” и повесть “Люблю тебя светло” вытянули меня в писатели. А то так бы и забили меня в школе ученические тетрадки и педсоветы.

Так бы и не пристал близко к Распутину, Астафьеву, Белову, Балашову, Олегу Михайлову, вообще никогда не послушал бы их за обедом,

на прогулке. А что уж говорить о писателе из зауральского села Утятка, о моём окрещённом тесными узами Викторе Потанине, который о чём-то спросил меня в издательстве "Молодая гвардия", да так и не переставал спрашивать десять лет. Мы с ним поместились в одном купе с Астафьевыми. Марья Семёновна сказала: "Ну, вот аж три Вити у меня стало, а то был один, да и тот стал надоедать". И мы как-то семейно захохотали. Так же по-семейному расселись трапезовать, к нам добавилось ещё человек пять, сплотились бок о бок, и началось. И вот не воскресить этого! Ни речей, ни гогота, ни лиц не закрепилось механическими секретами. И строчек в тетрадках, в блокнотиках не спряталось ни у кого. Мало дорожили мгновением? Жили и жили. А что запомнилось — теперь как золотая песчинка. Даже такое: ночью я слез со второй полки и не мог повернуть рычажок в двери; Астафьев услышал, поднялся, дёрнул ручку и выпустил меня. Мне было неловко, что разбудил... старика. А было ему всего пятьдесят семь. Недавно одолел я восемьдесят. И то, как я когда-то неловко разбудил Виктора Петровича, нет-нет да и привидится мне, и я загрущу на мгновение.

Утекли годы водою. Какую-то другую жизнь застали мы. Поездка на Север кажется нынче прощальной, именно кажется, потому что ничто не предвещало крутых перемен и катастрофы.

То был наш счастливый дружеский миг на земле. Расставание будет нескоро. Миг был в Мурманске, в Апатитах, Североморске, Кандалакше, а раньше всего в Петрозаводске, где я обрадовался появлению Дмитрия Балашова. Володя Бондаренко, больше известный в Малом театре, чем в литературных кругах, позвал на обед к родителям. Я ждал Балашова. И он возник на пороге, низенький, в сапогах, похожий на русского князя в учебниках истории. Толстые свои романы писал он за одну зиму, жил в деревне, держал корову, лошадь, сам косил траву, срубил избу. Я его побаивался. А вот Астафьев на него как-то привередливо косился. Чем-то он стал ему неугоден? Может, даже этими вот мягкими сапогами, пояском на рубахе, невниманием к литературной знатности Виктора Петровича. В комнате с книжными полками он вынимал какой-нибудь томик и ставил назад, вынимал, взглядывал и хлопал корочкой, наконец, вытянул сочинение Балашова, укрылся от нас у окна, перелистывал, читал с подозрением. Тут громко вошёл сам Балашов.

— Всё знает князь Димитрий, — сказал Астафьев. Умноглазый Балашов слушал так, будто говорилось не про него. — Он и в Царьграде, как свой, все углы Айя-Софии обсмотрит и патриарху Филофею руку облобызает так умело, что мы, чалдоны, позавидуем и через пять веков. Откуда такое? — Астафьев как-то нарочно разыгрывал удивление, а Балашов всё смотрел в пол. — Вон ему сам Мамай сказал, что станет вторым Батыем. Всё знает и пишет, аж залюбуешься: как это можно подсмотреть и подслушать через целые столетия? "Князь Дмитрий сидел у себя в спальне рядом с Дуней, а та навалилась ему мягкой грудью в колени и плакала". Да не было ли такой Дуни и у автора?

— И не одна, — признался Балашов строго.

— "Он... — послушайте! — посопел, потоптался, шагнул, привлёк её к себе, мохнато поцеловал в лоб". Это когда вы так мохнато целовали и кого? Пойду-ко и я свою Марью поцелую, — съёрничал Астафьев и рукой приобнял невозмутимого Балашова, повёл к столу.

А я задержался и снял ту же книгу, прямо распахнул её. И....

"Все эти люди умерли, от большинства из них даже не осталось могил. Ражие посадские молодцы, румяные девки состарились и сгинули тоже. Много раз сгорали и возникали вновь хоромы. Исчезали деревни. Все они нынче в земле, и мы не ведаем больше того, что скупо отмечено летописью, не знаем сказанных слов и только можем догадываться, о чем мог говорить князь, воин, девица..."

Я как раз писал роман о Екатеринодаре, и та же мелодия сожалений прокралась в мою душу. Я слышал, как в другой комнате за столом Балашов ругает Петра Первого, а позже, когда вошёл, услышал уже: "А теперь и на Севере того нет... Я вчера написал про теремных затворниц, про страсти их тайные да про то, как с одного слова ласкового, походя сказанного,

с одного взгляда, с шутливой перебранки за углом бани девица приготовилась ждать (да не один год) того, кого почла своим, вечным".

— Так мы и выпьем за возвращение теремных затворниц! — сказал я, и все ахнули в поддержку.

А может, я уже выдумываю? Тот застольный миг тоже растянулся дымом, исчез; легче Балашову было описать баб за прялками при татарах, чем мне петрозаводское застолье тридцать лет назад.

Я следил за одним Балашовым. Он спрячется в своей деревне, в Москве я его не увижу, а страсть как хочется послушать его, такого редкого русича, который живёт древностью и сегодняшним днём и чем-то выше нас, не знающих толком ни Владимира Мономаха, ни Ивана Калиту, ни Сергия Радонежского. Только через девятнадцать лет его убьют под Новгородом, где я ещё раз видел его на спектакле в Юрьеве монастыре, и на плясовом гулянии с народом, и у него дома за трапезой в славные дни празднования 1000-летия Крещения Руси. Уже после смерти матери, в декабре 99-го, пил я с ним чай в подвале нашего Союза писателей в Москве, и он обещал будущей весной пожаловать в Тамань, и в январе я начал писать ему напоминание, но тут его и не стало. Что-то такое дивное, неожиданное высказывал он тогда за чаем, но всю эту редкую вязь слов я не записал, а после мне не хватило дара восстановить. Жалею и по сей день, что не постоял Дмитрий Михайлович на той круче, с которой Пушкин видел Керчь (Корчев).

Да и все годы как-то пусто без него на самых опасных пядях сражений. Равняю в жалости к нему судьбу его с судьбою Василька Теребовльского, князей Бориса и Глеба; и убил его, может, такой же Святополк. Помню, как я по-детски горевал, когда упоминал в "Осени в Тамани" о Васильке. Не тогда ли Господь вывел меня за руку на тропу сочувствия несчастливым кубанским казакам и прислал ко мне кроткого Попсуйшапку?

Балашову показал бы я береговую долину в Пересыпи, повёз за Ахтанизовскую на гору Бориса и Глеба, услышал бы от него то, чего никто мне теперь не скажет, погадал бы с ним, где преподобный Никон основал монастырь, спустил бы его в наш погреб, нацедил холодного вина, а матушка постаралась бы нас покормить и потом, спустя время, спросила бы меня: "Так он чо — тоже писатель? Больно лобастый". Не случилось.

Мы путешествовали по Северу, а матушка меня каждый день "сопровождала", чувствовала, как я встречаюсь с тётей Пашей, даже присоединялась издалека к нашей беседе, радовалась тому, как бы и она поговорила со своей деревенской подружкой. Сорок лет не виделись они, тётя Паша уехала из Кривощёково в Карелию вслед за дочкой, и больше уж им не увидеться на этом свете, и я, каюсь, не догадался уговорить родню на поездку в Елизаветино. Всех собрать на один миг! Отец тёти Паши Григорий записан в церковной метрической книге при крещении отца моего — Иоанна.

И больше я ничего не знаю. Все годы после её отъезда я только и слышал жалобные возгласы матери, что нету теперь на болоте тёти Паши, да читал письма из Карелии с причитаниями: как плохо привыкать после Сибири к чужому краю.

"Сообщаю, — повторяю я нынешним вечером за письменным столом строчки тягучим напевом, пальцем вожу по строчкам, — что мы твоё, Таня, долгожданное письмо получили, я была рада, что и не описать. Мы были с тобою близкие подружки, а теперь столько лет не виделись. Мне уже 73 года. Было время, смеялись в Кривощёково, хохотали из-за всякого пустяка, а теперь всё отошло, дождёшься вечера, так скорей на койку. Вспомнишь, как мы жили в Кривощёково, сколько таскались с коровами, стояли на базаре за прилавком с молоком, варенцом, ещё и успевали друг у друга посидеть, гостей принять. Ты пишешь, что никак не можешь забыть Сибирь, конечно, милая — трудно забыть, жизнь некороткая прошла там, и мать там схоронила, а теперь как привыкать без своей улицы и болота внизу? Один сын, и то не рядом. Значит, так Богом дано. Дядько Тышко в нашей воронежской деревне умер; к нам в эту зиму приезжали оттуда, много про кого говорили, ну... я уже некоторых забыла. Охота поехать. Жду Витю, едет с писателями, пусть к нам зайдёт. Твоя Парасковья Григоровна".

Дочь Маруся приводила её на станцию попрощаться и ещё раз передать привет "подружке Тане". Старушка чистенько принарядилась, стояла моложаво-худенькая в плаще, на голове — плотный платок, нос тонкий, на одном глазу крошечное бельмо. Я подвёл к ней писателей.

"Мама выпрямилась перед ними, как царица... — писала нам в Пересыпь Маруся, — руки скрестила на палке, они один за другим подходили с поклоном, каждый что-нибудь сказал вежливое, а Витя всех называл, ну, прямо как Брежневу представляли маму, мы потом смеялись дома: "Мамо, это на вас не похоже, вы, как царица Екатерина перед ними, вы ж не той породы и не начальство, чтоб так строжиться... — А как я? — отвечает. — Они подходят, я благодарю, я книг не читаю, но це ж Витины товарищи, пишут чего-то, так ладно, я здоровкалась, а один постарше сказал: "Я тоже сибиряк. — А я не сибирячка, я воронежская, кого выслали, а Лихоносовы, Витины мать и отец, сами поехали в Сибирь. — Порода", — сказал Астафьев. — "Наша порода в деревне славилась. Осыкины. Осыкин пруд был. И Гайворонские. Лихоносовы похуже, их по улице называли Голычёвы". Я, тётя, люблю книги читать, и рада, что увидела Астафьева, Белова. Белов сердитый, бурчит, сразу маму спросил: "Сколько коров было перед высылкой?" Распутин Валентин высокий, молчаливый, но добрый. Потанин, читала его повесть "Над зыбкой" и плакала. Личутин, росточку невысокого, разговорился, чуть на поезд не опоздали; Балашов — наш, петрозаводский, только посмотрел в глаза да так долго. А Крупин подарил маме иконку из Иерусалима, он там был. Мама была довольна. "Тане напишу, — сказала, — какие у Вити хорошие друзья. Витя один у нашей родни выучился на писателя. Слава Богу. А был ну такой смирный, слова не допросишься".

Матушка много раз перечитывала письмо из Петрозаводска, уходила на огород и там продолжала переговариваться с тётей Пашей, тихонечко жаловаться на свою долю.

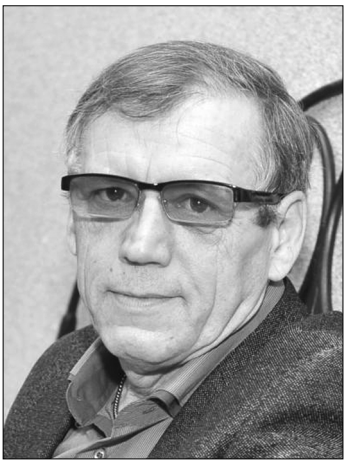
В дневнике моём сказано, что я дописывал главу, в которой Попсуйшапка рассказывал в поздние годы Толстопяту о смерти его сестры Манечки. К дню рождения Лермонтова я поехал в Тамань, оттуда — в греческое село Витязево к дочери знаменитого атамана станицы Благовещенской Константина Юхно — ещё раз расспросить, ещё раз понадеяться на что-то чудное, ещё раз помянуть всех, кого давно нет.

У гирла всегда поджидали меня сгорбившиеся чаечки. Я и нынче с ними. Перебираю ракушки, читаю, пишу и гадаю, не ходит ли сейчас босиком в Вифлееме мой вятско-московский дружок?

Он сейчас не слышит, как я с ним любезничаю вдали, но когда-то, если допишу свои слезные страницы, прочитает. Будем мы уже старенькими. А не читает ли меня московский вятич в те же часы где-нибудь в своей деревне, как я у гирла в Пересыпи? Вот они, его строчки: "Четыре места на белом свете, где живёт моя душа и какие всегда крещу, читая вечерние молитвы. Лавра, преподавательская келья. Никольское. Великорецкое. Кильмез. Конечно, московская квартира".

А что у меня, кроме гирла? На дорогих углах моих топчусь я на всех страницах. Аминь.

ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ



НА ЛЕТУЧЕМ ПОДВЕСНОМ МОСТУ...

* * *

Собаке снится речка, не иначе...
Вот почему, вздымаясь среди сна,
Колышется ребристо грудь собачья —
Как за волной вздымается волна.

А лодке снится, что она собака,
Прикованная к берегу реки.
И вздрагивают волны среди мрака,
Как вздрагивают спящие щенки.

А человеку снится: гибнут люди
И нету сил скрываться взаперти.
И человек встаёт, собаку будит,
Спускает лодку на воду с цепи.

И человек, собака, лодка, речка
В ночной и неспокойной тишине

СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич — выдающийся современный русский поэт, внесённый в список классиков XX века Пушкинским Домом Российской Академии наук. Автор книг “Соколики русской земли”, “Великий верх”, “Заповедный кордон”, “Свете Отчий”, “Небесная крепь” и др., а также множества публикаций в российских центральных, зарубежных и региональных литературно-художественных и общественно-политических изданиях. Живёт в Самарской области.

Плывут куда-то по стремнине млечной...
А может, это всё приснилось мне?..

ПРИЗНАНЬЕ

Я тебя забыл у тихой речки,
Где туман густой, как молоко.
Ты сидела на родном крылечке
И смотрела, молча, далеко.

А когда я о тебе вдруг вспомнил
И подумал: "Время-то бежит...",
В памяти моей пробел восполнил
Бородатый кряжистый мужик.

Он возник на стареньком крылечке
И, узнав, что я из далека,
Дымные выплёвывал колечки
В сизые парные облака.

Долго в бороде кудлатой шарил,
Но признанье всё-таки добыл.
Он сказал: "Вали отсюда, парень!
Ничего ты здесь не позабыл..."

* * *

Над Россией, стеная в голос,
В небе мечется птичий клин.
Косит жатву холера морбус...
Пушкин.
Болдино.
Карантин.

Просыпается бодр и весел,
И здоров. "Ай да сукин сын!"
Отправляет письмо невесте...
Пушкин.
Болдино.
Карантин.

В том письме свой поклон для тёщи
Шлёт, как истовый семьянин.
Облетает лучинник в роще...
Пушкин.
Болдино.
Карантин.

Он работает, как вельможа.
Презирая тоску и сплин,
Сочиняет и пишет лёжа...
Пушкин.
Болдино.
Карантин.

Что задумано между строчек,
Знает в мире лишь он один
Да крылатый искристый росчерк...

Пушкин.
Болдино.
Карантин.

Дописав свой шедевр до точки,
Сей сиятельный господин
С визгом плещется в банной бочке...
Пушкин.
Болдино.
Карантин.

На коне златогривом скачет
Вдоль родных золотых куртин.
И восторга любви не прячет...
Пушкин.
Болдино.
Карантин...

* * *

Вот и закачалось мирозданье
Мерно, словно птица на лету.
Юность мне назначила свиданье
На летучем подвесном мосту.

Под мостом плывут вольготно утки,
Над мостом взлетают сизари.
Этот мост парит два раза в сутки
Высоко на уровне зари.

Ангельской своей улыбкой кроткой
В пламени горячих юных дней
Плавающей лодочкой-походкой
Выкликают девушки парней.

Этот мост, летящий над рекою,
Позволял подняться в полный рост
И дрожащей трепетной рукою
Доставать до самых ярких звёзд.

Где теперь те годы заревые?
У небесной бездны на краю
Здесь бесстрашно, нежно и впервые
Целовал я девочку свою.

Здесь, пылая лихо и азартно,
Красный день за красную черту
В прошлое — былое — безвозвратно
Уходил по красному мосту.

* * *

Витийствуй, буйная гроза,
Гни небеса в дугу!..
Сегодня я — твои глаза
На волжском берегу.

Горючей не жалей воды,
Греми над головой.

Сегодня я — твой поводырь
И зрячий посох твой.

Держись, Самарская Лука,
Летим в тартарарам!
Моя надёжная рука
Порукой будем нам.

Блистайте, молнии, оплечь!
И ветер вольный — вей!..
Куётся в грозном горне меч
Для Родины моей.

Пускай летит во все концы
Над Божьим Миром весть:
Лихие златокузнецы
Ещё в России есть.

Во имя мира и любви
И на позор врагу,
Господь, меня благослови
На русском берегу!..

* * *

Мои стихи отважно шли под водку
В палящий летний полдень у реки.
Из газетёнки, развернув селёдку,
Их русские читали мужики.

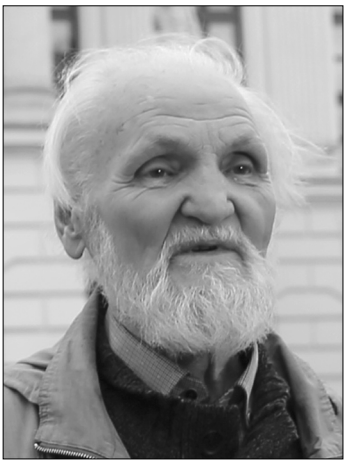
Мои ещё непризнанные строчки
Старухи без особенных затей
Сворачивали в мелкие кулёчки
С гостинцами для маленьких детей.

Я не жалею, что мои подборки
Сгодились на душевные дела:
Для нужд народных в качестве обёртки
Газета приспособлена была.

Мои слова в житейском бурном море,
Встречавшие не раз девятый вал,
Служили тем лирическим героям,
С которыми я жизнь переживал.

Поэзии неистовая сила
Тащила тяжесть бренности земной.
И может, потому моя Россия
Была тогда читающей страной.

ВЛАДИМИР КРУПИН



ГРОМКАЯ ЧИТКА

ПОВЕСТЬ

Есть в жизни счастье

Иду по набережной Ялты и сразу представляю: да, вот тут гуляла уехавшая от мужа Дама с собачкой, и тут встретил её уехавший от жены Гуров. Реально гуляли, даже в этом не сомневаешься. Хотя ирреальны, выдуманы, сочинены. Нет, в том и штука — живые. Как иначе: имеют имя. А оно даётся при крещении. Не крещёные? Тогда как им умирать? А они не умрут: им Чехов безсмертие дал. А кто он такой, чтобы людьми распоряжаться? Он писатель. А-а.

А писателей в Ялте всегда много. В знаменитом Ялтинском Доме творчества. Туда я попал в самом начале 70-х годов прошлого века. А вроде так недавно, но так радостно и ярко помнится. А как получилось: помог очень знаменитый тогда писатель Владимир Тендряков, земляк. Я работал редактором в издательстве “Современник”, и мне досталась для редактирования его книга. Редактировать знаменитого Тендрякова? Смешно! Я даже робел перед ним, но после первых встреч увидел, что он прост в общении, даже с юмором. Я осмелился показать ему свои рассказы, составлял первую книгу. Владимир Фёдорович их прочёл и сам вызвался написать предисловие. Он-то и предложил вместе поехать в Ялту. Хотя формально я не мог претендовать

КРУПИН Владимир Николаевич родился в 1941 году в Вятской земле. Служил в армии, окончил Московский областной пединститут. Автор многих повестей и рассказов, романа “Спасение погибших”, путевых заметок о Ближнем и Среднем Востоке, о Константинополе. Автор “Православной азбуки”, “Детского церковного календаря”, книги “Русские святые”. Лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия. Печатается в нашем журнале с 1972 года. Живет в Москве.

на путёвку в Дом творчества: не член Союза писателей. Но его жена, красавица Наталья Григорьевна, всё прекрасно устроила.

И вот — в руках у меня путёвка, на работе выпросил отпуск. Купил билет и через три дня после Тендряковых оказался в Крыму. От вокзала Симферополя троллейбусом до Ялты, там от остановки поднялся по восхитительной змееобразной дороге среди вовсю цветущей зелени, и предо мной предел мечтаний — Дом творчества.

В регистратуре спросил о Тендряковых. Да, здесь, на втором этаже. Он каждое утро бегает к морю. Оказывается, они говорили им обо мне. Что приеду, что мне уже выделено место жительства. Не апартаменты, а служебная комната с маленьким окном, выходящим во двор. Кровати нет, только диван. Но это для меня был такой восторг! Стол есть. Чего ещё писателю нужно: голову с собой привёз, не забыл.

В комнате громко работало радио. "Мицно время двенадцать годин, двадцать хвилин", — услышал я. А вскоре радио поведало, что "погода буде хмарна, без опадив". Радио, чтоб не мешало, выключил.

Прежний житель этого помещения, сантехник, высокий и белокурый, был первым моим знакомым в Доме творчества. Он особо со мной не церемонился, да и я с ним.

— Александр, — сказал он, — с утра Сашкой звали. А здесь вообще Сашок. Сашок и Сашок. А уже тридцать пять. А за что тебя сюда загнали? Со мной сравняли. За меня не переживай, у меня в городе комната в коммуналке. Тут иногда падал на пересыпку. Но ты разрешишь иногда зайти, пересидеть полчасика?

В дверь постучала и вошла дежурная:

— Сашок, на тебя заявка. С кухни. Позвоню, что уже идёшь, — и исчезла.

— Беру под козырёк, — отвечал он ей, а мне добавил: — Что б у них было, когда бы не было меня. И солнце б не вставало. Иду! — Потянулся. — Эх, не пора ли нам пора делать то же, что вчера. — И мне: — Принимаешь? Вечером посидим? А? Земеля! Душа винтом! Тут у меня и стакан свой персональный. И один запасной. Пользуйся. Не давай им простаивать.

— Ни в коем случае, — твёрдо ответил я. — Я приехал работать!

— А кто не даёт, работай. Но и жить надо. А то жизнь пройдёт, и жизни не заметишь. Работа! С работы кони дохнут. Молодой, успеешь нагорбатиться.

— Ни за что! Я с таким трудом вырвал отпуск, не соблазняй.

— Ну, смотри, а я, как пионер, всегда готов.

Творческий режим

Конечно, хотелось скорее увидеть наставника, как я про себя называл Тендрякова, но не посмел беспокоить. Я уже знал, что он человек железной дисциплины. Несомненно, работает. Он сам перед обедом меня нашёл. Осмотрел мою келью, проверил, есть ли в кране вода, одобрительно глянул на стол, на котором я уже поставил пишущую машинку, разложил бумаги.

— Всё! Жить можно! Идём обедать. Место тебе мы заняли, сидим за одним столом. Втроём. Я четвёртого просил не подсаживать: лишние разговоры.

На крыльце ждала Наталия Григорьевна. С Владимиром Фёдоровичем исключительно все здоровались. В том числе и знаменитости, известные мне по книгам. Но он особо в разговоры не вступал. Пришли по дорожкам меж цветников из главного корпуса в обеденный. Просторный обеденный зал ресторана был полнёхонек. Приятная музыка звучала поверх разговоров, звяканья ложек и вилок. Во время обеда Владимир Фёдорович объявил мне мои обязанности:

— Ни с кем не останавливайся, в разговорах не вязни, никаких шахмат, никакого бильярда, никакого трёпа, никакого всякого остального! Позавтракал — бегом за стол! Краткая прогулка — опять за стол! Пообедал — спать на час-полтора: кровь после обеда должна быть в желудке, а не в голове. Проснулся — за стол! Только так! Каждый вечер тут кино, фильмы

возят с закрытых показов, но не увлекайся, ничего это не даёт. Ну, увидишь постели, драки, и что?

— Володя, — вставила слово Наталия Григорьевна, — сегодня “Гений дзюдо”.

— Да, это надо, — согласился Владимир Фёдорович, — увидишь, как победы достаются. И — никакого любования морем: не курортник — ломовая лошадь. Но с утра, — он назидательно вознёс указательный палец, — до завтрака бежим к морю и заплываем. Бархатный сезон. То, что умеешь плавать, не сомневаюсь: ты парень вятский.

— Володя, — попробовала остановить его жена, — через неделю ноябрь. Это ты такой ненормальный, а ему зачем?

— Тоже для работы, — хладнокровно отвечал мой наставник. — Да, и ещё: питайся, как следует, здесь кормят от пуза…

— Володя!

— А что, неправда? Тут осенью самый цвет из всех республик, сплошные ходячие памятники. Номенклатура. В общем, налегай на калории. Надо голову питать. От писательства устаёшь больше, чем от физической работы. Там землю покопал, лес повалил, шпалы поукладывал, на тракторе посидел — поел и спать. И голова свободна. У нас она работает даже не в две-три смены, круглосуточно. Или у тебя не так? Ты ночью вскакиваешь что-нибудь записать? Да? Тогда всё в порядке. И вскакиваешь, и просыпаешься уставший. Вот почему надо взбадривать себя купанием и поддерживать питанием. Значит, так. Заканчиваю инструкцию: в шесть пятнадцать ты одет, обут, хотя можешь и босиком бежать…

— Володя!

— Одет, обут, уже в плавках, сухие трусы и полотенце под мышкой, стоишь у выхода. Через секунду я выскакиваю и, ни слова не говоря, с места бегом к морю, к водным процедурам. Молча. Каждый думает о том, на чём вчера закончил работу и о том, с чего сегодня начнёт продолжать. Дышать носом, выдыхать ртом. Не уставать, не отдыхать. Прибежали — сразу в воду. Заплыли — выплыли, растёрлись — обратно. Если за мной не будешь успевать — ничего страшного, отставай, придёшь один: дорогу знаешь. На завтраке два-три слова и — по коням! Ни с кем не разговаривай, знакомств не заводи. А то классики любят при себе молодых держать. Чтоб их жён на прогулку выводить да для них за мороженым бегать.

— Володя!

— Всё! — скомандовал учитель. — Иди! Садись за стол! Не пишется, всё равно сиди. Не смей из-за стола вставать. Дверь не закрывай, ибо могу прийти проверить, работаешь или нет.

Что было возразить? Конечно, он никогда не проверял и ни о чём не спрашивал. А Наталия Григорьевна, чувствуя мои страдания, утешала:

— В следующий раз приезжайте с женой. И всё пойдёт. А в Москве приходите с ней к нам на её выучку. Писательская жена — это жена самая страдающая. Писателю, когда он работает, всегда ни до кого. Дело писательской жены — не мешать мужу, скрываться с его глаз. Но в нужное время быть рядом.

Второй знакомый

Пошёл в свой однооконный рабочий кабинет. И тут же нарушил запрет учителя — ни с кем не знакомиться. Перехватил писатель из западной Сибири. Сергей. Старше меня, уже с книгами, уже член Союза писателей. Поджарый, энергичный. Сходу попросил меня взять на редактирование его рукопись.

— Давай на ты, чего там церемониться: одно дело делаем. Прошу: веди мою книгу. Я бабам не очень верю. Они как корректорши — это неплохо, а когда лезут в текст, так прямо как в душу. Да они все у вас там в издательстве городские, причём блатные, дочери всяких секретарей Союза писателей. Разве не так? Что они, голодали, что ли, со мной в моём детстве? Чего понимают в жизни? Жили с пайками, не мёрзли.

Этот Сергей знал про моё издательство больше, чем я. Это вообще присуще провинциалам. Сплетни и новости московские им более, чем москвичам, всегда ведомы. Так что, уехав из Москвы, попал я на московские разговоры. На мою беду, Серёжа приехал в Ялту ещё и с капитальцем. Откуда денежки, не скрывал.

— Я пробил договор под соцзаказ. Аванец приличный. Так что пора пропивать. Помогай! Ты первый день? Я неделю уже, тут выпить не с кем. Сам с собой понемногу поддаю. Тут всё гении ходят, сплошь суперклассики. За версту величием тянет.

— А с этим сантехником не пил? Сашок.

— Да как-то в рассуждение даже не брал. А о чём с ним говорить? Знаешь ведь анекдот: двое ловят третьего, взяли штуку, расплескали. Третий утёрся, говорит: "Ну, всё, парни, побежал. — Куда? — А поговорить?" Пьём-то ведь не для пьянства, для общения. О, слушай, пока не забыл. Про второй фронт. Они же, Черчилль и Рузвельт, разве нас любили? Жди! Ненавидели. Дождёшься от них. Выжидали, кто кого свалит. Только после Сталинграда сообразили, что и без них обойдёмся, стали шевелиться. А до этого вот анекдот. Фронтовой. "Ну, как там второй фронт? — Да вроде немножко прочерчиллевиется. Но пока всё безрузвельтивно". Вот русский язык. Только нам и понятно. А расскажи китайцу, не поймёт. Японцу там.

И слопал у меня этот Серёжа часа полтора. И спросить было неудобно, зачем он в Дом творчества приехал. Анекдоты травить? Знал он их массу. И знал, например, что председатель правления Союза писателей России Леонид Соболев часто ходил к Хрущёву, и тот всегда ждал его со свежими анекдотами.

— Ну, однажды он Никите не угодил. Тогда же был лозунг "Догоним и перегоним Америку" по всяким показателям.

— Да, — поддержал я, — на токарном станке работал, назывался ДИП-200, то есть "догоним и перегоним".

— Ну, вот именно. А Никите говорят: "Догнать можно, перегонять нельзя. — Почему? — Голую задницу увидят". А в бильярд сгоняем?

— Серёжа, не могу. Мне надо ещё на почту. Домой позвонить.

— Я с тобой. Тоже давно не звонил. Тут, я покажу, по дороге к морю, не доходя до бульвара, есть автомат. А рядом газетный киоск, деньги меняют. Телефон и в Доме творчества есть. Но он занят постоянно. Ты послушай их разговоры: "Сёмочка, не забывай гаммы, Сёмочка, не забывай тёплый шарфик. Сёмочка, ты помнишь свою бабушку?"

Что ты будешь делать? Пошли звонить. По дороге он ещё угощал анекдотами, в основном, "чапаевскими".

— "Василий Иванович, — говорит Петька, — белого в плен взяли. Знаешь, как я его пытал? — Как? — Вечером напоил вусмерть, утром опохмелиться не дал. — Садист ты, Петька". Да, вот тебе политический: "Ленин показал, как надо управлять государством, Сталин показал, как не надо, Хрущёв показал, что государством управлять может полный дурак, Брежнев показал, что государством можно вообще не управлять".

Позвонил домой. У них холодно. Отопление пока не включили. Дочка простыла, сидит дома.

— О нас не беспокойся, — сказала жена, — у нас всё хорошо. Работай.

Серёжа пошёл в "разливуху", уличную пивную, но не пивом торгующую, а вином в разлив.

— Ленин в разливе. Помнишь такую картину? Там с ним Зиновьев был, говоря по-русски, Апфельбаум.

Выше уровня моря

В общем, я вернулся в свою комнату, сел за стол и понял, что не напишу ни строчки. Даже не из-за Сергея. Что-то не пошло у меня. Может, оттого, что встретились несколько знаменитостей. И пришлось поздороваться. Тут уже я сам вспомнил, не анекдот, а историческую быль: Павел I пригласил Державина на приём в дворцовую библиотеку и, указывая на бесчисленные

шкафы с книгами, сказал: “Вот ведь, Гавриил Романович, сколько уже написано, а всё пишут и пишут”. Что Державин ответил, не знаю. Наверное, вроде того, что: “Они ничего другого делать не умеют”.

И я решил посетить библиотеку Дома творчества. Это и Владимир Фёдорович не запретит. В библиотеке не было никого. Ну, конечно, позавтракали творцы, сидят, молотят. А их продукция — вот она. Огромный отдел книг с автографами бывавших здесь писателей и поэтов. Подумал: может, когда и моя книга тут будет? И тут же, охлаждая сию мечту, высветился вопрос: “И что это изменит?” Эти сотни томов, толстых и тонких, что изменили? Тоже, небось, дерзали вразумить человечество.

Походил по территории, вышел за неё, поднялся повыше. Долго искал точку, с которой пространство было бы ничем не закрыто — всё сплошь заросли деревьев и кустарников. Поднялся к огромной крымской сосне, я её издали заметил. У меня в Вятке соснам нет такого простора, чтобы совершенно, не думая о других, распространять свои ветви, занимая ими свет и воздух. Там сосны, как свечи. И называются они корабельными. А эта сосна, развалистая, разлапистая, других к себе не подпускает. А какие шишки на ней, ближе к вершине, открылись. Тут же решил обязательно сорвать одну на память.

Лазить по деревьям — дело знакомое. Покарабкался. Конечно, посадил на рубахе и на брюках пятна смолы. Ладно, не на танцы ходить. Сверху всё более открывался морской горизонт. И расширялся обзор на горы, которые казались всё выше, а море отодвигалось, распахивалось и тоже вздымалось.

А огромные шишки росли не у ствола, а на концах ветвей. Хотя ветви были толстенные, появилось опасение, что они подо мной хрустнут. Но будь что будет. Решился. Выбрал одну, толстую, крепкую на взгляд, и пополз по ней. Ветвь покачивалась, но держала. Желанная шишка близилась. Я поглядывал вдаль, на корабли и лодки, и вдруг взглянул вниз — даже голову крутануло: как же я высоко! Передохнул. Стал откручивать шишку, будто отлитую из осенней бронзы. Пока откручивал, решил сегодня же послать её дочери. Смолистый запах убьёт простудные бактерии, дочка выздоровеет. Да и полюбуется.

Открутил, засунул под рубаху. Полез обратно. Пятиться, потом ползти вдоль ствола вниз было труднее. Но справился.

Зашёл в номер, взял деньги и отправился вниз, на почту. По дороге набрал ещё ягодок с шиповника, мелких ярких цветочков, веточку можжевельника. На почте купил коробочку, всё в неё уложил, черкнул записку, закрыл. Когда коробочку завернули в белую бумагу, написал на ней адрес. Коробочку взвесили и присоединили к другим посылкам. Моя была самая маленькая.

И ещё, не утерпел, пошёл к телефону, по которому недавно звонил. И дозвонился, и услышал родные голоса. “Не звони, не волнуйся, не трать деньги, у нас всё хорошо”. Прошёлся по набережной. И — смешно — увидел нескольких дам с собачками. Вот как литература заразительна. Ходили же в Петрограде блоковские “незнакомки” с чёрной розой в волосах. Утверждали, что это именно они и есть.

Вернулся в Дом творчества. Время обеда. И обед прошёл. Владимир Фёдорович ни о чём не расспрашивал. Видно было: весь в работе. В номере я даже за стол не сел. Лёг спать. И спал до ужина.

А потом пошёл в кино. “Гений дзюдо” меня мало утешил. Только и запомнилось, как он учился у кошки становиться на ноги. Он берёт кошку за четыре лапы, поднимает и отпускает. Она в воздухе ловко переворачивается и приземляется на все четыре. И песня лезла в голову, жалостливая из другого фильма: “У кошки четыре ноги, позади у неё длинный хвост. Но трогать её не моги за её малый рост, малый рост”.

Всё по расписанию

И потекли “творческие” дни. Утро. Бежим к морю. Молча. Прибегаем. На весь берег мы одни такие ненормальные. На нас даже смотреть приходят. Уже они в куртках и осенних пальто. Наставник учит:

— Разделся — не сидеть. Вспотеешь, может просквозить. В воду! Сразу! Сколько можешь, проплыви. Обратно. Растирайся до красноты. Оделись — сразу бежать. Смотри, дышишь плохо, неровно. Дыхалку тренируй. Вдыхаешь носом: раз-два-три-четыре, выдыхаешь ртом: раз-два. В армии гоняли?

— Ещё бы.

— Здоровье для писателя — первое дело. Чего ты напишешь, когда весь в соплях. Ну, побежали.

И обратно молча бежим. Конечно, медленнее: в гору.

Там завтрак, там тупое сидение за столом. То, что собирался делать, стало почему-то неинтересным. Привёз и заготовки, черновики. Перебираю — ничего не хочется доводить до ума. Одно дело делал — три дня читал и писал рецензии на привезённые чужие рукописи. Крепко забил голову текстами о рабочем классе и колхозном крестьянстве. А также о счастье прихода в Россию революции. Что делать — это мой заработок. Отсылал их бандеролью в издательство. Звонил, конечно, домой. Жена жалела, что много прозваниваю. Но я без их голосов не мог. Посылочку мою они, к моей радости, через два дня получили. Шишка крымской сосны стала украшением стола на кухне. Этот факт я лично сам рассказал "своей" сосне, к которой полюбил подниматься.

Но — хоть стреляйся — не писалось. Для настройки на работу перечитал, сидя у сосны, "Капитанскую дочку". Ничего не настраивалось, только понял своё ничтожество. Ходил по набережной. Поднимался по канатной дороге на самый верх над городом. Уходил повыше, находил место потише, дышал простором. К обеду воздух горячел, осенние, предзимние травы напоследок оставляли о себе память наркотическим запахом. Посещал и библиотеку, там всегда никого. Спокойно, светло, много окон. Пролистывал книги с автографами авторов, написанные именно здесь. Ну, так-то, как они, может, и напишу, но зачем, если только так?

Владимир Фёдорович сидел в своём номере безвылазно. Вечером они уходили гулять. Иногда и меня приглашали. Он тогда писал повесть "Ночь после выпуска". И ещё статью для "Правды" о бригадном подряде. Его возмущало, что бригады южных людей — армян, молдаван, гуцулов — перебивают заказы у местных мастеров на строительство. А начальство местное нанимает приезжих, оправдывая это тем, что приезжие работают быстрее. Всё так, но у местных ещё и свой дом, домашнее хозяйство, дети. А платят им меньше, чем приезжим. Почему? Те работают аккордно, по договору, у местных зарплата или трудодни. Как ни работай, больше не заплатят. А ещё в минусе то, что приезжие могут и подхалтурить, где-то понебрежничать, для скорости могут, как выражаются строители, шурупы не ввинчивать, а заколачивать, как гвозди. Сверху глядеть — красиво, а внутри — разорванная резьбой древесина, удобная для загнивания. Много всего. Стены кирпичные кладут, торопятся, экономят. Кладут в один кирпич, да не в горизонтальный, в вертикальный, другой ряд, параллельно, так же, а пустоту засыпают чем угодно. Разве сохранит тепло такая стена? Это мы с ним, как люди сельские, знали досконально и обсуждали со знанием дела. Он вообще считал, что аккордная оплата труда поможет поднять колхозы.

— Почему же не свои зарабатывают? — возмущался Владимир Фёдорович.

Утренние пробежки соблюдались неукоснительно. Дождь не дождь — бежим. Однажды утром с нами побежал и Сергей. Но только один раз. На берегу сказал, что в воду не пойдёт, у него от холода сводит икроножные мышцы. Потом, когда вместе шли на завтрак, объяснил:

— Я эту группу икроножных мышц надорвал, когда занимался бегом на короткие дистанции. Я спринтер, человек рывка. А тут надо стайером быть. Я и пишу так. С низкого старта резко, и пошёл-пошёл до финишной ленточки. Я тут, тебя ещё не было, повестушку намахал за неделю. Прямо на машинке настучал. Там, у себя, я тебе рассказывал, соцзаказ через обком выбил. Лозунг "Всем классом на ферму!" Поддержка призыва партии. То есть выпускники не в институты едут поступать, а остаются в колхозе. Тут и сю-

жет. Одна девчонка у меня говорит: “А я хочу врачом быть”. А парторг: “Кто же тогда будет поднимать отстающие колхозы? — И так ей отечески: — Ты всё успеешь, ещё молодая, поработай для познания жизни два года”. А в городе идёт движение: “Всем классом на завод!” Там другие проблемы: борьба сознательной молодёжи со стилягами, фарцовщиками.

— А ты напиши ещё: “Всем классом в литературу!”

— Ладно, не поддевай, — отмахнулся он, — я ж только для заработка. Для души я тоже делаю, давно строгаю одну вещь, но, — он постучал костяшками пальцев по перилам крыльца, — тьфу-тьфу, не сглазить, не буду разглашать.

Катание шаров

После завтрака он всё-таки затащил меня в пустую бильярдную. И я согласился сгонять партию. Проклинал себя: нарушаю запрет учителя, но и оправдывался перед собой: всё равно же не пишется. И надо же акклиматизироваться. Сергей меня, конечно, обстукал. Хотя к концу партии мои руки и глаза, наверное, вспомнили, как, бывало, игрывал в клубе нашей части, пару-тройку “чужаков” от двух бортов в среднюю лузу вогнал. Что называется, разогрелся. И сам предложил:

— Давай ещё одну.

Уж очень хороши были здесь шары, медово-жёлтые, из слоновой кости, стукали друг о друга как-то по-особому, не звонко и не глухо, а чётко, как будто команду отдавали. Армейские были так избиты, с такими выщербинами и так самостоятельны, что сами решали, куда им двигаться после пинка кием, могли и свернуть от приказанного направления.

Во время второй партии Сергей доверил мне свою заветную мечту: переехать в Москву. Мечта эта была вполне осуществима. Надо жениться на москвичке.

— Смотри, — сказал он, — ты этих писателей всех знаешь, даже фамилий не буду называть. Они там у себя, в областях, делали первые шаги, чего-то добивались, в Союз вступали, потом с женами разводились, а в Москве женились. Из Петрозаводска, из Архангельска, из Оренбурга, Барнаула, Иркутска, Кургана, Кирова... Да ты их знаешь. И дела у них пошли. Даже не от того, что ближе к кормушке, в Москве же общение, жизнь кипит. В провинции задохнёшься, я тебе говорю. Болото. А вражда! Десять членов союза — три партии. Вон и у Чехова сёстры кричат: “В Москву, в Москву!” Я зимой путёвку в Переделкино возьму. Там близко ездить до центра на электричке. У меня и намётки есть. Пару редакторш присмотрел. Они, я по глазам чувствую, не против.

— Переспать с тобой?

— Нет, по-серьёзному. Да вот, хоть эта, которая у меня редактор. Немножко в годах, но годится.

— Ты же говорил: не хочешь, чтоб книгу баба вела.

— Так то книга. А тут жена.

— И квартира?

— И это надо. Или готовая, или кооператив.

— Но твоя-то жена как? — В этом месте я заколотил в угловую. И примеряясь к новому удару, заметил: — У меня все друзья женаты один раз. — Ударил. Промазал.

Сергей вытер тряпкой набелённые мелом пальцы.

— Понимаю. Тут же задаю ответные вопросы: а если женился по пьянке? А если дура оказалась? А если жить негде, коммуналка? Мне же писать надо! Если Бог талантом наградил, значит, надо реализовать. Так? Или не так? А если нет условий? Тёща сволочь, тесть пьёт и пилит. А она-то как пилит! До скрежета. А если загуляла? А если ребёнка не хочет?

— И это всё одна?

— Мало того: глухое непонимание, чем я занимаюсь. Ни во что не ставит. Напечатаюсь, показываю. Она: “А сколько заплатят?” Ты бы стал с такой жить?

— Так ведь и меня пилит. Если с парнями с гонорара выпью. А кого не пилят? Такая у них обязанность. Вчера перед кино случайно услышал, как этого, знаменитого, на втором, блатном этаже живёт, да знаешь, о ком говорю.

— Знаю. И что? Баба пилит? Так она у него третья. Я на второй остановлюсь. Только надо всё рассчитать.

— А как же любовь?

— Любовь? А что важнее: любовь или литература? Искусство поглощает целиком. Меня крепко вразумил один матёрый, ты должен знать, Фёдор Александрович, говорит: "Ты хотел быть писателем? — Да. — А зачем женился? А если женился, зачем ребёнок? Ты — писатель!" Но мне-то вначале надо в Москву переехать. Там решать. Нельзя время упускать, надо в литературу по уши, по макушку завинчиваться. Старичок! Жизнь одна!

Тут и он промазал. И воскликнул:

— Эх, хохол плачет, а жид скачет.

— Наоборот, — поправил я. — Жид плачет, хохол скачет. Знаешь ведь давнюю пословицу: где хохол прошёл, там евреям делать нечего.

Тут я благополучно и аккуратно закатил подряд три шарика и вышел в лидеры второй партии.

— Ещё? — раззадорился Сергей. — А? Третья, контрольная!

— Боюсь в разгон пойти, — отказался я. — Я человек заводной. Контрольную давай отложим. У тебя два тут срока пребывания, у меня один. Вообще давай считать, что ты победил.

Да, бильярд, с его сверкающими на зелёном бархате шарами, мог и затянуть. Да и все другие игры, в которых Сергей был мастер.

— А партийку в шахмат*ы*, а?

— Я в них знаю только, что конь ходит буквой "г".

— Я тоже так: е-два, е-четыре.

— "Шахматы — они вождям полезней", — отвечал я словами Маяковского.

— "Нам бильярд отращивает глаз", — продолжил Сергей. — Нет, шахматами не пренебрегай. Смотри, евреи далеко не дураки. Если им неохота землю пахать, стали умом зарабатывать. Чемпионы сплошь они. Карпов только резко возвысился, да ещё раньше Алёхин. Но шахматы — это комбинации, они комбинаторы. У них Остап Бендер икона.

Больше в бильярдную я не ходил. А партнёром Сергея стал старичок-драматург. Сергей звал его Яшей, известный, кстати, драматург, который кормился идущими в театрах на периферии "датскими" постановками. Датскими, потому что к датам: Новый год, Восьмое марта, Первомай, Октябрьская. Но у них с Сергеем игры были на деньги.

— Я его заставлю платить, — говорил Сергей. — Ишь, устроился: шары катает, а ему денежки каплют. Или капают? Что в лоб, что по лбу. Евреи, где можно деньгу сшибить, тут они. Я в нашем областном театре делал инсценировку, ходил туда, читал им для труппы. Роли уже даже расписывали. И что? Конечно, не поставили. Они и знали, что не поставят. Это я, Ваня такой, меня легко обмануть. Нет, они чужих не кормят. Много ли русских ставят? Чуть-чуть Шукшина, да Вампилова перед смертью. Отомщу, обставлю. Яша силён. Запрещает по отчеству называть. Худой, вроде еле живой, а привык по Домам творчества ездить, везде же бильярды, наблатыкался. Начали с рубля. Его, чувствую, затянуло. Пока я в минусе. Но это я его заманиваю.

Приглашение в сферы

Так как меня и в ресторане, и в кино видели всегда с Тендряковым, то и со мною стали здороваться. Вот интересно, властями Тендряков обласкан не был, а знаменитость его превышала многих со званиями и наградами. Что ни говори, а в писательском мире существует свой гамбургский счёт.

Сказал к тому, что ближе к середине срока мы шли с завтрака. И, что раньше не бывало, Владимир Фёдорович спросил:

— Ну как, идёт дело?

— Да трудновато, — в замешательстве ответил я.

— Это очень нормально. Иначе как? Надо, милый ты мой, сто раз перемучиться, пока пойдёт. Может, что почитаешь нам с Наташей? Из готового?

— Ой, нет, ничего не готово! — всерьёз испугался. И скрылся за авторитетом: — Хемингуэй писал о себе: "Я стал читать незаконченный рассказ, а ниже этого нельзя опуститься".

— Ладно, не опускайся, — засмеялся Владимир Фёдорович.

Тут нас тормознул классик одной из южных республик. Иона Маркович. Он на завтраки не ходил, завтракал в номере. Ему персонально привозили продукты из его республики. В том числе и вино.

Раскланялись.

— Владимир Фёдорович, позвольте попросить вас о большом одолжении. — Посмотрел на меня, протянул руку. Я представился. Понятно, что он, при его известности, мог и не представляться. Он притворился, что слышал обо мне. — Владимир Фёдорович, мы на местах, у себя в республиках, конечно, отслеживаем настроения в Москве. И видим явные повороты в сторону поощрения фронтовой и деревенской темы. Астафьев, Ананьев, Кондратьев, Воробьёв, Бондарев, Бакланов, Быков, все на бэ, — улыбнулся он, — фронтовая плеяда, вы, Троепольский, Абрамов, из молодых Белов, Распутин, Лихоносов, Потанин, Личутин, Краснов, Екимов — деревенская смена фронтовиков, — это всё, так сказать, компасные стрелки генеральных линий. Очень правильно! Хватит нам этой хрущёвской показухи!

— Хватит, — весело согласился Владимир Фёдорович.

— Да! И особенно пленяет ваша смелость в изображении теневых сторон современности, нелицеприятный показ...

— Ладно, ладно! — прервал Владимир Фёдорович. — Чем могу служить?

— Видите, нас всегда вдохновляла русская литература.

— И что?

— Я ведь тоже из сельской местности. Не совсем. У меня отец партработник, так что жили в центре, но я часто бывал у бабушки и дедушки. Они держали гусей, и доверяли мне сопровождать их до речки...

— А в чём просьба? — опять перебил его Владимир Фёдорович. Я понимал, что ему не терпится сесть за стол.

— Короче говоря, я тоже решил писать в полную силу правды, ведь сколько мы пережили, надо успеть зафиксировать. Короче: послезавтра собираю близких людей, чтобы прочесть то, что пишу, и попросить совета. И очень прошу удостоить честью. И вас, — адресовался он ко мне, — тоже. Послезавтра.

— А чего не сегодня, не завтра? — спросил Владимир Фёдорович.

— Но надо же приготовиться, заказать, чтобы привезли кое-что для дорогих гостей.

Так я, благодаря учителю, был приглашён в общество небожителей. Классик Иона Маркович перечислил званых: все сплошь знаменитости, плюс два главных редактора толстых журналов, плюс герой войны, маринист. Плюс два критика, как без них.

Спецкурс критика

Одного критика я вскоре узнал лично. До этого знал заочно. Его все знали: со страниц не слезал. Писал, как о нём говорили, широкими мазками. Оперировал всякими амбивалентностями. И был до чрезвычайности смелым, ибо требовал от писателей смелости. Прямо Белинский нового времени. Он сам, оказывается, что-то у меня прочёл, знал, что предисловие к моей первой книге написал Владимир Фёдорович, всё знал.

— Ты молодец, — похвалил он меня. — Молоток. Держись за Тендряка. Локомотив. Вытянет. На борьбе с религией пашет.

Конечно, он был уверен, что я взялся редактировать книгу Владимира

Фёдоровича только для того, чтоб сорвать с него предисловие. Увы, в этом мире не верят в бескорыстие.

Критика звали Вениамин, Веня. Своё критическое кредо он изложил мне, поучая, как надо жить в мире литературы. Вообще, интересно: меня всегда все поучали. Может, я такое впечатление производил, недотёпистое. И в Ялте ведь избегал разговоров, знакомств, а он меня отловил. Сам виноват: неосторожно пришёл в кино задолго до начала. Он взял меня под руку и, водя по дорожкам среди цветников, напористо вещал:

— Слушай сюда. У нас семинар Золотусский вёл, учил: чтобы вас заметили, надо быть смелым. А как? А так: не бояться ни званий, ни регалий того, о ком надо резать правду-матку. Чем знаменитей объект критики, тем заметней критик. Понял, да?

— А ты резал? Правду-матку. Или ещё не дорезал? — отшутился я.

— Тут не хиханьки-хаханьки. Тут борьба. Тут всякие приёмы годятся.

— То есть вольная борьба?

— Ещё какая.

— Какая?

— Вот у меня статья написана о старшем поколении, резкая, честная. Сколько можно этим старпёрам в литературе командовать: все должности захватили, премии делят, карманных критиков-лизоблюдов при себе держат, прикормили. Нет, так нельзя! Я режу: до каких пор? Вот в этом заезде два главных редактора, пузом вперёд. Я и того, и другого в статье уел. Им не прочихаться. По блату у них всё. Свой круг авторов, свои акценты. А как прозаики они кто? Какого размера? Ну да, что-то было. Было — прошло. Пора место знать! О, эта статья наделает шуму. Я её ещё зимой в Малеевке начал, потом летом в Коктебеле продолжил. Сейчас доколотил. Но вот тут главное. Слушай. Если бы тут третий редактор был, я бы именно ему статью отдал. А тут они, оба, на кого я нападаю. Как поступить? Что я делаю? Учись. Вырезаю из статьи всю критику на того редактора, кому отдаю читать. Ему нравится, ещё бы, его не трогаю. Он говорит мне: "Ты молодец, правильно их отхлестал. Напечатаю. Но этот год у меня расписан, начало того тоже занято. Давай поставлю на март-апрель". На март-апрель, как тебе нравится? Ну?

— И что?

— Как, и что? Начало ноября сейчас. Полгода ждать.

— И что? Читать же не разучатся.

— Нет, юное дарование, ты ещё далёк от понимания процессов. Так вот, я благодарю его, а сам в рукопись обратно всю критику на него возвращаю, а вырезаю критику на другого редактора. И тоже отдаю читать. Читает. И тоже — доволен! Говорит: Веня, срочно в номер! Идёт в двенадцатом. Бомба!

— А как ты с первым-то будешь потом встречаться?

— Да никак! Начнёт меня поносить, я тут же реплику: господа, я в подковёрные игры не играю, живу с открытым забралом. Нет, старичок, пора нам валить этот дурдом в Союзе. Ты хорошо начал, не останавливайся, набирай очки. Я тебя по "Сельской молодёжи" заметил, Попцов молодец, тянет парней, заметил тебя, вы там с Прохановым начинали.

— Проханов раньше.

— Так он и постарше. Он будь здоров, парень моторный. О конфликте на Даманском крепко написал. Уже ему и страны мало, уже из Кампучии репортажи. Спецслужбы на него поставили. И ты смотри, будь зорче. Литература — это такое дело: слопают и костей не выплюнут. Это же шакалы.

— Кто?

— Писатели! Ты чего, под дурака косишь?

— Ну, нет, тут я не согласен.

— Да, пожалуйста, *блажен, кто верует*, веруй. Схлопочешь пару измен от заклятых друзей, поумнеешь. Литература, брат ты мой, круглый стол с острыми углами, не я первый сказал. Садятся за стол и локти пошире раздвигают, чтоб никто рядом не сел. Держись за меня, я сколачиваю поколение на смену мастодонтам. Готовлю прорыв. Уже и семинар веду в Литинституте.

Ко мне молодые рвутся. Чувствуют, где направление главного удара. Ты давай, тоже начинай посещать. Я и Селезнёву помог из Краснодара переехать. Подтягиваю силы. Надо в стенку сбиваться. У них, смотри, всегда бригадный подряд, всё братья: братья Стругацкие, ну, эти ещё ничего, братья Вайнеры. А в критике с нашей стороны вообще завал. Не всё же нам на Лобанова, Лакшина, Ланщикова надеяться. Надо крепче врага теснить. Примерно как "Новый мир" и "Октябрь" сцеплялись. Кочетов молодец, но его количеством задавили.

К нам подошёл Сергей. Конечно, они-то были давно знакомы. Тем более критик Веня как раз был из тех, кто приехал в Москву из провинции, то есть мог Сергею пригодиться.

— Ареопаг в сборе, — заметил Веня.

Пошли. Но в вестибюле я отстал от ареопага и вернулся на улицу. Ходил по периметру Дома, потом зашёл в номер, собрал исписанные листки, поднялся к своей сосне и сидел до темноты.

Так уже бывало. Меня угнетало то, что живу тут в такой благодати и не работаю. Просто ужасно — никакой продукции. Напишу строчку — зачеркну. Ещё напишу — ещё зачеркну. Доехал страничку — скомкал. Но не выбросил. Копил похеренное для прогулки к сосне. Там, на чистом местечке, сжигал свои черновики. Подкладывал сухих веточек, глядел на огонь.

И Сашок приходил

Ежедневно виделся и с Сашком. Он вообще был деликатен и, если заставал меня за столом, то тут же поворачивал. Если же я лежал на диване, а лежал я часто, то присаживался и развлекал. Все его истории лежали в теневой стороне жизни обитателей Дома творчества.

— Соню знаешь? Старшая официантка.

— Нет.

— Ну, увидишь. Из отпуска скоро придёт. Она и сейчас ещё очень ничего. А раньше вообще. Что ты! Королева красоты, цветок невинности! Идёшь вечером в город, её уже угощают в лучшем ресторане. Я ей как-то говорю: "Чего ж ты у себя-то не ужинаешь?" Говорит: "Я и с тобой могу поужинать. В состоянии? Веди". Смешно. Веди. На мои трудовые? Хотя и подкидывают, конечно, но ведь семья. А если чего другое надо, пожалуйста. Меня в любую постель затащат.

— В любую? Врёшь.

— Да, вру, — усмехнулся он. Налил и выпил. — И про Соню соврал, фантазия. Это я от обиды ляпнул — отринула. А этим женам чего? Мужья горбатятся, лысеют, а им что? Какие на веранде сидят, вяжут, какие языками плетут, какие на лежаках у моря. Я по вызову прихожу, сразу понимаю, в чём проблема. Тут не кран, тут сильно другое.

— Не надо, — прерывал я. — Сашок, сантехника — это хорошо, но заведи хобби — перо и бумагу: ты столько знаешь неизвестного *о тайнах Мадридского двора*, да ещё и присочинить можешь. Такие записки драгоценны для потомков. И спрос на них растёт.

— Нет, — отвечал Сашок, — я в этом не волоку. Да и зачем? Я мужик, я всё могу. Я до города в селе был, понимаю и во саду, и во поле, за скотиной ходил. И в городе не пропал. А на этих гляжу: здоровенные мужичины, на них пахать надо, а они сидят целый день, как кассирши: тык-тык-тык, чирк-чирк. Мне даже и книги когда дарят, я гляну из любопытства: всё трынделки, одна брехня. А потом им же надо что-то сказать. "Ну как, Сашок, прочитал? — Да, а как же. Всё очень подобно, жизненно. К цели ведёт". Рады, ещё и на бутылку дают.

Сашок уже не уговаривал выпить, но сам выпивал. Для этого в моём номере держал стакан.

— Тяпну грамульку. Для кручины нет причины. — Опрокидывал. Всегда при этом прибавлял: — Эх, горе нам, горе нам, горе нашим матерям. — Крякал, заедал принесённым с завтрака сыром, вставал: — Ну, давай трудись. Соответствуй.

Раза два он перебрал и даже попел для меня. Две песни. Одна: “Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, полная червонцев и рублей. Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что в книжке нету прибылей”. Другая: “Ну, что тебе сказать про Сахалин, на острове нормальная погода. А я тоскую по тебе и пью всегда один, и пью я от заката до восхода”.

Видимо, и на него действовала творческая атмосфера, здесь царящая. Он однажды даже рассказал, как он выразился, “историю биографии”. Пришёл выпивший:

— Сделай запись, а то забудешь.

— Чего запись?

— Историю моей биографии последнего дурака.

— Пишу. — Я в самом деле взял бумагу и вооружился авторучкой.

— Пиши: я мог стать на уровень министра, а не стал. Спросишь, почему?

— Нет, не спрашиваю.

— Правильно: любопытство хуже свинства. Потому что вижу: в начальники рвутся карьеристы и подлецы. Это понятно?

— Как не понять, это публицистика.

— ак вот, уточняю: я во всём был будь здоров. Хоть физика, хоть химия — нету равных. Что в длину прыгал, что в высоту. Математичка мне всерьёз говорила: “Сашуля, твои данные говорят о многом”. Другие учителя соответственно. Прочили светлое будущее. И вот я здесь сижу со стаканом и разводным ключом... Можно закурить?

— Тут мы задохнёмся, пойдём на улицу. Бумагу с собой беру.

— Да можно уже и не записывать: летай иль ползай, конец известен.

У корпуса было пустынно. Сели на лавочку, на которой любила отдыхать Наталия Григорьевна с подругами. Ещё шутила: “Главное дело писательской жены — помогать мужу. То есть уходить с его глаз. И к работе не ревновать”.

— В общем, — продолжал Сашок, — дальше неинтересно. У меня мама умерла рано, я только школу заканчивал. Отец её очень любил, ну и, понятное дело, заболел-заболел — и за ней. А я уже в институте, а я уже и там на первых ролях. А у меня квартира. И, конечно, весь курс заваливается ко мне. Дальше, по тексту, пьянки-гулянки. Однажды просыпаюсь с девушкой, которая беременна якобы от меня. О чём мне объявлено в присутствии тёщи, которая пришла в мою квартиру, как ты сам понимаешь, жить навсегда. В которой и сейчас живёт.

— А ты с ними живёшь?

— С ними только другие такие же змеи уживутся. Да и то передерутся.

— То есть ты разошёлся?

— Через тюрьму.

— Как?

— Как залетают, так и я. Не вынес я такой жизни и руку вознёс. Уже были зарегистрированы. Я же порядочный человек, у меня отец — фронтовик. Отметелил их, как полагается — и на нары. Там и сантехнику освоил, и слесарное дело. Понимал: чем-то же надо будет кормиться. Но поклялся: чтобы ни с одной бабой больше недели не застревать. Ну, месяца. — Он аккуратно затушил окурок о край красивой урны. — Так не так, перетакивать поздно. Она постаралась о разводе. С тюремщиками легко разводят. Ещё легче выписывают с площади. Спасибо скажи, говорит, тебе комнату в коммуналке выменяла. А ещё ударишь, и оттуда выгоню. Так я о чём?

— О верности жене.

— Да! Пошёл в разгул, когда паспорт без штампа о браке получил. А если бы с женой в любви, так разве бы на сторону хоть раз поглядел?

Ниже уровня моря

И ещё на одно мероприятие для избранных я попал благодаря Тендрякову — на экскурсию в знаменитые винные подвалы “Магарач”. В переводе “стоянка осла”. Знамениты они ещё и тем, что фашисты, долго жировав-

шие в Крыму, знали, конечно, о винных подвалах, искали их, но — великая честь ялтинцам — никто не выдал, где они.

Из-за этой экскурсии приглашение к Ионе Марковичу на слушание авторского чтения новонаписанной повести было перенесено.

В делегации с русской стороны состояли Лазарь Карелин, Юрий Нагибин (они потом написали об этой экскурсии), кого-то и не помню, потом мы с Владимиром Фёдоровичем, от братских республик — знаменитости из Армении, Грузии, Молдавии, Украины, прибалты присутствовали, были и из Средней Азии, — сплошь отборные письменники.

Привезли на комфортабельном автобусе с музыкой и кондиционером. Перед входом в большие стальные двери всех облачили в белые халаты. Сопровождал стеснительный, но очень знающий молодой учёный, кандидат винодельческих наук (да, и такие есть). Он подошёл к Владимиру Фёдоровичу с его книгой, стеснительно попросил об автографе, прибавив, что именно Владимир Фёдорович — его любимый писатель. Стал вести экскурсию. Тендряков весело мне подмигнул: "Без бутылки не уйдём". Спустились в подвалы по деревянным, но не скрипучим лестницам. "Дубовые, — пояснил сопровождающий, — как и бочки для многолетней выдержки. — Будем находиться ниже уровня моря".

Экскурсию заинтересованно воспринимали армяне, грузины, молдаване, украинцы. Но для меня, а я видел, что и для наставника тоже, это была пытка. Вот представьте: подходим к очередной пробе очередного сорта вина, так сказать, перебродившего сока солнечной виноградной лозы, постепенно дошедшего до названия нового сорта вина или его разновидности, учёный рассказывает, что это есть такое. Мелькание слов: солнечный склон южный, а лучше бывает и восточный, благоприятная погода, затяжная весна, дождливое лето, раннее (позднее) созревание, букет, выдержка, участие в конкурсах, получение тогда-то там-то вот этой медали (рисунок). Потом тебе дают десять капель этого вина. Надо не сразу выпить, а подержать его во рту, языком повозить в нём, ощутить и нёбом, и гортанью. Потом проглотить, или — вариант — выплюнуть. Рот прополоскать минеральной водой, снова выплюнуть в ручеёк, текущий вдоль демонстрационного стола. Потом обсуждение, потом дальше.

Нет, это была пытка. Изысканная, комфортная, но пытка. Я уже подумывал, как бы смыться да взять на набережной кружку пива, да посидеть, глядя на волнистое море. Но куда там: протокол, программа. Оказанная честь. Надо ценить. Но Владимир Фёдорович чувствовал то же самое, что и я. И на одном из переходов из зала в зал сказал экскурсоводу:

— Слушай, ты нам с Володей дай по бутылке, и веди их дальше.

И бутылка, не одна, а две каждому в плотных бумажных пакетах, были нам подарены его помощниками. И мы, хотя явно не англичане, но ушли по-английски. Так сказать, десантировались.

Марганцовка

После подвального холода отогревались на скамье прибрежного бульвара.

— Ну что, — произнёс учитель, — наши организмы перенесли такое издевательство, надо их утешить. Вон автоматы газировочные. Там стаканы. Нет, не дёргайся, тебя засекут, а на меня не подумают. — Он встал, пошёл к автоматам и вскоре вернулся с чисто вымытым стаканом.

С тех пор я не видел такого вина — "Чёрный доктор". А тогда отличился перед учителем. Пальцем проткнул пробку. Владимир Фёдорович изумился:

— Он у тебя металлический?

— В кузнице работал. Должен же я хоть что-то уметь.

И мы не спеша, ничем специально не заедая, чтобы не портить впечатление от такого вина, приняли в себя для здравия тела и радости душевной напиток этого крымского доктора. Никто нам не мешал. Только подошла девочка лет четырёх и задала интересный вопрос:

— Дяденьки, а почему вы марганцовку пьёте?

Не успели придумать ответ, как её отозвала то ли мама, то ли нянька.

Как же было отрадно глядеть в синюю даль на корабли, на облака над ними. И спешить никуда не хотелось.

— Скоро добью, — сказал Владимир Фёдорович. Он говорил о повести. — Дам тебе прочитать. Если получилось, можно в книгу включить. Её у меня "Новый мир" берёт. Или "Дружба народов". Сережка должен скоро приехать Баруздин, редактор. Всё просит. Может, и ему. У него журнал хорошо идёт по республикам. А "Новый мир" и за границей востребован. Твардовский, у нас дачи рядом, каждый раз напоминает. Ну что, тёзка вятский, беря в рассуждение малую градусность вина, но прекрасный его вкус, созданный из винограда, выросшего на кто его знает каком склоне и непонятно, в какое лето, и не нам знать, когда там солнце соизволило участвовать в созревании лозы или когда дожди сие дело тормозили, о, как изысканна моя преамбула к самому простому действию: пора понять, что вторая бутылка по нам тоже соскучилась. Как считаешь? Надо и ей башку свернуть. А ещё одну возьмёшь себе, а ещё одну с Наташей употребим.

— Нет, нет, — торопливо сказал я, — обе вам.

— Хорошо, — согласился Владимир Фёдорович, — другой отказывался бы гораздо дольше. — Он засмеялся вдруг: — Эта девочка-то как, а? Марганцовка. Смешно. И вставить куда-то можно. Вставь, дарю. Взрослые дяди спёрли стакан, пьют марганцовку. Мы бы и сами могли купить, да нет такого вина в продаже, вот канальство. Всё у нас не для нас! Ансамбль "Берёзка" везде, только не в России, басы у нас какие! В Болгарии Борис Христов говорил о шаляпинской школе. Максим Дормидонтович Михайлов! А Ведерников-то тоже наш, вятский, как и Шаляпин. Гордишься?

— Ещё бы! — воскликнул я.

— Наливай! Посмотрим, чем на громкой читке будет угощать южный гений. Меня он ещё после тебя потом душил разговорами: учимся, говорит, у русских говорить правду. Знает наших лучше нас с тобой. Всё читает. Например, читал ты Гранина, Чивилихина?

— Да.

— Можно не читать. Это большеформатные очерки. Обслуживание тезисов, продиктованных верхами.

— У Чивилихина "Кедроград" и о Байкале, это же нужно, — защитил я. — Он именно Распутина поддержал.

— Это да. Распутин на смену идёт. От Белова я многого жду. Его Александр Яшин вырастил. Но ведь у самого Яшина "Вологодская свадьба" тоже не литература. Это опять же очерк. Нет широты. Мальцев, Троепольский. Как и Феди Абрамова "Письмо землякам". Зауженные местные проблемы. Астафьев, — Владимир Фёдорович сделал паузу, — совсем не успокоенный. А вот я не могу писать о войне. И не хочу. Хоть и заработал право. — Он показал кисть руки, искалеченную осколком. — Юра Бондарев пишет, молодец. Василь Быков, Сеня Шуртаков. А Володя Солоухин не воевал, в Кремлёвском полку служил. Но свою нишу занял. Грибы, цветы. Тоже надо. Только бы лапти не воспевал. "Чёрные доски" эти.

— Но он же их сохраняет.

— Зачем? А что, без них и Лувра нет, Русского музея, Дрезденской галереи?

— Мне очень его "Владимирские просёлки" понравились, — сказал я. — Ещё в десятом классе был, в "Роман-газете" читал.

— Так ведь тоже только очерк. Путевые записки. Интересно, конечно. А потом что? Эти "Чёрные доски" собирал, в религию ударился. Я ему: "Володя, это отжившее: вперёд идём, а не назад". Он упёрся: "Нет, Володя, — окает всю жизнь, — надо долг отдать". Прямо как "отец Онуфрий, обходя оврагом общественный огород, около огромного огурца обнаружил оголённую Ольгу". Ты как к церкви?

— Я ещё в школе думал: если Бога нет, так как бороться с тем, чего нет?

— А ты Его спроси, Бога, что ж Он никак нам не помогает? Такой бардак развели.

— Мы же не просим.

— Надо же, — развёл руки Владимир Фёдорович, — ещё и просить. Зачем Он тогда Всеведущий и Всемогущий? А? Нечего сказать?

Владимир Фёдорович встал, потянулся.

— Чего-то я разленился. Статью никак не допишу. О бригадном подряде, аккордной оплате. Да, надо тебе Тейяра де Шардена прочесть: сознание встряхивает. Эволюционер. Эво! Не революция — эволюция! Католик, но они прогрессивней наших, они идут на союз с наукой. А наши консерваторы. Упёрлись в обряды, язык у них как был, так и остался. В космос летаем, а там всё: "не лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы..."

— "Ярославна плачет в Путивле на городской стене: ветр-ветрило, прилелей моего ладу", — то ли поддержал я учителя, то ли с ним не согласился.

— Поутру плачет, — показал он мне моё плохое знание "Слова о полку Игореве", — не просто так написано. Поутру. С утра плачет. Умели писать.

По дороге к Дому я всё-таки осмелился сказать:

— Владимир Фёдорович, до того мне не хочется думать, что люди от обезьяны произошли. Мне понравилось, я слышал шутку: не люди от обезьяны произошли, а обезьяны — это бывшие люди, которые оскотинились.

— Очень похоже, — засмеялся Владимир Фёдорович. — Жизнь произошла от первичного бульона Вселенной, от живой клетки.

— А живая клетка откуда?

— Всегда была. Читай у Вернадского о единстве живой клетки в космосе.

— Так был или нет день Творения?

— Ну да, был — взрыв во Вселенной, — хладнокровно ответил Владимир Федорович. — До сих пор единое ядро разлетается во все стороны в виде галактик, они как осколки.

Наставник мой не знал сомнений. И мой вопрос: "А взрыв-то кто устроил?" — оказался непроизнесённым. Ещё он добавил:

— Ты в эту сторону поповскую не ходи. Ничего у них не получилось с религией, надо не молиться, а головой думать.

Старшая официантка

На обеденном столе обычно лежали листочки, на которых мы помечали галочкой название тех блюд, которые желали бы употребить в следующий день. А тут их не оказалось. Я вызвался сходить за ними. Подошёл к дежурной, которая, склонив голову в белом платке, что-то писала.

— Простите, можно вас попросить, — начал я. Она подняла голову. Я сразу понял, что это она, Соня, которая вернулась из отпуска. Мы встретились взглядами. Что-то неуловимое, будто она меня вспомнила, мелькнуло в её глазах. Да, хороша была эта Соня: темно-русая, глаза большие, карие, вся в северную породу русских красавиц.

— Мне листочки, три, для заказов.

Она взяла листочки из папки на столе, легко встала, такая стройная, и протянула их мне. А зачем было вставать? Как она походила на далёкую, ещё доармейскую девушку, с которой мы были дружны, но которая меня из армии не дождалась. И хотя на Соне был платок, закрывавший волосы, я был уверен, что у неё прямой пробор и обязательно косы. Про косы чуть не спросил. Даже качнулся вперёд, но спохватился и виновато улыбнулся. И она улыбнулась:

— Что-то ещё нужно?

— Нет, нет. Я знаю, вы Соня. А как по отчеству?

— Не надо. Надеюсь, ещё до отчества не дожила. Или уже пора?

— Ну что вы!

Вернулся за стол. Наталья Григорьевна что-то заметила.

— Ах, хороша, да? Понравилась? Вижу, вижу, смутились.

— Какой там — смутился? Что за блажь? — недовольно спросил Владимир Фёдорович. — Он работать приехал. Встал в борозду и паши. Смущаться будешь, когда плохо напишешь.

— Тут столько классиков, что... — я махнул рукой. Сел и стал смотреть предлагаемые кушанья на завтра. И блеснул знанием, заодно уводя от начатой темы. — Слово "меню" адмирал Шишков терпеть не мог и предлагал назвать: разблюдаж. Та-ак, завтрак, обед, полдник. Ставим галочки. С такой едой можно и не писать.

В этот день вечером был фильм "Генералы песчаных карьеров" или, в другом переводе, "Капитаны песка". Я почему-то знал, что Соня придёт.

Пришла. Сидела впереди. Да, тёмно-русая, да, с прямым пробором. И коса, широкая короткая. И фильм очень неплохой, и песня пронзительная. Хотя и немного безотрадная: "Судьба решила всё давно за нас".

Чтобы подойти к Соне, мысли не мелькало. Нет, вру, мелькала. Но скрепился: какие мне провожанья, работать приехал. Заставил себя уйти до окончания сеанса. Да и брюки в смоле, и ботинки не чищены. И сам не брит.

А ночью меня пронзила ожившая боль разлуки с той, моей девушкой Валей, с которой дружил до армии. На которую похожа Соня. И мысль овладела: вот о чём надо написать. Уходит парень в армию, а мы уходили, самое малое, на три года, уходит, провожает его любимая, обещают они ждать друг друга, быть верными. Да это и обещать не надо, это ясно. Он уходит в новую жизнь, а она-то остаётся в прежней. У него всё переворачивается: это же армия! Взросление, возмужание, новые привычки, стремления, друзья. Он становится другим за три года, а она не изменилась. Но любит попрежнему. Ждала. А он уже другой. Тут трагедия. И он любит, он был верен ей, другой у него нет. Но уже что-то изменилось. Тут мучение. Она сердцем понимает, что у него уже нет той силы любви к ней. Что он, страшно сказать, стал чужой. А он говорит о свадьбе, он честный человек. И не врёт, и готов жениться. Но она, жалея его, отказывает ему. Может даже солгать во спасение, что полюбила другого.

Вот маленькая повесть. Вот её и пиши.

Во все следующие встречи с Соней, а они трижды в день при посещении ресторана Дома творчества были неизбежны, просто раскланивался. Она была, как всегда, приветлива. Чтобы не встречаться с нею взглядом, сел спиной к её столику.

— Не поможет, — засмеялась всё понимающая Наталия Григорьевна.

Почему-то не мог о ней не думать. Но сказал себе так: это от того, что она своей похожестью на Валю моей юности вызвала к жизни замысел повести. Спасибо ей за это, и до свиданья.

Кукарачка

Вскоре она отчудила: привела перед обедом в корпус дочку свою, да ещё и ко мне, в мой карцер постучались. Мороженое принесли. Была в белой кофте-распашонке, вышитой красными узорами. Голова не покрыта, волосы распущены по плечам. Девочка лет четырёх, в платье-пелеринке, белый бант на голове, прямо ангел, сказала:

— Я Оля, а вы?

— А я папа девочки Катечки. Такой, как ты. Такая же принцесса, модница.

— Модница-сковородница ещё та, — подтвердила Соня и спросила: — Вы же смотрели кино "Генералы песчаных карьеров"? Да? Я в конце вся обрыдалась. Прямо настроение подыспортилось.

— Да, грустный финал.

Сели. Неловко помолчали. Оля потихоньку деревянной щепочкой доставала мороженое из вафельного стаканчика. Соня и я к мороженому не притронулись.

— Я хотела спросить, — заговорила Соня, — вот о чём. Тут, кто бы ни приехал, все всё всегда: дама с собачкой, дама с собачкой. А я прочла, и что? И это любовь? Она же от мужа уехала, а он от жены. И загуляли тут. Это как?

— Это не ко мне вопрос, к Чехову.

— Его уже за хвост не поймать. А вы как считаете?

— В общем-то, я тоже от жены уехал. Хотя бы отдохнёт от меня.

— А вот скажите, — спросила Соня, — почему это жёны писателей все только и жалуются, что им тяжело жить. А самим делать нечего.

— Вообще, конечно, тяжело.

— Почему?

— Женщинам надо, чтоб им постоянно уделяли внимание, а его работа забирает целиком и полностью. Он же непрерывно в работе. Идёт с женой рядом, а сам думает над тем, о чём в это время пишет. Вот коротко: рассказ. Не мой. О писателе. Он возвращается домой, видит в прихожей чемодан, думает, как это интересно изменяет пространство прихожей. Жена ему говорит: я от тебя ухожу, жить с тобой невозможно. — Почему, зачем? — Невозможно. Ты эгоист, ты занят только работой, и так далее. Я всегда одна, ты мне всю душу вымотал, в общем, все женские слова.

— Да, это мы можем, — засмеялась Соня.

— Он, этот писатель, слушает и думает: да, да, она права, ей невозможно жить со мной. И был бы, думает он, хороший такой рассказ, как жена писателя от него уходит. Хорошая, красивая, но несчастная. Он весь в своей работе, он ей не принадлежит. Да, надо запомнить, как от волнения её лицо хорошеет, какие неожиданные, ранее от неё не слышанные, слова вспыхивают в её монологах. Воспоминания о юности их любви начинают его терзать, какие-то обрывки фраз из задуманного рассказа мелькают в голове. Он думает: я же всё не запомню, надо записать. Хлопает по карманам — нет записной книжки. Жене: — Ты не видела мою записную книжку? — Какая тебе записная книжка? Я от тебя ухожу. — Да уходи, уходи, только записную книжку вначале найди. Она садится на чемодан и понимает, что с ним бесполезно говорить: другим он не будет.

— То есть не уйдёт? Не ушла? — спросила Соня заинтересованно.

— Будем надеяться. Она же его не переделает. Ей самой надо подстраиваться. Но это всё-таки о, надеюсь, верной жене. Каких, кстати говоря, немало в жизни. А в литературе все они изменщицы, чем и интересны. В красивом слове "адюльтер". Вот эта дама с собачкой, а рангом повыше — мадам Бовари, Анна Каренина. Эти бабёнки мужьям рога наставили и в героини вышли. А Кармен? Из-за неё судьбы ломаются — ей хоть бы что. "Меня не любишь, ну, так что же? Так берегись любви моей!" Добилась своего и отшвырнула. Или этот деспотизм: "Если я тебя таким придумала, стань таким, как я хочу!"

— Вот разошлись, вот разошлись, — весело одобрила Соня мой речитатив и арию. — Не все же такие. Что же тогда, не читать о них?

— Читать, да не подражать. А писатели — самые трудные для женщин мужья. Может, Чехов и не женился оттого, что понимал: мужа из него не получится. Не выходите за писателя, Соня.

— А за кого? Тут только они.

— Собачку заведите и гуляйте с ней по набережной.

— Мне только ещё собачки не хватает. Скажете тоже. Оля, не дёргай за кофту, сейчас пойдём. — Кажется, она приняла всерьёз мою шутку. — Я-то никого не обманываю: я разведёнка. — Ой, у вас даже моря из окна не видно.

— Да, не видно. Приходится с утра к нему бегать.

— А я знаю. Я даже утром вас издалека видела.

— Надо же, — только это и смог сказать. Чтобы скрыть смущение, обратился к Оле: — А это не ты нас о марганцовке спрашивала? На бульваре у моря?

— О какой марганцовке? — спросила Соня.

Рассказал о походе в винные подвалы. О вине "Чёрный доктор", о девочке, спросившей нас, не марганцовку ли мы пьём.

— Счастливые вы, в Магарач простым смертным доступа нет. А вино это я могу достать. У меня связи — ого-го. Принести?

— Что вы! Я же работать приехал.

— Оля, пойдём, — тут же встала она, — пойдём, не будем дяде мешать.

— А как же песенка? — спросила Оля. — Ты говорила: дяде надо спеть.

— Вот предательница, — засмеялась Соня. — Петь не обязательно.

— Даже очень обязательно, — попросил я. И повинился: — Видите, какой я плохой. Даже и угостить вас нечем.

— Ну что вы, сейчас обед. А песня, кстати, про собачку. Оля!

Оля встала и очень умилительно, помогая жестами ручек, спела песенку, которая была так проста, что я её запомнил с первого раза:

В одной маленькой избушке жили-были две старушки.
И была у них собачка по прозванью Кукарачка.
Раз поехали на дачку, захватили Кукарачку.
А в дороге неудачка: заболела Кукарачка.
Повезли её в больничку, стали делать оперичку.
С оперичкой неудачка — сдохла наша Кукарачка.
В одной маленькой избушке плачут, плачут две старушки:
Ведь была у них собачка по прозванью Кукарачка.

— Душераздирающая история, — сказал я. — Целая повесть. Всё есть: и события, и герои — старушки, собачка, доктор, шофёр, кто-то же их вёз на дачу?

— Они в автобусе ехали, — поправила Оля.

— Ещё интересней. Завязка — поехали на дачку, кульминация — болезнь, оперичка, и горький финал. Плачу и рыдаю. Гости приходят, тоже рыдают?

— У нас гостей нет, — заметила Соня.

— Мы её в садике поём, — сказала Оля. — Вам понравилось?

— Замечательно! Стыдно, подарить даже нечего. Я песню запомнил, я её дочке по телефону продиктую.

— Вы правда запомнили?

— Ещё бы. Такая история! “В одной маленькой избушке...” И так далее.

— А как вы память тренируете? — спросила Оля.

— Сама тренируется. Вот твоя песенка: такой день, красивая девочка...

— И мама, — добавила Оля. Она вновь взялась за мороженое.

— Ещё бы! Ну вот, и как не запомнить?

Я как-то ищуще озирал своё убогое помещение.

— Ничего ей дарить не надо, зачем, что вы, — заметила Соня. — Вы так слушали, вот подарок. — И после паузы: — А вы давно начали писать?

— С детства. Стихи писал. Потом хватило ума понять, что уровень невысок. Сценарии строчил, пьесы. Но это для денег: на кооператив зарабатывал. Да всё как у всех, обычно. Но пришёл к прозе. А проза — самое трудное, кому хочешь хребет сломает.

— Надо же. А сейчас что-нибудь пишете?

— Пытаюсь. О юношеской любви.

— Как интересно.

— Больше грустно. Он в армию ушёл, а она...

— Не дождалась. Точно?

— Сложнее: он стал другим. Хотя никем не увлекался. Да и где там в армии.

— Ой, и что, что в армии. А вы служили?

— Конечно, как без этого?

— И что, там не было вариантов? Да мужики, где хочешь, найдут. Это мы, дуры, верим да ждём.

— Это у меня из своей жизни такой случай. Знаете, она похожа на вас. И задумка возникла благодаря вам, когда вас увидел.

— Надо же, — засмеялась она. — Вот куда попала. Покажете потом?

— Тут до показа семь вёрст до небес. Ещё начать да кончить.

Оля выскребла ложечкой вафельный стаканчик, отложила ложечку на край стола и стала, обхватив ладошками стаканчик, как белочка орех, его по кругу обкусывать. Заметила непорядок:

— Мама, у него телевизора нет и ванной нет.

— Ничего, Олечка, живу.

— А где вы умываетесь?

— К морю бегаю.

— Каждый раз?

— Извините за беспокойство. Мы пойдём, — сказала Соня. — Уже у порога, поправляя дочке белый бант, повернулась: — А вы до того похожи на него, это мой парень был, прямо один в один.

— Отец Оли?

— Нет. Хорошо бы!

— Оля! — воскликнул я. — Умоляю, возьми мороженое! Я его не люблю.

— Ну, раз не любите. — Соня положила стаканчики обратно в пакет.

— А у меня есть ещё одна бабушка, — сказала на прощание Оля. — Только она далеко. Мамина мама. Только я её не видела.

— Обязательно увидишь, — пообещал я.

Ушли. Не удерживал. А чем бы я мог их занять, угостить? Да и сам такой небритый весь. На брюках след от древесной смолы. Рубаха какая-то рабоче-крестьянская. Ведь есть же запасная. Ну, что теперь?

Подошёл к зеркалу. И куда я рядом с ней, такой? И внезапно решил — не бриться до конца срока. И вообще пора носить бороду. Василий Белов с бородой, а моя Вятка с его Вологдой соседи. И дедушки у меня были бородатые ямщики и плотогоны. Эх, не отпадёт голова — прирастёт борода. Да не отпадёт, сам не теряй.

Но наутро, когда мы прибежали к морю, а оно день ото дня становилось всё холоднее, зрителей приходило всё меньше, наши заплывы становились всё короче, так вот, мне казалось, что Соня где-то близко. И подсматривает за нами. В бинокль. А с ней собачка. Кукарачка. Стих про эту Кукарачку я дочке по телефону пересказал. В тот же день, как они приходили.

Да, Соня. Была в ней женственность, вот что. Это не объяснить, и это есть далеко не во всех женщинах. Женственности не достичь ничем: ни красотой, ни фигурой, ни спортом, ни диетой, это только состояние души. А женственная душа у женщин бывает только у целомудренных. Сказал же Сашок, что Соня ему его мать напомнила. А мне далёкую доармейскую Валю. Ведь не похожестью лица, а именно этой женственностью.

Ну, хоть стреляйся

С работой моей опять заклинило, какой-то ступор случился. Не успел сесть за повесть, хотя уже согласен был бы и на рассказ, лишь бы не простаивать, оправдать эту с небес упавшую возможность для работы, как тут же настигла мысль: а зачем писать, а кому это нужно? Даже и так было: бегу утром к морю вниз, бегу обратно вверх, в гору, непрестанно думаю о работе. Как учитель наставлял. Взглядываю на него: думает. Даже вроде того, что губами шевелит, что-то проговаривает. И думаю о своей работе, и мне вроде всё ясно: сяду за стол и — поехали. Но не получается такой радости: записанная, вроде продуманная мысль не хочет жить на бумаге. Сохнет, как сорванный листок.

Поневоле бросишь авторучку. А уже видишь рассказ напечатанным, читающимся кем-то, видишь этого кого-то, как он зевает, отодвигает книгу и включает телевизор. А если и не отодвигает, если и дочитает, всё равно же закроет. И что в этого кого-то из твоего текста перейдёт? Зачем ему твоё самовыражение? Он утешения чает. Ах, меня бы кто утешил...

И так как некому было поплакаться, кроме жены, звонил ей. Часто не бегал в город, звонил из вестибюля. Там иногда бывало свободно. А вообще, ожидая очереди к телефону, легко можно возненавидеть женскую породу. Невольно вспоминалась шутка: женщина говорит подруге: “Вчера мужу доказывала, что я умею молчать. Так доказывала, что голос потеряла”.

Из кабины в вестибюле долетали расспросы про котов Мусика и Пусика да про собачек. Как они погуляли, хорошо ли едят?

Желание услышать родные голоса возникало именно в минуты близкого отчаяния во время работы. Я жене не жаловался на то, что у меня работа не идёт, вообще не говорил о работе, но всё равно от разговора с ней становилось легче.

Меня жена ревновала к дочке. И вся в меня, и делится не с ней, а со мной секретами. "Папа, мне в нашей группе Миша нравится, он такой самостоятельный. — А в чём это выражается? — Нет, папа, он не выражается, он самостоятельный. — Из чего ты вывела, что он самостоятельный? — Он воспитательницу не слушается. — Да, это сильный признак мужского характера. А ты ему нравишься? — Вполне".

И жену услышал. Она взяла трубку.

— Что это у вас за Кукарачка? Страшнее не было имени для собаки?

— Собака же не понимает значения слова, ей важна интонация. Катерине понравилось?

— Ей бы ещё понравилось уборкой заниматься. Ну, всё? Не звони, деньги не трать.

Я вздохнул, выходя из кабины. И опять пошёл мучиться над безжалостным пространством белых листков.

"Тварь я дрожащая или право имею?.."

Такой достоевский вопрос, который он поручил Раскольникову задать читателям, я гневно задавал себе, сидя на высоких ветвях своей сосны. Только вместо слова "человек" ставил слово "писатель". И не старуху-процентщицу я собирался убивать, у меня дичь была покрупнее — повесть. Но, как сказала бы моя мама, как на пень наехал — работа не шла. Опять сбежал от стола, опять поднялся к своему месту. И на сосну залез.

Было над чем подумать: срок пребывания стремительно катился к завершению, а сделанного у меня в результате, в активе, в сухом остатке, на выходе, как ни назови, — всё ноль. Только и плодил черновики для растопки костерка. Но и оправдывал себя: то, что хотел делать здесь, показалось неинтересным, мало значащим. Обилие собиравшихся в обеденном или зрительном зале пишущих людей угнетало. Ведь все думают, что пишут нетленки, иначе зачем же и писать? И где будут те, ещё не изданные их книги? А книги обязательно будут. Тут же все члены Союза писателей. И я скоро вступлю. Так, по крайней мере, мне предсказывали рецензенты и издатели. Тот же Тендряков. Разве бы он, при его требовательности, написал бы предисловие к слабой рукописи? Ну, стану одним из этих многочленов, дадут мне номер с окнами, с верандой, с видом на море и на горы. И что?

А уже с самого детства я не писать не мог. Всю жизнь меня постоянно тянуло сесть за стол. С другой стороны, когда, как говорили раньше, вошёл в меру возраста, стала мучить убийственная мысль: ну, напишу, ну и что? "Но другие-то как?" — размышлял я. Вот бы мне такое самомнение, как у критика Вени. Да нет, это слишком. Но и комплексовать без передышки тоже глупо. Дана тебе способность слова в строчки складывать — складывай. Но дано и умение эти строчки зачёркивать. Ну и зачёркивай, и опять складывай. Сизиф отдыхает.

И что дальше? Сказал же Владимир Фёдорович, предисловие написав: "Смотри, дальше будет труднее. Сказал "а", говори и "бэ", и весь алфавит. Первая книга окрыляет, но она и обязывает. Её надо скорее забыть". Ему легко говорить. Она у меня ещё и не выходила, а уже надо её забыть. Весело. А сейчас у меня вообще всё затёрло. Ни бэ, ни мэ, ни кукареку.

А всё Соня, сваливал я вину на неё. Сглазила. Сам виноват, зачем сказал ей о планах. Этого никогда не надо делать. Как у Суворова: "Если б моя шляпа знала мои планы, я бы бросил её в печь".

Не пишется — и всё! И без толку бумагами шуршать. Хоть топись. И перед Владимиром Фёдоровичем стыдно. А что делать? Запить? Поехать на экскурсию в Горный Крым или к Бахчисарайскому фонтану? А взять да

вообще по “юбке”, как прозвали южный берег Крыма, ЮБК, прокатиться на остатки денег? Чего тут-то сидеть? Переживать за поражения Серёги в бильярде? Слушать нотации Вени-критика?

И мне то казалось, что я зря приехал, то что очень даже не зря. Какая-то работа свершалась во мне, что-то сдвигалось в сознании. Этому очень даже помогал мужской клуб.

Мужской клуб

Время в Доме измерялось едой: трёхразовое питание. Плюс полдник, плюс кефир перед сном. В это время пространство между спальным и обеденным корпусами оживало. Завтрак, обед проходили обычно. Входили и выходили. А перед ужином передвижение застревало у крыльца ресторана. Тут в это время, так сказать, стоя заседал такой временный мужской клуб. Может, и оттого он формировался, что дамы шли на ужин причёсанные и в нарядах.

Но если утром мужской клуб был малочисленный по количеству и краткий по времени, то вечерний оказывался и продолжительней, и понаселённей. Утренний — до еды, вечерний — перед едой. Наращивали аппетит, упражнялись в остроумии. Много чего я тут наслушался. Цитаты, выражения, возражения, случаи из жизни сыпались изобильно. Писатели.

— Меня бы жена дома так кормила... — начинал один.

— Ты бы и писать перестал, — поддевал другой.

— Нет, — поправлял другой, — к бабам бы побежал.

Третий тоже не отставал:

— Товарищи, хлебайте щи, а мясо съели служащи. — И добавлял на грани крамольного: — Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сту грамм, не стесняйтесь. А знаете, как лозунг этот на украинском? Голодранци усих краин, гоп до кучи!

Подходил ещё один пишущий и вопрошал:

— Так зачем, скажи мне, Петя, если так живёт народ, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд?

— А с Брежневым согласовали разговоры? — вопрошал пародист. — Маршал Жуков докладывает Сталину план новой операции. Тот спрашивает: “А полковник Брежнев утвердил?”

— У нас после Хруща начались новые традиции во власти, — солидно вступал предыдущий. — Вновь приходящий правитель гадит на предыдущего и так далее. Вновь пришедшему начинают создавать культ...

— Мы же и создаём. Писаки.

— Нет, ребята, на писак всё не валите: они слушают мнение народное. Народ Лёне верит. Никиту при его жизни ни во что не ставили. Я делал обзор писем в “Сельской жизни”, сейчас много писем в его поддержку. Стихи даже народ пишет: “Товарищ Брежнев, дорогой, позволь обнять тебя рукой”.

— Никиту вспомнили, — вскинулся седой мужчина. У него под рубашку была надета тельняшка. — Уж как только не надрывался, чтоб Сталина с дерьмом смешать, не получилось. Меня позвали...

— Как не получилось? Уже Волгоград, а не Сталинград. А ты чего, Пётр Николаевич, хотел сказать?

— Меня позвали выступать перед воинами. Обсуждение книги “Десант на Эльтигене”. Тоже, кстати, Крым. Прошло хорошо. Потом, как водится, бешбармак. В офицерской столовой. Сидим. Никиту ругаем: корабли на металлолом резали, офицеров во цвете лет гнал в запас. Я встал: “Отделением сержант командует, взводом — лейтенант, ротой — капитан, батальоном — майор, полком — полковник, соединением, дивизией — генерал, фронтом — маршал”. Сделал паузу. Все ждут, чего скажу. А кто, говорю, маршалами командовал? Должен же быть Верховный командующий? Должен! Вы же военные люди. Предлагаю встать и выпить за Верховного! Сталина не назвал, но все поняли. Встали и выпили.

Подходил опаздывающий. Петя-пародист приветствовал:

— Ты чего такой печальный? А, понимаю. Достоевский умер, Толстой умер, и тебе что-то нездоровится. Правильно говорю? Тебя ещё Арий не измерял?

Про Ария мне потом Сергей объяснил. В Московском отделении Союза писателей, а это самое малое полторы тысячи членов, был специальный человек, которого главное дело было заниматься похоронами. Ведь писатели тоже люди и тоже умирают. Так вот, этот Арий просто членам Союза ничего не обещал. То есть материальная помощь будет, и гроб помогут заказать, но остальное: венки, кладбище, прощание — дело наследников. А если вы уже член правления, то гроб выставят в вестибюле, тут уже и вахта с траурными повязками у гроба, а если вы секретарь правления, то гроб будет стоять в Малом зале. С музыкой и речами. А если уже секретарь Большого Союза, то есть всего СССР, тогда прощание в Большом зале. Речи, почётный караул. И кладбища занимали по ранжиру. На Новодевичье могли претендовать Гертруды (Герои Труда), но оно же не резиновое, уже и Ваганьковское становилось проблематичным, ибо созревание и умирание знаменитостей не останавливалось. Престижные мемориалы становились перегруженными, но пришло на подмогу Ново-Ново-Девичье, названное так Кунцевское. Этот Арий забавлял пишущий народ: подходил к писателю и начинал его измерять, начиная с головы, растопыренными пальцами, объясняя при этом, что надо заранее снять мерку для заказа гроба, что у него мера — расстояние от среднего до большого пальца — точная: двадцать сантиметров.

Также прочитанная свежая "Литгазета" вызывала прения своим разделом о награждениях, премиях, званиях. Члены клуба имели на всё своё мнение: кому-то звание дали рановато, кому-то запоздало, кого-то вообще обошли, а кого-то вообще ни за что завалили и металлом, и премиями. Особенно не щадили пишущих женщин. Все их награды и успехи объясняли однозначно:

— Переспала, вот и весь секрет.

— Кто как может. Вон, у Кожинова исследование о "Нобелевке". Читайте: там поэтесса, забыл фамилию, да и знать не надо, со всеми почти членами Комитета поамурничала — и пожалуйста. Всех значительных в двадцатом веке обошли, может, Бунину только, да Шолохову за дело.

— Бунин эмигрант политический, а Шолохову дать премию вынудили: наши ракеты на Кубе стояли, Громыко посодействовал. Пастернака — за диссидентство.

— А сколько эта премия?

— Какая тебе разница, тебе же не дадут. Вот премия была — братьев Гонкуров. Сколько её денежное содержание? Два франка. А получить её было самой заветной мечтой всех пишущих и рифмующих.

— Французов. Анри Барбюс не хуже Ремарка о Первой мировой написал, дали по справедливости.

— Народ! Только что прочёл, что Диме Шутову дали на пятьдесят лет Трудового Красного Знамени, а хватило бы ему "Весёлых ребят" (так в просторечии называли орден "Знак почёта"). Или даже знака "Трудовое отличие".

— Ему даже знака "Победителю соцсоревнования", и то много.

— Вообще ничего не давать!

— Ну, старик, это жестоко: все штаны, в Большой дом бегаючи, изорвал, одни пиджаки остались, хоть их украсить.

— А я вам новость скажу — всех утешит. Сейчас же введён "Знак качества" на продукцию...

— Да его везде шлёпают, только на капусту не ставят: расплывётся.

— Не перебивай, не капусту выращиваем. Такой знак будут ставить на наших книгах. Знак и штамп: "Сделано в Ялте". Как такую книгу не купить?

— Отштампованную? Читателей не обманешь.

— Их уже двести лет обманывают.

— Какао не обманет, но стынет!

В другой раз цитировали выразительные цитаты из классиков. Тут я тоже немного поучаствовал. Уже перестал стесняться тем, что я вроде как не по чину живу тут, ещё не член Союза. Но Сергей и Веня почти насильно втащили меня в круг общения. “Чего тебе стесняться: пишешь, в издательстве работаешь”.

После своеобразного состязания в знаниях текстов одобрили фразы из Набокова, из “Приглашения на казнь”: “Маятник отрубал головы секундам”; из Булгакова, из “Дней Турбиных”, там выпивший Лариосик любуется в застолье офицером: “Как это вы так ловко рюмку опрокидываете?” Тот отвечает: “Достигается упражнением”. Я вступил в беседу, сказав, что слышал, как Астафьев, знающий наизусть “Конька-горбунка”, очень восхищается строчкой “как, к числу других затей, спас он тридцать кораблей”. “К числу других затей” — здорово? Все одобрили. Осмелев, я ещё и Солоухина вспомнил. Он очень высоко ставил “Мастера и Маргариту”, место, где бесенята Коровьев и Бегемот даром раздают женщинам модную одежду и обувь. “Вот одна примеряет туфли и спрашивает: “А они не будут жать?” Даром достались, ещё и жать!”

— О, а у Чехова, помните, пишущая баба пришла, её ещё Раневская сыграла. Она читает писателю свою пьесу, там вот эта ремарка меня восхищает: “В глубине сцены поселяне и поселянки носят пожитки в кабак”. А?

— А вне конкуренции знаете, какие изречения? — спрашивал высокий седой мужчина. Теперь я уже знал, что он Пётр Николаевич. Но из-за тельняшки, которая была надета под рубашку, я стал про себя звать его мореманом: — Самые крепкие изречения — это народные. Пословицы, поговорки. Даже и частушки. Вот это народная или нашим братом сочинённая: “Подрастает год от году сила молодецкая. По всему земному шару будет власть советская”?

Решили, что всё-таки сочинённая. Про советскую власть в мировом масштабе большевики бредили, а после революции поостыли. Мореман продолжил:

— Но вот эта точно народная: “Спасибо партии родной за любовь и ласку: отобрали выходной, оскорбили Пасху”. Не оскорбили, в подлиннике крепче.

— Да, в народе вспыхивает реакция мгновенная на события. В пятьдесят третьем летом шли с сенокоса, встретился мужчина, говорит: Берию арестовали. Как, что? Не верится. А он говорит: уже вовсю частушка пошла: “Что наделал Берия, вышел из доверия. А товарищ Маленков надавал ему пинков”.

— Ну да, хлёстко. А вот эта почище, на смерть Ворошилова. Полководец дутый, около Сталина и Будённого тёрся, ворошиловский стрелок. Указы расстрельные подписывал на многие тысячи по спискам. Печатают о нём некролог, в народе тут же: “Умер Клим, да и хрен с ним”.

— О народе вспомнили, — ехидно вставил кто-то. — Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?

— Именно так. Но мы-то имеем все шансы вернуться, а в начальстве кто? Не кагал, не клан, а шобла.

— Ну-ну, потише. Пить надо меньше.

— Друзья-товарищи, а что мы Александра Сергеевича, не Пушкина, но тоже великого, Грибоедова, не цитируем? “Петрушка, вечно ты с обновкой, с разорванным локтём”. Видно всё сразу. Потом и сама Лиза: “Лишь я одна любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу?” Именно этого. А Лизу Молчалин лапал. Но ей Петруша милее. “Хоть Ивана вы хитрее, но Иван-то вас честнее”. Опять Конёк-Горбунок вывозит.

За время срока, конечно, невольно многих запомнил: Серёга, критик Веня, другой критик, Петя-пародист, Яша-драмодел, писатель этот мореман, Пётр Николаевич. Ещё автор уголовных историй Елизар. Да Сашок, сантехник.

— А у Шмелёва, — напористо завоевывал внимание Веня, — как это можно его не издавать? Возвращаю к теме цитат из классиков. У него Сидор на водокачке говорит лошади: “Вот так ты походишь, походишь по кругу, а вся тебе награда: пойдёшь на живодёрку. Такая тебе планида судьбы”. Планида судьбы. Умели классики.

— Да и мы умеем! — опять выставлялся коротенький лысый пародист Петя. За ним, кстати, бегали поэты, прося написать на них пародию. Этим тоже достигалась известность. Ещё был в фаворе длинный пародист Иванов, но его в этом заезде не было. Знакомством с ним — вот времена и нравы! — хвалились. А коротенький, в отсутствие конкурента, выставлялся в мужском клубе новыми своими пародиями. На писателей, на, конечно, отсутствующих. Одну я запомнил: “Старый прозаик, по имени Петя, книгами сыпал, в классики метя. Музу ему подложили в кровать. Незачем больше Пете писать”. Но это не о тебе, Петя, адресовался он к писателю, тут же стоящему. Это тот, — он показывал пальцем вверх, намекая на свою смелость. И доказывал её: — Друзья мои, ведь дело наше — швах: долдоним только о деньгах да тиражах.

Прав Петя: и тиражи обсуждали, одинарный или массовый. Первой книге обычно давали тираж тридцать тысяч. За авторский лист — сто пятьдесят рублей. Полуторный тираж — пятьдесят тысяч, здесь авторский лист (двадцать четыре машинописных страницы) — триста рублей; массовый, с двойной оплатой, начинался со ста тысяч, то есть шестьсот рублей за лист. Считайте сами: если книга листов двадцать самое малое, то при массовом тираже автор получает двенадцать тысяч. Если учесть, что машина “Волга” стоила восемь, то жить писателям очень даже можно.

В клубе были популярны пародии Михаила Дудина, например, о Мариэтте Шагинян: “Железная старуха — Маргоша Шагинян, искусственное ухо рабочих и крестьян”. Запомнились ещё шутка: “Мы на переподготовке были после второго курса. Там майор был, вояка, гонял нас. Выстроит, кричит: “Кто из вас за родину воевать будет? Пушкин? Убит! Лермонтов? Убит! Я? Отвоевался”. Ещё внезапно вспыхивал всегдашний спор новаторов и консерваторов.

— Прогресс двигают консерваторы!

— С чего ты вдруг?

— Да потому что достали эти выдрючивания, завихрения, всё же было сто раз: “дыр-бул-щил”, вся эта экзерсистика-маньеристика-верлибристика.

— Чего ты? Если им интересно, пусть.

— Но зачем? Будто солнце иначе встаёт, или деревья вверх корнями растут. От Сотворения мира всё по-прежнему.

— Повыщёлкиваются, повыкобениваются и перестанут.

— Кто и засидится. И жизнь у дураков зря пройдёт.

Но вообще, при всей разноголосице мужской клуб встряхивал, думать заставлял, даже смелеть. Хотя я всегда, это от мамы и отца, считал, что надо говорить правду. Какая же смелость, если ты говоришь правду? Это нормально.

Не критик Веня, а другой критик, а как другого зовут, не помню, неважно, вдруг завладевал вниманием:

— Ремесленники, рабы тщеславия! Слушайте сюда. Литература гибнет — это аксиома, не требующая доказательств. Как её спасти? Я коротко, конспективно, тезисно. По примеру христианской идеологии: человеку мешают три эс: сребролюбие, славолюбие, сластолюбие, а писателям мешают три ПРЕ. Их надо убрать из писательской жизни, эти три ПРЕ. Что такое ПРЕ? ПРЕпятствия. Вот они: ликвидировать ПРЕдисловия, ПРЕзентации, ПРЕмии. Всё! Литература спасена! Предисловие оставить в виде авторского кредо к первой книге, с чем писатель входит в мир словесности, его взгляды на жизнь, его саморекомендация, а презентация — вообще позорное слово, есть же русское — смотрины. Что презентовать, если ещё не прочитано? Пьянка одна. Вонзание штопора в упругость пробки? Премии — вообще гибель. Кому дали, кому не дали, всегда дали не тому. То лизоблюд, то хам, то угодил в тему. Но помощь писателям нужна, особенно старикам

и молодым. Не премия-подачка, а помощь! Нужны писатели — стипендиаты заводов, колхозов, фабрик.

— Ну, ты хватанул! Романтики пера эт сетера, очнуться вам давно пора, — поддел пародист Петя. — У нас, подумай головой, кто в нашем деле рулевой?

Но не вышло у Пети перебить критика

— Именно рулевой, спасибо, подсуфлёрил. Евгений Носов — вот прозаик! Из Курска. И всё был неизвестен. А напечатала у него "Комсомолка" очерк "Жили у бабуси два весёлых гуся", и случайно прочёл лично наш дорогой Леонид Ильич, и похвалил — Боже мой, что началось! Как кинулись шестёрки-журналюги, да и наш цех, литкритиков, прямо скажу, не отставал, целый хор раздался голосов с подголосками: велик и недосягаем курский соловей Евгений Носов! Не прозу его хвалили — очерк! Вдумайтесь в моральный облик тех, кто делает погоду на литрынке.

— У них морали нет! Тем более облика.

— Но что же мы скажем в ответ: таких среди нас здесь нет. — Это, конечно, Петя-пародист. Он знал, что запоминают не первых, не средних, а последних.

Крым не наш

Также проблема Крыма умы задевала. При Хрущёве Крым стал частью Украины. Громогласный мореман очень возмущался. Он говорил:

— С чего вдруг Никита раздобрился? Лёня бы не отдал. Где вы тут радяньску мову слышите? Или суржик, или русский язык. А везде надписи по-украински. Какая зупинка? Чем плохо остановка? И эти женочи та человечи, чохи та панчохи. Одежда — одяг.

— Да им хоть как, лишь бы не по-москальски.

— Это не сейчас началось. Ещё при Алексее Михайловиче такая присказенька была: "Мамо, мамо, бис у хату лизе. — Нехай, дочка. Абы не москаль". То есть пусть хоть нечистая сила, лишь бы не москаль.

Тут и я отметился:

— Служил с украинцами. Парни службистые. Ещё на первом году надо мной посмеялись: "Эх ты, москаль, не можешь слово паляныця сказать!" А я думаю: надо же — всё вятский был, а тут уже москаль, в звании повысили.

— Вообще, у них жена — жинка — это неплохо, — одобрял непременный участник клуба Сергей. — Нежненько. А муж вообще: чоловик! А супруга, знаете, как? Это прямо крепость для мужа: супруга у них — дружина.

— А у нас дубина, — сердито говорил романист детективного жанра Елизар. — Вот моя: делать ей совершенно нечего, как только за мной следить.

Все ему сочувствовали.

Скоро я понял, почему Сергей стал одобрять украинский язык. У него в эти дни происходили два текущих события: одно невесёлое — драматург Яша его общёлкивал на бильярде, денежки вытягивал. А Сергей из самолюбия не хотел сдаваться. Но второе его воодушевляло: приехала сравнительно молодая поэтесса из Москвы. Очень сравнительно. Но москвичка. Бывшая киевлянка. Серёга за ней приударил. Докладывал:

— С квартирой. Дача. Муж в годах.

— Но ты-то тут при чём?

— Разведу. Я чувствую, у неё с ним нелады. Она неглубоко замужем. Какой-то, чувствую, чинуша. Ей понимающий нужен. А это я умею. Он, видимо, дуб-дубарём, она-то вполне. Она, предполагаю, полквартиры отсудит, нам на первое время хватит. Я её третий день окучиваю. Уже на бульваре посидели, она даже мне и спела "Мисяц нызенько, вечир близэнько".

— Надейся, надейся, твоё сердэнько! — не удержался я поддеть. — Чоловиком станешь.

— Не надеюсь, а твёрдо уверен, — отвечал Сергей. — Хохлушки — это не хохлы. Те упёртые, как быки, а хохлушки — это, это... Это вообще что-то такое нечто. Я тебя познакомлю. Она яркая шатенка.

— Рыжая?

— Но не крашеная. Такая и есть. И вот ещё что, только тебе: тебе нравится Ялта?

— Да уж больно она залитературена да закиношена. А так, конечно. Море.

— Море, да. Так вот. Ганна, она сейчас уже Жанна, от Ялты без ума. У неё и с мужем нестроение в этом. Она о доме в Ялте мечтает, а он ни в какую. А я за эту ниточку уцепился. Но тут деньга нужна серьёзная. Не прежнее время. Чехов пишет жене: "Дорогая, боялся, что не на что ехать к морю, но Суворин взял два рассказа, и лето обеспечено". На наши гонорары с рассказа хватит только на раз с парнями посидеть. Да и то не ресторан, а пивная. Да, о Чехове: живёт он в Ялте, ему нравится. Дышит. У него же лёгкие неважные. Но неохота на съёмной жить. Пишет жене: давай свой дом купим. На следующий день в том же письме строчка: купил. В том же письме к вечеру: после обеда я подумал, что купленный дом далековато от моря, и купил ещё один, поближе. А дальше, слушай, дальше следующий день. В том же письме: дорогая, я окончательно решил, что дом надо строить свой. Поэтому сегодня я купил участок земли. Всё это я у Залыгина прочитал, он хорошо о Чехове написал. Где нам такие гонорары взять?

— Премию дадут.

— Дадут. Догонят, да ещё поддадут. Премии, дружок, без нас делят.

Громкая читка близится

Дежурная в корпусе сказала, что меня искали.

— Владимир Фёдорович?

— Нет, от Ионы Марковича.

И в самом деле, вскоре постучался молодой человек, очень приличный, вида референта при большом начальнике. Даже в костюме, даже при галстуке. Представился секретарём Ионы Марковича.

— Вы знаете, что вы приглашены к нему?

— Да, он звал.

— Встречу переносили по не зависящим от него причинам.

— Да, в винные подвалы ходили.

— Встреча, он просил напомнить, будет завтра. В семнадцать ноль-ноль. Ужин будет в номере Ионы Марковича.

Ещё меня навестил Сашок. Он пришёл с бутылкой. Он ко мне и без меня заходил, я номер не закрывал. Часто его сумка с инструментами ночевала у меня. Он пришёл, спросил разрешения присесть. Тем более я и не за столом сидел, а лежал на диване.

— Плесни и мне, — неожиданно даже для себя сказал я. — Три капли. Тши кропли, как говорят паны поляки.

— Ого! — обрадовался Сашок. — "Броня крепка, и танки наши быстры!"

Я переместился к столу, взял стакан:

— "И наши люди мужеством полны..." Саш, скажи честно, только не привирай: ты тогда про Соню выдумал?

— Что именно?

— Что она такая вся из себя: в ресторане с кем-то сидит и так далее? Только не врать! А то очную ставку устрою.

Сашок смущённо хмыкнул, покрутил стакан, раскрутил водку в стакане и заглотил её. Объяснил:

— Так она легче идёт. Эх! Один татарин в два шеренга становись!

— Ты про Соню, про Соню. Закуси.

— Хорошо, признаюсь. Конечно, не такая. Это я тебе как мужик мужику говорю, не такая. Я же тебе уже и говорил: она на все сто. Ни в какие рестораны не ходит. Честно скажу: вначале хотел с ней время провести, думал, всё получится. Здоровается, улыбается. А я тут, в этом доме, на бабьё нагляделся. А-а. Думаю, значит, и мне можно. А Соня такая манкая, заманчивая. Пошутил два-три раза. То, сё. Выбрал момент, кран у них на кухне менял. Она там. Тонко намекаю ей на толстые обстоятельства. Приобнял

так игриво. А она: я тебе сейчас по морде надаю. Да так сказала, я понял: надаёт. Да так взглянула! Ну, брат. И вся любовь. Мне, конечно, обидно стало: за мужика не считает. Вот с обиды тебе и сказал. Ерунду наговорил, никуда она не ходит. А ты чего сидишь, как красная девица, подымай. За тех, кто в горе. — Он, так и не закусив, снова взял бутылку за горло. — А честно сказать, она и права. Мы ведь как о них думаем? Такие и сякие, думаем. Чего не пьёшь? Жена у меня никакая, любви у нас не было. Откуда взяться: по пьянке женили. В постель, как на каторгу, шёл. Так мне и надо. А ты чего спрашиваешь, на Соню запал? Понравилась? Займись.

— У меня жена со мной венчанная. Работать приехал. А работа не идёт.

— Пойдёт, — уверил Сашок. — Сегодня в подвале сочленение в системе отопления менял. Вмёртвую всё заржавело, слезится, подтекает. Надо было шесть огроменных гаек — им лет по пятьдесят, метрическая резьба — свинтить. Думал, не смогу. Полдня корячился. Свинтил. И ты свинтишь.

Он налил было ещё, но, подумав, слил водку обратно.

— Соня. За такую Соню я и помереть был бы рад. Мгновенно бы от всех других отскочил, только бы с ней! Ох, она так на мою маму похожа.

— Ну и объяснись. Так и так скажи: прости, по дурости руки протянул. Да, с ней и речи нет о лёгких отношениях. Только семья!

— По-оздно, — протянул Сашок. — Да и слава обо мне не первого сорта. Иной раз притворюсь, что что-то на кухне или в зале надо, зайду, чтоб только на неё взглянуть. Стыдно же! Она ничего, здоровается. Но как со всеми. Как со всеми, понял?

— Понял. А тебе надо, чтоб именно с тобой?

— Именно!

Что я ему мог посоветовать? Тут к нам забрёл критик Веня. Он тоже со мной особо не церемонился, заходил и раньше. Опекал меня. Взял, то есть, шефство. Учил жить. Говорил обычно: “Старичок, врубись! Идёт борьба! Становись в строй! Нужны активные штыки!” Я протянул ему свой стакан. Он не чинился.

— Завтра к Ионе Марковичу? К небожителям? Я тоже.

— Но ты-то ему нужен: воспоёшь его шедевр. А меня он из-за Тендрякова позвал. Рядом стояли. Мне и идти-то неохота.

— Ну как же, даже из спортивного интереса: такой ареопаг собирается. Секретари СП СССР, сплошь лауреатство. Олимп! Повелители умов!

— Мы идём слушать новое произведение, — объяснил я Саше.

— А которому жена пить не даёт, пойдёт? — спросил Сашок. — Про милицию пишет.

— А, — понял Веня, — уверен, что зван. Знаменитость. У него и фильмы, и однотомники. Это же элементарная литература, детективщина, чтиво. Он на Петровке свой человек. Его снабжают делами из архива. Выбирает, что поинтереснее, и переводит в роман. Фамилии меняет. А как не даёт пить?

— Да он здесь каждую осень, это у нас все знают, — объяснил Сашок. — Если не напишет, пить не получит. Она его запирает и уходит. Он потом отчитывается. Она выдаёт бутылку. Он вроде того, что Ерофей Иванович или Елизар какой. Можно у дежурной посмотреть.

— У меня спросите. Конечно, Елизар Ипполитович. Точно так с выпивкой было у Мамина-Сибиряка, — поделился Веня знанием истории русской литературы. — Читал, Сашка, “Зимовье на Студёной”?

— Ещё в школе.

— Молодец! Не пропал для вечности, — похвалил его Веня. — А ты, — это уже ко мне, — осваиваешься? Наладил связи? Ты издатель, тебе легче. Не ты должен просить кого-то о чём-то, а тебя. Чего ты боком ходишь? Зачем тогда в Дом творчества ездить?

— Веня, я так не умею. Я тут многих вообще не знаю. Только которые мелькают по журналам и книгам, по фотографиям. Да и зачем знать? — рассудил я. — Это как знаменитый Егор Исаев: “Я могу кого-то не знать, но знаю, что меня знают”. А мне ещё легче: и я не знаю, и меня не знают.

— Обожди, пока не забыл, про Елизара, — перебил Веня, — тут уже я, как радетель русской словесности, имею мнение, — Веня снова глотнул. —

Елизар единственно чем молодец, в чём его поддерживаю, я даже с ним вчера тайком от его жены выпил, в чём одобряю: он у детективщиков хлеб отбирает. Несть им числа, заполонили все книжные полки. Прямо братство Лайнеров. Мусор создают, мусор сеют в головах, губят время, понижают вкус. У Елизара, по крайней мере, очистка страны от мусора.

— Милиционеров мусорами называют, — вспомнил Сашок.

— А что Егора вспомнил, — повернулся ко мне Веня, — это точное попадание: Егор — орёл. Он наш человек: за молодых буром прёт. Я его высказывание люблю: "В литературе, милый мой, чем дальше, тем ближе".

— Тогда получается: чем ближе, тем дальше? — спросил Сашок.

— У Твардовского "За далью даль", — напомнил я.

— Конъюнктурная поэма, — сурово отрезал критик Веня.

— А посещение лагерей?

— После двадцатого съезда разрешённая тема.

Веня на всё имел критические замечания. Был в прелестной уверенности, что руководит литпроцессом. "Критики — кнуты для писателя". Я же считал, что писателям не кнуты нужны, а пряники — внимание читателей. Зачем и критики, когда оно есть? А критики только тем и занимаются, что сводят счёты друг с другом. Лучше сказать: враг с врагом.

Опять читку перенесли

Самое смешное, что секретарь южного классика опять постучался. Весь такой чёткий, рафинированный, в моём карцере очень живописно смотрелся. Видимо, его удивляло, как это его всесильный шеф зовёт в высокое собрание человека из номера, в котором одно окно и то крохотное, и то во двор.

— Вынужден огорчить. Иона Маркович извиняется, что переносим. Но мы, простите, не учли, что это будет седьмое ноября. Тогда на восьмое. Пожалуйста, пометьте в календаре.

— Так запомню, — обещал я.

Утром на другой день на берегу, одеваясь после заплыва, Владимир Фёдорович высказался:

— Тянет, важности нагоняет. Чего было тогда не прочесть?

— Владимир Фёдорович, а хорошо бы и вам прочесть хотя бы отрывок.

— Да я-то бы прочёл, да Наташа не разрешит.

— Ничего себе. Почему?

— А где мы приготовим на такую ораву вина и закуски? Это, брат ты мой, южный классик. Они в республиках всё в кулаке держат. Там перед ними ихние Минкульты на цырлах. Он же и депутат, и вообще многочлен. Эту повесть ещё и не видел никто, а я уже знаю, что её напечатают. И там на двух языках, и в Москве в журнале, потом и в "Роман-газете", потом в отдельной книге, потом будет театральная постановка, потом сценарий для фильма и сам фильм. Нам с ними не тягаться. Ты кого-нибудь переводил?

— Бориса Укачина с Алтая.

— Но хоть хороший?

— Очень! — искренне сказал я. — Подстрочник он сам делал. Я начитался их эпосом, чтобы войти в обычаи, в ритмику языка. Это о детстве его. Голод у них какой был. Всё, как у нас. Картошку прошлогоднюю ходили весной, после снега, искать. Оладьи из неё пекли. Взялся я за перевод, честно говоря, из-за денег.

— Ещё бы даром. Но ты же не будешь славить достижения партии и правительства. А то сплошь спекуляции, славословия путям, указанным дорогой партией. А этот Ваня Ваней, а уже своего переводчика и редактора сюда высвистнул. Ну что, побежали!

Семь сорок в честь революции

Накатило седьмое ноября. Годовщина Октябрьской революции.

— Почему не ноябрьской? — вопрошали пытливые умы мужского клуба. — Ведь "вчера было рано, завтра будет поздно" провозглашено по старому

стилю. А старый стиль большевики похерили, должны были и переворот назвать ноябрьским.

— А тебе не всё равно, когда выпить? — поддевали остряки.

— Всё равно, но когда подкладка теории, то оно как-то спокойней.

Никакого торжественного собрания или митинга в Доме творчества не было. Но красные флаги заколыхались и на главном корпусе, и на обеденном. Ходившие в город говорили, что там прошла демонстрация. Мы поняли: услышали пальбу и увидели россыпи салюта на фоне моря.

Сидеть над бумагами бесполезно. Звонил домой. Жаловался, что работа не идёт. Жена задала совершенно логичный вопрос: "А зачем поехал?" Сказала, что звонили из издательства: можно получить деньги за рецензии. Так что хоть это как-то оправдывало моё пребывание. Ведь я написал их в первые три дня, послал. Кажется, как всё это было давно. И этот Дом, и десятки раз топтанная по утрам дорога к морю, и само море. Но море не только не надоело, оно всё время тянуло. От утреннего погружения, каждый раз с невольным содроганием, до вечерней прогулки. На которую старался пойти один. Да, в общем-то, особо никто и не стремился гулять: холодно.

На громкую читку совсем не хотелось. Никакого интереса к знаменитостям я не испытывал. Всегда сторонился знаменитых, а также денежных. Почему, не знаю. Со знаменитостями будешь в их обслуге, с денежными будут думать — пристаёшь из-за денег.

Торжественный ужин начался раньше на час. Потому что приехали заказанные Литфондом артисты и прибыл оркестр.

Ужины здесь и без праздников всегда были приличные, а тут на столы выставлялось такое обилие блюд, что все дивились. И приехавшее начальство, и местное осталось довольно. Меж столов порхали официантки в белых передничках, и гуляла их старшая. Любезно улыбалась. И к нам подошла. Не надо ли что-то ещё? Мы благодарили: спасибо, лучше некуда.

— Наш стол, Соня, конечно, у тебя самый любимый, — сказала Наталия Григорьевна.

— Ещё бы!

Пели и плясали артисты изрядно, а отпев и отплясав, сели угощаться. Их сменил оркестр для танцев, который наяривал зело борзо. Танцевали в просторном вестибюле. Вдоль стен на столах сверкали напитки и пестрели закуски.

Я вжался в простенок меж окон и смотрел. Конечно, не танцевал. Никакого танго, никакого вальса не включали, только быстрые. Но не украинский гопак, не матросское "Яблочко", не лезгинку грузинскую, не молдавский жок, не белорусскую бульбу, даже не фокстрот. Ещё быстрее. Самое медленное — часто тогда звучавшее "Бесаме мучо". Вспомнил знакомую старуху, которая об этом танце говорила: "Бес вас замучит". Да ещё двигались под звуки "Домино". Опять же вспоминал его переделку: "Домино, домино, денег нету, а выпить охота". Тут, в праздник годовщины Октябрьской революции ритмы гремели боевые, победные. Грохотали с лихорадочной скоростью звуки плясок, тряслись под них. "Летку-енку" танцевать вытаскивали всех. Я уцелел. Потом ударили "Эге-гей, хали-гали, эге-гей, самогон. Эге-гей, сами гоним, эге-гей, сами пьём!" То есть это были знаменитые "буги-вуги". И новые ритмы услышал я и увидел, как под них двигаются. Тогда впервые познакомился с классикой еврейских танцев: "Хава нагила" и "Семь-сорок". Это было нечто. Это можно сравнить с ритуальной пляской победителей. Музыка так энергична, ритмична, заразительна, что только заношенные, замученные ходьбой по асфальту ботинки удержали от участия в торжестве празднования Октябрьского переворота. "Хава нагила" в переводе "Давайте радоваться", танец ликования. Это мне драмодел Яша объяснил. И меня пытался в круг поставить. Нет, я бы так не смог. Тут нужна тренировка. Круги были: один, побольше, вращался по часовой стрелке, другой, внутренний, против часовой. И всё время с согласным приплясом в едином ритме.

А уж когда грянул пляс "Семь сорок", тут пошли и пары, и кадрильные кресты из четырёх человек, и отчаянные одиночки. Всё содрогалось и кипело. Не одни же тут были евреи, но плясали все.

Меня увидела Соня. Она и тут столами командовала. Весело спросила:

— А вы что стоите-простаиваете?

— А вы что то же самое?

— Мне нельзя, я на работе.

— Я, как они, не умею.

— Тут и уметь нечего, топчись да дёргайся.

— Честно говоря, я уже уходить собрался.

— Можно, я вас немного провожу?

Мы вышли в прохладу позднего вечера.

— Знаете, почему я напросилась проводить? Мне надо сказать, чтобы вы ничего не подумали. Что тогда с Олей пришла, что навязываюсь?

— С чего это вдруг, что вы?

— Спасибо. А я почему пришла: я вас в первый день, как из отпуска вышла, заметила, я вам говорила, ваше сходство с ним, с парнем, с которым любовь была. В регистратуре у меня знакомые, сказали, что у вас в паспорте Кировская область, это же рядом с моей родиной, Архангельской. И я… — Тут она как-то смущённо засмеялась. — В общем, вы мне понравились. И я, я же дура ещё вдобавок, размечталась: вот я ему понравлюсь, он меня на Север увезёт. И чтобы в открытую, без обмана, пошла к вам с дочкой. Но сразу поняла, как вы про свою дочку сказали, что вы жену любите.

— То есть вы архангелогородская? Я это сразу понял: такая красота только у северянок.

— Да ну вас, не вгоняйте в краску.

— А как вы здесь оказались, это можно спросить?

— А чего нельзя? Крымские у нас шабашничали. Я не из самого Архангельска, рядом. Плотничали. На танцы приходили. И вот нашёлся орёлик, окрутил. Вы поняли? Отец Оли. И увёз сюда. А здесь загулял. Пустой человек. Сразу надо было понять. Да я сорвалась больше из-за отчима, у меня папа рано умер, на зимней ловле сильно простыл, в больницу не захотел. Заработать хотел. О семье думал. А отчим всё же отчим. Я на маму сердилась: папу быстро забыла. А потом сама лямку потянула, её оправдываю: дети же. Ещё после меня двое. Да и отчим стал на меня поглядывать. Ого, думаю. Лучше уехать от греха подальше.

— То есть маму вы не послушались?

— Точно! Она моего Витьку сразу просекла — пустышка. А чем взял? Он среди шабашников всё-таки покультурней был. Но как? Наскрёб хохмочек с "Кабачка тринадцать стульев", на это дурости хватило. Шутил, смешил. Привёз к себе сюда. Весело с ним недолго было. Скоро я сама его выгнала, от них ушла. Хотя свекровь, его мать, рыдала: Соня, спаси Витю! Соня, не уводи Олю! Внучку без ума любит. Приходит к нам. А Витька опять где-то порхает. Привезёт Оле куклу и по бабам. — Она оглянулась на окна, из которых неслись звуки энергичной "Рио-Риты". — Надо идти.

— А как вы в Доме творчества оказались?

— Закончила в Ялте уже кулинарное училище, искала работу. Вот и всё. Меня тянули в рестораны, но это уж нет, спасибо и до свиданья. Пришла сюда, спросила, взяли. Вначале на кухне, потом в простых официантках, потом старшей сделали.

— Мужички говорят комплименты?

— О, этого выше крыши. Это ж писатели! Не подумайте на себя. Но это такие мастера! Стихи дарят. Но я, если что, могу только по-серьёзному. Только так. Конечно, мечтаю о муже. Что в этом плохого? Но чтобы по рукам пойти? Тут только начни. Тут только дай слабинку — сразу вразнос, а у меня дочь. Братика просит. О, если бы уехать на север! Лучше всего! На север! Да? Вы поддерживаете меня?

— Ещё бы! Даже стихи вспомнились: "Мы мчались на север, мы падали вниз, но вверх поднимались по шару земному". Север! Меня привезли в армию в Москву, так тосковал! Стою в карауле, гляжу на Полярную звезду, от неё на восток, на родину. Писал жене, сейчас вспомню: "Жена моя, милый мой друг, что я, какой больной, чтобы ехать на юг, париться в этот зной. Там звёзды низко висят: плюнь на них — зашипят. Север в нашей

судьбе, там звёзд высоких не счесть. Будешь ходить по избе, как самая что ни на есть!" Простенько, конечно, но из сердца.

— Нет-нет. Очень!

— И ещё. Раз одобряете. "Наш северный лотос — кувшинка. Наш виноград — рябина. Наши моря — озёра. Наша пальма — сосна. Сосна — корабельная мачта, с натянутым парусом неба, прочно в земле стоящая, как в палубе корабля".

— Здорово! Да, другим не понять: север! Белые ночи! Боже мой! Северное сияние! — Она оглянулась: — Но мне уже совсем пора. Пойду!

Она пригорюнилась, как-то вопросительно посмотрела:

— А можно вас поцеловать? В щёчку.

— Да я ж такой небритый. Решил бороду отращивать.

— Ещё лучше!

Поцеловала и засмеялась:

— Меня первый раз поцеловали именно в белую ночь. Тоже только в щёчку.

Ещё раз поцеловала и убежала. И вдруг вернулась:

— А есть сменные брюки? Сложите эти в пакет и соберите рубашки тоже. — И опять, ещё с большей скоростью, унеслась. Уже без поцелуя.

Даже и ночью музыка этого вечера билась в памяти слуха, не давая спать. Конечно, наутро было не до работы.

Не выспался потому что.

Итак, громкая читка

Громкая читка у Ионы Марковича состоялась на очень просторной веранде его номера. Совершенно открыточный вид на море, на горы, на небо. Сама веранда представляла как бы уличное кафе: гастрономическое обилие поражало с первого взгляда. Не успели мы отойти от вчерашней, грубо говоря, обжираловки, как на просторах секретарского номера нас ожидало застолье олимпийское. Кресла для сидений на веранде были расставлены в изысканном безпорядке, но каждое имело соседство со столиком. А столики загружены яствами так, что у них подгибались фигурные ножки.

Иона Маркович был весел, благодарил за то, что удостоили посещением, говоря, однако, при этом, что очень волнуется.

— Надо же, — вполголоса насмешливо сказал Владимир Фёдорович, мы сидели рядом, — волноваться умеет. Сколько всего тут, попробуй, покритикуй.

Елизар, любимец Петровки, 38, был уже выпивший. Он рядом с нами сидел с другой стороны и доверился:

— Сегодня я — царь и бог. Ваня молодец, бабьё не позвал. Моя сегодня не посмеет меня тормознуть. Давай дёрнем. Чего ждать? Это ж не банкет, обсуждение.

Столики и сидящих за ними зорко оглядывал редактор Ионы Марковича, уже мне знакомый, следил за сменой опустошаемых ёмкостей, мгновенно заменяя их на полные.

Явились и расселись властители дум, небожители. Пришёл и опоздавший мореман Пётр Николаевич. Увидев такое обилие на столах, такое представительство властителей дум за столами, воскликнул:

— За хлеб, за воду и за свободу спасибо нашему советскому народу.

Сел на свободный стул рядом с критиком Веней, закинул нога на ногу. Веня выложил на стол предметы для раскуривания трубки: кисет, коробок спичек, плоскую загнутую на конце металлическую палочку, начерпал трубкой табаку из кисета и стал утаптывать его этой палочкой. Очень всё значительно проделывал.

Всем нам было очень неплохо. Куда лучше: дышали целебным воздухом, спустившимся с гор и растворённым поднимающимся навстречу воздухом морских просторов, что говорить! А обзоры какие! Смотришь на море — не насмотришься. Прямо жмуришься от его сияния, а всё равно хочется смотреть. Птицы для нас концерт устроили, как бы аккомпанируя человеческим голосам.

Читка началась. Она мне очень напоминала описанное Чеховым в рассказе "Ионыч" такое же чтение написанного матерью героини произведения. Там слышно было, как стучат на кухне ножи, готовится угощение, гости томятся ожиданием. У нас ножи не стучали, угощение давно было привезено и приготовлено, и своё произведение читала не барыня, которая сочиняла от скуки, а настоящий писатель. И, как бы я ни иронизировал, писатель хороший.

"В тот, первый послевоенный год мы жили очень трудно. И родители решили отправить меня в деревню к бабушке и дедушке. Они тоже еле-еле сводили концы с концами. У них оставалось два мешка кукурузных початков, бутыль растительного масла, мешочек изюма, немного сушёного мяса и копчёное сало". В этом месте Владимир Фёдорович пнул меня ногой под столом. Я отлично понял смысл этого пинка. С таким количеством продуктов, которые тут перечислены, по нашим вятским понятиям, можно зимовать.

Слушать было интересно. Городской мальчишка в деревне, познающий труды на земле, впервые встретившийся с лопатой, мотыгой, с кормлением козы и поросёнка, провожавший гусей и уток к пруду и обратно, — всё описано со знанием дела. Иногда и с юмором. Знакомая мне ситуация, когда курице подложили утиные яйца, и она вместе с цыплятами вывела на прогулку утят, и когда они оказались у воды, то утята поплюхались в воду. Бедная мама-курица чуть с куриного ума не сошла. Или как козлёнок наподдал мальчишке под коленки. Как прилетели скворцы. Как с дедушкой ходили в погреб за салом. Это вообще замечательно, когда авторы отдают поклон детству и отрочеству.

Я слушал и всё ожидал, когда же автор будет резать правду-матку о тяжёлой жизни. Может, вот это: приход председателя колхоза, который просил деда выйти на работу, и приезд в село секретаря райкома на общее собрание. На работу дед не смог выйти: болен, занят с внуком, а на собрание пришлось пойти. Пошёл с ним и внук, бабушка осталась готовить ужин. На собрании агитировали подписаться на государственный заём восстановления народного хозяйства. Но так как недавно уже подписывали, как говорится, добровольно-принудительно, то подписка шла со скрипом. Мальчик запомнил, как рассерженный на колхозников секретарь закричал на того, кто отказывался подписаться: "На Гитлера работаешь! — Так он же ж вже не живый", — сказал кто-то. А другой сельчанин выразился покрепче: "Хрен с ём, подпишусь на заём!"

Читку в самом начале её оживил романист Елизар. Он был с писателем на "ты", и по праву дружбы, во-первых, а во-вторых, желая совмещать приятное с желаемым, возгласил:

— Ваня, а вот это всё, что на столах, это только для посмотреть?

Иона Маркович даже привскочил:

— Что вы, что вы, что вы! Григорий Петрович, что такое происходит, ты что стоишь, не угощаешь? Давайте, давайте! За встречу!

— Не волнуйтесь, уважаемый автор, — солидно произнёс большой писательский начальник. — Григорий дело туго знает.

— Извините, спиной сижу, — оправдался, но с какой-то поддёвкой Елизар. — Ну, он сказал: поехали. Чтоб нам всю жизнь работать и ни разу не вспотеть!

— Перерыв на аперитив! — услышалось от дверей. Это Яша-драмодел подал реплику. И он пришёл. Без Серёги.

Как только Елизар дал отмашку, слушать стало легче, слушать стало веселее. Гриша свершал круги по веранде, ловко подливая в бокалы из кувшинов. Владимир Фёдорович, пригубив вино, заметил, что оно очень даже тянет и на "Чёрного доктора". Я же, ничего в винах не понимающий, просто его пил. Очень мне понравились три сорта сыра: мягкий, твёрдый и ноздреватый, домашняя колбаса, тоже нескольких видов, уже упомянутое сало (может, из той же деревни от дедушки) и домашней выпечки пшеничный хлеб, чудом сохранивший благоухающую свежесть, а фруктов было — лучше не перечислять.

Высокое собрание не чинилось. Критик Веня перестал демонстрировать раскуривание трубки, глотанул вина и возгласил: "Вдова Клико"! Елизар

придвинул к себе кувшин и часто заставлял его кланяться своему стакану, но и нашим бокалам его кувшин не забывал отдавать поклон. Один из небожителей вскоре вновь показал Грише пальцем на опустошённый кувшин, на смену которому тут же явился другой, полнёхонький. Пётр Николаевич, попробовав вино, сморщился, подозвал Гришу, чего-то шепнул, и Гриша слетал за бутылкой коньяка.

Чтение продолжилось. Читал автор хорошо, с лёгким акцентом, иногда делая паузу и взглядывая на собравшихся. К вечеру приятно свежело, море приглушило сияние, отдав его небесам, птицы чирикали потише, тоже вслушиваясь в описание нелёгкой жизни. Закончилось чтение часа через два. В финале повести герой её осмеливается заговорить с соседской девочкой, на которую до этого только издали глядел.

— Вань, ты сам-то выпей, — сказал Елизар.

— Да, конечно, — согласился Иона Маркович. И в самом деле, выпил. И обвёл всех вопрошающим взглядом.

Воцарилось молчание. Но очень краткое. И я буду не прав, если скажу, что хвалили повесть из-за того, что автор её так щедро угощал. Нет, повесть очень даже понравилась. Тем более критиковать шероховатости текста казалось не уместно, это же авторский подстрочник.

Но как может не понравиться описание детства? Да у бабушки-дедушки, да в деревне! Повесть напоминала и "Детские годы Багрова-внука" Аксакова, и повесть Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Иларион", а там, где мальчик вытаскивает из речки брошенного кем-то щеночка, мелькнуло в памяти "Детство Тёмы" Гарина-Михайловского. Такие работы — благодарный поклон детству, заре жизни — каждый писатель просто обязан написать.

Но никто, конечно, поперёд батек не совался. Ждали первое слово от писательского начальства. И оно прозвучало от вставшего с фужером минеральной воды в руках:

— Иона Маркович, поздравляю!

Аплодисменты освободили начальника от необходимости словесно обосновать своё поздравление. Дружно заговорили. Гриша вновь совершал круги, теперь уже не с кувшинами, а с микрофоном, как бы собирая дань за угощение. Но не могло же быть только славословие, ведь в повести затронуты и сложные темы, например, непосильное налогообложение, та же подписка на заём, упомянутые вскользь дезертиры. Да и начальник, не мог же он совсем без замечаний обойтись, выразил своё несогласие с одним из эпизодов:

— Мальчик ночью слышит, как бабушка молится. Он слышит, и мне это напоминает "Детство" Максима Горького. Там тоже бабушка молится, тоже своими словами, тут параллель. Но время, описываемое вами, Иона Маркович, другое. Вы освещаете время, в которое исполнилось тридцать лет советской власти. Так что рекомендую над этим эпизодом подумать. Литература идёт вперёд.

Тут Пётр Николаевич встал во весь свой рост и (он тоже был с хозяином на "ты") вопросил:

— А вот мне интересно: бабушка, увидя в окно секретаря, прячет икону. Это я понимаю, и бабушке твоей, икону спасающей, могу салютовать. Не хватает духа открыто сопротивляться, так хоть икону спасти. Конечно, пример внуку подаёт далеко не лучший.

— У нас атеистическое государство, — подал реплику второй начальник, тоже из секретарей правления.

Но не того стал учить. Пётр Николаевич фыркнул на него:

— Вы ещё скажите, что воинствующего атеизма.

— Да, скажу, — упёрся начальник.

— А в окопе под навесным и трехслойным, перекрёстным и миномётным, и под бомбами много атеистов? И Сталин был, по-вашему, глуп, что церкви открывал?

— Тут политика, тут заигрывания с союзниками. Помощь от них по ленд-лизу усилилась. Студебеккеры, не вам говорить, это не наши полуторки.

— Сейчас я не о том, — сурово сказал Петр Николаевич и покосился на Гришу. Тот понял, подскочил и наполнил осиротевший бокал. — Студебеккерами от Бога не откупишься. Хорошо, поговорим потом. Закончу свою мысль.

— Да, конечно, простите, перебил.

— Но бабушка не заменяет икону портретом вождя. Уже спасибо. Пора уже и писать, как бывало у западенцев, про их двухиконность, двухпортретность. "Кум, яка ныне влада?" И портреты на стене и в красном углу, то Ленина, то Петлюры. В зависимости от перемены влады.

— Да нет, друже, нет. Чего нет, того нет, — заверял Иона Маркович.

— Но бывало же?

— То не у нас.

— Добре. То есть "над всей Испанией безоблачное небо"? Поняли? — Он уже ко всем сидящим обращался. — Это сигнал к началу действий, кто не понял, войны в Испании... А теперь транслируем это на СССР. Я спрашиваю: был двадцатый съезд? Был?

— Пётр Николаевич, конечно, был, — урезонил его большой начальник. — Мы повесть обсуждаем, повесть. При чём тут Испания? — Он хотел вернуть застолье в рамки литературного собрания. Но не получилось.

— А раз был, то что мы всё в намёках пребываем? Всё по-прежнему: спасибо партии родной, у нас сегодня выходной. Так? Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это? Хоть за это спасибо. И поэтому всё у нас пойдёт по новой. От одного культа до другого шагаем. То батька усатый, то Никита-кукурузник. Широко шагаем, штаны как бы не порвать. — И Пётр Николаевич, сделав жест рукой, означающий примерно: а что вы мне на это ответите, присел дохлёбывать светло-коричневую жидкость. За его спиной вновь возник Гриша, а в его руках возникла очередная бутылка.

— Силён Пётр, — восхищённо сказал Владимир Фёдорович.

Встал критик Веня. Вновь помахивая трубкой, что выглядело очень солидно, он тезисно изрекал:

— Острые моменты заслушанного текста присущи возрождению советской литературы. Однако застарелые формы руководства литпроцессом, засилие Главлита, несомненно, сковывает инициативу творческой личности. Но это не значит, что этого надо бояться. Я бы посоветовал автору пойти по пути итальянского неореализма. Да, да. Феллини или Антониони, сейчас это неважно, снимая фильм, включал в него заведомо непроходимые эпизоды. Не надо думать, что на Западе свобода волеизъявления. Например, снимает остросоциальную ленту и в самом напряжённом месте включает вид собаки, бегущей по отмели. Опять острый эпизод, опять собака. Комиссия недоумевает: почему собака? Он говорит: я так вижу, для меня это очень важно, и так далее. Потом упирается для виду, потом вырезает собаку, говоря, что наступают на горло его песне, комиссия довольна, и кино идёт к зрителю. Таких "собак" я бы посоветовал разметать по тексту. Вдобавок это было бы и амбивалентностью. Вы, Иона Маркович, несмотря на возраст аксакала, легко владеете тем приёмом современной литературы, который некоторые критики называют постмодернизмом, а я бы назвал новаторством традиции. Да, такой термин возник в моём сознании, когда я слушал ваше чтение. Новаторство традиции! — Довольный собою, Веня чокнулся с мореманом.

— Ваня, — проникновенно сказал размякший от радости отсутствия строгой супруги и от угощения Елизар, — вот что важно, Ваня. Ты Иона, а зовём тебя Ваня. Имя твоё объединяет Советский Союз. Вспомним армейскую песню-марш "У нас в подразделении хороший есть солдат, он о родной Армении рассказывать нам рад. Парень хороший, парень хороший, как тебя зовут? — По-армянски Ованес, а по-русски Ваня". — Дальше в каждом куплете новая национальность. По-молдавски Иванэ, а по-русски Ваня. По-грузински я Вано, по-литовски (эстонски-латышски ещё как-то), но всё равно Ваня. И ты Иона — Иван, и ты нас объединяешь. И повесть твоя стопроцентна.

— Спасибо, спасибо, Елизар, — растроганно говорил Иона Маркович.

— А имя Иван, Иоанн восходит к древнееврейскому, — с гордостью вставил Яша-драматург.

— Без интернационала нам никак нельзя, — сказал довольный начальник.

— Иоанны у них были, но Вани у них всё-таки не было. Я так думаю, — заметил Елизар.

Обсуждение повести, пропитанное застольем, плавно шло к идеальному финалу. Но вновь выступил мореман. Вновь он стоял с бокалом коньяка в левой руке, а правую поднял, будто голосовал или слова просил:

— На эту песню есть пародия: "У нас в подразделении хороший есть солдат, пошёл он в увольнение и пропил автомат". А пародия показывает фальшь того, что пародирует. Какая дружба народов, что людей смешить? — Сделав небольшую паузу и качнувшись на ногах, продолжил: — Внутри одного народа ещё есть какая-то солидарность, своих тянут, а к чужим любовь только у русских. Своих пожирают, других привечают. В Сибири всю нефть, всю нефтянку хохлы захватили. А в Кремле, уж я-то бывал в ЦК на Старой площади, ходил по этажам, читал таблички — сплошь украинизация. Кой-где грузинская фамилия мелькнёт да прибалтийская.

— Нормально, — одобрил Владимир Фёдорович, издали приветствуя оратора приподнятым стаканом. А мне заметил: — Молодец Петька. У него же и "За отвагу", и солдатская "Слава".

— А почему это нам Африка дороже своих областей и волостей? — продолжал Пётр Николаевич. — А? И Раймонда Дьен, которая на рельсах лежит, про неё уже опера, и Патрис Лумумба Африку освобождает, и Манолис Глезос в Греции флаг срывает, и Поль Робсон для всех поёт. Всех мы любим. Этот мальчишка в Италии, Робертино Лоретти, только его и слушали. Своих не было? Он голос потерял, мутация, так у меня внучка чуть с ума не сошла: "Дедушка, дай пять рублей, мы деньги для него собираем". А у него уже бензоколонка. Все нам дороги, все хороши, всех спасаем. Кроме своих, кроме парня Вани, правильно Елизар начал про Ваню говорить. Русский Ваня, который всех их талантливее. Но пропадёт в безвестии, ему не на что выехать из нищей деревни, его из колхоза не выпустят — надо город кормить. У Вани паспорта нет. Это вот сейчас КПСС, а давно ли было ВКП, в скобках бэ. ВКП(б). Как расшифровывали? Второе крепостное право большевиков.

— Есть уже, есть паспорта, — испуганно успокаивал моремана большой начальник.

— Спохватились, — надменно сказал мореман. — Почему парни рвались в армию? Паспорт давали. А на целину? То же самое. Вот об этом кто-нибудь напишет? Или так всё и будем колебаться вместе с линией партии? Одну официальщину гоним. Да все мы, писатели — шестёрки при нынешней власти. А писатель обязан быть в оппозиции! Иначе тишь да гладь, ведущая в болото.

— Пётр Николаевич, успокойтесь, уже всё налажено, — говорил начальник. — Ну что, товарищи, поблагодарим Иону Марковича?

Мы похлопали. Пётр Николаевич, завладев вниманием, упускать его не захотел. И заявил, отпив из бокала и не садясь:

— А Босфор и Дарданеллы надо было брать! Надо было. И мы бы владели миром. Мы же собирались идти "под знаменем вольности" до самого Ла-Манша. Есенина Сергея читали? А Босфор, Дарданеллы совсем рядом. И нас поддержали бы евреи. Ведь мы вернули им государство.

— Да, это так! — воскликнул Яша-драматург. — Да! Это главный итог войны. Две тысячи лет скитаний закончены. Начало всесветного социализма. По Энгельсу, социализм наступает тогда, когда кочевые народы становятся оседлыми. Евреи уже стали. Остались цыгане.

— О евреях можно не заботиться, они сами лучше всех это делают, — это вновь Пётр Николаевич.

— Мы столько перестрадали! — возопил драматург Яша.

— Разве я что говорю, Яша? Яша, я тебя жалею и от погромов укрою. Я о родимой партии. "Ваше поле каменисто, наше каменистее. Ваши девки коммунистки, наши коммунистее!" Вот русский язык, полный неологизмов и потаённого смысла.

— Пётр Николаевич, — разгневался главный начальник, — вы же член партии!

— Я вообще многочлен! — отвечал ему на это Пётр Николаевич. — Я между боями в неё вступал. Партбилет в санчасть принесли. Да, коммунист, не стыжусь! И в глаза всем скажу: не всё в порядке в Датском королевстве! Зажралась партократия! К Брежневу это не относится. Он вояка! Попробуйте на катерке политотдела два-три раза в день под обстрелом залив пересекать. Были в Новороссийске? У него есть биография! Что ему от Никиты досталось? Кукуруза? Униженный Сталинград? Гонения на церковь? Нет, Брежнев — наш человек! И если с Фиделем на охоту съездит, что из того? Я о номенклатуре. Везде же уже по областям, а приедь в любую республику, и по республикам, у партократов поместья, охотничьи домики в два этажа, скоро в три будут. Иди, неси им горе народное. Донесёшь, да не попадёшь. Везде же охрана. Как поётся: "А за городом заборы, за заборами вожди".

— Спасибо, Иона Маркович! — Наши литературные вожди встали и покинули веранду.

— А вот ещё тема: инвалиды! — крикнул им вслед Пётр Николаевич. — Несмываемый позор на всю страну! Как убирали с улиц и площадей инвалидов, калек, слепых, безногих, безруких. Самовары! Прятали. Это что? Это непрощаемо! У меня был друг фронтовой. На протезах. Ему и коляску уже достали. Вдруг его увезли. Куда? Сказали: в дом инвалидов на гособеспечение. А их сваливали в одну кучу на Валааме. Вот где победители. Где друг мой Алёшка? — Пётр Николаевич поднял взгляд к потолку веранды, покрытому вьющейся зеленью. Будто что услышал. — Да! Чего это, кто это с чего взял, что литература идёт вперёд? Вперёд, ребята, сзади немцы — так она идёт.

Владимир Фёдорович подошёл к нему, и они присели за отдельный столик. Я хотел было пойти на свой первый этаж, но был задержан Гришей.

Между тем смеркалось. На юге рано и резко темнеет.

Послесловие к читке

На веранде зажёгся свет. Это Гриша позаботился. Мы подходили к Ионе Марковичу, благодарили. А он не мог понять, за что мы его благодарим, за чтение или за угощение. Но мы дружно уверяли, что и за то, и за другое. Очень довольный Елизар, прихватив в дорогу баклажку, налитую Гришей, обнимал Иону Марковича:

— Ваня! От всего сердца, от души, от всей печёнки, от всей селезёнки! От мочевого пузыря! Да, Ваня, прошиб! Жить захотелось! Гриша! Салют!

Ушёл. Ушёл и Пётр Николаевич. Владимир Фёдорович, проводив его, сказал:

— Ваня, я бы так тебе посоветовал с повестью поступить, да это и всем нам надо. Пусть полежит. Она сейчас горячая, надо остыть. Сейчас всё тебе в ней дорого. Ещё бы — дитя новорождённое. Отойди от неё, займись другим. А потом достань и читай как чужую. И сам увидишь, где убавить, где прибавить.

Виновник торжества выпивал и благодарил.

— Отлично, отлично, — говорил критик Веня. — Как написал Саня Вампилов: "Побольше бы таких собраний", — говорили довольные трудящиеся".

Гриша, видно было, тоже был доволен. Персонально подскочил к Владимиру Фёдоровичу, спрашивая, не нужно ли ещё чего-нибудь.

— Нет, что ты, — мы же не в два пуза едим. Слушай, Гриша, а когда у вас первая зелень?

— Где-то к середине-концу марта.

— Ну что, — спросил я Гришу, — набралось на рецензию?

— Не только. Расшифрую записи, перегоню на машинку, разошлю по адресам для вычитки, для ещё дополнений, будем издавать книгу об Ионе Марковиче, всё вставим. — И предложил: — Может быть, и вы что-то скажете на магнитофон?

— Скажи, скажи, — подбодрил Владимир Фёдорович.

— Включаю.

— Скажу, что такие обращения к детству — это традиция русской, да и вообще мировой, литературы. “История Тома Джонса, найдёныша”, “Дети подземелья” Короленко...

— Традиция, да! — поддержал тут же подскочивший Веня. — Но Иона Маркович её новаторски осовременил. Что я и сказал в выступлении. Новаторство традиции! Есть предложение, нет возражений? Гриша, записывает?

— “Грюндиг”! — похвалился Гриша.

— Отметь особо: это новаторский прорыв старшего поколения, когда реализм изображаемого погружается в подсознание, когда в контексте ощущается мощь подтекста и — внимание — новая реальность современной прозы и критики — веяние надтекста. Понял? — победно спросил он меня.

— Как не понять, я счастлив, что живу с тобой в одно время.

— Именно! За нами будущее. Старшее поколение ощущает накат волны идущей на смену молодёжи и начинает ей подражать.

— Волне или молодёжи? — не утерпел я спросить.

— Будем дружить! — возгласил Веня. — Да, Гриша, не выключай. Три-четыре! В новом произведении звучит такая лирическая ноточка, ниточка такая, которая превращается в лейтмотив звучания, нить эта не нить Ариадны, вошедшая в бытовой фольклор, а блестяще найденная автором путеводная нить высокого искусства... Так, Гриша, я уже мысленно пишу предислуху к твоему сборнику.

Драмодел Яша делился своей проблемой:

— Запиши, Гриша: у нас всё Москва и Москва, везде Москва. Шагу без неё не ступи. С этой московской зависимостью литература и кино в СССР тормозятся.

— Как это? — не выдержал я, в данном случае — представитель московского издательства.

— Но всё же каждую позицию приходится утверждать: в издании книг шагу не ступишь без Комитета по печати, отдела координации, а кино? У меня на студиях страны идут фильмы. И все их — все! — взвизгнул он, — надо визировать в Госкино. А там ещё те зубры сидят. “Почему это у него сразу несколько лент?” Да потому, — пафосно произнёс Яша, — потому, что они нужны, актуальны, сверхархиважны, как сказал бы Ленин, утверждавший, что из всех искусств для нас — писатели, не обижайтесь! — из всех искусств важнейшим является кино. А в Госкино, уж где-где, казалось бы, идёт глушение инициативы снизу. А — уже сразу скажу — театр! Тут вообще беспредел — опять же утверждение, сдача каждой постановки начальству.

— И правильно, — утвердил всезнающий Веня. — Нужна не такая цензура, но нравственная! Издевательство над классикой постоянно. Ни кино, ни театр, ни телеящик без написанного писателем шагу не ступят. Всегда в начале слово, в основе всего. Это даже и в Библии есть, почитайте. Но это слово в театре интерпретируется. Вдумайтесь, какое слово: интерпретация.

— Интертрепация. — Это я вставил.

— Да. — Веня или притворился глухим, или в самом деле не заметил сарказма. — А вот есть явление, появился на Южном Урале драматург Скворцов. Константин. Дивное дело — пишет в традициях и народной, и античной драмы. Его ставят. И люди смотрят. В Челябинске пьеса о златоустинских мастерах “Отечество мы не меняем”. Замечательно! Я видел на декаде культуры. А ставить извращённую классику — дело неумное. Вот Таганка, Любимов, Высоцкий. Вот Пугачёв, Хлопуша, крик, надрыв, где тут Есенин? Тут Любимов. А с другой стороны — Гельман, Мишарин, тринадцатый председатель, проблемы производства в свете морального кодекса. Авторы есть — театра нет.

— А чего ты про Скворцова?

— Его переврать нельзя. Попробуйте Софокла “Антигону” или “Ифигению в Авлиде” прочесть, выдёргивая куски, собьётесь со смысла.

— Наливаю! — воскликнул Гриша.

Мы, немногие оставшиеся, дружно выпили и отвальную, и стремянную, и закурганную. Но одержать победу над винно-коньячными запасами Ионы Марковича и закусками при них мы оказались не в силах.

И, как пишут журналисты о свершениях тружеников народного хозяйства, усталые, но довольные, мы возвращались.

— Давай продышимся, — сказал Владимир Фёдорович. Мы пошли вокруг Дома творчества. — Знаешь, почему у них не будет литературы? Обратил внимание в начале, сколько всего, когда он приехал в деревню, оставалось еды у дедушки и бабушки?

— Ещё бы!

— Вот, ты сразу понял. Я Гришу спросил неспроста. Если появилась после зимы зелень, если до неё дожили, значит, выжили. Пестики, сивериха на ёлках, свечечки на соснах, там дикий лук, кислёнка-щавель — это же всё съедобно, тебе ли объяснять? Они того, что мы испытывали, не испытали. Не пережили. Два мешка кукурузы! Мешок муки! Бутыль масла! Может, они Никите и посоветовали кукурузу сажать. "О, Русь, себя не кукурузь!" Кто это написал, не знаешь? Неплохо, да? "Кукурузу — в Сиракузы, кукуруза — нам обуза". — Мы уже завершали круг. Уже поднялись на крыльцо. Он взялся за дверную ручку. — У нас за четыре мешка сорной пшеницы посадили. Да, подлинный случай. — Он засмеялся вдруг: — Ну, Петя, орёл! Фантомас разбушевался. А ему уже терять нечего. Его и генералитет поэтому не прерывал.

— Почему?

— Ты не знаешь?

— Что именно?

— Рак. Неоперабельный.

— Нет, — растерянно сказал я. — Не знал.

— Да-а. — Он помолчал. — А у тебя как, идёт дело? Только честно.

— Честно: никак.

Мне даже стало легче, что я признался. А куда денешься, он же мне помог приехать в Дом творчества. А творчества никакого. Не оправдал доверия. Жену туфель лишил.

От дальнейшего объяснения меня избавила парочка, выходящая из корпуса на вечерний моцион: Серёга и Ганна-Жанна. Рыже-огненная, она прямо вестибюль осветила. Их пародист Петя прозвал Пара-цвай. Владимир Фёдорович поспешно ушёл. Серёга меня представил.

— Ты с обсуждения? И как там? Всё гениально? — И, не давая ответить, продолжал: — Я тоже хотел пойти, а потом спрашиваю Жанну: тебя позвали? Она: нет. Ну, друзья мои, я не азиат, без дамы не пойду. А идти просить? Ну, такое не для нас, друзья мои. Это не апломб, а, если хотите, этикет. Да, Жанночка? — Жанна неопределённо хмыкнула. — Жанна, ты ему, — это он обо мне, — потом расскажи о том, как всё было с Рубцовым. — И уже для меня добавил: — Жанна с ними была знакома. И с этой, Дербиной, которая задушила, и с Колей. С Колей-то мы корешили, я тебе рассказывал. Так я и с Володей Фирсовым, с Геной Серебряковым, с Володей Цыбиным заединщики, на страже родины. Они не этот Евтух, который всегда на баррикадах. То в одну сторону постреляет, то в другую.

— Ты и *с Пушкиным на дружеской ноге*, — насмешливо сказала Жанна.

То есть использовал меня Серёжа, чтобы перед Жанной-Ганной выхвалиться. Никто его на читку не звал, и с Рубцовым вряд ли он корешил. Сейчас у Рубцова столько друзей развелось. А при жизни часто и переночевать негде было.

В номере меня ждал подарок: на полу спал Сашок. На столе записка, закрывающая налитый до половины стакан: "Употреби".

Надо и мне собираться

Утром записка осталась, но прикрывала она уже не половину, а четверть стакана. То есть, как ни рано я встал, Сашок встал ещё раньше, отхлебнул, опохмелился и двинул на свои труды. Или, скорее, стеснялся за своё вторжение.

И опять мы бежали к морю. Уже сверху рубашек пришлось надеть свитера. На берегу торопились свершить обряд погружения, скорее одеться и обратно. Зрителей не наблюдалось. Быстро одевались.

— "Борода моя, бородка, до чего ты довела, — шутил Владимир Фёдорович о моей небритости, — говорили раньше: щётка, говорят теперь: метла". Правильно делаешь, от неё теплее. Скоро зима. А летом прохладнее.

— Дедушки же с бородами были. Потом на время прервалось, отец брился. А мне надо семейную традицию возрождать. Да и говорят же: мужчина без бороды всё равно, что женщина с бородой. Или ещё: поцелуй без бороды, что яйцо без соли.

— Без карломарксовой? — засмеялся Владимир Фёдорович. — У ленинской бородки всех бы женщин увёл. — И обратился к прибою: — Эх море-морюшко: завтра у меня последний разочек. — Раньше тебя приехали, раньше уедем. Без меня побежишь?

— Но, когда меня не было, вы же бегали сюда?

— А как же. Но с тобой повеселее. Побежишь в одиночку?

— Как прикажете.

— Беги! И за меня тоже искупнись.

Назавтра мы его провожали. Вывалил весь корпус. Соизволило и начальство. Пётр Николаевич вышел, Веня отметился, конечно, Серёга и Жанна, пара-цвай, вышли на крыльцо. С ними уже часто и драматург Яша гулял, крутился тут же. Владимир Фёдорович отвёл меня в сторону.

— Всё-таки я доцарапал повесть. Назвал "Ночь после выпуска", нормально? Выкинули молодняк в жизнь, а жизни не научили. Хотел вам с Наташей вслух прочитать, не получилось. Теперь, без паузы, сажусь за следующую. "Четыре мешка сорной пшеницы" назову. Нормально? Не переживай, что мало сделал.

— Да вроде уже пошло, — доложил я.

— Никуда оно не денется, — подбодрил наставник. — Ты тут, по крайней мере, увидел цеховое содружество. Увидел? Понял, что его нет? И не надо. Каждый за себя, а все вместе — за литературу.

— А литература за народ?

— Хорошо бы! Да, видишь, пока не получается. А как получится, если за поэзию считают рифмованную борьбу за мир да всякие параболы, а за прозу — разоблачение культа личности. Смелые! Оказывается, сказать элементарную правду — это смелость.

Наталии Григорьевне принесли цветы.

Подошла литфондовская машина. Они погрузились и уехали. И мне очень захотелось уехать. Прямо сейчас: опустел для меня Дом творчества, осиротела тропа к морю. Но подошёл, взял под руку меня Пётр Николаевич:

— Мне Володя велел тебя опекать. Пойдём выпьем.

— А можно нет? Но я могу рядом постоять.

— На нет и суда нет. Можно. Проверку на вшивость ты прошёл. Иди, садись, трудись. Ничего нам, брат ты мой, не остаётся. Давай пройдёмся. Я ведь нынче последний раз приехал, прощаться приехал. С Ялтой. Мы каждый год приезжали с Настей, а нынче, братишечка, я впервые один. И везде хожу, и везде слёзы лью. Тут были с Настей, тут посидели, тут я её огорчил, эту лавочку она любила, вязала тут мне каждую осень носки шерстяные, вот я и хожу от её заботы, хотя ноги стреляные. Везде Настя. На меня, как её похоронил, ещё на поминках нашествие началось. Много же вдов, знакомых её много, все по новой стали невесты. "Мы будем приходить, составим график", — это подруги её. А одну, ещё совсем удалая, особенно нахваливают. Ну, уж нет, они все вместе взятые мизинца её не стоят. Вот, — он достал из нагрудного кармана фотографию. — А глаза, видишь, какие глаза: чувствовала. Эх, милая! Как бы я тебе после этого отчитался при встрече? Что на твою кухню другую допустил? Чтоб мне рубахи не ты стирала? — Он убрал фотографию. — Мне бы тяжелей было, если б я первый отстрелялся, её опечалил. А так всё по-Божески.

Мы прошли по аллее до конца, вернулись. Ещё раз прошли.

— Так и мы гуляли. "Петя, — она говорит, — какой воздух". Вот и я приехал в память о ней подышать. Да перед смертью не надышишься.

Мы присели на “Настину скамью”.

— Русские у нас везде ущемлены, — сказал он. — Шолохов Брежневу написал о засилии космополитов в кино и литературе, о псевдонимистах, от фамилий отцов ради выгоды отказавшихся. Об издевательстве в кино над русской историей. И что? И тот умудрился написать резолюцию: “Разъясните товарищу Шолохову, что в СССР нет опасности для русского искусства”. Хвалю Брежнева: Лёня-Лёня, а в главном он оказался близоруким. Что удивляться: всегда в России царь-батюшка хорош, бояре плохи. И пошли тут всякие Солженицыны, сам-то он очень Никите угодил, тот Сталину мстил, да расплодились рифмачи, которым кому ни служить, лишь бы честь и поклонение да валюта. Давно ли прошло столетие Ленина, уж сколько на эту тему было анекдотов. И никакого ему в них народного почтения. Выпустили юбилейный рубль-монету, тут же: “Скинемся по лысому?” Или: алкаш достаёт монету, Ильичу говорит: “У меня не мавзолей, не залежишься”. А наши строчкогоны везде наварят. У Вознесенского такой прямо надрыв: ах, “уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамён”. А про школу Лонжюмо, где готовили террористов, учили убивать, сочинил полную дикость: что русская эмиграция — это Россия, а в самой России среди “великодержавных харь проезжает глава эмиграции — царь”. А дальше слушай: “России сердце само билось в городе с дальним именем — Лонжюмо”. Вообще — полный кощунник: “Чайка — плавки Бога”. Это уже такая мерзость. Рождественский шаги к мавзолею считал, тоже на поэму насчитал. Коротич, и этот поэму настрогал про дополнительный том собрания сочинений. Срам! Сулейменов тоже отметился, но он Ленина сделал тюрком, своим угодил. Все на премии рассчитывали. Иначе-то бы чего ради надрывались? И выскребли. Могут. Евтушенко вообще без передышки молотил всякие “Братские ГЭС”, где египетская пирамида говорит с плотиной электростанции, да “Казанский университет”, где Володя Ульянов занятия срывал. Противно всё это. А они в фаворе. А молодежь смотрит: вот на кого надо равняться, вот они где, успешные. А это всё ширпотреб. Есть же Горбовский, Костров, Куняев, Передреев, Старшинов, Кузнецов. Лёша Решетов в Перми. Поэты! И поэты в прозе сильные: Юра Казаков, Юра Куранов, Женя Носов, два Виктора: Лихоносов, Потанин.

Пётр Николаевич опёрся о скамью и встал:

— Вишь, какую тебе лекцию закатил. Люблю поэзию. Сам в молодости грешил. Но понял, что пишу хуже классиков. Хватило ума. — Мы как-то невольно вновь пошли по кругу. — Послушали мы национального классика, а мы кто? Мы, русские? Мы национальные или нет? Нет, мы — советские. Вот Иона, уже у него и подстрочник готов. То есть у него в республике выйдет повесть на их языке и на русском языке. И напишут сценарий, и кино снимут, и сделают театральную постановку. И Москва его издаст, и книгой, и в журнале. И в “Роман-газете”. И за всё заплатят ему по высшей шкале. Разве так есть у русских? Этот главный наш, ему я на читке не угодил, меня потом успокаивал: нужен класс богатых, они будут меценатами, покровителями. Новые Морозовы и Саввы Мамонтовы нужны. Богатые богатеют за счёт роста бедности. — Он остановился. — Всё, хватит. Заболтал я тебя.

К любимой сосне

Очень тяжело было пожимать его руку. Но он так бодро и сильно стиснул мою ладонь, так крепко хлопнул по плечу, что я постарался не унывать. Договорились, что сядем на обеде за одним столом. То есть он сядет на место Владимира Фёдоровича.

Я пошёл в номер, но понял, что, хотя наконец-то моя работа пошла-поехала, сразу сейчас, после их отъезда и разговора с Петром Николаевичем, сесть за неё не смогу.

И пошагал я в гору к своей любимой сосне.

И пришагал.

И закарабкался повыше. Утвердился в развилке сучьев, как в кресле, расселся в нём и озирал свои владения, как полновластный хозяин. Вот там

были в винных подвалах, там сидели, пили “марганцовку”, там, за зеленью прибрежного парка, берег, на который прибегали каждое утро. Там кафе “Ореанда”, там причал, туда дом Чехова, а туда — я обратил взгляд на горы — к северу, семья моя, Москва, а восточнее родина — Вятка. Только её воздухом можно надышаться. Хотя и в Ялте он неплох.

Так бы и уснул в этом кресле-качалке, да ведь не обезьяна, свалиться можно.

На обеде ко мне подсадили не только Петра Николаевича, но и Серёгу с Жанной. Об этом просила меня Соня. Пожурила, что не принёс ей вещи для стирки. Мы говорили легко, как брат и сестра. Заметила, что я сейчас гораздо лучше выгляжу, чем при заезде. Сказала, что сейчас у неё на работе Оля и что Оля сделала для меня маленький подарочек. Я проводил её к её столу.

— Соня, извините меня, я слово одно замолвлю за Сашу. Я к нему пригляделся, он очень порядочный. Мелочи не в счёт. Буду говорить напрямик. Он вас любит. Да-да, не перебивайте. Знаю, что вам вернуться на север одной, с дочерью, трудно. А с хорошим мужем очень даже прилично.

Соня смущенно засмеялась:

— Ничего себе, поворотик сюжета. Я и не говорю, что Саша плохой. Тут его избаловали.

— Соня, он может быть верным. Если мужчину любят искренне, он на сторону не пойдёт.

Олечка подбежала и не дала закончить разговор. Я только и успел сказать:

— Олечка вся в него.

Соня даже вспыхнула. Оля мне подарила шишку, превращённую в симпатичного ёжика. Сказала, чтобы я отвёз его своей Катечке.

Но самое-самое главное: работа моя понеслась, вот что! Это было так освежающе и так успокоилась душа, что я писал с огромной скоростью, только и боясь, чтоб что-то не помешало. Бежал на завтрак-обед-ужин пораньше, быстро поглощал еду, не понимая, что ем, быстро убегал, обегая стороной мужской клуб. Даже раз столкнулся с Соней и не сразу узнал: был занят мыслями о работе. Да, дождался, заработал счастье работы страданиями. И тут скажи мне даже, что меня зовёт к себе в шатёр Шамаханская царица, я бы и от царицы отмахнулся. Ни одной странички ни на какую царицу не променяю.

Да, но времени уже не оставалось. Прибежал в одиночестве утром к морю — холодища! Неспокойно синее море. Окунулся за себя, проплыл. Выскочил. Но надо же и за учителя. А за него побольше надо. Заплыл, выплыл, трясусь. Простыл.

И резко затемпературил. В последнее утро прощального погружения исполнить не смог. На завтрак не пошёл. Конечно, сразу пришла Соня, потом медсестра, врач. Оставляли, продляли срок, но я не поддался на уговоры.

И назавтра уехал в Симферополь. А там на поезд. Билет на это число у меня был куплен заранее.

ЕВГЕНИЙ САЛОВ

КРИК НАД ЧЕРНОБЫЛЕМ

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Качает Днепр славянства колыбель,
Не ведает чернобыльской печали,
И только одинокий коростель
Тоску наводит тёмными ночами.

Как птица-див неведомой дали,
Полесских Дельф волхвующий оракул
Восходит плачем вещим от земли,
Тревожа трав некошеных каракуль.

И слышит Днепр, да слишком далека
Пора беды, что в долгом предсказанье,
Пока ещё славянская река
Не смешана с горючими слезами.

Ещё пылает ласково заря
И не скрипят кибитки печенегов,
И Византийские моря
Не рассекла ещё ладья Олега.

САЛОВ Евгений Иванович родился в 1948 году в Азербайджане. Окончил исторический факультет Ростовского госуниверситета, факультет журналистики МГУ, Российскую академию госслужбы при Президенте РФ. Председатель Парламента Республики Адыгея, член Совета Федерации ФСР. В 1986 году, будучи офицером Управления полка ГО, участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Публиковался в журналах “Советский воин”, “Беларусь”, “Неман”, “Кубань”, “Литературная Адыгея” и др. Автор многих книг прозы, поэзии и публицистики. Член Союза писателей России. Живёт в Майкопе.

Всё впереди — высокая судьба,
И свет её, и тьма жестокой боли,
Земли родной израненной мольба,
Лишь плачет див, но молчаливо поле.

Качает Днепр славянства колыбель,
Струится синевою от истока,
Провидцем боли стонет коростель,
И плач его разносится далёко.

ТРЕВОГА

За спиною такой Рубикон,
В сне тяжёлом — и то не могло быть,
Но вошло в мировой лексикон
Обжигающе слово «Чернобыль».

Не судьбы, а истории знак,
Наша совесть сегодня проснулась,
Что-то в мире, наверно, не так,
Если сила бедой обернулась.

Что там в мире?.. Вокруг тишина,
А спокойствия нет и в помине,
Долгим плачем дождит вышина,
И огонь полыхает в рябине.

В ЛАГЕРЕ

Прошёл вертолёт на АЭС,
И снова над лагерем тихо.
Опаловым кажется лес,
Оранжевою — облепиха.

Палаток линялый брезент
Слегка шевельнулся хотя бы...
Не дрогнет натянутый тент
Над картой начальника штаба.

В дежурке молчит телефон,
Но точно известно кому-то:
Опять повышается фон,
И нам до тревоги — минута.

ЯБЛОНЯ

Посёлок за речкою вымер,
Поникли сады над скалой,
Тревожно сигналит дозиметр,
И стрелка легла за шкалой.
А там, за штакетным забором,
Где выпал Чернобыля яд,
На ветках, как пламя раздора,
Три яблока спелых горят.
Как звёзды в холодном тумане,
С боками в багряном огне —
И древом беды и познанья
Их яблоня кажется мне.

ВЗГЛЯД С ВЕРТОЛЁТА

Памяти вертолётчиков, до конца исполнивших свой долг в небе над аварийным реактором Чернобыльской АЭС

Что ты смотришь, Берёза? Беги!
Не качай золотой головою,
Я снижаю над полем круги,
Весь охвачен бедой огневою.

Но от боли кричать не могу,
Онемел я от силы вращенья.
Силуэты коней на лугу —
Как надежда на возвращенье.

Но возврата подбитому нет,
Тесно стало в небесных высотах,
Тает зыбко закрученный след,
Захлебнулся мотор в оборотах.

Я снижаю над полем круги,
Но мне надобно выше и выше...
— Золотая Берёза, беги! —
Я свой крик над Чернобылем слышу.

АТОМНЫЙ СПЕЦНАЗ

Сентябрьский день по-волчьи тих и сер.
В лесах — ручьёв обрезанные стропы.
Мы — атомный спецназ СССР,
Собой прикрывший чуть не пол-Европы.

Оплачут нас полесские дожди,
Отголосит журавья в небе стая,
А то, что войско предали вожди,
Потом узнает Родина святая.

Событий этих логика проста:
Генсек лежит с женой на крымском пляже,
И только мы, апостолы Христа,
Идём на смерть в зелёном камуфляже.

Никто не выдаст краповый берет.
В аду ликует атомная сводня...
Но с профилем знакомым партбилет
Туда нам станет пропуском сегодня.

ДЕРЕВНЯ БОБЁР

Жила-была деревня,
Но с некоторых пор
Лишь травы да деревья
Хранят Бобёр.
И, мимо проезжая,
Услышишь тишь.
Кружит воро́нья стая.
Бурьян — до крыш.

Уже не видно окон —
Кипрей да лебеда...
Вокруг деревни кокон
Свила беда.
Расчёт прошёл над кручей,
И берег здесь
Он пряжею колючей
Опутал весь.
Молчит в печали веска* —
Попала в плен,
И белая извёстка
Сошла со стен.
В очах криницы древней
Забвенья пыль.
И снится той деревне
Иная быль.

ЧЁРНЫЕ ЛИСТЬЯ

Трепет берёзовой ветки,
Взгляд голубого цветка,
Над маскировочной сеткой
Низко идут облака.

Падают чёрные листья
Сброшенных ветром грачей,
Рдеют в рябинниках кисти —
От излученья лучей.

Падает сердце, как в пропасть,
Так, что заходится дух.
Рвётся за лопастью лопасть —
Ёжатся речка и луг.

Под стрекозой из дюраля —
Брошенный кем-то покос,
Боль затаившие дали
Сосен и белых берёз...

Падает сердце, как в пропасть,
И обрывается дух,
Гонит за лопастью лопасть
Рубящий яростно круг.

Лопасти — времени спицы
В быстром его колесе,
Падают чёрные птицы,
Луг в ядовитой росе...

ПАРУС

Ветер запах полыни принёс
И пропал в синеве бесконечной,
Но осталось мне пламя берёз
Над полесскою речкой Словечной.

А за нею — окружья полей
И сухие былинки над ними,

* Веска – деревня (*белорус.*).

Да ещё — как зовёт журавлей
Полещанки славянское имя.

И с тех пор нам с тобой не забыть
Жёсткий обруч Чернобыльской зоны,
Спецраствором обмытый гранит,
Хватку мёртвую комбинезона.

Для чего наша встреча была —
Мы не ведаем оба с тобою,
Журавлиные плещут крыла
Далеко, над морскою волною.

Здесь же полный тревоги простор,
Но мне кажется, над облаками
Голубою надеждой простёрт
Парус, сшитый твоими руками.

СЛАВЯНСКИЙ ВОПРОС

Рок погубил или пьянство
Гуннов былой контингент?
Но островами славянства
Взорванный стал континент.
Общей планидою жили,
Вырвались вместе из тьмы,
Вдруг среди братьев чужие
Русоголовые мы.
Голос не слышит любови
В скрежете адовых врат
Вечные братья по крови
Русский, и серб, и хорват.
В реках сестры Беларуси —
Ядерный отблеск руды,
Над Украиной и Русью —
Тень югославской беды.

ЗРАДА*

Над яром древним лютый воет волк,
И кровь реки течёт огнём багряным.
Как тать в нощи, крадётся Святополк —
Руси моей изменник окаянный.
Гримасой спесь перекосила рот —
Страданья вождь людей не розумие**,
И натрое расколотый народ
Вдруг позабыл, что он един, — от Кия.
Что он един, как Русская Земля
Во времена святого Мономаха,
Когда родные небо и поля
Не ведали отравы лжи и страха.
Да будет вечно проклят Святополк,
Да возродится мудрость Ярослава!
Над яром древним лютый воет волк,
И в Днепр глядит заката зрак кровавый.

---

* Зрада – измена, предательство (*украинск.*).
** Розумие – понимает (*украинск.*).

СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ

СТРАНУ МОЮ ВЕРНИТЕ!..

* * *

Допустим, детство кончено, но как?
Проходит судорогой через чресла,
ОРВИ, перенесённым на ногах.
В какую ночь Москва моя исчезла?
Там целый город был — красив, пригож.
Зачем в него уродцев напихали?
Был чебурек вокзальный, стал — бриошь...
Куда ни плюнь, элитные пекарни.

На каждой пяди центровой земли —
Круженье стад, от мала до велика,
Богатый рай воры здесь развели —
Куда ни глянь, сплошной дизайн и плитка.
И не вернёшь былого, фига с два,
Ни к тем конторам пыльным, ни к лабазам.
А где ж она, та самая Москва?
На Ново-Щербинском и на Хованском.

И сострадание не чуждо ей,
Когда на вопль дизайна: "Це Европа!" —
Она покорно шепчет: "Что ж, добей,
Стерилизуй от всякого микроба".

АРУТЮНОВ Сергей Сергеевич родился в Красноярске в 1972 году. Поэт, публицист, руководитель семинара поэзии в Литературном институте им. А. М. Горького, автор нескольких поэтических сборников. Живёт в Москве.

...Не надо ваших мне “айси”, “ветцрайт”,
Баллончиковых красок по финифти.
Верните мне мой брежневский асфальт,
Родителей, страну мою верните!

* * *

Запомнившийся только сил растратой,
Под низкий вой сирен и диксиленд
Уходит год, болезненный и странный,
Как, может, предыдущих десять лет.

Каких тебе ещё смертей, закланий,
Могильных списков через интервал,
Когда и так всего в тебе скандальней
Сердца, что ты тревогой надорвал?

Ощеривай же, зверь, свой лик свирепый,
Стенаний сонмы сумраком удвой,
Пока душа убитой цесаревной
Не выскользнет из щели гробовой.

* * *

Игорю Черкесову
на предстоящие холода 2020-го

Уж сколько лет прошло, а в памяти —
Разрозненные голоса.
То смена флагов на парламенте,
То рубленая колбаса.
Чего хотеть от философии —
Той веры, что без дел мертва?
Иль чтоб меня в ней обусловили,
Прописанного лишь едва?

...Как страх не сбыться эта оттепель,
Щедра на дрожь, на стыд щедра,
Припоминая столько фортелей,
За сколькие не прощена.

Там всё в снегу. По грудь, не менее,
Стволы её заметены,
И в чем оно, моё имение,
Чьи окна навсегда темны?
Там снег везде. Там пустошь дикая,
И в час, когда Угодник добр,
Часы встают, капелью тикая,
И ветры свищут, как во двор.

* * *

Что смолкла? Глядишь диковато,
Какая-то нервность в плечах...
Давай же уедем куда-то,
Оставим и дом, и очаг,

Увидим разросшийся город,
Предместья его и сады,
Которые скоро прихлопнут
За-ради святой простоты.

О, как обветшало строенье,
Как окна его заросли,
Но пуще его и страннее —
Поля, где пройти не рискни.

Проедет мопед, керосиня,
Означив собой болтуна...
Так что же такое Россия,
Земля или небо она?

Молчишь, и лицо твоё бледно,
Но всё же ответить сумей:
Куда в это вечное лето
Бежать нам от скорби своей?..

* * *

Кончай ты с прибором писчим,
Достал со своим нытьём.
Как Родину ищем-ищем,
Никак её не найдём.
И где это всё, скажи хоть
Примерно иль отчекань —
Страна, что привыкла шикать,
Совдепия, отчий край?

В потоке подобны щепкам,
Несёмся, как ни пришей,
К пределам её священным
Незыблемых рубежей.
Но — было. Признай, чего там!
Колонка. И боль глотка,
И плывшие вдоль по водам
Ромашковые луга.

И если сказать по теме,
С отчаянной глубиной,
Теперь, в затяжном паденье,
Мы веруем в край иной,
Где грабить они отвыкнут,
А прочих немой инстинкт
Попросит скорей на выход
И вслед их перекрестит.

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ГЕОЛОГ

(фрагмент из книги "Летопись камня")

Геология учит нас заглядывать вглубь времён и помогает объяснить изменения земной поверхности теми процессами, которые совершаются на наших глазах...
Геология учит смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю её развития. Она помогает также искать и находить разные руды, уголь, нефть, соль и другие полезные ископаемые, необходимые человеку. Без знания геологии нельзя оценить качество и количество найденного полезного ископаемого и определить условия его добычи. Следовательно, геология имеет не только общеобразовательное значение, увеличивая наш кругозор, но и огромное практическое значение.

Академик В. А. Обручев

Неоценим вклад геологов в развитие производительных сил нашей Родины, но ни в прошлом, ни в наше время не существовало и не существует системы особого отношения к этой профессии и к этой категории людей.

В геологии работают обычные люди, их не готовят специально для работы в экстремальных условиях, полевиков не оснащают специальными средствами жизнеобеспечения и выживания - при том, что эта работа не менее сложна, ответственна и опасна, чем работа спасателя или испытателя, и в этом тоже заключается особенность этой профессии.

И всё-таки геологи не совсем обычные люди, наверное, потому, что нельзя быть обычным человеком, работая со стихией, которой является геологическая среда. Коммуникабельность, терпимость, упорство, честность и открытость, высокий профессионализм, преданность своему делу до самопожертвования и жажда открытий – это всё те свойства, которые необходимы для работы в полевых условиях. Я бы сказал даже так: это те черты, которые свойственны людям, объединённым геологической профессией. Вот лишь два примера реальной жизни людей, подтверждающих это представление.

Владимир Афанасьевич Обручев – геолог, географ, путешественник, писатель, академик, родился в 1863 году в семье потомственных военных.

Упрямство Обручева быть никем иным, как геологом, вызвало удивление у ректората Петербургского горного института, где он проходил обучение. Геология и в те времена не представлялась перспективной областью, а образо-

ванный в 1882 году Геологический комитет состоял всего из семи штатных геологов. Владимир Обручев твёрдо решает променять тишь заводской конторы и уют благоустроенной квартиры на пыльную одежду, грязь, бездорожье и романтику путешествий.

Обручев совершил три путешествия в Закаспийскую область Российской империи: первое – осенью 1886 года, то есть сразу же по окончании Петербургского Горного института, второе – осенью 1887 года и третье – весной 1888 года. Он несколько раз пересёк пустыню Каракумы и впервые установил, что пески Каракумов – это не осадки моря, как думали до того времени, а отложения реки Амударья, переотложенные ветром. Результаты его наблюдений изложены в четырёх статьях и в обобщающем труде "Закаспийская низменность", подводящем итоги всех проведённых исследований.

Весной 1888 года В. А. Обручев ещё заканчивал свои исследования в закаспийских пустынях, а уже 12 сентября он вместе с женой и грудным ребёнком выезжает в Иркутск, приняв предложение Геологического комитета занять место единственного штатного геолога в Иркутском горном управлении, учрежденном в 1888 году для надзора за горной промышленностью Восточной Сибири. В ведении этого управления находилось шесть обширных горных округов, не менее трети территории Сибири. Эта огромная область была почти не исследована, и для Обручева открывалось широкое поле деятельности. Путь до Иркутска занял несколько недель, Транссибирской железной дороги в то время ещё не было.

В сентябре 1892 года по рекомендации И. В. Мушкетова и П. П. Семёнова-Тян-Шанского Обручев был приглашён Русским географическим обществом принять участие в качестве геолога в экспедиции в Центральную Азию, возглавляемой Г. Н. Потаниным.

Экспедиция оказалась для её руководителя печальной: он потерял жену на берегах реки Янцзы и, убитый горем, уехал из Китая на Родину. Владимир Афанасьевич же ещё долгие месяцы продолжал свой путь по Центральной Азии. Там, где в своё время Пржевальский шёл с отрядом вооружённых казаков, Владимир Афанасьевич передвигался с 2–5 караванщиками: обычно одна лошадь под всадником, иногда один ослик и несколько верблюдов под вьюками, а большей частью – пешком. И так было пройдено около 14 тысяч км, из них около 6 тысяч км он прошёл по местам, ещё нехоженным европейскими путешественниками. Почти на всём пути он вёл маршрутную геологическую съёмку (9430 км) или вносил исправления в существующие карты (1852 км), ведя одновременно с геологическими наблюдениями и метеорологические записи. Всю эту работу В. А. Обручев проделал один, без помощников. Он так писал об этой экспедиции: "Это было трудное путешествие. Летом нас донимала жара, зимой – морозы. В пустыне мы пили скверную воду. Однообразно, а иногда скупо питались. На грязных, тесных китайских постоялых дворах не удавалось отдохнуть.

Пожалуй, больше всего я страдал от своего одиночества, ведь вокруг меня не было ни одного русского человека. Долгие месяцы я был оторван от родины, редко мог получать даже известия от своей семьи. Иногда бывало очень тяжело физически и тревожно. Только горячий интерес к работе, страсть исследователя помогли мне преодолеть все лишения и трудности".

Рассказ Владимира Афанасьевича лишь в слабой степени отражает перенесённые им испытания. Видимо, учёный отличался в те годы железным здоровьем. Только предельная выносливость позволила ему несколько раз пересекать труднодоступные горные хребты и совершать по монгольской части пустыни Гоби переходы, от которых порою отказывались коренные жители.

Закончив в октябре 1894 года Центральноазиатскую экспедицию, Обручев уже весной 1895-го возобновил свою работу в Иркутском горном управлении. В этот период времени Геологический комитет проводил геологические исследования вдоль трассы строящейся Сибирской железнодорожной магистрали в Уссурийском крае, в Западной и Средней Сибири. По приглашению комитета Обручев В.А. в 1895–1898 годах в качестве начальника Забайкальской горной партии руководил исследованиями в южной части Забайкалья по его границе с Амурской областью и лично вёл изучение Селенгинской Даурии.

В 1900 году в Томске был учреждён Технологический институт. И. В. Мушкетов рекомендовал В. А. Обручева в качестве профессора геологии и декана горного отделения этого института. Этот период пребывания

Обручева в Сибири (1901–1912) отмечен большой организационной и педагогической работой в Томском технологическом институте, созданием сибирской школы геологов.

"Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает этого имени", – писал Гёте. В. А. Обручев учил примером, работой – это лучший метод воспитания. Много проработав на полевых изысканиях, он знал, что существовавшие в то время программы на горных отделениях дают студентам недостаточно знаний в области предстоящих им работ в поле. Впервые в истории русской высшей школы профессор В. А. Обручев ввёл на горном отделении Томского технологического института, разработал и начал читать курс полевой геологии. Вскоре он издал лекции по этому предмету. По учебнику "Полевая геология" В. А. Обручева обучались многие поколения отечественных геологов.

Он консультировал Российское Золотопромышленное общество и по его поручению производил экспертизы как в Западной Сибири, так и в районах своих прежних полевых исследований в Восточном Забайкалье. За годы пребывания в Томске Обручев обследовал богатый золотом Калбинский хребет, отделённый Иртышом от Алтая. Он побывал на золотых рудниках Кузнецкого Алатау – горной стране между Кузнецкой и Минусинской котловинами.

На средства Технологического института в летние каникулы 1905-го, 1906-го и 1909 годов сумел осуществить вторую большую экспедицию в Центральную Азию (граница западного Китая и восточного Казахстана). Спутниками Обручева были наиболее способный из его учеников М. А. Усов, будущий академик, и подросший к тому времени второй сын Сергей, в будущем известный геолог и исследователь.

В 1912 году В. А. Обручев переехал в Москву, ему предстояла огромная работа по подведению итогов своих экспедиционных исследований Иркутской области, Забайкалья, Алтая, Кузнецкого Алатау, Ленского золоторудного района и других сибирских районов, составлению крупных сводок и обобщений, по дальнейшей разработке поставленных им теоретических вопросов. Эта большая работа затянулась на ряд лет, и в 1926 году Обручев выпустил сводный труд "Геология Сибири".

Особенностью научно-исследовательской деятельности В. А. Обручева является многосторонность его научных интересов и огромное количество выполненных им работ, из которых б#ольшая часть представляет собой капитальные монографии; ему принадлежит свыше 700 научных работ, а число отдельных рефератов и мелких рецензий достигает нескольких тысяч.

В. А. Обручеву, несомненно, принадлежит первое место в мировой литературе в области пропаганды и популяризации геологических знаний. Вот что писал Обручев о необходимости знания основ геологии каждому человеку: "Человек, который не знает даже основ геологии, в известной степени, подобен слепцу. На склоне оврага он видит в одном месте твёрдый камень, в другом – рыхлую почву, но что это за породы, как образовался овраг, он не понимает. В горной долине он заметит камни разного цвета, будет удивляться, почему эти слои то как-то странно закручены, то стоят вертикально, как доски, полюбуется живописной скалой, мрачным ущельем, водопадом, но, кроме поверхностных впечатлений, все эти разнообразные факты ему ничего не дадут. Итак, везде он будет воспринимать только внешние формы, а не сущность явлений, видеть, но не понимать. Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю её развития".

Стремясь наиболее доходчиво довести до массового читателя геологические знания, он прибегал и к жанру научно-фантастических романов – таковы хорошо известные его романы "Плутония" и "Земля Санникова".

Выдающаяся роль в исследовании уникальной Курской магнитной аномалии (КМА) принадлежит профессору Императорского Московского университета Эрнесту Егоровичу Лейсту. Лейст родился в Эстляндской губернии, в семье ремесленника 19 января 1852 года. В 1874 году, сдав экстерном экзамены на аттестат зрелости, он поступил на физико-математический факультет Юрьевского университета и окончил его с золотой медалью по специальности "чистая математика". В июне 1894 года Лейст был приглашён в Московский университет на должность приват-доцента по кафедре физики, где он занимался работой по оборудованию метеорологической обсерватории. В короткий срок

Э. Е. Лейст наладил в Москве регулярные метеорологические наблюдения. Кроме того, он установил в обсерватории сейсмографы, положив начало сейсмическим наблюдениям в Московском университете, организовал регистрацию компонентов магнитного поля Земли. С этого момента геомагнитное поле становится предметом его постоянного научного интереса. Уже в 1897 году он защитил магистерскую диссертацию, а в 1899 году – докторскую, на тему "Географическое распределение нормального и аномального геомагнетизма".

В эти годы усилился интерес к исследованию Курской магнитной аномалии после её второго открытия в 80-х годах XIX столетия геофизиками Казанского университета. Впервые КМА обнаружил академик Петербургской Академии наук П. Б. Иноходцев ещё в 1783 году при проведении геодезических работ в Курской губернии. Когда слухи о магнитных аномалиях дошли до Парижской академии наук, то там положительно не верили в существование аномалии такой силы. По приглашению Русского географического общества в 1896 году в Россию прибыл директор магнитной обсерватории, располагавшейся вблизи г. Парижа, Т. Муро, который с профессорами Н. Д. Пильчиковым и Э. Е. Лейстом проводил магнитометрические исследования в Курской губернии. В ходе исследований было установлено широкое распространение аномалий в 15 уездах, что и послужило основанием для названия аномалии "Курской". При этих исследованиях определялись три элемента земного магнетизма: 1) магнитное склонение (отклонение стрелки на некоторый угол от магнитного меридиана), 2) магнитное наклонение (наклонение стрелки на некоторый угол от горизонтальной плоскости) и 3) напряжённость земного магнетизма (величина силы магнитного притяжения в данном месте). Курская магнитная аномалия заключается в том, что все эти три элемента земного магнетизма для многих пунктов в Курской губернии отличаются от теоретически вычисленных значений. "На всём белом свете нет ничего подобного; учёные приезжали сюда, как в Кунсткамеру: здесь магнитная стрелка не показывает на север и юг, как бы следовало, а на восток и запад!" – так популярно объяснял Лейст это явление. Муро через две недели съёмочных работ вернулся в Париж, а Э. Е. Лейст, проанализировав данные съёмок, пришёл к твёрдому убеждению, что аномальные значения земного магнетизма в этом регионе связаны с громадными залежами железной руды. Эти выводы геофизика не поддержали некоторые видные геологи Геологического комитета.

Убеждённый в залегании огромных богатств в недрах, Э. Е. Лейст сделал доклад Курскому губернскому земскому собранию с надеждой открыть промышленные месторождения железных руд. По Курской губернии быстро распространились слухи о громадных залежах железной руды, возникла настоящая "железорудная лихорадка". Одни помещики начали продавать свои земли, другие – их скупать. Земство выделило Э. Е. Лейсту 25 тысяч рублей (огромные по тем временам деньги) на покупку приборов для магнитных измерений и необходимого оборудования для бурения скважин. Всё необходимое было закуплено в Германии. По указаниям Э. Е. Лейста было начато бурение скважины: по его расчётам, руда должна была залегать на глубине не более чем 200 м от поверхности Земли. Однако, когда бур достиг этой глубины, руды не было обнаружено. Как выяснилось потом, до вскрытия железных руд, залегающих в древних породах кристаллического фундамента платформы, оставалось каких-то два десятка метров. Скважина не прошла осадочный чехол и была остановлена в толще юрских песчано-глинистых отложений, поэтому и не вскрыла железную руду. Неблагоприятный результат бурения показал, что степень изученности района явно недостаточна как в отношении магнитных явлений, так и в геологическом строении, а зарождающиеся геофизические методы поисков ещё не совершенны.

Неудача, постигшая буровые работы, послужила поводом для прекращения всех работ на КМА. С одной стороны, не сбылись надежды местных промышленников, а с другой – были опубликованы статьи ряда известных учёных России, не согласных с прогнозом Э. Е. Лейста о связи магнитной аномалии с наличием в недрах железных руд.

Сторонники Э. Е. Лейста отвернулись от него. Земство отобрало у него приборы и бурильное оборудование. Однако Э. Е. Лейст, будучи твёрдо уверенным, что аномалия связана с залежами руд, решил за свои средства во время летних отпусков продолжать съёмку.

Каждое лето Эрнест Егорович, отладив старенький магнитометр, уезжал в июле-августе в Курскую губернию, и так на протяжении более десяти лет. Он не просил вознаграждения, работал от восхода до захода солнца, имея для отдыха несколько часов короткой летней ночи. О правильном питании нечего было и думать... Приходилось питаться сухарями, бисквитами и консервами, взятыми из Москвы. "После усиленной работы на солнце в течение дней десяти чувствовалась уже некоторая усталость, в особенности от высокой температуры и пыли, которая проникала в одежду и садилась на инструментах; являлись недостатки и от неправильного питания и плохой воды. Невольно вспоминалось, что дальневосточные экспедиции оборудованы, несомненно, лучше и терпят, пожалуй, меньше неудобств, чем я при своих поездках по одной из центральных губерний Европейской России; невольно являлась мысль, что многие из моих товарищей- профессоров отдыхают не в таких условиях, а где-нибудь в европейском курорте и, вероятно, тратят меньше средств, чем я на научную, но утомительную работу", — так он вспоминал о своей работе. Неоднократно Лейста арестовывали сотские прямо в поле как подозрительную личность "до выяснения рода занятий".

Отдельные этапы своей работы по изучению Курской аномалии докладывались им регулярно в Московском обществе испытателей природы, действительным членом которого он был с первого года работы в Московском университете (секретарь общества с 1899 года, почётный член с 1913-го). В трудах общества была напечатана добрая половина его разнообразных геофизических трудов. Будучи секретарём физико-математического факультета (с 1903 года), а затем и помощником ректора (1911–1915), Лейст всячески содействовал развитию молодой геофизической науки в Московском университете. Под его руководством Метеорологическая обсерватория (Физико-Географический институт) становится выдающимся для того времени не только научным, но и учебным геофизическим учреждением, которое обеспечивало практику студентов и магистрантов и давало необходимый материал для иллюстраций преподавания дисциплин по "физико-географической" специальности, введённой на физико-математическом факультете его стараниями (1906).

В 1916 году Лейст закончил свою наиболее крупную работу по анализу данных магнитной съёмки районов Курской магнитной аномалии на основании выполненных им лично 4500 "абсолютных" определений элементов земного магнетизма. Производя магнитные измерения, Лейст определял и координаты соответствующих точек, что было необходимым для составления первых магнитных карт КМА.

Работа была им доложена в Московском институте физики и биофизики. По существу, исследования физической природы Курской магнитной аномалии, проведённые профессором Лейстом, — первый научный опыт геомагнитных поисков железорудных залежей в России. В том же году он возглавил организованную по его почину Геофизическую комиссию.

Весной 1918 года о результатах своих исследований профессор Эрнест Григорьевич Лейст рассказал в докладе на учёном совете Московского физического института. Доклад был передан академику П. П. Лазареву и опубликован в 1921 году.

Многолетняя напряжённая работа без отпусков подорвала здоровье Э. Е. Лейста. Летом 1918 года Советское правительство направило его на лечение в Германию.

Лейст захватил с собой все материалы своих исследований по КМА, предполагая продолжить работу по составлению магнитной карты. Но 13 сентября 1918 года учёный скончался.

В конце лета 1918 года академик П. П. Лазарев доложил члену Президиума ВСНХ Л. Б. Красину о проведённых Лейстом исследованиях КМА. Опытный организатор промышленности и экономист Л. Б. Красин уже в ноябре 1918 года по поручению В. И. Ленина обратился к академику Лазареву с просьбой организовать Постоянную комиссию по изучению аномалии и составить план работ на лето 1919 года. В этот же период выяснилось, что практически все материалы профессора остались за границей, и немцы запросили за них 5 млн рублей золотом, что было неприемлемо. Это обстоятельство потребовало проведения дополнительных полевых геофизических работ, на которые необходимо было около 300 тысяч рублей.

В январе 1919 года Президиум Академии наук одобрил план работ, о чём было доложено 10 февраля на заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны под председательством В. И. Ленина и принято соответствующее постановление.

К началу апреля 1919 года была окончательно организована Постоянная комиссия по изучению КМА под председательством академика П. П. Лазарева. Следует особо отметить, что все эти события и принимаемые решения происходили в период, когда в стране пылала гражданская война, была разруха и голод. Это подчёркивает дальновидность политического руководства, заботившегося о развитии потенциала государства.

17 июня 1919 года отряд из девяти человек под предводительством К. С. Юркевича выехал из Москвы в товарном вагоне, выделенном по распоряжению Красина.

С большими трудностями и приключениями, достойными сюжета целого приключенческого романа, велись работы по изучению и разведке КМА в то время. Так, 23 июня 1919 года войсками генерала Деникина был занят город Белгород, входивший в состав Курской губернии. А уже 3 июля генерал Деникин отдал приказ о массированном наступлении на Москву; кавказская, донская и "добровольческая" армии опрокинули позиции красных полков. В начале августа в Тимском уезде, где проводил наблюдения отряд Юркевича, становится слышна канонада – отряд продолжает работать. В середине августа район остался без власти, он вот-вот должен быть занят войсками Деникина. Отряд не прерывает работу... 5 сентября белые в пригороде Курска...

За период с конца июня по август 1919 года, до полного захвата белогвардейцами Курской губернии, геофизический отряд успел произвести качественную съёмку, обследовал район аномалии площадью в 260 квадратных верст, произвёл на этой территории наблюдения в 443 точках. В окрестностях деревни Лозовка вблизи города Щигры была установлена наибольшая гравитационная и магнитная аномалия. Здесь, на территории КМА, были проведены первые в стране комплексные геофизические работы, сочетавшие методы магниторазведки и гравиоразведки. Геофизические измерения проводились под руководством геофизика Заборовского Александра Игнатьевича, в последующем – одного из основоположников отечественной разведочной геофизики и геофизической специальности в высшей школе.

Комиссия по исследованию КМА в сентябре 1919 года оценила проделанную работу и признала её результаты пригодными для технических разведок, и выработала план проведения дальнейших работ.

К весне 1920 года, после отступления белогвардейцев из Центральных районов страны, поисковые отряды и экспедиции вернулись в район Щигров и продолжили начатые в предыдущем году работы.

Полученные к этому времени обработанные данные заинтересовали Горный совет ВСНХ, и в мае 1920 года была создана Особая комиссия по исследованию КМА (ОК КМА), положение о которой было утверждено Президиумом ВСНХ 14 июня 1920 года.

Председателем Особой комиссии был назначен зампредседателя Горного совета ВСНХ профессор Иван Михайлович Губкин, зампредседателя – академик П. П. Лазарев. В состав комиссии вошли ведущие учёные и специалисты: профессора А. Д. Архангельский – назначен главным геологом комиссии, А. Я. Гиммельфарб – главный инженер комиссии.

Примечательным фактом является то, что именно с этого момента дальнейшие исследования, открытие тайны и начало освоения КМА неразрывно связаны с именем выдающегося геолога, академика Ивана Михайловича Губкина.

Важнейшим документом, который ускорил решение вопроса по изучению аномалии, явилось историческое постановление Совета Труда и Обороны РСФСР о развёртывании буровых работ в районе Курской магнитной аномалии, подписанное В. И. Лениным 24 августа 1920 года.

Итоги полевых двухгодичных гравиомагнитных исследований дали полную уверенность в определении мест заложения скважин; всего за этот период было выполнено более двух тысяч измерений.

Однако начать буровые работы в 1920 году не удалось из-за отсутствия необходимой техники. Потребовалась непосредственная помощь и принятие

решений на уровне Совета Труда и Обороны, чтобы обеспечить поставку бурового оборудования, необходимых материалов и средств в Курскую губернию. Достаточно сказать, что буровой станок был доставлен из Грозного, а процесс перевозки связан с драматическими событиями. Помимо грабежей вагонов, по пути следования трое рабочих были расстреляны бандитами. Только к середине июня 1921 года оборудование начало поступать в Щигры, и 22 июля в 6 км юго-западнее города, на самой сильной выявленной гравитационно-магнитной аномалии, была заложена первая глубокая буровая скважина.

Бурение скважины совпало с пиком экономического кризиса, постоянно не хватало угля, необходимых материалов, инфляция не позволяла своевременно закупать оборудование, не хватало средств. Помимо этого, в октябре при возникшем пожаре сгорела часть оборудования. Эпидемия сыпного тифа унесла жизни многих рабочих, в том числе заведующего Щигровским районным управлением буровых работ Сергея Аристарховича Бубнова, которому комиссия обязана успехом в организации и начале буровых работ.

Придавая работам на КМА большое государственное значение, В. И. Ленин постоянно следил за их ходом. Пожалуй, только личное его участие в этот период решило судьбу продолжения работ. Его фраза из письма, написанного 6 апреля 1922 г.: "Дело это надо вести сугубо энергично..." — стала девизом освоения КМА.

Благодаря настойчивости Губкина, Лазарева и оказанию реальной помощи буровые работы продолжались. К началу сентября 1922 года скважина достигла отметки 155,4 м и встретила крепкие породы, которые приостановили дальнейшую проходку ударно-канатным способом.

После замены долот на специально изготовленные бурение продолжилось. 30 декабря 1922 года на глубине 161,7 м вскрыли ещё более крепкие породы, которые практически не поддавались проходке, и бурение было остановлено. Было только одно утешение — вынутые из скважины долота были сильно намагниченными.

В январе 1923 года в Лозовку приехал профессор Губкин. В шубе и валенках ввалился в конторку, сдёрнул запотевшие очки... Вошёл раздосадованный токарь. "— Вот! — протянул бригадиру напильник, с него лохмотьями свисала стружка. — Невозможно работать". Оказалось, к тискам и инструментам стала прилипать металлическая пыль. Мастерская стояла от вышки в 12 метрах... Иван Михайлович велел принести уже использованные долота. "— Теперь гвоздь, пожалуйста, — прошептал он нетерпеливо. — Быстрее". Гвоздя не нашли, подали гаечный ключ. Губкин медленно поднёс его к долоту. Когда между ними осталось около сантиметра, ключ прилип к долоту. "— Долото намагнитилось!" — об этом писали в газетах. Губкин доложил Ленину. Не осталось сомнений: внизу тонны магнетитовой руды.

Руководство Особой комиссией КМА заказало специальные буровые станки алмазного бурения. Весь 1922 год велись переговоры, были оплачены счета заграничным фирмам на поставку бурового оборудования, но по ряду причин они так к тому времени не поступили. Только в феврале с Урала был получен станок с оборудованием для алмазного бурения, что позволило после его монтажа 4 апреля 1923 года приступить к бурению алмазной коронкой.

...Наступил день, которого все с нетерпением ждали. 7 апреля 1923 года из первой скважины с глубины 167 метров был поднят керн, состоящий из кварца, магнетита и гематита. Впервые из недр на поверхность земли был поднят кусочек железной руды, убедительно разрешивший многолетний спор о причинах Курской магнитной аномалии. Незамедлительно, уже 12 апреля об этом в Москве в присутствии руководителей Советского правительства и представителей науки было сделано сообщение.

Самоотверженный труд исследователей КМА был высоко оценен Советским правительством. По предложению В. И. Ленина Особая комиссия КМА 9 июля 1923 года была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Следует отметить, что это первая государственная награда в истории России, вручённая коллективу геологов.

Резонно задать вопрос, а как же были оценены заслуги профессора Лейста перед государством?

В эпоху становления социалистического эксперимента, на фоне первых успехов по поискам и разведке железных руд КМА про Лейста быстро забыли, нигде не отмечено его имя и в последующие периоды нашей истории.

Следует отметить, что такие люди, как профессор Лейст, относятся к той категории людей, которые не служили и никогда не будут служить родине ради привилегий и наград, его жизнь – это пример преданности делу и беззаветного служения своей родине.

Заслуги Лейста состоят не только в изучении Курской магнитной аномалии и земного магнетизма, он является одним из основоположников целого направления в геологической отрасли России – геофизических методов поисков – и по праву должен считаться одним из первооткрывателей богатейших залежей железных руд в России. Вот как выразился академик И. М. Губкин по поводу значения геофизических методов при поисках месторождений: "Только данные детальной геологической съёмки, подкреплённые геофизическими методами съёмки, дадут нам руководящие нити, дадут тот клубок Ариадны, который выведет из геологического лабиринта, только при таких условиях мы будем не авгурами, не прорицателями, а настоящими геологами".

Вот что сказал о геологии и о геологах известный в геологических кругах Центрального региона России профессиональный геолог Петров Б. М.: "Я не могу представить себя пищевиком или бухгалтером, хотя это абсолютно необходимые обществу профессии. Специфика геологии – в образе мышления, который она вырабатывает. Наш знаменитый "метод геологического актуализма" делает мышление геолога философичным, учит искать во всём причинно-следственную связь. Такого нет ни в одной профессии (разве что у криминалистов, и не в этом ли причина популярности детективов?). Мы мыслим картой, а такого мышления нет вообще ни у кого. Да, теперь мы почти не покоряем географические пространства, но мы изучаем пространство геологическое, заполненное веществом, скученным в различные сложно построенные тела и структуры. Мы изучаем его в неразрывной связи со временем, и в этом с геологами не может сравниться никто".

Многие известные геологи нашего времени утверждают существование в России нескольких геологических школ – московской, петербургской, сибирской и так далее. Наверное, это действительно так, но все эти школы объединены одной школой – русской школой геологов, сформированной в конце XIX и первой половине XX веков плеядой замечательных геологов-исследователей: Карпинским А. П., Мушкетовым И. В., Иностранцевым А. А., Фёдоровым Е. С., Павловым А. П., Чернышёвым Ф. Н., Левинсон-Лессингом Ф. Ю., Головкинским Н. А., Архангельским А. Д., Вернадским В. И., Ферсманом А. Е., Эдельштейном Я. С., Романовским Г. Д., Заборовским А. И., Вебером В. Н., Обручевым В. А., их учениками и последователями...

Геология, как и всё в этом мире, не стоит на месте. К началу XXI века профессия сильно изменилась. Появились эффективные методы дистанционного зондирования, усовершенствованные геофизические методы поисков и опробования, спутниковые системы привязки и связи, электронные цифровые способы обработки первичных и сводных геологических материалов, появились более совершенные и надёжные буровые станки, другое оборудование и аппаратура. Но при этом значительно усложнились поисковые задачи. Легко открываемых месторождений больше нет, поэтому, с учётом масштабов нашей Родины, вряд ли всё это заменит человека "*с молотком, с рюкзаком за спиной*", как когда-то пелось в студенческой песне, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Если мы хотим жить в самодостаточной стране, надо вспомнить, что сказал председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, будучи в 1967 году в Норильске: "Сельское хозяйство кормит людей, а геологи – промышленность".

ВЛАДИМИР НИКОНОВ

РАССКАЗЫ ИЗ ИНДИГИРСКОГО РЮКЗАКА

Светлой памяти моего прекрасного сына Артёма

Лирическое предисловие

Бывает так: внезапно всплывёт в памяти давно забытый эпизод, совершенно будничный, обыкновенный, повседневный.

Блеск речной заводи в вечерних лучах, словно расплавленное серебро.

Быстрый взгляд юной девочки, которая поправила причёску и стрельнула большими глазами – а как, заметили это?

Шумное застолье молодых мужиков, переполненных дерзкой уверенностью в своей силе, а ещё в том – какие бы опасности ни ждали впереди, уж его-то костлявая старуха с косой непременно обойдёт стороной.

Ветки кустарника в зарослях, качающиеся вслед за зверем, самого зверя и увидеть-то не успел, только вот его след, где-то хрустнуло, и ветки шелестят.

Рокот камней в горной реке после дождей, неумолчный и непостижимый, как вечный двигатель.

Ослепительное апрельское сияние заснеженных гор, когда поток лучей с ярко-голубого неба сталкивается со своим отражением от склонов, и золотистый свет зависает над вершинами.

Острое ощущение беспричинного счастья, смешанное с таким же острым запахом кожи новенького седла и горячего лошадиного пота, и всего лишь от того, что смотришь на синие цепи далёких гор с безвестного перевала, вознесшись сюда на норовистом и мохнатом якутском "мустанге" и ощутив в своих жилах частицу монгольской крови.

Нескончаемый дождь, стучащий по крыше палатки то звонким барабаном, то бесчисленными крохотными копытцами, дающий сладкую истому отдыха от смертной усталости ежедневных маршрутов.

И вдруг от этой забытой будничности начинает щемить и щепить, потому что всё это вспыхнуло в памяти так ярко, будто было вчера, а было не вчера, а двадцать лет назад, и вспомнишь, что было в тот день и где это было, и над чем так громко и беззаботно смеялись те мужики, и какого цвета глаза той девочки.

И накатывает острое и запоздалое понимание, что сверкающая вода в реке дороже любого серебра, и те жизнерадостные мужики не все разминулись

с костлявой старухой, и как хорошо, что тот зверь ушёл от выстрела, и рокот камней в реке – волнующая прекрасная симфония. И ничего этого не повторится. Даже если произойдёт нечто похожее, всё будет по-другому, потому что сам уже другой.

От этой внезапной грусти очень хочется жить, потому что и сегодняшняя будничность тоже когда-нибудь вернётся в неожиданно ярких снах. И тогда снова остро захочется жить.

РЕКИ И ГОРЫ

В музее Всероссийского геологического института (ВСЕГЕИ), что второе столетие занимает внушительный особняк на Среднем проспекте Васильевского острова Санкт-Петербурга – наследие и наглядное свидетельство имперского величия старой России, – среди минеральных уникумов со всего света стоит диковинный экспонат. Внешне он похож на крыло гигантской стрекозы, длиной в добрую сажень. Это окно из церкви ныне забытого Богом и людьми старинного городка Зашиверск на Индигирке. Более чудесных окон я никогда не видел. В потемневшую изящную раму искусно вживлены тонкие изогнутые прутья ивы – каркас для крепления крупных прозрачных пластин розовато-желтовато-белого мусковита – "московской слюды", как называли этот минерал в средние века западные европейцы. Ни единой расщелины в этом окне, которому, как и церквушке, которую оно некогда освещало, более трёх веков от роду. В 1927 году его в качестве музейного экспоната привёз в Ленинград из заброшенного города Сергей Владимирович Обручев – сын знаменитого учёного и фантаста, автора "Земли Санникова".

Когда-то этот обезлюдевший впоследствии городок, построенный ниже грозных индигирских порогов-"шивер", был оплотом русских владений в здешних краях. В зелёном луговом раздолье близ слияния Момы и Индигирки в добротных домах, частью сохранившихся доныне, до середины XIX века жили служилые люди, охотники на пушного зверя, кузнецы, купцы, учителя, священники, пока чёрная оспа не выкосила оседлое население.

В 60-х годах XX века нашлись люди, кто не поленился разобрать эту церковь, пронумеровать по бревнышку и вывезти под Новосибирск. Цель была благая – в доступном для людей месте собрать церковь вновь как уникальный памятник казачьего деревянного зодчества на Северо-Востоке России. Как это обычно у нас бывает, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. На разборку, нумерацию и вывоз сруба за тысячи километров из безлюдной глухомани средства нашлись, а как дело дошло до реставрации церкви, то деньги иссякли. Так и осталась где-то гнить груда старых нумерованных бревен. Лучше бы уж стояла церковь, где стояла...

Глядя на это музейное окно, достойное освещать, как говорят на Востоке, Дом Бога, помимо восхищения его необычайной красотой, невольно возникает вопрос: а где нашли россияне триста с лишним лет назад столь прекрасную крупную слюду? Неужели везли в такую даль с Маминских слюдяных рудников на Байкале? Не проще ли им было каждую зиму вставлять в оконные проёмы, по примеру якутов и эвенов, ледяные пластины, затёртые по стыкам снегом с водой? Или же они умели искать и находить такие камни лучше нас, нынешних геологов, прямо здесь, на полюсе холода? Находили ведь и мы пластины мусковита в скальных обрывах Индигирки, чуть ниже устья Неры, но не столь крупные.

Однажды я срубил на дрова кривой невысокий ствол горной лиственницы, зацепившейся корнями за расщелину грунта между гигантскими ледниковыми глыбами гранита на правом склоне Индигирской долины, и с сожалением подумал, стоило ли рубить это деревце. Поразила необычайная агатовая тонкость годовых колец на срезе. Сохранив обрезок ствола, на досуге вооружился лупой, насчитал более трёх сотен цикличных кольцевых пар и сбился со счёта. Горные деревья растут очень медленно, и выходит, что деревце уже успело приподняться над неласковым мёрзлым грунтом, когда внизу под этим склоном проплыли первые самодельные судёнышки казачьих старшин Михаила Стадухина, Семёна Дежнёва, Ивана Реброва, Федота Попова по пути к ледовитым морям, на Колыму и ещё дальше "встречь солнца".

После казаков через юго-восточную часть Верхне-Индигирского района в 1786 году прошёл в направлении Верхнеколымской крепости флота капитан

Гаврила Сарычев, оставивший потомкам своё имя в названии мощного горного хребта между Индигиркой и Нерой. В 1823 году в обратном направлении, с Колымы через Оймякон по дороге в Якутск проехали спутники Фёдора Врангеля, мичман Матюшкин и доктор Кибер, а в 1870 году примерно тем же маршрутом – топограф Афанасьев и астроном Нейман, участники экспедиции Майделя. Первым профессиональным геологом, увидевшим Индигирку, был Иван Дементьевич Черский, в 1891 году за полгода до своей смерти от неизлечимого в ту пору туберкулёза проехавший через истоки реки в Верхнеколымск.

В 1926 году Геологический комитет ассигновал средства для экспедиции на Индигирку под руководством С. В. Обручева. Толчком для неё был пузырёк с платиновым песком, принесённый в Якутскую контору Госбанка амнистированным белым офицером Николаевым. Кое-что из его показаний показалось похожим на правду. У Индигирки в её самой труднодоступной высокогорной части и впрямь есть большой левый приток Чибагалах, откуда якобы происходит эта платина. По словам поручика, скитаясь в верховьях этой реки после разгрома под Якутском отряда генерала Пепеляева, он увидел цепочку конусовидных гор. Здесь местный старый ламут (эвен) Никульчан показал своему русскому спутнику намытую им платину и продал шесть золотников (примерно 25 граммов) за табак, а затем и привёл к обрыву террасы на одном из мелких ручьёв – источнику платины. Для пробы Николаев со стариком промыли двести лотков (примерно 3-4 кубометра) галечника с террасы и добыли таким образом два золотника (старинная русская мера веса драгоценных металлов, 4,125 грамма – очень приличное содержание для платины!). Потом поручик ещё купил некоторое количество драгоценного песка у эвенов.

Маршрутный дневник С. В. Обручева за 1926 год стоит прочитать как приключенческий роман. “Из всех рек, которые мне приходилось проплывать, Индигирка самая мрачная по своей мощи и стремительности”. На исследователя произвели неизгладимое впечатление летние снежные шапки гор, необыкновенно быстрые подъёмы воды во время паводков, когда река вздувается на глазах, рёв и шипение бешеного потока, с силой бьющего в грозные скальные утёсы, гребни валов на шиверах – перекатах реки через скопления крупных, словно ядра Царь-пушки, гранитных валунов, громадные террасы высотой до 400–500 метров. Всё это шло вразрез с существовавшими тогда смутными представлениями о рельефе этого края.

Наконец сплав по реке в утлой лодчонке преградила гигантская зубчатая цепь гранитов. Там, где Индигирка с грохотом и кипением втиснулась в 75-километровую расщелину отвесных красно-серых склонов, геолог решил не рисковать. Он пошёл на Чибагалах в обход на лошадях, мимо сверкающих на солнце ледников гранитного пика Чён, через прекрасные зелёные луга в верховьях Иньяли, затем – глубокое мрачное ущелье реки Мюреле. В этом семидесятикилометровом каньоне между снежными вершинами гор ему пришлось испытать смесь благоговейного страха и восхищения перед пенящимися потоками зелёной воды, водопадами сбрасываемой со скальных склонов, грохочущей в узких расщелинах среди гигантских светлых глыб.

Добравшись с неимоверным трудом в заветную Чибагалахскую долину уже в середине сентября – начале зимы в индигирских горах, – С. В. Обручев успел промыть в облюбованном им месте замерзающей реки три тонны галечников и не нашёл ни одной крупинки “белого золота”. В конце концов, он решил, что поручик его обманул, выдав намытую где-нибудь на Вилюе платину за индигирскую. Не держал, впрочем, особого зла на офицера – ведь иначе не попасть бы ему в эти удивительные неизведанные края. Дожив до декабря в Оймяконе, приведя в порядок записи тяжелейшего маршрута, выменяв на своих лошадей меховую одежду, проведя астрономические определения координат, он на купленных здесь оленях двинулся в обратный путь – в шестидесятиградусный мороз, находя ещё силы для геологических наблюдений.

Последующие геологические экспедиции вместо платины открыли на Верхней Индигирке сказочно богатый жёлтый металл и про платину больше не вспоминали. К слову сказать, при проведении геологических съёмок на рубеже 1970-х и 1980-х годов в бассейне Чибагалаха открыт крупный массив ультраосновных магматических пород – теоретически материнских для платины, по составу очень похожих на уральские, корякские, колумбийские горные породы, питающие промышленные россыпи белого металла. Конечно, можно утешить себя: не везде, мол, Бог положил, а вдруг всё иначе: нарисованная

от руки беглым офицером карта с профилями гор, ёлочками и крестиками оказалась слишком неточной, и Обручеву просто не повезло обнаружить место действительной находки.

Можно вспомнить про повышенные концентрации платины, обнаруженные в 1990 году в моих собственных пробах в верховьях реки Момы в подобных ультраосновных породах, и открытие в тот же год опытным геологом из Якутска Александром Васильевичем Коробициным весовых крупинок родия в шлихах в одном из ручьёв Джелканской впадины, что в верховьях Неры. Так что платиновые металлы на Индигирке вполне возможны, и если их когда-нибудь найдут, то было бы справедливым назвать месторождение в честь поручика Николаева. Или, может быть, эвена Никульчана, приведшего поручика к террасе безвестного ручья, где можно намыть платину на простейшем промывочном приборе – дощатой "проходнушке", выстелив сукном её днище для лучшего улова драгоценных крупинок.

Нера

Нера – крупный правый приток Индигирки протяжённостью более 200 километров. Начинаясь от слияния трёх рек – Делянкира, Худжаха и Тымтэя, – она стремительным росчерком по дуге рассекает обширное плоскогорье, глубоко врезавшись в него долиной с почти отвесными стенками. Слева от неё высится громадина Нельканского хребта, справа, за широким мелкосопочником – отроги хребта Черского, в который упираются истоками крупные притоки Неры – реки Артык и Антагачан.

Начиная с Артыка и Хангаласа, многие притоки Неры золотоносны. Здесь найдено и добыто первое золото Индигирки, открыт первый прииск. В тридцатые годы прошлого века сюда на исходе сил и возможностей забирались с востока, со стороны Колымы, магаданские геологи, потом появились свои, местные. По следам геологов по долине Неры со стороны Сусумана была проложена дорога – северо-западное плечо знаменитой Колымской трассы.

В верховьях Неры активно работают юные геологические процессы. Здесь, на разветвлении гигантских расколов земной коры, взломавших её пару сотен миллионов лет назад и до сих пор не утративших подвижности, в 1971 году произошло восьмибалльное Артыкское землетрясение. К удаче для людей, эпицентр сейсмической активности находится в безлюдной глухомани межгорной Джелканской впадины, особого ущерба для жилья толчок не принёс.

В устье Неры, на 1042-м километре Колымской трассы, стоит, как и положено, Усть-Нера – административный центр Оймяконского улуса Якутии, любому школьнику известного как полюс холода Северного полушария. Основана она в 1937 году дерзкой до авантюризма геологической экспедицией, прибывшей сюда на диковинном транспорте – гидросамолётах, – под началом Валентина Цареградского. К этому человеку, дожившему до недавних лет, у меня сложное отношение. Ближайший сподвижник великого русского геолога Юрия Александровича Билибина, участник его первых колымских экспедиций, многолетний руководитель геологической службы Северо-Востока страны, он очень органично вписался в безжалостные порядки Дальстроя – Управления строительства Дальнего Севера. В отличие от Билибина, который ушёл из своего детища, когда оно из романтического сообщества первопроходцев превратилось в крупнейший филиал ГУЛага.

Усть-Нера – форпост цивилизации среди холодных скал. Здесь в окружении гранитных гольцов высотой за две тысячи метров во времена расцвета золотодобычи было создано многое из того, что необходимо для нормальной жизни, – школы, кинотеатры, прекрасный спортивный комплекс, любительский театр, цирковая студия, молодёжный центр, две конкурирующие между собой телестудии, на склоне Нельканского хребта построена вполне приличная горнолыжная база. Когда-то Усть-Нера магнитом затягивала на много лет неординарных людей.

Здесь в разные годы работали будущие светила науки, директора головных отраслевых институтов, министры. Из приметных нынешнему поколению людей можно назвать секретаря Союза России и Белоруссии, в недавнем прошлом кремлёвского завхоза Павла Бородина, когда-то начинавшего карьеру завхозом в геологической экспедиции. Были времена, когда на местном

стадионе играли в футбол отставные игроки из “Зенита” и других не худших клубов страны. Посмотреть на их игру люди приезжали из других районов, то есть за 500–600 километров. Секции бокса, баскетбола, тяжёлой атлетики в местной ДЮСШ подолгу возглавляли спортсмены с известными именами. С началом лета в аэропорту ежегодно толпились ярко одетые бравые молодцы с альпинистским и туристическим снаряжением, со всех концов страны прилетавшие сюда для штурма пика Победы и других вершин хребта Черского.

Я до сих пор иногда пробуждаюсь с приятной мыслью – сейчас выйду на улицу и увижу привычное розовое сияние снежной шапки в первых лучах солнца на вершине Юрбе – гранитной громадины, возвышающейся над Усть-Нерой. Горестно слышать от знакомых, ещё живущих там, что посёлок постепенно хиреет.

Подводная охота

Есть на свете холодная красавица – стремительная якутская река Иньяли, крупный левый приток Индигирки, величественно несущая светлые струи своих кристальных вод среди мощных горных хребтов, на два километра вознёсшихся над её долиной. Летом 1990 года довелось мне попасть на эти безлюдные берега.

Лагерь наш стоял на правом притоке Иньяли – ручье Чалбы, в восьми километрах выше устья. А на противоположной, левой стороне Иньяли высится скальный утёс, некогда ободранный долинным ледником гранитный холм, издалека привлекающий геологическое внимание жёлто-бурыми и вишнёво-красными полосами изменённых (возможно, оруденелых) пород, ярко полыхающими на полуденном солнце. И однажды я пошёл вброд через реку, чтобы добраться до этих всполохов.

Погода для форсирования водной преграды была – хуже не придумаешь. Несколько дней шёл дождь, затихая ненадолго, лишь чтобы набраться новых сил. Перекаты на реке, обычно легко проходимые в раскатанных болотных сапогах, скрылись под потемневшей водой. Но времени на отсрочку не было – срок пребывания на Иньяли заканчивался, а шансов вернуться сюда ещё раз у меня не было никаких. И очертя голову решительно ринулся на другой берег. С трудом перебрался, по пояс в воде. Наскоро вылив воду из сапог и обсушившись у тлеющего под дождём костерка, рванул к заветному обрыву. И там забыл про всё на свете, заворожённый мерцанием крупных серебристо-белых кристаллов арсенопирита в пологих кварцевых жилах, секущих гранитный склон снизу доверху, словно спину нагайкой. Арсенопирит – верный друг, товарищ и спутник рудного золота, и постепенно мой рюкзак наполнился доверху.

С трудом спустился с обрыва, подошёл к месту переправы и только теперь почуял неладное – в азарте поисков не услышал, что изменилась тональность в шуме реки, из шуршания она перешла в угрожающий рокот ворочающихся по дну камней. Уровень воды заметно поднимался прямо на глазах. Видимо, склоны гор в верховьях реки и её притоков уже пресытились влагой и начали сбрасывать её в главное русло. Мысль о необходимости неделю ждать спада воды на мокром берегу, без продуктов, погрузив в тревогу оставленных на другом берегу своих соратников, была невыносимой. И я вошёл в воду.

Сразу обнаружилось, что идти гораздо труднее, чем несколько часов назад. Из-под сапог стремительно вымывается песок, по лодыжкам больно бьют переворачивающиеся камни, норовя сбить с ног. Вода под напором хлещет в лицо, льётся за шиворот. То и дело нужно увёртываться от несущихся коряг. Весь расчёт был на то, что тяжёлый рюкзак с ружьём в придачу не даст потоку опрокинуть меня. Памятуя наставления правил ТБ, всем телом наваливаюсь на крепкий кол, упирая его вверх по течению. Медленно добрался до середины потока. И тут впервые стало по-настоящему страшно. Ровный рокот паводка вдруг сменился угрожающим гулом и рассерженным кошачьим шипением вспенившейся воды. Взглянув вверх по течению, увидел удивительное и пугающее в своей грозной красоте зрелище – поверхность реки вздулась явно различимым горбом, и этот вал стремительно и неотвратимо движется на меня. “Залповый сброс воды из боковых притоков”, – успело мелькнуть в голове.

Через мгновение меня снесло с переката, подхватив, как пёрышко, вместе с двухпудовым грузом. Уже после, анализируя ход событий, сообразил, что подсознание подсказало единственный спасительный выход – использовать силу потока как союзника, не дающего камнем идти ко дну. Вместе с моими восхитительными камнями.

Изо всех сил стараюсь выгребать и держать голову поверх кипящей воды. Времени обращать внимание на холод нет совершенно. Где-то в глубине утонувшего в рефлексах сознания мелькнула мысль – сейчас будет крутой поворот реки, течением должно прижать к родному правому берегу. Пару раз накрыло с головой, но не фатально.

Наконец, ноги зацепили камни на дне. Рывок вправо, несколько раз меня сбило с ног, но берег уже совсем близко, и вот в полной обессиленности выползаю на четвереньках на спасительную сушу. Воистину Бог любит дураков и пьяниц – всё обошлось.

Одновременно со спасением пришло ощущение жуткого холода. И вообще дискомфорт от мысли, что до лагеря с горячим чаем, растопленной печкой и тёплым спальным мешком ещё 8 километров. С 32 килограммами мокрых камней на загривке. И тут произошло настоящее чудо.

Иньяли и в ласковую погоду безлюдна, как льды Арктики, а уж в такую, когда хороший хозяин собаку из дому не выгонит... Вдруг совершенно чётко, громко и близко слышен мотор "КамАЗа". И это не галлюцинация – вот он, выныривает из кустов, скрывающих старую грунтовую дорогу по берегу, и останавливается в двух шагах от человека, только что выползшего из взбесившегося потока. Но самое интересное, что в этой глухомани, где медведи и лоси встречаются чаще людей, прямо к финишу моего заплыва подъехал именно наш экспедиционный "КамАЗ", возвращаясь из дальнего угла района работ, после почти столь же авантюрного, как и моя переправа, автопробега в поисках некогда разбросанных там буровых труб. Им повезло – самые опасные прижимы русла они успели проскочить по относительно малой воде. А здесь увидели необычную картину – из бурной реки вылезает до боли знакомая физиономия, первым делом снимает со спины пятизарядку и выливает из ствола воду. Начальник буровиков Коля Левшин, оценив обстановку, несколько разрядил её ироничным вопросом: "Что, Володя, подводной охотой занимаешься?"

Дальше было уже веселее. Из канистры щедро плеснули солярки на кучу коряг, нанесённую предыдущим паводком. У мигом полыхнувшего костра быстро пришло благостное чувство тепла и подсохшей одежды. А потом я легко убедил приехавших, что самое лучшее для них – переждать пик паводка у нас в лагере, где найдётся и горячая еда, и выпивка по такому случаю, и душевный разговор заполночь, и ночлег в относительном уюте.

Граниты

Мало где на планете гранитов больше, чем на Верхней Индигирке. Столетиями изучая эти светлые и крепкие породы, геологическая наука до сих пор терзается спорами об их происхождении.

У гранитов на северо-востоке Азии есть примечательная особенность. Они легче вмещающих их пород. Поэтому их способность к перемещению вверх не исчезла после застывания из расплава. Подобно льду, погружённому в воду, они до сих пор медленно "всплывают". И образуют тем самым впечатляющие горные массивы, а то и громадные хребты. Самый крупный гранитный массив на Индигирке, Чибагалахский, имеет размеры небольшого европейского государства. Высота гранитных гольцов обычно превышает две тысячи метров. Выше их в Якутии только вулканические хребты.

Это вроде и немного, если сравнивать по абсолютной высоте с Приэльбрусьем. Но в горах значение имеет не только абсолютная высота, но и относительное превышение над ближайшей долиной, определяющее изрезанность и крутизну склонов и трудность подъёма. Индигирские массивы с превышением до двух тысяч метров имеют вполне альпийский вид и в этом отношении сравнимы с кавказскими хребтами.

Чтобы увидеть гранитные громадины, здесь далеко ходить не нужно. Усть-Нера стоит в их окружении. Очень симпатичен Нельканский пик, острой пирамидой с зазубренными гранями закрывающий небо к югу от посёлка.

В первую же зиму моей жизни здесь я не устоял от соблазна в одиночку подняться на него, вооружённый массивным геологическим молотком вместо ледоруба.

Зимний подъём в северных горах труден вдвойне – из-за глубокого снега, мороза за пятьдесят, разреженного воздуха, "стекающего" вниз подобно воде при вымораживании. Но в двадцать три года азарт обычно далеко опережает разум. Поднявшись уже к вечеру на вершину, совершенно не думая о возвращении в темноте, долго стоял, заворожённый стылым мерцанием сиреневых гор в красной подсветке закатного декабрьского неба солнцем, невидимым за зазубренным горизонтом. Отщёлкав всю плёнку в фотоаппарате, осторожно полез вниз.

На пути попался фирновый снежник – белый коридор утрамбованного снега среди серых гранитных глыб. При безрассудной попытке пересечь его на склоне крутизной 45 градусов произошло то, что должно было произойти. Нога (без всяких "кошек", за неимением таковых) поскользнулась, я упал на спину и заскользил вниз, мгновенно набирая скорость.

Мимо понеслись, сливаясь в размазанную серую тень, огромные камни, и впереди, за изломом снежника, поджидали такие же. Один из валунов вмёрз в снежник, меня вынесло прямо на него. Нижний край валуна обрывался двухметровым уступом, с которого я полетел торпедой. В голове успело мелькнуть дурацкое сожаление о фотоаппарате с замечательными кадрами, который вряд ли уцелеет. Стремительное приближение скальных выходов побудило отчаянно извернуться и вогнать острый край молотка в фирн. Рывок, чуть не выдернувший кисти рук. Выдрав пласт плотного снега, вместе с ним сдвинулся ещё на несколько метров. И замер. В голове шумело от ушибов, поэтому я не сразу заметил, что на ней нет шапки. Это открытие повергло в полное уныние. И тут заметил, как шапка, весело подпрыгивая, скачет вдогонку. Как отставший щенок за хозяином, только что не повизгивает. Успев придавить её ногой, я несколько ободрился.

С предельной осторожностью отполз к краю снежника и полез вниз среди надёжных каменных глыб. Спустившись к плоской арене ледникового цирка, снова испытал шок. На снегу между камнями пролёг свежий след росомахи. Невольно подумалось, какой бы ей сейчас был праздник, не сумей я остановить падение.

Путь в сумерках к ближайшему зимовью пролёг среди надменно-равнодушных скал, в безмолвии, нарушаемом лишь шуршанием снега, промёрзшего до песчаной сухости, и "шёпотом звёзд" – шелестом выдыхаемого воздуха, мгновенно превращающегося в кристаллики льда. На фоне пережитого он показался прозаическим. После этого полёта здравого смысла как будто несколько прибавилось. Во всяком случае, мои одиночные зимние маршброски по горам прекратились.

На левой стороне Индигирки к западу от Усть-Неры очень эффектна гранитная вершина с трудно произносимым названием Левый Ыт-Юрях, острый пик, рассечённый надвое глубоким провалом, различимым за десятки километров. Этот провал, облицованный гладкими гранитными плитами, отполированными ветрами и снегами, куда спокойно поместится многоэтажный дом, вероятно, след недавнего тектонического сброса – словно выбитый зуб скалы. Полностью снег на вершине никогда не сходит. В августе, когда в долинах идут дожди, здесь уже пуржит, накрывая свежей белизной прошлогодний снег. В массив глубоким каньоном врезан трог плейстоценового ледника, где сейчас течёт ручей Талынья. Днище трога перегорожено валами морен, запрудившими ручей и превратившими его в цепочку синих озер. Самое большое и красивое, с белыми песчаными берегами в обрамлении отвесных скал, кем-то названо Нина. Наверное, та женщина, чьё имя досталось озеру, того стоила. Попасть бы сюда в тёплый солнечный день, да не одному... Мне же выпало пройти здесь в густом холодном тумане, настороженно озираясь на бесформенные клочья влажной ваты, зависшие над серой водой, за завесой которых впереди меня только что прошёл медведь, оставив внушительные отпечатки на мокром песке. Что за нелёгкая загнала этого мохнатого альпиниста в ущелье, для меня загадка.

Чуть поодаль исполинами громоздятся вершины Мус-хая (Ледяная гора по-якутски), Эбир-хая, пик Амундсена, Нюргун-Тас. Последняя, названная в честь былинного богатыря якутского эпоса, когда-то была рабочим местом

для сотрудников ретрансляционной установки, передающей телесигнал в горняцкий посёлок Предпорожний. Людей сюда вахтами доставляли вертолётом до поры, когда развитие телекоммуникаций позволило отказаться от такого экстремального сервиса. Возле вершины на маленькой площадке остался стоять добротный дом для персонала, однажды показавшийся галлюцинацией нашему геологу Валере Рождественскому. Поднимаясь на гору в маршруте со студентом-практикантом, до вершины он добрался вечером. Сил на обратный ночной спуск уже не было, и восходители морально приготовились к холодной ночёвке среди скал и снега. И тут любопытный студент заглянул за выступ скалы и буднично сообщил, что тут стоит дом. В этом доме остался запас дров, поэтому ночлег показался усталым и замёрзшим путникам уютным, как на вилле.

Будучи рассеянными на большей части Оймяконского района поодиночке и небольшими группами, в осевой части хребта Черского гранитные массивы сливаются в почти непрерывную цепь, получившую у геологов звучное название "Гирлянда колымских батолитов". На две тысячи километров протянулась эта грандиозная гирлянда, от правых притоков Колымы через Индигирку до правобережья Яны, где она по хребту Улахан-Сис резко сворачивает на восток, образуя гигантскую дугу, прекрасно различимую из космоса.

Геологами на Северо-Востоке граниты почитаемы не только за фотогеничные высокогорные ландшафты. К ним по-сыновьи доверчиво жмутся месторождения вольфрама, олова, серебра, золота, урана, проявления остродефицитных лития, бериллия, редких земель.

На оценке одного из урановых объектов мне довелось работать. Зацепив замерами радиометра в маршруте площадную радиоактивную аномалию, позже я был приглашён в качестве гида-экскурсовода для работы здесь спецпартии из Якутска. Залежь расположена на отроге гранитного хребта, поэтому вертолёт высадил нас прямо на водораздел. В задачу входило более точное оконтуривание аномалии и вскрытие её канавой для опробования. Вскоре мы нашли подходящее в летнее время прибежище для ночлега в ста шагах от объекта работ — обвалившийся скальный останец, один из тех, что иглами торчат в небо на вершинах и склонах некоторых гранитных массивов. На Чукотке такие скальные изваяния называют "кекуры", в Якутии — "кигиляхи". Смысл один — каменные люди. Некоторые из скал и впрямь поразительно схожи с идолами острова Пасхи.

При обвале плитная отдельность скалы образовала подобие крупной пещеры. Натаскав туда веток кедрового стланика, согреваясь по ночам у костра посреди грота, на две недели мы превратились в пещерных людей. Небритые, загорев до черноты на палящем июльском солнце, наверное, и впрямь мало чем отличались от троглодитов. Разве что наличием высокоточного спектрометра.

Самым утомительным занятием была проходка канавы в мёрзлом щебне. Для этого приходилось спускаться в долину ближайшего ручья, поднимать сухие лиственничные стволы, жечь их для оттайки грунта на 30–40 сантиметров, выкапывать его, и опять по той же схеме. Подстегивало нарастающее возбуждение прибора, с усилением треска счётчика после каждой углубки в землю. Наконец, на коренных породах он слился в сплошную пулемётную дробь. Бороздовые пробы, отобранные из вскрытых пород, подтвердили урановую природу аномалии и вполне приличное содержание искомого металла. Я уж было собрался сверлить дырочку на пиджаке, но на дворе был 1987 год, в головах политиков страны вовсю гулял ветер общечеловеческих ценностей (я и сам хорошо отношусь к этим ценностям, но зачем же стулья ломать?). Разведка урана мгновенно превратилась в пережиток холодной войны, и на этом всё кончилось.

Была всё же некоторая личная польза от моей урановой эпопеи. Вопреки страхам обывателей, небольшая естественная радиация не только безвредна, но скорее наоборот, стимулятор биологических процессов. Довольно долго после житья в пещере я испытывал прилив сил.

Земли Санникова

С лёгкой руки одного воронежского студента-практиканта, склонного к образным сравнениям, у экспедиционных геологов появилась манера именно так называть самые благодатные места.

Одна из таких “земель” расположена в широкой долине реки с труднопроизносимым названием Омук-Кюрюелях, геометрически правильной дугой рассекшей цепи гор. На фоне каменных громад, где ничего не растёт, кроме ягеля, низкой травы и редких кустиков чёрной смородины по овражкам, а в верхней части склонов и вовсе голые скалы, долина поражает своими радостными красками. Аквамариновая вода реки бурлит в омутах, словно в гигантском кипящем котле, на перекатах сверкает хрустальными брызгами, над которыми висит радуга. Раздолье для крупных хариусов. Чудесный лес в пойме с густой травой, могучими раскидистыми лиственницами, зарослями красной смородины, стройными чозениями и тальником у воды. Гигантские голубые топазы наледей, к которым в жару выходят охладиться и избавиться от комаров на прохладном ветерке непуганые лоси и олени.

Однажды, выходя пешком к устью реки, чтобы сесть на автобус и уехать в Усть-Неру, я не то чтобы вспугнул, скорее, потревожил вальяжного оленя с огромными рогами, который нехотя поднялся с тропы и не торопясь пошёл по берегу вниз по долине. Его путь совпал с моим. Олень шёл с той же скоростью, что и я, держа дистанцию в полсотни метров, иногда оглядываясь, видимо, желая убедиться, не надоело ли мне идти следом. Так мы вместе прошли шесть километров, пока я не вышел на старую грунтовую дорогу, а олень ушёл в чащу.

Гребни гор — стол и кров для бесчисленных горных баранов. Традиционные миграции выводят их к слиянию Омук-Кюрюеляха с рекой Ольчан, где до недавних пор стоял уютный посёлок золотодобытчиков Октябрьский. Охота на этих зверей долго была запрещена, и они быстро сообразили, что как раз на виду у всех людей их никто не тронет. Чуть не каждый день на бровке скального обрыва над посёлком выстраивалось стадо голов на двести и с любопытством смотрело на жизнь людей. Местные браконьеры при виде такого наглого издевательства над их инстинктами испытывали танталовы муки и втайне мастерили бесшумные арбалеты.

Есть здесь и хищники. Мы встречали медведей. А идя как-то раз по нагромождению глыб песчаника в цоколе террасы, я был чуть не оглушён внезапным громким мяуканьем. Свал камней просматривался насквозь, ничего, что могло мяукать, на нём не видно, но всё же мяукало, да ещё мне прямо в ухо. Выглянув поверх плиты песчаника, вижу подобие пещеры, образованной обломками рухнувшей скалы. Сунув голову в тёмную глубину, разглядел там три пары зелёных огоньков — глазёнки рысят, ползающих и возмущающихся, что вместо мамы, рыжей и пушистой, с вкусным зайцем в зубах, пришёл какой-то странный двуногий тип, который, наверное, кусается и царапается. Раструб пещеры обеспечил мегафонный эффект их мяуканья. Оглядевшись по сторонам, не скачет ли по камням мама, я вслух пожелал маленьким лесным кошкам расти умными-благоразумными, здоровыми и сильными, слушаться маму, и пошёл дальше.

В истоках долины, по её левым притокам разведаны и большей частью отработаны россыпи золота, известны и коренные жилы. Здесь же расположены самые крупные природные плантации золотого корня — родиолы розовой, — какие я видел. Да и сами корни немалые, иные в пару килограммов, причудливо узловатые, формой и биологической силой напоминают женьшень.

Водораздел Омук-Кюрюеляха — скалистые песчаниковые громадины высотой за две тысячи метров. С них водопадами скачут ручьи в узких расщелинах. Скорость потока такова, что обломки пород не задерживаются на скальном ложе ручьёв. Каким же было наше удивление, когда на одной такой чистой скале между водопадами глазастый студент Вадик из Свердловска обнаружил симпатичные неокатанные, шипастые самородочки в срастании с кварцем, собрав их целую горсть.

Раньше здесь периодически появлялись геологи и горняки. А однажды к нашей палатке в утреннем тумане вдруг вышла большая группа людей в яркой, как оперение тропических птиц, нездешней одежде, с таким же нездешним говором и обветренными загорелыми лицами. Удивление от встречи было изрядным и взаимным. Оказалось, это туристы из Вильнюса, целый месяц странствующие по большому кругу — сначала на север, вниз по Индигирке сплавом до порогов, потом траверс по хребту Черского на запад, оттуда на юг через гранитный массив Чён. Их так переполняло от увиденного в маршруте, что они без всякой прибалтийской сдержанности захлёбывались от восторга.

И не очень скрывали грусть. Дело было в 1989 году, прибалты раньше всех почувствовали, что империя трещит по всем швам, и торопились уйти подальше от падения её обломков. Туристы честно признались, что для них это, скорее всего, последняя возможность пройти по таким удивительным местам без возни с грядущими визами и политическими сложностями... А сейчас на Омук-Кюрюеляхе, наверное, и вовсе нет никаких людей.

Другая "Земля Санникова" находится между реками Тобычан и Утачан — главными притоками Эльги. В первозданном хаосе причудливо намешаны острые вершины гранитных массивов, плоскогорья, стремительная горная вода, чёрные от глубины озёра, болота, хариусы, наверное, самые крупные на Индигирке, бесчисленные олени и лоси, пасущиеся вблизи человека без особых признаков робости. Близ Черняйских озёр в центре межгорной впадины я впервые со времён работы в Заполярье увидел крохотные ручейки, напоминающие аквариум, с рыбой, лениво греющейся в преломленных лучах солнца. Мой маршрутный напарник, студент Шура из тогда ещё Свердловска, наловчился здесь добывать обед без всяких снастей, резким и метким броском камня в воду.

После недавнего разгула ледников, перекрывших долины мощными моренами, на Тобычано-Утачанском междуречье нет крупных россыпей золота, но в кварцевых жилах на склонах гор россыпь богатая, а местами просто дурная — можно собирать пинцетом. Кроме жил, золотоносны пачки сульфидизированных песчаников, тянущиеся на километры.

На Тобычане я увидел самое занятное плавательное средство, которое его владельцу только лишь по непрактичной российской лености не хватило ума запатентовать. Некий старатель, взяв неделю отгулов, пешком поднялся в верховья реки, взяв с собой только топорик, нож, леску с крючком, котелок, соль и чай. И ещё небольшой насос — "лягушку" — и два больших мешка из-под взрывчатки — незатейливо скроенная тонкая, но плотная материя, покрытая фольгой для теплоотражения. Эти лёгкие мешки и были основным элементом плавсредства. После накачки владелец плотно перевязывал им горловину и за десять минут работы с использованием подручного лесоматериала превращал в катамаран, скрепив жердями и шёлковым шнурком. Ночью два просушенных мешка, вложенных один в другой фольгой внутрь, служили спальным мешком, хорошо удерживающим тепло тела. А едой ему были хариусы, отлавливаемые во время сплава.

Не исключено, впрочем, что этот передовой опыт всё же получил некоторое распространение. Ведь добирались нелегальные золотодобытчики-одиночки в укромные места за тридевять земель, каким-то образом форсируя полноводные реки.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Северное население с давних лет отличалось необычайной пестротой и яркостью людских характеров. Попавшие сюда кто по доброй воле, а кто и под конвоем, прижившись, образовали они диковинный сплав. Вдоль всей Колымской трассы оставили свою разноцветную ауру мечтатели-идеалисты, уголовники, "спецпереселенцы", охранники, известные инженеры и авиаторы, опальные артисты, репрессированные светила науки, фанатичные и безжалостные диктаторы — директора дальстроевских приисков, охотники за длинным рублём, непризнанные гении, спортсмены и журналисты, выбитые из колеи житейской неудачей, обычные работяги, сбежавшие от злой жены, безденежья и тусклой жизни в колхозе "Сорок лет без урожая". Стоит чуть прикрыть глаза, и в памяти вереницей проходят события, которые возможны только на Севере, и люди, которых нигде больше не встретишь. Диковинные персонажи, в которых яркие недостатки сочетались с не менее яркими достоинствами.

"Груз-200"

После войны Северо-Восток превратился в место наказания множества людей, сотрудничавших с оккупантами. Из миллиона граждан СССР, кто по принуждению, а кто и добровольно воевавших на стороне немцев, оставшиеся в живых, не успевшие бежать на Запад, этапами отправлялись на **СП** —

“спецпереселение”. Многие после освобождения так и остались на Севере. Работали такие и в нашей экспедиции. Памятен благообразный снабженец, которого все с ноткой почтительности звали Феоктистыч, седой как лунь, поджарый жилистый гуцул с пронзительно-синими глазами, орлиным носом и по-военному прямой спиной, в молодости лейтенант дивизии СС “Галичина” на Западной Украине. А его сослуживец по дивизии некоторое время возглавлял деревообрабатывающий цех экспедиции. Был ещё каюр, воевавший на стороне немцев в Югославии и участвовавший в неудачной для вермахта операции по поимке Тито. Л. Н. Попов рассказывает в своей документальной повести о некоем технике-геологе, которого угораздило повоевать с англичанами в ливийской пустыне в танковой дивизии генерала Роммеля. Кроме **СП**, здесь нет-нет, да и попадались серьёзные военные преступники, запятнанные не просто кровью, а большой кровью. Эти, не попавшись в СМЕРШ, приехали когда-то на Север добровольно, подальше от недобитых свидетелей своих “подвигов”, за десятилетия обзавелись здесь семьями, превратились в тихих пенсионеров. И всё же их иногда находили, к ужасу и изумлению людей, проживших много лет с ними по соседству.

Иные из бывших бандеровцев и полицаев оказались настолько ловкими, так хорошо спрятали хвосты своего прошлого, что стали большими начальниками, участвовали в заседаниях бюро райкома. Время от времени случались громкие скандалы, когда тайное становилось явным.

Летом 1982 года меня вдруг оторвали от написания геологического отчёта, поручив деликатную миссию – доставить на родину “груз-200” – цинковый ящик с телом работника райисполкома, ранее много лет проработавшего топографом в нашей экспедиции. Я, осознав важность и человеческую значимость поручения, выслушал инструкции, наставления, а также заверения, что везде мне будет обеспечена “зелёная линия”, получил деньги и проездные документы, тотчас по райисполкомовской брони купил авиабилет до Украины.

На следующий день в нашем экспедиционном клубе должна была состояться красивая и торжественная гражданская панихида по безвременно усопшему. Поутру, надев тёмный костюм, я со своими сотрудниками пришёл в клуб. Не успели мы ступить на порог, как нас оттуда погнали в шею. Главный геолог экспедиции, бледный и перепуганный, с бисером пота на челе, пересыпая речь трёхэтажным матом, зашипел, чтоб и духу нашего тут не было. Обескураженные, в полном недоумении мы пошли обратно.

Через полчаса узнали ошеломляющую новость. Оказывается, наш многоопытный экспедиционный кадровик, готовя речь о долгом и славном трудовом пути ветерана Колымы и Индигирки, вдруг наткнулся на справку о том, что в Усть-Неру означенный товарищ прибыл в клетке по этапу **СП**. Я оказался в предельно дурацком положении. Деньги и документы получены, авиабилет взят, но помощи теперь ждать не от кого. С грехом пополам доставив на попутной машине “груз-200” в аэропорт, на три дня там завис. Куда-то исчезли все “зелёные линии”. Наконец, отчаявшись, я пришёл к начальнику аэропорта и сказал, что вверенный мне цинковый ящик, кажется, не очень герметичен, и пусть начальник берёт на себя последствия его хранения под солнцем в 30-градусную жару. После этого место на рейс до Якутска нашлось.

В Якутске, где о прошлом “груза-200” никто не знал, всё обошлось гладко. Я, наняв аэропортовских забулдыг, сам помог им загрузить цинк в багажное отделение и с чувством огромного облегчения полетел в Москву. Оказывается, рано успокоился.

Размышляя в полёте, что мог натворить в молодости мой подопечный, я пришёл к выводу, что, наверное, не очень много. Судя по его возрасту, во время оккупации центральной Украины ему было 15–17 лет. В любом случае, за свои дела он получил сполна, а теперь я за него ответственен и доставлю его домой всем чертям назло. С этими помыслами долетел до Новосибирска, где рейс задержали на сутки по метеоусловиям Москвы.

За эти злополучные сутки в аэропорту Толмачёво, одном из самых бестолковых и неуютных в родимом Аэрофлоте, скопилось четыре рейса Якутск–Москва. Когда, наконец, объявили посадку, сев в кресло, я увидел другой цвет обшивки салона – это другой борт. Нехорошее предчувствие шевельнулось в душе: а как же груз? Стюардесса снисходительно заверила, что

весь груз перегружен, и волноваться нечего. Отчего-то мои подозрения при подлёте к Москве только усилились. И я не удивился, узнав на грузовом складе Домодедово, что телеграмма о наличии на борту "груза-200" из Новосибирска пришла, а самого ящика нет.

Поскольку все четыре задержанных рейса вылетели в Москву почти одновременно, то приняли их разные аэропорты. Пришлось провести поиски гроба во всех грузовых складах в надежде, что ящик попал на другой борт. За два дня насмотрелся на вереницы цинковых "грузов-200", в основном из соседней южной страны. Один местный остряк посоветовал забирать любой, мол, какая жмурикам разница, куда их везут. Ненаигранной ненависти в моём взгляде было столько, что он заткнулся на полуслове.

На третий день сомнений не осталось – гроб сняли и оставили в Толмачёво. Зачем, объяснить невозможно. Скорее всего, без умысла, по извечному аэрофлотскому бардаку. Я пошёл к начальнику смены Домодедово, объяснил ситуацию, он разрешил дать телеграмму по служебному телетайпу. Ответ пришёл быстро – никаких гробов не видели, ничего не знаем. На четвёртый день с помощью начальника аэропорта Домодедово я дозвонился до его однокурсника, начальника группы розыска Министерства гражданской авиации по имени Никитюк Владимир Никитович. Он пообещал быстро разобраться и сказал, чтобы я сидел, где сижу, и ждал его звонка. Через час моего ожидания в мозговом центре огромного аэропорта, настолько наэлектризованном привычной для местных управленцев нервотрёпкой, что кажется, вот-вот заискрит от напряжения, меня позвали к телефону. Владимир Никитович сообщил, что мой "груз-200" найден, виновные в бардаке понесут наказание. Для меня единственно важным было сообщение, что ближайшим рейсом груз уйдёт в Домодедово.

На пятый день московской эпопеи знакомый до боли цинковый ящик оказался под моим контролем. Осталась одна проблема – как доставить его во Внуково для рейса на Украину. Теоретически как бы существовало грузовое такси, но практически никто не ведал, где его искать. Пришлось нанимать фургон-почтовик. По дороге водитель на вполне конкретных примерах показывал мне, сколько рублей таксы за левый груз означает та или иная отмашка жезла ГАИ. Ему эти отмашки обошлись в четверть гонорара, уплаченного мною. Во Внуково я успеваю дать телеграмму родственникам, которые, наверное, давно сходят с ума от беспокойства.

Наконец, я сижу за столом в уютной кооперативной квартире в приднепровском городке, которую благополучно успел приобрести ветеран Колымы и Индигирки. После всего пережитого водка льётся в меня, как вода, без ощутимого воздействия. И всё же я то и дело ловлю тревожный взгляд вдовы. Причина тревоги ясна, как день, – не проболтаюсь ли я о покойном. Улучшив момент, шепчу ей, чтобы не волновалась, никто ничего не узнает. Спинным мозгом чувствую, как её отпускает напряжение.

После всех похоронных ритуалов мне остаётся только искупаться в Днепре и ехать на вокзал. Как назло, погода, ещё вчера жаркая, резко испортилась, на берегу нет ни души. Но для меня после северных рек вода кажется специально нагретой. Вылезши из воды, направляюсь к ближайшей пивнушке. Оказывается, за моим заплывом внимательно наблюдал один мужик лет сорока. Он спрашивает, не с Севера ли я? А откуда с Севера? А откуда из Якутии? Мир тесен, он много лет работал в том же районе, откуда я привёз "груз-200". Пожав ему на прощание руку, навсегда расстаюсь с этим городом.

Бросок кувалды

Моя жена часто ворчит: откуда в твоём лексиконе столько лагерных словечек, вроде сам не сидел. А как им не взяться, когда почти 17 лет работал бок о бок с людьми, битыми жизнью, кто по дурости, кто по стечению обстоятельств поработавшими "на хозяина". Среди них попадались разные. Самые интересные и по-своему надёжные – немолодые, те, кто успел хлебнуть порядки ГУЛага. В 1980-е годы много их ещё оставалось на "северах" – на "дожитии", не имея толком ни пенсии, ни угла, ни семьи. Работали в геологических организациях – каюрами, проходчиками, взрывниками, реже шоферами, и эта нелёгкая работа поддерживала в них жизнь – не только в смысле

заработка, но и как средство отойти от отчаянных запоев, когда пьют "всё, что горит". До конца жизни эти бесшабашные и бесстрашные мужики проходили под кличками, вероятно, ещё лагерными – Курносый, Соловей, Король, Барабан... и даже диковинными, вроде Чомбе или Куба Противный. Многие из тех, кто работал с ними, и не знали, что "Чомбе", к примеру, – это Николай Васильевич Токарев. Фольклор этих людей был столь же экзотичным, как и их татуировки, по части ругательств они могли заткнуть за пояс матёрого пиратского боцмана. А у Курносого самое уничижительное определение в адрес недостойного, по его мнению, человека, когда самый навороченный мат уже не мог передать степень подлости и ничтожности означенного типа, было "комсомолец".

К этим тёртым суровым мужикам, прошедшим жизненную школу в "Дальстрое", было всеобщее уважительное отношение. Как на войне – к расхристанной с виду, но надёжной в бою роте, пусть даже и штрафной.

Те, кто помоложе, были поскучнее. Водились среди них и такие, к кому спиной лучше не поворачиваться. Меня Бог миловал от серьёзных разборок, а вот мой знакомый Алексей Штукатуров однажды влетел по полной программе.

В 1980 году его – молодого, совсем ещё совсем зелёного специалиста – отправили командовать участком по проходке шурфов на касситеритовой россыпи. Контингент там подобрался – почти сплошь вчерашние уголовники. Юного начальника по работе они ещё слушались, а в быту – не очень. И однажды по весне, в конце апреля, в честь завершения работ закатили пьянку – наварили браги, сколотили из горбыля стол между жилыми балками и "загудели" на открытом воздухе. Алексей заперся в своём балке, от греха подальше, и не заметил того, что надо было бы заметить.

Среди работяг был натуральный отморозок с ярко выраженным комплексом неполноценности, отсидевший за стрельбу в человека 13 лет – явно мало. Отличала его сильнейшая неприязнь к двоим "бичам" – в том, увы, распространённом в нашей жизни смысле, бывшим интеллигентным человекам. Один – бывший учитель физики, другой – спившийся лётчик, абсолютно безобидные ребята. Отойдя в тайге от пьянки, они вернулись к нормальному облику умных, эрудированных, общительных, доброжелательных людей, замечательных рассказчиков. А у этого ублюдка – раздражение: все мы тут в одних шурфах роемся, а чего это они такие умные?

И вот все труженики "гудят" за столом, начальник сидит взаперти в балке, а любитель пострелять по людям, единственный из рабочих, не принявший участия в застолье, подождал, пока народ расслабится, потихоньку обошёл все балки, украдкой собрал и притащил все ружья в свой балок, запер его на замок. А сам, прихватив две двустволки, подошёл к столу и в упор разнёс обе "шибко умные" головы. А потом, явно торжествуя от своей внезапной власти над ошарашенными людьми, объявил: "Сейчас пойду завалю начальника, а вы тут посидите, подождите, потом ещё и кое с кем из вас разберусь". И добавил: "Дёргаться бесполезно, всё оружие я запер, всем сидеть и не двигаться". И пошёл убивать начальника.

Алексей, выскочив на выстрелы из балка и увидев, что убийца идёт к нему, опрометью кинулся за угол. Далеко бежать ему было некуда – вокруг базы открытое снежное поле. И началась его отчаянная гонка со смертью, вокруг собственного полевого жилища с предрешённым исходом – рано или поздно убийца подловил бы его из-за угла.

Положение спас Лёха Соловьёв – "Соловей" – кряжистый пожилой проходчик с пудовыми кулаками, способный голыми руками своротить навесной замок. Все работяги мгновенно протрезвели, но Соловей был единственный, кто хладнокровно оценил ситуацию. Незаметно подобрав небольшую кувалду, валявшуюся рядом со столом, он коротким взмахом метнул её вдогонку убийце. На манер ирокеза, бросающего томагавк. Бросок был снайперски точным – кувалда со свистом рассекла воздух и рубанула негодяя промеж лопаток.

На этом трагедия закончилась, дальше пошёл фарс. Через три часа прилетел вызванный по рации вертолёт с милицией и "скорой помощью". Проходчикам с простреленными головами помощь не требовалась, а вот парализованного убийцу, лежащего без сознания, положили на носилки и понесли на борт, вопреки советам работяг сбросить его в ближайший шурф. В райцентре его кое-как привели в чувство, в инвалидной коляске привезли в суд и там приговорили к высшей мере.

ЗОЛОТО

В 1944 году, с открытия первого прииска Победа, Верхняя Индигирка стала важным "валютным цехом" страны. А вообще первое золото было добыто ещё раньше, в начале войны геологами одновременно с проведением поисковых работ. Вскрывая шурфами богатые пласты речных галечников, траншеями – столь же богатые жилы, начальники партий силами своих маленьких подразделений тотчас налаживали извлечение золота на простейших промывочных устройствах, выдолбленных из ближайшего древесного ствола. Кварцевую руду, усыпанную самородками, перед промывкой дробили в ступах до размерности ореха. Отложив составление карт и решение других чисто геологических задач до лучших времён. Каждый килограмм золота превращался в оружие, вкусную лендлизовскую тушёнку, "второй фронт", авиационный бензин. Ещё осенью 1941 года геологи Курдатской партии В. Я. Лещенко, А. Ф. Адрианов, М. А. Неустроев и Ф. И. Сергеев сдали в фонд обороны первые полтора килограмма золота, намытого в полевом сезоне. На следующий год эксплуатационные участки возникли на многих геологоразведочных объектах. С промышленным размахом началась добыча золота в Бурустахском разведрайоне под руководством П. Е. Станкевича. На одном только ручье Проходном в 1942 году вручную добыто почти полтонны золота. Чуть меньше пуда золота выколочено в тот же год партией Пепеляева из кварца Тунгусской жилы в верховьях Делянкира.

Намытое золото доставляли на базу разными способами, в том числе на плотах. Как рассказывает Л. Н. Попов, однажды на таком плоту по Нере начальник геологоразведочного управления И. П. Шебанов и начальник россыпного отдела И. И. Мищенко везли 7 килограммов золота в кожаном мешке. Для страховки к мешку привязали обрубок сухой лиственницы. Начальники оказались неопытными плотогонами, ведомый ими плот налетел на камень. От удара люди очутились в воде. Когда плот выровнялся, им удалось вновь на него забраться. Однако мешок с золотом исчез бесследно вместе с буем, к которому был привязан.

Результатом потрясающих воображение открытий, совершённых Одинцом, Галченко, Исаковым, Раковским, Негановым, Лещенко, Скориной, Андриановым, Эльяновым и другими геологами, стал настоящий золотой "фонтан" в бассейнах рек Нера, Малый и Большой Тарын, Эльга, Ольчан, Куобах-Бага, Хатыннах, Дегунья, Тирехтях, Бадран. После прииска Победа в разные годы рождались и закрывались прииски Панфиловский, Тирехтях, Нижнетарынский, имени Покрышкина, Индигирский, Маршальский, Ольчанский, Нельканский, Юбилейный, Хатыннах, Нерский. Некоторые россыпи (Дириньюрях, Сана, Туора-тас) дали по несколько десятков тонн каждая. Нередки были крупные самородки – "оковалок" почти в десять килограммов на Туора-тасе, шесть с половиной – на ручье Проходном, шесть – на Нюче, добрая дюжина по 4-5 килограммов и множество килограммовых по всему району.

Кровь и жизнь зеков была основным расходным эксплуатационным материалом золотодобычи во времена "Дальстроя", плотно опекаемого ведомством Лаврентия Берия. Извлечённую из шахт и открытых разрезов золотосодержащую породу местами приходилось охранять, поскольку жёлтый металл в ней можно было собирать без промывки. Как грачам – зерно на пашне. С тех мрачных времён в фольклор и практику нелегальных золотодобытчиков вошли ориентировочные меры веса золотого песка: наполненная гильза 12 калибра – сто граммов, бутыль из-под шампанского – "гусь" – пуд с гаком золота.

Потом ураганно богатые (со средним содержанием от 10–20 до 100 граммов на кубометр породы) россыпи в долинах небольших речек истощились. Пришлось вовлекать в разработку всё более бедные по содержанию (но не по запасам) россыпи в долинах крупных рек. Здесь тачка и лопата уже не помогали, в ход пошли бульдозеры, мощные самосвалы и промприборы. Во времена расцвета индустриальной мощи сверхдержавы горно-обогатительный комбинат "Индигирзолото" ежегодно давал десять тонн чистого золота и был одним из крупнейших в стране.

В ходе либерального обвала экономики часть приисков закрылась, золотодобыча упала, но всё же не прекратилась. До сих пор в районе добывают три с лишним тонны ежегодно. Всего из индигирских россыпей намыто примерно 450 тонн, а ещё золото добывалось и добывается из коренных месторождений

Бадран, Сарылах, Малтан, Хангалас и других, более мелких. Всего за 60 лет около полутысячи тонн драгоценного металла дала Верхняя Индигирка, мало что получив взамен...

В конце 1980-х годов я по роду своих исследований получил возможность живьём увидеть навески золота с многочисленных россыпей района, отмытого за десятки лет разведки и бережно сохранённого в "золотом кабинете" экспедиции. Оно оказалось очень разным по цвету, размеру, форме, пробе, минералам-спутникам. На месторождениях Малого Тарына и Эльги многочисленны дендриты – настоящее чудо природы, ажурные веточки и перья из тонких золотых волосков. Антагачанское золото – крупные, хорошо окатанные лепешки, с плотными красновато-бурыми налётами окислов железа в ямках золотин; ольчанское и куобах-багинское – чуть зеленоватое, комковидное; металл с левобережья Неры напоминает чешую золотой рыбки. Золото с верховьев Гаврилки и Чуугуна – низкопробная тускловатая пыль, настолько мелкая, что отдельную золотину непросто и разглядеть. Такое же мелкое золото, но ярко-жёлтое, исключительно высокопробное, почти до химически чистого, – в россыпях вблизи Сарылаха. В ручьях между Делянкиром и Артыком золото тоже высокопробное, но крупное и в природной смеси с киноварью – ярко-красным минералом ртути. А в навеске золота с ручья Жаркий, что на правобережье Иньяли, я узрел совершенно неокатанные мальтийские кресты. Такое золото не может далеко уйти от коренного источника, поэтому, попав в эту долину, мне только и оставалось выйти в истоки ручья и найти там жильный кварц, облепленный рудным золотом.

Когда обличье металла с разных месторождений крепко застревает в памяти, то можно по виду металла, невесть где добытого, примерно определить район разработки. Что иногда мне и приходилось делать.

Самое обидное, что в благополучные времена не успели разведать и подготовить к эксплуатации многочисленные коренные месторождения Индигирки и развернуть во всю мощь высокорентабельную рудную добычу. Пришлось эту задачу кое-как, с грехом пополам решать во времена взлёта цен, тотальных неплатежей и повального воровства на всех уровнях. Лишь старательская артель "Западная" оказалась самой дальновидной, вовремя оседлала богатое золото-кварцевое месторождение Бадран и сейчас является одним из "грандов" отечественной золотодобычи. А вообще рудные перспективы Индигирки позволяют не только возродить, но и превзойти уровень добычи прежних лет. Для этого нужна самая малость: специалистам отрешиться от застарелых геологических, горняцких и технологических стереотипов, а владельцам капиталов свыкнуться с мыслью, что возможности золотого Северо-Востока не исчерпаны ещё и наполовину, необходимо только отказаться от привычки брать, ничего не вкладывая.

Экспедиционный фарт

В 1991 году, когда инфляция уже поскакала бешеной лошадью, а крутые ещё недавно зарплаты гордых северных инженеров в реальном исчислении стали таять, как снег весной, власти разрешили, наконец, геологам подрабатывать, добывая попутно с основной работой золото, как в годы войны. Извлечённое дедовским "мускульным" образом золото полагалось сдавать через экспедицию, добытчиков начальство нещадно обсчитывало, но всё же получалась весомая прибавка, превосходящая основную зарплату. Те заработанные на кайле и проходнушке деньги давно истрачены, с разной мерой пользы и здравого смысла (иногда и без оного), но остался в памяти романтичный азарт погони за фартом – проспекторской удачей.

В конце августа того года я с небольшой группой сотрудников оказался в верхнем течении реки Адыча – инопланетно красивых горах, насколько богатых, настолько безлюдных и почти невостребованных по своей недоступности. Строго говоря, Адыча – это уже не индигирский бассейн. Вбирая с окрестных гор множество притоков, больших и малых, она стремительно несёт свои холодные хрустальные воды на запад, сливаясь с другой северной красавицей по имени Яна. Традиционно здесь проходил раздел между сферами влияния двух экспедиций – нашей, Верхне-Индигирской, и Янской, что базировалась в Батагае. Будучи равноудалённым на 400–500 километров и от Усть-Неры, и от Батагая, поделён этот район был чисто условно, одни и те же

площади поочередно изучались с переменным успехом то нерцами, то батагайцами. В последнее десятилетие расцвета северной геологии последние больше преуспели, разведав здесь несколько рудных месторождений, ранее рассматриваемых нерскими геологами как рудопроявления с неясными перспективами. Должен признаться, что я сам приложил к этому руку. Отчаявшись убеждать своё экспедиционное начальство в абсолютной реальности рудных перспектив этой "Земли Санникова", на одном из республиканских совещаний по прогнозу месторождений я без труда убедил в этом своих янских коллег. А чуть позже тайком от своего руководства (никогда не любил "собак на сене") отправил письмом в Батагай все необходимые материалы для постановки разведочных работ. Итогом стало очень симпатичное жильное месторождение Вьюн, которое батагайцы успели разведать до начала развала в геологии.

Здесь господствует горная тундра. Полосы рослого лиственничного леса остались только в долинах рек. Гребни горных цепей, острые, как ножи (местами можно сесть верхом на водораздел, свесив ноги в разные долины), рассечены провалами седловин и пирамидальными пиками. В среднегорном ярусе рельефа поражает невиданное количество золотого корня – родиолы розовой, – необходимого ингредиента для самодельного подобия коньяка. Выше отметки 1700 метров – царство зелёно-серого камня, лишённого всякой растительности. Его однообразие нарушается широкой полосой ярко сверкающих на солнце оранжево-жёлтых, багровых, вишнёво-красных пород, обозначающих, словно дорожная разметка, шов гигантского надвига одной геологической толщи на другую. Породы вдоль тектонического срыва раздавлены до чешуйчатой отдельности, пропитаны кварцем и сульфидами, а сульфиды на поверхности под воздействием воды и воздуха превратились в пёструю природную ржавчину.

На пиках любят философски созерцать зоркими зелёными глазами мир у себя под ногами чубуки – величественные снежные бараны Восточной Якутии с лихо закрученными рогами. Этот зверь считается редким, но здесь иные стада насчитывают сотни особей. А мясо у него – ум-м-м-м... Поражает лёгкость, с которой иной рогач весом в полтора центнера, уходя от опасности, не просто скачет вверх, а почти взлетает по почти отвесной скале. Такой трофей не просто даётся в руки и всегда был престижным для любого охотника. Изумителен снежный баран, стоящий на скале в последних лучах солнца, когда закатный свет окрашивает его в яркое золото. Словно ожившее ювелирное творение скифов, как никто, чутко воспринимавших красоту могучих зверей.

Ягельная тундра в подножьях гор и на платообразных перевалах – прибежище для тысяч оленей, диких и одичавших (некогда отбившихся от колхозных стад и оценивших прелесть вольной жизни). Беглецы от колхозного строя отличаются светлой окраской, для дикарей не свойственной. Среди лиственниц и тальников в долинах нашли приют многочисленные сохатые.

Здешние хребты лишь недавно (в геологическом смысле, конечно, каких-нибудь десять тысяч лет назад) сбросили толстый ледниковый панцирь. Будучи и так высокими – за две тысячи метров, они, избавившись от лишнего груза, растут и поныне. Признаком этого являются многочисленные скалы, узкие каньоны с отвесными стенками, по которым то и дело гремят камнепады. Каньоны часто преграждаются фирновыми снежниками – нагромождениями плотного крупнозернистого снега, почти льда, пересыпанного камнями высотой с пятиэтажный дом. Летом у ручьёв не хватает сил целиком размыть эти преграды, и они пробивают в них тоннели длиной в сотни метров. Жутковато и заманчиво идти по такому тоннелю в сопровождении непрерывной капели, местами расширяющемуся в величественные гроты, сквозь кровлю которых пробивается голубой свет, призрачный и холодный, а стены время от времени пугающе хрустят. Иногда хруст сменяется шумом падения в воду ледяных отколов. Чем не замок Аримана, где Конан-разрушитель сражался с монстром, спасая принцессу...

Идя по здешним каньонам, следует чутко прислушиваться не только к зарождению под скальными вершинами грохота камнепадов, от которых не везде можно взобраться на противоположный склон. Знакомый геолог, Миша Шашкин, рассказывал, как однажды едва не попал под копыта перепуганному стаду оленей. Что-то потревожило их в истоках ручья, стадо бросилось вниз безостановочным потоком, стиснутым с боков вертикальными стенами,

как горная река в расщелине. Геолога спас небольшой выступ скалы, за которым он укрылся, прижавшись к стене и в течение бесконечных нескольких минут чувствуя на лице горячее дыхание бегущих в панике рогатых зверей.

Подобный рельеф в теории считается абсолютно непригодным для образования и сохранения россыпей. Но здешние кварцевые жилы местами настолько насыщены крупным золотом, что это преодолевает любые теоретические препятствия. Россыпи междуречья Адычи и Джолакага дико богаты. Будучи несколько раз перепаханными – сначала зеками, потом старателями и ещё раз старателями, они до сих пор способны преподносить сюрпризы.

Одна из них расположена в узкой, глубоко врезанной V-образной долине ручья Ванино. Название дано явно в чьей-то ассоциации с морским портом, откуда начинался путь на колымскую лагерную Голгофу. "Плотик" россыпи – скальное днище ручья, сложенный монолитными чёрными роговиками, углублён разработкой ещё на несколько метров. Для того чтобы добраться до самородков, утрамбованных потоком горной воды в глубокие трещины в скале, последним разработчикам пришлось применить буровзрывные работы. Кругом валяются глыбы взорванной породы с цилиндрическими отверстиями от шпуров под скальный аммонит. Такие работы – дорогое удовольствие, но здесь игра явно стоила свеч. Походив по плотику, выясняем, что оставшееся в западинах днища количество золота не слишком велико (хотя перед нами кто-то здесь пытался промышлять: возле ручья стоит трёхметровый промывочный жёлоб из листового железа с таким же загрузочным бункером и решётчатым грохотом от отсеивания крупных камней, с подведённым от запруды ручья пожарным рукавом для орошения водой, рядом валяются рифлёные резиновые коврики для улавливания золотин).

Что-то побуждает меня подняться на небольшую террасовую площадку, на 10 метров возвышающуюся над руслом в виде узкой смотровой эстакады. Поначалу она не производит впечатления продуктивной – плейстоценовый ледник гигантским бульдозером выпахал с неё весь речной галечник. Вдруг внимание привлекает бурая глинка, заполняющая скальные трещины, вернее, жёлтые блёстки в ней, мерцающие сквозь брызги недавнего дождя. Сковырнув одну из них обломком электрода (на любой недавно отработанной россыпи разного железного хлама больше чем достаточно), присвистываю от приятного удивления – вот оно, да ещё какое, размером с ячменное зерно.

Через пять минут терраска напоминает разворошённый муравейник. Лихорадочно мелькают кайла и ломики, носилки мгновенно наполняются грунтом. Когда первая горячка отхлынула, движение приобретает некоторую упорядоченность. Распределив обязанности, посменно расклиниваем трещины, выгребаем сланцевые плитки с глинистой примазкой, несём породу к ручью, сваливаем в бункер, над которым закреплён рукав, самотёком подающий воду.

Вечером снимаем резиновые коврики, ополаскиваем их в ведре, содержимое которого я довожу на лотке. Итого 40 граммов, из них два небольших самородка весом 5 и 3 грамма. Тот, что покрупнее, формой напоминает бегущего зайца, самородок поменьше – зерновой колос. Неплохо для неполного дня работы.

На следующий день урожай вдвое больше. Потом день за днём выход золота постепенно снижается. Когда за день работы намываем всего 20 граммов, энтузиазм угасает. В общем грех пожаловаться – из ямы размером 3x1,5x1 метр намыли 300 граммов, более 60 граммов металла на кубометр породы. Пора заняться основным геологическим делом – поиском рудных жил.

Здесь нас тоже ждут приятные сюрпризы. Кварцевые жилы, содержащие золото, известны в этой долине задолго до нашего появления. В 1948 году описаны даже рудные самородки, но в геологическом отчёте приводится обескураживающе низкое содержание – всего 4 грамма на тонну руды. Стоит взглянуть на эту жилу, тотчас возникает сомнение в достоверности этих анализов полувековой давности. Золота здесь явно гораздо больше. Больше того, видны следы "мускульной" разработки жилы. Из-за четырёх граммов на тонну никто не стал бы с ней возиться. Очень эффектны золотые "пауки", угловатые комки, занозы в молочно-белом друзовидном кварце. Особенно много видимого золота не в кварце, а в зелёно-бурой песчанистой глине, слагающей крупные линзы в полотне старой траншеи. Набрав рюкзак этой породы, осторожно сползаю с ней на 500 метров по крутому склону до ближайшей воды. После промывки наша копилка пополняется ещё на 40 граммов.

Фантастическое содержание! Жаль, нет маленького фуникулёра, чтобы спускать с горы эту руду, а каждый день таскать её на загривке по склону, пригодному для тренировки альпинистов, – не шерпы, черт возьми.

Вся эта ванинская эпопея при всей её азартности не может вытеснить из моей головы почерпнутую из разных источников информацию о заветных ручьях Юнкан и Ягыл, текущих в глубоких ущельях за два перевала к северу отсюда. Говорят, при разработке там вообще не было мелкого золота. На календаре десятое сентября. В горах зима наступает рано и внезапно. Уже сейчас по ночам стоячая вода покрывается толстой коркой. Поэтому надо спешить.

Сочетая полезное с приятным – плановые поиски руды с пристальным вниманием к россыпным недоработкам, мы имеем возможность заброситься вертолётом на старую базу старателей на слиянии Юнкана и Ягыла. Здесь осталось несколько жилых балков и баня. Рядом с баней всё истоптано оленями – их привлекает возможность полизать кучу слипшейся селитры, видимо, заменяющей им деликатесную и дефицитную для травоядных соль.

Прилетев под вечер вдвоём с Виталием Корсуковым, обживаем самый приличный с виду балок, ночью сквозь сон слышим олений топот возле кучи селитры, утром начинаем работу с Юнкана, более крупного и проходимого ручья. За день набираем с десяток проб из выходов кварцевых жил, а заодно наскребаем 40 граммов из сланцевых "щёток" – ребристых выходов слоистой породы в зачистках плотика. Очень неплохо.

На следующий день идём на Ягыл. После ясной морозной ночи идти приходится по замёрзшему руслу каньона. Как только солнце поднялось над горами, загрохотали камнепады – камни оттаяли и пришли в движение. Приходится торопливо карабкаться то на одну скальную стенку, то на другую, чтобы не попасть под скачущие обломки ороговикованных песчаников и сланцев. Зачистки плотика в нижней части каньона сплошь покрыты ночным льдом, ничего интересного найти здесь не удаётся. В средней части долины, между двумя фирновыми "плотинами", обнаруживаем уловистую сланцевую щётку. С ходу намываем с десяток граммов. Но меня неудержимо тянет подняться выше по течению. Виталий предпочитает синицу в руке журавлю в небе и остаётся разбирать щётку, а я отправляюсь дальше, переваливаю через нагромождения камней и снега, одну из преград отваживаюсь пройти по летнему тоннелю, пробитому ручьём. Наконец я в самой "головке" россыпи. Здесь почти всё днище под ночным льдом, который уже и не думает таять. С трудом обнаруживаю пятачок скального ложа, размером 5х5 метров. Рядом с ним на куче старого отвала лежит выбеленная солнцем, рассохшаяся от времени дощатая "проходнушка" – примитивный промывочный агрегат. Значит, есть резон осмотреться повнимательнее.

Ещё не дойдя до пятачка, чувствую, как у меня перехватывает горло, а в висках стучит молотком. Эти симптомы мне хорошо знакомы, и я не очень удивляюсь, увидев трещину, наискось идущую через пятачок, напоминающую нитку ярко-жёлтых бус. Вместо бусин на трещину нанизаны симпатичные угловатые блестящие комки, весом от 100 миллиграммов до 8 граммов. За час работы охотничьим ножом выскабливаю всю глинку из трещины, промываю её на лотке и получаю сухой металлический остаток весом почти 200 граммов.

Пока я орудовал ножом и лотком, тень на дне каньона сгустилась, и мой рабочий участок подёрнулся ледком от замерзающих на глазах брызг ручья. Всё, больше не судьба.

Возвращаюсь к месту работы Виталия. Он кое-что намыл. Показываю ему весомую спичечную коробку, набитую моим уловом. Он не верит глазам, снимает очки, трёт стёкла, смотрит, снова трёт стёкла, потом порывисто говорит: "Пошли туда". Говорю, что поздно. Зима нас опередила. На следующий год я узнаю от знакомых, что в эту голову россыпи ручья Ягыл забрались геологи из Якутска и нашли там самородок весом 860 граммов...

Покончив с фартом, вспоминаем об основной геологической задаче – поисках коренного источника россыпи. Такое крупное золото не может далеко оторваться от материнской жилы. Но эта россыпь – ещё та загадка. Ни на склонах, до синевы "выбритых" древним ледником, ни в обломках на дне каньона почти нет жильного кварца – обычного носителя крупного золота. Кое-где видны тонкие прожилки, толщиной с вязальную спицу, тоньше, чем те золотины, что мы намыли. Их облик совершенно не тянет на рудное тело. Правда, в скальных стенках обнажены мощные зоны вкраплённости пирита

в ороговикованных сланцах. На Урале, в Сибири и Средней Азии такие зоны пиритизации часто концентрируют золото. Но здесь, в Восточной Якутии, подобная связь отмечается нечасто. От полного отсутствия альтернативы беру бороздовую пробу с одной из таких зон. К моему безмерному удивлению, пробирный анализ покажет в ней содержание золота 5 граммов на тонну, очень приличное, если учесть мощность зоны в десятки метров. И всё же самородков это не объясняет.

К вечеру наши маршрутные пути с Виталием разошлись. На стоянку я прихожу затемно. Моего напарника ещё нет. Чтобы день закончился на самой благостной ноте, я затапливаю баню, быстро раскочегариваю печку докрасна. В это время окончательно темнеет. Тут я вспоминаю о ночном оленьем топоте вокруг бани. Перед тем как отправиться в парилку, прихватываю из балка ружье и ставлю его возле входной двери. Не успел плеснуть на раскалённые камни и пару ковшиков, как слышу топот и сопение за стеной. Раскрываю входную дверь. В темноте смутно различаю силуэты оленей, мечущихся вокруг бани, как команчи у фургона переселенцев. Не переступая порога, наудачу стреляю по движущейся тени.

Сегодня определённо мой день. Если уж везёт, то во всём. Олень летит кувырком, остальные разбегаются. Подхожу с зажжённой лучиной. Зверь умер без агонии. Утром мы его разделаем, выяснится, что я попал в сердце.

Поисковые пробы мы складируем на краю вертолётной площадки, прихватим при отлёте домой. С собой берём только банку из-под растворимого кофе, в которой при встряхивании весело позвякивают почти 300 граммов блестящих жёлтых комочков. И ещё столько оленины, сколько можем унести через два перевала. Остальное заворачиваем в найденный здесь старый тент и прячем в полуразрушенном балке. Тепла уже нет, мясо не пропадёт до нашего отлёта.

С сожалением покидаем столь удачное для нас место. Осталось перейти через два горных ручья, преодолеть два перевала и спуститься в свою долину. Но ощущение фарта окрыляет. Двадцать километров проходим на одном дыхании.

По возвращении в устье ручья Ванино обнаруживаем, что зима настигает и здесь. Вода в русле возле жилого балка ушла в землю, оставив лишь насквозь промороженные лужи. Приходится подниматься к замёрзшему водопаду на притоке ручья, где удобно скалывать лед, и доставлять воду домой в рюкзаках в твёрдом виде. Пока снег не покрыл сплошным покровом горы, мы с Виталием успели разгадать одну давнюю загадку.

За 20 лет до описанных событий некто Гера Неганов, сын первооткрывателя богатейшей индигирской россыпи Диринь-Юрях, будучи новоиспечённым техником-геологом, промывал шлихи в каменистом распадке между речками Аулачан и Дарпичан и нашёл в русле обломки сплошной массы сульфидных минералов — нечастое явление в Восточной Якутии. У него хватило потомственного чутья распознать в находке нечто ценное и наколотить с неё пробу, показавшую довольно высокое содержание золота и очень высокое — серебра. Золото-серебряная руда — обычное явление в вулканических поясах Северо-Востока, но среди глинистых сланцев и песчаников ей, по бытующим представлениям, делать нечего. Прогнозировать богатое серебро в осадочных породах в ту пору было равноценно признанию в профессиональной непригодности. Это как если бы кто-то предложил поискать изумруды в известняковых карьерах ближнего Подмосковья. На защите полевых материалов начальство от этой находки отмахнулось, самого Геру обвинили чуть ли не подлоге, он вдрызг, почти до драки разругался с маститым главным геологом экспедиции, хлопнул дверью, ушёл в старатели и с тех пор ни разу не пожалел об этом...

В один из последних относительно погожих дней выходим на острый скальный гребень, в который упирается своей вершиной означенный распадок. Ни на гребне, ни на склонах ручья нет ни одной травинки, всё пространство буровато-серых камней просматривается насквозь. Как будто нет ничего примечательного. Сползаем с гребня ближе к руслу и натыкаемся на крупные глыбы странного кварца — не белого, как обычно, а зеленовато-бурого. Цвет жильных обломков обусловлен окислением гнёзд и прожилков всевозможных сульфидов свинца, цинка, меди, мышьяка, железа. И, как потом выяснится, серебра. Содержание оного в наших пробах достигнет пуда на тонну руды.

Да ещё золота в руде столько, что и серебра не надо, чтобы возопить о поисковом успехе. Почти на километр проследим мы свал рудных обломков вдоль крупной жилы бурого кварца, рассекающей оба склона гребня, а на вершине разбегающейся в разные стороны, как щупальца осьминога.

По окончании сезона, как обычно, нудное ожидание вертолёта. Поисковых отрядов по тайге множество, а в местном авиаотряде на ходу машины две-три, да ещё заявки от оленеводов, старателей, да ещё нелётная погода через день. В ожидании "борта" отправляюсь со своей пятизарядкой вниз по ручью, в сторону Адычи. Не пройдя двух километров, замечаю на поляне могучего сохатого. Расстояние метров 150, для гладкоствольного оружия далеко. Пытаюсь поближе подкрасться по заснеженным кустам, шорох или запах на ветру, мечущемуся по долине, меня выдаёт, зверь уходит. Иду по его следам, снова вижу его на очередной поляне на той же дистанции, и опять неудача. Так я угнал лося в необъятную адычанскую долину и там потерял окончательно.

Возвращаюсь домой, спрашиваю у Шуры Петрова его карабин и снова иду на поиски мяса, которое не лишнее будет зимой, которая после всех тревожных событий в Москве, в предчувствии полного крушения империи, неизвестно какой окажется. Безрезультатно пройдя свой ручей до устья, делаю большой круг по правой террасе Адычи и опять посреди широкой круглой поляны замечаю лося, вроде помельче, но ничего, и этот сойдёт. На этот раз не пытаюсь подойти ближе, для карабина дистанция нормальная, но вот незадача. Уже темнеет, мушка не различима, сливается с контуром зверя. Вспоминаю совет бывалых стрелков, совмещаю мушку с прорезью на фоне снега чуть левее цели, плавно смещаю вправо и стреляю. Лось сразу падает. Вот удача! Положить крупного зверя с одного выстрела, в сумерках, с приличной дистанции. Даже не перезарядив оружие, в эйфории шагаю к трофею. Когда до него остаётся метров двадцать, лось вдруг вскакивает и уносится в лесную чащу.

Обескураженный таким поворотом событий, не сразу соображаю, что надо делать. Наконец, передёргиваю затвор и отправляюсь на поиски.

След ведёт в густые заросли молодых лиственниц, выросших на месте старого горельника. В них и при свете дня видимость от силы десять метров. Не успел я сделать двух кругов по лесу, как померкли последние блики света, и адычанская долина погрузилась во тьму. Кругом горбатятся чёрные выворотни корней упавших обгорелых деревьев, ночью различимые от залегшего сохатого только на ощупь. Зная, как опасен бывает потревоженный осенний лось и что он может сделать с неосторожным обидчиком, медленно пробираюсь сквозь заросли, рывком разворачиваясь со вскинутым стволом на любой шорох. Наконец, мне приходиться признаться самому себе в неудаче.

Стоило мне свернуть в долину нашего ручья, как в довершение к разочарованию на меня обрушивается холодный встречный ветер. Выстуженный на склонах гор воздух к ночи тяжелеет и стекает вниз, как вода, разгоняясь по узким долинам, словно в аэродинамической трубе. Временами его порывы столь плотные, что мне приходится идти по заснеженным валунам и корягам, ложась на ветер.

Рано утром мы отправляемся вчетвером на поиски моего, как я всё же думаю, подранка. Находим вчерашнюю поляну, цепью входим в лес. И сразу натыкаемся на тушу зверя. В десяти шагах от неё проходит след одного из моих ночных галсов. Несдобровать бы мне, будь у зверя силы ещё раз встать на ноги. Но сил у него хватило только на один рывок. Наскоро разделав не успевшую застыть тушу, тремя ходками переносим мясо в лагерь.

По возвращении в Усть-Неру выясняется, что наши коллеги из других поисковых отрядов зарабатывали свой золотой зачёт проще и эффективнее. Не пытаясь самостоятельно извлечь металл в чистом виде, они кто ломами, а кто и аммонитом разбирали рудные "столбы" в жилах – участки аномального скопления золота в кварце, в которых среднее содержание составляет от 200 граммов до килограмма на тонну руды. Отбитая на Имтачане, Люнкидали и других жилах, аномально богатых даже для Индигирки, руда вывозилась на Сарылахскую обогатительную фабрику, стоимость извлечённого там золота, за вычетом услуг фабрики и ещё много чего другого, шла в доход добытчикам. Не столь романтично, как самородки, звякающие в банке из-под кофе, но более доходно. На следующий сезон у нас намечено плановое обследование знаменитой Тунгусской жилы, попробуем и мы заработать сходным образом.

За зиму жизнь в стране в целом и нашем районе, в частности, изменилась до неузнаваемости, в чём-то в лучшую сторону, а в чём-то и не очень. Сопровождающее крушение любой империи взаимное осатанение, когда доблестью вдруг становится готовность обманывать, рвать и расталкивать окружающих, добралось и до "северов". С первых дней промывочного сезона 1992 года пошли тревожные сообщения о разбойных нападениях на старательские промприборы, не обошлось без жертв. Кто знает, чем заканчивались в это время встречи конкурирующих нелегальных добытчиков в глухих местах, где очень легко прячутся концы в воду, если и в более спокойные времена они иногда заканчивались огнём на поражение...

В свете таких веяний нам вдруг беспрепятственно стали выдавать на сезон не только разрешения на ношение гладкоствольного оружия, как правило, своего личного охотничьего, но и нарезного оружия близкого боя – пистолетов и револьверов. Геологи восприняли это новшество, как мальчишки, не наигравшиеся в ковбоев. Мне достался добрый старый наган.

В июне мы оказались в верховьях Делянкира – пограничной реки на стыке Якутии и Магаданской области. Здесь также проходит граница между эшелонами горных цепей и огромным тундровым плато. Это безлесное плато, чистай по-якутски, выпаханное плейстоценовыми ледниками, словно исполинским бульдозером, – унылая равнина, усеянная гранитными валунами с плотной бурой коркой, покрытая мхом и карликовыми кустиками полярной ивы и берёзки, открытая всем ветрам с их неумолчным разбойничьим свистом, летом превращается в прибежище домашних оленей, спасающихся от комарья. Горы по сравнению с прошлогодними адычанскими скальными пиками кажутся невысокими и внешне скучноватыми. Но в них тоже есть золото. Нас влечёт жила, кварц из которой ещё в 1942 году дробился в примитивных ступах и тут же промывался, дав дюжину килограммов золота. С жилой связана богатая Тунгусская россыпь в одноимённом правом притоке Делянкира.

Любая мало-мальски развитая долина в гористой местности – природная дробильно-сортировочная и обогатительная фабрика, и Тунгусский ручей не исключение. Разносимые течением обломки рудного кварца соударяются с другими камнями, дробятся и истираются, как в шаровой мельнице, высвобождаемые частицы золота пробиваются вниз, к "плотику" – скальному основанию россыпи, сквозь вибрирующий в потоке воды слой песка и гальки. Большой удельный вес жёлтого металла держит его свободные частицы на месте, как маленькие якоря, в то время как другие минералы медленно сносятся ниже по течению. Ежесуточные колебания температур, типичные для высоких широт (как, впрочем, и для полупустынь) помогают золотинкам расшатывать жильную оболочку – скорость теплового расширения у металла намного выше, чем у кварца. Когда дневная температура отличается от ночной на 20 градусов, золотины ведут себя подобно цыплятам в яйце. Поэтому богатейшие россыпи золота на планете сосредоточены не в благодатных тропиках, а неподалёку от Полярного круга (Колыма, Якутия, Чукотка, Восточная Сибирь, Аляска, северо-запад Канады), либо в жарких степях и полупустынях (Австралия, Калифорния, Забайкалье, Монголия).

Повинуясь планетарным закономерностям, обломки рудного кварца, вынесенные крохотным распадком с медленно разрушающейся жилы, разнеслись по долине Тунгусского ручья и сформировали россыпь, из которой добыто несколько тонн золота. Кое-что осталось и в самой жиле, ещё не срезанной под корень ветрами, водами и силой тяжести.

Поднявшись на безлесный водораздел ручьёв Тунгусского и Незаметного, на его восточном склоне замечаем следы горных работ военных лет. По жиле пройдена траншея тридцатиметровой длины, успевшая полностью засыпаться обломками пород, сползающих с вершины хребта. Чуть ниже в виде деревенского колодца с талой водой выступает из мёрзлого грунта сруб крепления разведочного шурфа. Рядом на выровненной площадке размером 20х20 метров – навал обломков кварца, вмещающих пород и глины, кварц большей частью издроблен до размера ореха.

Убедившись, что до полотна траншеи с нетронутой рудой нам не добраться, начинаем перебирать обломки кварца, оставшиеся не раздробленными в 1942 году. Тотчас убеждаемся, что любая разновидность кварца – белого друзовидного, чёрно-белого полосчатого, как бурундучья спина, яркого зелёно-синего от выцветов минералов меди, чугунно-серого от густых вкраплений

и сплошных линз сульфидов, содержит золото. Здесь не нужно никакой лаборатории и сложных анализов, чтобы убедиться в этом. Вот они, сияющие на солнце яркие соломенно-жёлтые "жуки", причудливые изломанные проволочки, угловатые зерна с пробой от 920 до 960 – почти чистое золото. До сих пор горько сожалею, что в чрезмерном законопослушании не оставил себе уникальный экспонат – кусок полосчатого кварца, из которого выползает "морская змея" – плавно изогнутая золотая ленточка длиной почти сорок миллиметров, со вскинутой вверх "шеей" и плоской треугольной головой.

Вездехода в нашем распоряжении нет, поэтому единственным транспортным средством для доставки руды в лагерь является собственная спина. Вскоре мы замечаем, что за полвека часть рудных обломков успела измельчиться в пыль, и в этой пыли присутствуют крупные золотины. Тотчас просыпается желание промыть такой замечательный грунт. Ручей шумит далеко внизу, но вода есть в шурфе, который недолго превратить в колодец. Для промывки понадобится "проходнушка".

Проходнушка – незатейливый промывочный агрегат, устанавливаемый под струю воды, старый, как суровый мир, в котором живёт золотоискательское ремесло. Дощатый жёлоб длиной метр с небольшим, сверху кладётся вогнутая перфорированная жесть или решётка – примитивный грохот для отсеивания крупных камней, на дне жёлоба – рифлёный резиновый коврик, прибитый реечными планками, и всё. На хорошей сланцевой "щётке" с глинкой по скальным трещинам в плохо зачищенном плотике богатой россыпи с помощью этого транспортируемого на плече устройства при везении можно намыть несколько десятков граммов в день. Совмещая добычу с плановыми поисковыми маршрутами, я видел несколько таких устройств на соседнем ручье Незаметном, издавна облюбованном "нелегалами". Отправляюсь туда с целью позаимствовать одну из них (вероятно, не лучший в моей жизни поступок с точки зрения того, кто доставил сие дощатое изделие за 70 километров от дороги). За две недели трудов праведных мы убедились, что, кроме нас, здесь нет никаких других хищников, ни двуногих, ни четвероногих. Поэтому я ограничиваюсь неразлучным наганом.

Выйдя в "головку" россыпи ручья Незаметного, сплошь изрытую свежими ямами вольных золотодобытчиков, взваливаю на загривок нехитрый промывочный агрегат и иду обратно по старой грунтовой дороге. И тут замечаю нечто, побудившее осторожно положить на землю проходнушку, присесть за камень и вытащить наган. На другом берегу ручья стоит дикая коза. Расстояние метров 20–25, можно попробовать достать её. Перехватив для упора на киношный манер левой рукой запястье правой, стреляю и ухитряюсь пробить навылет жертве обе лопатки. Эти места обычно изобилуют копытными, но нынче у них некстати для нас случилась какая-то миграция, и это первое свежее мясо в сезоне. Наскоро разделав добычу, складываю куски в ту же проходнушку и с приятно потяжелевшим грузом иду в лагерь.

Едва успел выйти из долины Незаметного в долину Делянкира, как вдруг слышу шум камней на склоне у себя за спиной. Вдогонку за мной вприпрыжку скачут мои соратники во главе с двухметровым Валерой Шупиковым со стволами наперевес, и вид у них одновременно воинственный и встревоженный. Оказывается, с вершины хребта они узрели неведомо чей трактор, уверенно направляющийся в тот же ручей, что и я. Ветер дул в сторону трактора, поэтому мне в шуме горного потока звук мотора был не слышен. Похватав оружие, они кинулись мне в подкрепление.

До конфликта дело не дошло. Со склона горы мои друзья увидели, как неопознанный трактор, не успев зайти в устье Незаметного, резко развернулся и ушёл обратно. Возможно, тракторист расслышал мой выстрел, решил, что заветная долина занята, и не стал испытывать судьбу. Не знал, чудак, что нынче мы ему не конкуренты. Любой из тех, кто втайне от властей рылся в золотых долинах, посчитал бы нас за психов, увидав, как мы вёдрами поднимаем талую воду из шурфа на вершине горы и поливаем ей какую-то дресву, совершенно не похожую на речной грунт. Так что вполне могли мирно разойтись. По-хорошему можно было и бутылку отдать за аренду проходнушки.

В один прекрасный день я задумал посетить забытую Богом и людьми таёжную речку с привлекательным названием Фарт. Лет за десять до этого её перепахали старательские бульдозеры, выгребли с ложа долины приличное количество золота. Я надеялся найти там бочки со шлихами – обычные

250-литровые железные ёмкости, в которые складируют концентрат с промприборов после его доводки – извлечения из него золота. Поскольку доводки без потерь жёлтого металла не бывает, то из иной бочки при повторной промывке можно извлечь до сотни, а то и более граммов "рыжухи". Всё зависит от квалификации и добросовестности доводчика. Понятно, чем ниже и то, и другое, тем больше золота может заваляться в такой бочке. Такие бочки полагалось опечатывать и отвозить на централизованную шлихообогатительную установку для доизвлечения металла, однако в нашем застарелом разгильдяйстве так делалось не всегда.

Собираясь в свой поход и памятуя о лихих людях – моих возможных конкурентах, – я экипировался, почти как персонаж вестерна. Пятизарядная автоматическая гладкостволка МЦ 21-12, надёжная и мощная, наган и самодельный массивный нож с хорошей метательной баллистикой в придачу. Сходство, по крайней мере, в моих собственных глазах, усиливала широкополая фетровая шляпа с загнутыми краями, приобретённая за 6 лет до этого в Риге, тогда ещё не чужеземной столице. Словом, "Мальбрук в поход собрался".

Для того чтобы попасть в заветную долину, мне пришлось преодолеть два горных перевала и пройти 17 километров в один конец. Это если мерить на карте по линейке. Верховья Фарта оказались настоящей чащобой – узким распадком, сплошь заросшим густой лиственничной порослью и тальником вдоль русла. Скверную проходимость местами скрашивала лишь натоптанная звериная тропа. К отработанному старательскому полигону я вышел под вечер.

Старатели прежних лет работы оказались рачительными людьми и никаких шлиховых бочек мне не оставили. Но в плотике – зачищенном бульдозерами скальном ложе долины – обнаружились симпатичные прожилки кварца с сульфидами. Я уподобился гончей, взявшей след, в надежде, что полоски кварца в скале, подобно нити Ариадны, приведут меня к рудному "столбу" – скоплению жильного золота. При этом то и дело поглядывал вниз по течению, в сторону слияния Фарта с крупной рекой Артык, откуда, по моим представлениям, могли явиться нежеланные гости. Постепенно убедился, что в долине, кроме меня, нет ни одного двуногого существа. К вечеру распогодилось, тёплый ветер со стороны Артыка выдул с полигона всех комаров и прочий гнус, и я не упустил редкую в июльской тайге возможности позагорать, не боясь быть съеденным заживо. Раздевшись до трусов, сбросив опостылевшие, отсыревшие от пота болотники, аккуратно сложил свою одежду и обувь между терриконами промытой породы, сверху пристроил всё своё грозное оружие и с азартом принялся прослеживать жильную зону на зачищенном скальном плотике, чёткую, как линия судьбы на ладони.

Рудного столба я так и не нашёл, а может, просто не успел дойти до него. Внезапно до моего слуха донёсся перестук камней. Звук исходил сверху долины, откуда я пришёл сам и не ждал никаких сюрпризов. "Наверное, олень прошёл", – успокоил я себя и продолжил свои поиски. И вдруг настолько явственно ощутил чей-то взгляд на своей спине, до озноба по хребту, что понял: это не олень. Резко обернувшись, увидел чью-то голову, мелькнувшую над терриконом, со шляпой вместо рогов. Потом над камнями приподнялись ещё две. Над тем самым терриконом, за которым аккуратно сложены мои одежда, сапоги и оружие. Всё, кажется, влип в переплёт.

Мгновенно разыгравшееся воображение услужливо нарисовало картинку, заимствованную из "Белого солнца пустыни", – небритый тип крутит на пальце мой наган и вопрошает: тебя как, сразу, или сначала чтобы помучился. И нет во мне киношной лихости товарища Сухова, чтобы выпутаться из беды, и никакой Саид не придёт на помощь. Неоткуда ему взяться на речке Фарт. Бежать бесполезно – на открытом полигоне я как на ладони. Да и далеко ли пробежишь по горной тайге, кишащей комарами, в трусах и босиком?

Делать нечего, с гулко бьющимся сердцем, на ногах, свинцовых в ожидании возможной расправы, иду навстречу людям, завладевшим моим имуществом. В голове крутится мысль: как они смогли обойти меня сверху? Медленно обхожу террикон, скрывающий невесть откуда взявшихся незнакомцев, – и гора с плеч. Чуть не задохнувшись от облегчения, вижу трёх якутов. Или эвенов. С одного взгляда их не различить. Рядом с ними – осёдланные кони. Всё, можно расслабиться. Эти ребята могут быть дурноваты в бытовой пьянке, поссорившись, способны и за ствол схватиться, но чтобы нападать на горняков, геологов – такого сроду не было, наверное, и не будет.

Пришельцы тоже с любопытством разглядывают одинокого незнакомца, полуголого и босого. В тайге такого не часто увидишь. Называю себя, свою должность и организацию. Один из них, как выяснилось, эвенов – пастухов из посёлка Сасыр, что на далёкой реке Мома, – с некоторым недоверием не то спрашивает, не то утверждает, что геологи в одиночку не ходят. Ишь какой грамотный на мою голову выискался. Не рассказывать же ему про мою застарелую слабость к нарушению ТБ. И про то, что теперь такие времена, что наших традиционных маршрутных спутников, студентов-практикантов, днём с огнём не сыщешь. На всякий случай говорю им, дескать, мой напарник идёт маршрутом вон по тому хребту слева от долины, скоро должен спуститься. Кажется, про напарника они так и не поверили.

Развели костерок, поставили чайник. За чаем пастухи рассказали, что идут на поиски откола от оленьего стада. В долину Фарта они спустились по моим следам. Увидев свежие отпечатки сапог на влажном мху, насторожились, тоже зная о лиходеях в тайге. Потом обнаружили мою одежду и оружие и успокоились – один незнакомец, полуголый, босой и безоружный, им не опасен, кто бы он ни был.

Чтобы окончательно развеять их сомнения, достаю из своей офицерской сумки карту, предложив обсудить на ней возможный путь отбившихся оленей. Расчёт мой прост – пастухи сообразят, что карта с грифом "Секретно" кому попало в руки не попадает. Когда чай поспел и последний ледок недоверия растаял, сменившись взаимной симпатией, заговорили о жизни и странных новых веяниях в ней. Один из пастухов заметил: "Если все украинцы убегут отсюда в свой Донбасс, а русские – в свои центральные районы, плохо нам тут жить будет".

На дворе был 1992 год, по всему постсоветскому пространству кипели суверенные страсти, по окраинам рухнувшей сверхдержавы уже вовсю лилась кровь во имя Чистоты Нации и Свободы от русских (а также абхазских, осетинских, азербайджанских, армянских и прочих) оккупантов. Кое-кто и Якутске кричал, дескать, вот добьёмся полного суверенитета, заберём себе все алмазы, и никаких проблем, раз в год слетаем в Лондон с чемоданом, и все дела. Слушая пастуха, я подумал, насколько благоразумнее политиков бывают обычные люди, в своей простой и привычной работе не утратившие здравого смысла.

Помахав рукой вослед новым знакомым, взглянул на часы – уже десятый час. Пора собираться домой. Эйфория оттого, что внезапная тревога так же внезапно рассеялась, была столь велика, что обратный путь в ночной туманной мороси с рюкзаком, набитым камнями, оказался легче ожидаемого.

Старательство

В ходе "шоковой терапии" геологическая служба на Северо-Востоке начала стремительно разваливаться. На её обломках возникли небольшие старательские артели, с переменным успехом добывающие в год от 20–40 килограммов до центнера золота, используя накопленную за много лет геологическую информацию и поисковый опыт. Пока цена на золото пыталась поспевать за общим ростом цен, большинство этих мелких фирм чувствовали себя довольно сносно. Всё изменилось в недоброй памяти 1996 году, когда к поражению в Чечне и переизбранию больного Ельцина добавился пресловутый валютный коридор с его эфемерной стабилизацией рубля. Это когда цены на энергоресурсы за полгода выросли вдвое-втрое, превысив зарубежные (в Магадане в тот год стали закупать бензин и солярку в США, обходилось дешевле), а цена на золото стояла, как привязанная. Мор среди золотодобывающих предприятий прошёл тогда по всей стране, от Урала до Чукотки. Многие так и не оклемались. Эту судьбу разделило и предприятие, созданное с участием автора этих строк.

Стартовый капитал для его создания был заработан незатейливой по простоте операцией по разработке рудного столба на одном из жильных месторождений. По прошествии времени можно признать, что операция была по сути браконьерской. Без всяких разрешений зачистили бок жилы в самом богатом месте и вручную нагрузили два десятка бочек рудой, отправленных через посредников на районную обогатительную фабрику, где из них было извлечено что-то около трёх килограммов золота. Но совесть меня не мучит.

Нельканский прииск, вскоре взявший лицензию на разработку этой жилы, обошёлся с ней настолько безобразно, что из восьмисот разведанных килограммов золота в товарный концентрат извлёк только семьдесят пять, остальные рассыпал по склону с обломками кварцевой руды, рассеял по дороге и утопил в пруде-отстойнике после скверного по качеству обогащения на модульной установке, слепленной на скорую руку дилетантами в этом деле. Часть жилы по головотяпству осталась вовсе не разработанной. В общем, испортили месторождение. А небольшая фирма, возникшая с помощью тех "браконьерских" килограммов жильного золота, худо-бедно за три года своего существования дала 120 килограммов – вполне приличный результат, если мерить не по якутским, а южноуральским меркам.

Нам дали лицензию на разработку россыпи в небольшом ручье, впадающем в Интах. Такие россыпи, несколько раз перемытые, принято называть техногенными. Первую тонну золота здесь добыли зеки, потом трижды или четырежды прошлись старатели. К моменту нашего появления ни одного килограмма достоверных запасов золота на ней не осталось, поэтому особых проблем с получением лицензии не возникло.

Деньги, заработанные на "левой" руде, ушли на оформление лицензии и других необходимых разрешений, а имущество, необходимое для начала работ, – балки для житья, старые бульдозеры и прочее железо – приобретено с помощью нашего снабженца Юры, у которого вдруг прорезался незаурядный талант "вить из песка верёвки".

Пройдясь с лотком по бортам долины, старым отвалам вскрыши и промытых песков, я пришёл к выводу, что при наличии техники всю эту долину следует перепахать от стенки до стенки – золото есть везде, в том числе и там, где старые разведки дали почти нулевой результат. Грех за это обижаться на шурфовщиков Дальстроя, полумёртвых от голода и каторжной работы. Ещё один из бородатых классиков марксизма-энгельсизма справедливо заметил, что труд рабов был крайне непроизводительным. Не ведая, что в безбожном государстве, созданном по марксистским рецептам, такой труд обретёт былой размах. Лагерная золотодобыча на Северо-Востоке, намного превзойдя по масштабу древнеримские арургии в Пиренеях, по производительности труда, его качеству и технической оснащённости недалеко ушла от античного рабовладения. Возможно, римляне были даже более человечны.

Промывая бортовые, кровельные и плотиковые недоработки шахт 1940-х годов, вместе с обильными самородками мы находили стреляные пули от нагана, деформированные от удара в грунт. Вероятно, стрельба поверх голов, а то и на поражение, была действенным стимулом для труда шахтёров с порядковыми номерами на спине.

Итогом нашей разведки и выборочной разработки стал вывод, что золото с промышленной концентрацией в долине есть повсюду. Выяснилась и ещё одна причина неудач старых разведок – распределение россыпного металла, не просто неравномерное, а в высшей степени неравномерное. Здесь удаётся наткнуться на "гнёзда", где золото можно собирать пинцетом, без всякой промывки. А в двух шагах сколько ни полощи в лотке грунт, с виду точно такой же, не поймаешь ни значка. Никакая шурфовка, никакое бурение такую россыпь надёжно не оконтурят – попробуй попади редкими выработками в такое гнездо. Только сплошная промывка всей горной массы из разведочных траншей вкрест долины, а еще лучше опытно-промышленная разработка небольших полигонов дают в таких случаях достоверное представление об истинной золотоносности. И ещё, конечно, тренированная интуиция, этот прямой и безошибочный метод познания, равноправный со всеми прочими, генерируемая длительным напряжением мозга, комбинирующего, словно детские кубики, груды разрозненных фактов, пока они не сложатся в неожиданно яркую и цельную картину, не оставляющую сомнений для исследователя. Но интуиция, чутьё, нюх, озарение, шестое чувство – это настолько неуловимая субстанция, что в обоснование проекта разработки её не положишь. В этом её главный недостаток. А вообще в геологии, прежде всего, нужны люди с развитой и тренированной интуицией. Человеку, лишённому воображения, в поисковом ремесле делать нечего.

Особенностью россыпного золота в нашей долине было обилие небольших (до 20–30 граммов) самородков, необычайно разнообразных по форме – слабо окатанные кубики, пирамидки, "улитки", причудливые комки, изломанные

пластинки и проволочки, “звериные головы”. Один самородочек весом 5 граммов я назвал “Профиль Маркса”. Он удивительно напоминал хрестоматийный портрет человека с орлиным носом и окладистой бородой, с крапинкой чёрного сланца в качестве глаза. Когда я упаковывал эти неповторимые природные раритеты в посылки для отправки фельдсвязью на аффинажный завод, то чувствовал себя кем-то вроде вандала-конкистадора, плавящего в однообразные слитки уникальные ювелирные творения инков и ацтеков. Надеюсь, после ликвидации нашего не очень серьёзного предприятия долина с таким удивительным металлом не будет лежать бесхозной до скончания веков. По моим расчётам, здесь можно взять до тонны золота с вполне приличным содержанием. Были бы добротная техника, оборотные деньги на раскрутку работы и головы на плечах у грядущих горняков.

Кроме россыпного золота, наше предприятие, раздобыв небольшие дробилки и концентрационный стол, занялось добычей и переработкой мелких кварцевых жил с высоким содержанием золота. Таких жил здесь много. Будь они расположены на Урале, их давно бы уже выгребли подчистую. А здесь, за редким исключением, они долго лежали невостребованными, в ранге непромышленных рудопроявлений, пока до них не добрались геологи, правдами и неправдами пытавшиеся доказать свою полезность в эпоху странных экономических ориентиров на финансовые пирамиды и другие подобные либеральные ценности.

Способ разработки таких жил простой. Во вмещающих породах жилы, в её висячем боку проходится продольный разрез. Жилу мощностью от 10 сантиметров до метра в стенке разреза зачищают, аккуратно взрывают и складируют для вывоза на переработку. Наряду со своей собственной рудой мы без лишней огласки принимали на переработку руду, добытую из рудных столбов моими вчерашними коллегами из экспедиции, которым надоело сдавать её за бесценок через вороватого директора геологического предприятия.

Незабываемое зрелище — работа концентрационного стола по обогащению ураганно богатой золотой руды. Открытая столешница с небольшим наклоном, покрытая обыкновенным линолеумом, прибитым тонкими рейками, обрезанными с торцов по диагонали стола, ритмично раскачивается. Раздробленная до размерности муки руда подаётся на стол с потоком воды. Частицы безрудных минералов в такт движению послушно перескакивают через рейки до края стола и сносятся по жёлобу в отвал. А золотинки, частью такие тонкие, что отдельную и не разглядеть, сплошной ленточкой движутся вдоль обреза реек к нижнему углу стола. Как дисциплинированные жёлтые муравьи в сопровождении серых мошек сульфидных минералов. Вряд ли мне ещё доведётся увидеть что-то подобное, такой руды на планете больше нет...

Метаморфозы

В начале 1990-х годов, перевернувших не только уклад жизни, но нередко и ориентацию людей между полюсами Добра и Зла, со многими милицейскими борцами с незаконной добычей золота стали происходить метаморфозы. Иногда безобидные для окружающих, как это случилось с опером-ОБХССником Толиком Рыжевским, от общения с вольными искателями фарта вдруг презревшим сыскное ремесло и пополнившим ряды своих вчерашних клиентов. Несколько раз он попадался с поличным своим бывшим коллегам, но всякий раз сухим выходил из воды. В конце 1990-х, уже покинув Якутию, я однажды лишился дара речи от удивления, узрев его физиономию на экране телевизора в программе “Вести”. В той передаче речь шла о первых попытках властей легализовать золотой промысел физическими лицами, выведя его из кавказской “тени”. Выходило, как в знаменитом афоризме Виктора Черномырдина: “Хотели, как лучше, а получилось, как всегда”. Толик Рыжевский с присущей ему манерой человека, который раз и навсегда разучился чего-нибудь бояться, посетовал в передаче на всю страну, что в кои-то веки хотел сдать намытое в тайге золото в государственную кассу, но в ней нет денег, и придётся опять идти к ингушам.

Гораздо страшней была метаморфоза с начальником следственного отдела РОВД, молодым капитаном Эдуардом Прокопом. Будучи уроженцем Усть-Неры, прожив в ней всю жизнь, кроме армии и училища, он был известным человеком. Хороший профессионал, депутат поселкового Совета, спортсмен,

симпатичный с виду мужик. В служебном кабинете у него рядом со столом стояла двухпудовка, и в руки он её брал не реже, чем авторучку. Я был знаком с ним по играм в демократию на сессиях поссовета и по спортзалу. Коренастый крепыш с волевым подбородком и внимательным, чуть ироничным взглядом, он вызывал доверие. Единственное, в чём иной раз проявлялась некоторая его "отмороженность" — на болевой приём лучше было к нему не попадаться, даже на спортивном ковре. В 1993 году он вдруг ушёл из милиции, в обстановке всеобщего бардака сумев прихватить с собой, как потом выяснилось, свой табельный ТТ. По слухам, его стали видеть в обществе нелегальных добытчиков.

Прибежищем последних стал заброшенный посёлок Угловой на ручье Базовский, что впадает в Эльгу. Когда на Базовском домыли последние килограммы из восьми тонн балансовых запасов золота, разведанных в послевоенные годы, людей из посёлка переселили, свет отключили, дорога заросла травой. Посёлок стал очередным призраком золотой северной эпопеи. А потом появились сообщения, что он вновь обжит, на этот раз какой-то тёмной публикой. Власти несколько раз побуждали РОВД разобраться с неподконтрольным им населённым пунктом, правоохранительное ведомство требовало поддержать эту акцию ротой ОМОНа и бронетехникой в придачу. Не получив ни того, ни другого, в Угловой местная милиция соваться не решилась.

Осенью 1993 года мой друг Володя Зяблецов гнал из тайги вездеход по грунтовой дороге, проходящей через Угловой. Проезд через посёлок-призрак крепко ему запомнился. Ещё не доехав до крайних домов, он увидел дым над печными трубами — кто-то здесь и вправду живёт. Едва вездеход загремел по улице, двери домов, как по команде, распахнулись, и наружу вышли совершенно не призрачные незнакомцы мрачного вида со стволами в руках. Как на очень Диком Западе. Неизвестно, чем мог закончиться контакт с этой публикой, но тут из дома, что выглядел лучше сохранившимся, вышел не кто иной, как сам Эдуард Прокоп, в отличие от других обитателей посёлка гладко выбритый, пахнущий дорогим одеколоном, в белой импортной футболке, через которую эффектно переброшена портупея с ТТ. Выйдя на дорогу, он властным жестом остановил вездеход. Узнав Прокопа, Володя несколько успокоился, вышел из вездехода, поздоровался с ним, немного поболтал о ранних морозах, охоте, полевом сезоне. Потом Прокоп попрощался с ним за руку и пошёл домой, дав отмашку остальной публике, внимательно следящей за этой встречей. Небритые вооружённые типы тотчас послушно разошлись по домам, и Володя с изрядным чувством облегчения погнал вездеход дальше.

А через два года я с изумлением и ужасом узнал, что за Эдуардом тянется кровавый след. Когда он попался, на следствии выяснилось следующее. Поработав немного с кайлом и проходнушкой, Прокоп быстро решил, что это не его удел. Присущая ему властность выдвинула его в некоторое подобие бригадира нелегальных добытчиков. Обзаведясь деньгами и пресытившись жизнью в таёжном посёлке-призраке, он вернулся в Усть-Неру в качестве перекупщика "рыжухи". А потом метастазы вседозволенности эпохи криминального либерализма разрослись в нём настолько, что расплачиваться с бедолагами, приносившими из тайги мешочки с золотым песком ему на продажу, он стал из своего ТТ. Происходило это на окраине Усть-Неры, трупы жертв он со своим подельником вывозил в ближайший лес. На его несчастье, один из застреленных людей оказался поразительно живучим. Придя в лесу в сознание, он сумел доползти до дороги, где его подобрали и живым довезли до больницы. Самое невероятное, что подельником Прокопа оказался Володя Козлов, наш экспедиционный работяга, доселе жизнерадостный приветливый мужик с широким улыбчивым синеглазым лицом Деда Мороза с новогодней открытки. Если исходить из библейской философии, что человеческие души — поле битвы Добра и Зла, то следует признать, что в 90-е годы Добро на этом поле было изрядно битым...

Главным просчётом Прокопа было то, что он стал волком-одиночкой. Иные его коллеги, более дальновидные, из милиции не увольнялись, в тайгу не уходили. Оставшись при должностях и кабинетах, они просто установили свой контроль над нелегальным оборотом золота, немало в этом преуспев. Для них вывод золотого промысла из "тени", о чём так много говорят в последнее время, — кость в горло.

Послесловие

Башкирия, где я живу уже семь лет, – замечательное место. И для жизни, и для работы, и для души людей, не заскорузлых до нечувствительности к красоте окружающего мира. Но ностальгия по Северу – не досужий вымысел и не журналистская красивость. Это что-то вроде "ломки", когда вдруг иссяк привычный эмоциональный наркотик. Обостряется эта ломка обычно весной, когда от криков перелётных птиц вдруг охватывает привычная радостно-смутная тревога в предчувствии событий и испытаний грядущего сезона. И хочется лететь вслед за птицами над необъятной страной туда, где и снег растает нескоро, и зима придёт раньше, чем в умеренных широтах.

А потом приходит трезвое понимание, что теперь наступила другая жизнь. Более прагматичная, более расчётливая, более осторожная, более скупая на эмоции, более тревожная. В повседневной суете и заботах постепенно гаснет это неясное волнение. Но иногда приходит непрошеная гостья – память об инопланетных горах, равнинах, реках, удивительных событиях и необыкновенных людях. Среди бела дня урбанистический пейзаж перед глазами может вдруг качнуться, поплыть, и вместо кирпично-панельных коробок перед глазами встанут призрачные всполохи зеленоватого света в облаках над холодно-синим горным озером. Сверкающее на солнце расплавленное золото осенних лиственниц на склонах могучих хребтов. Непостижимо клубящееся сияние неба в разрыве низких грозовых туч над ущельем, словно Дыра Времени на грани настоящего и прошлого. Оранжево-багровые блики ночного света в стремительных струях воды. Радужная колоннада над вершинами, с которых порыв ветра сбросил искристую снежную пыль. Шеренги суровых каменных воинов, высеченных неутомимым скульптором – Природой на вершинах гранитных гольцов. Идущие за горизонт цепи гор, освещённые сиреневым мерцанием стылого неба. Лица людей, которых уже не суждено увидеть. Сквозь шум уличного движения пригрезится свист ветра в расщелинах скал, гулкий топот бегущего оленьего стада, рокот камней в горном потоке, а в неоновом мельтешении рекламы – мерцание заветных минералов.

Сколько подобных людей рассеяно по стране? Приученных работать больше лошади, потому что в этом найден смысл жизни, способных с привычной невозмутимостью переносить холод Арктики и зной пустынь, давно разучившихся удивляться невзгодам и опасностям. Лишь одно до сих пор воспринимающих болезненно – не слишком большую востребованность своего ремесла по нынешним временам. Наше непредсказуемое государство вдруг решило, что при таком стремительном продвижении к рынку оно не нуждается в восполнении запасов стратегического сырья, ныне столь же стремительно проедаемых в уверенности, что нынешнему поколению вальяжных менеджеров их хватит под завязку. Но сохранится ли такая уверенность лет через десять-пятнадцать? И найдётся ли кого собрать в эффективные команды по обнаружению нефти, урана, золота, редких металлов, когда запасы иссякнут, а иллюзия альтруизма окружающего мира окончательно развеется? Не придётся ли выкликивать своих последних профессионалов в поисковом деле по монгольским степям и перуанским плоскогорьям?

Уфа, 2005 год

ЛЕОНИД ПАВЛОВ

“ПОЮЩИЕ ПЕСКИ”

Много есть в мире загадочного и неизведанного, удивительного и необъяснимого. Одним из таких природных феноменов являются поющие пески.

Пришлось как-то мне посетить геологическую партию, ведущую поиски на юге Казахстана, в ста километрах от Алма-Аты, на правом берегу реки Или. Работали мы в кернохранилище, в камералке, но иногда выезжали и в поле на поисковые скважины. Какой геолог удержится, чтобы не посмотреть свежий, только что поднятый керн*, описать, опробовать его и сравнить с полученными результатами по соседним профилям.

Выезжали в поле мы всей командой, а сопровождал нас обычно Леонард Фёдорович Андреюшкин, мой старый знакомый, с которым мы разбивали первый поисковый профиль на этом месторождении. На этот раз нас заинтересовал самый южный участок, на котором в четырёх километрах к северу от реки Или геологи вскрывали руду на глубинах около семисот метров. К двум часам дня мы закончили работу на скважине и решили перекусить на берегу реки.

Места эти мне были хорошо знакомы ещё по концу семидесятых годов, когда одновременно с поисками руды мы осваивали здесь самые удачные рыболовные угодья. Это были самые любимые места отдыха всей партии. Весной, в первое воскресенье апреля, а это святой для нас праздник – День геолога, – сюда съезжались все, от мала до велика, устраивали всяческие соревнования, ловили рыбу, жарили шашлыки, распевали песни и распивали предосудительные напитки...

На обед мы расположились на высокой ровной террасе, под старой раскидистой джидой. Земля под ней была устлана мягким ковром прошлогодних листьев. Хорошо! Понизу ветерок освежает, от солнца крона свой зонтик раскрыла. На западе, не доходя километра два до берега, вздымается крутой обрыв Большого Калкана, на севере темнеет гряда низкогорья Кату, ниже в тридцати метрах величаво несёт свои мутные воды красавица Или, накрытая сеткой солнечных бликов.

Алихан впервые попал в эти места, и поскольку любопытство оставалось одной из главных черт его натуры, никогда не стеснялся мучить вопросами знающих людей. И надо сказать, это всегда меня радовало в нём: умение искренне удивляться и задавать всякие вопросы. Иногда довольно умные.

– Григорьич, я где-то читал, что на правом берегу Или, в районе Калкан есть знаменитый “Поющий бархан”. Туда даже туристов возят за бешеные бабки. Что это за хрень? Он далеко отсюда? Что, он действительно поёт?

---

* Керн – образец горной породы, извлечённый из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения. – **Ред.**

— Поёт, поёт. Только не рок и не блюз; он гудит, как бомбардировщик на взлёте. Но не каждый день. Зимой он молчит, как партизан, а вот летом, в самую жару, в июле-августе при сильном ветре он и устраивает свои концерты. Да он здесь не один, их здесь несколько, целый песчаный массив, который так и зовётся — Аккум-Калкан. Здесь все Калкан: Улькен — Большой, Киши — Малый и Аккум — Белый песок соответственно. Местная достопримечательность. Я был на Песках раза три, но всё неудачно как-то — ветра не было. Он здесь недалеко, километра три будет, но отсюда не видно, южный скат горы перекрывает. Как раз между двумя Калканами бархан и располагается. Но это уже территория заповедника, туда без спроса ходить не рекомендуется. Ты, Леонард, наверняка бывал там не раз?

— Ездили, а как же. Один раз целую делегацию из Москвы возили, но с погодой не повезло. Ветер был подходящий, но накануне дождь прошёл, и песок был мокрый. Вон там, за бугром, на границе заповедника егерский кордон стоит, егерь там и живёт с семьёй. Его я хорошо знаю, он часто приезжает к нам то в магазин, то по своим каким-то делам. В прошлом году здесь такой переполох был, чуть дело до суда не дошло. Один буровик, му...к, по пьяни заскочил на территорию на мотоцикле, да ещё с ружьём. Погнался за каракуйрюком*, ранил его даже, а егерь его прищучил.

— Подсудное дело. Буровика с работы выгнали, еле отмазались. Сейчас наши боятся даже соваться туда без разрешения.

— Леонард Фёдорович, время у нас есть, погода хорошая, может, проскочим до кордона? Если хозяин на месте, договоримся, пусть ребята посмотрят на чудо природы.

Алихан с водителем даже заёрзали в предвкушении. Как же так, быть рядом со знаменитой Поющей горой и не побывать на ней? Люди вон за тысячи километров едут, платят громадные деньги, а тут на халяву! Будет что вспомнить...

— Ну, поехали, попробуем.

Леонард сел в кабину показывать дорогу, а мы с Алиханом — на мягких сиденьях в будке. Дорога была приличной, но частые промоины не позволяли водителю и пассажирам расслабляться. Перевалив пологий бугор, мы въехали на охраняемую территорию. В километре от границы находился кордон, резиденция егеря Калканского государственного заповедника. Участок обнесён забором, в глубине двора виднелся большой деревянный дом, какие-то хозяйственные постройки.

Мы с Леонардом прошли в калитку и с большой опаской (а вдруг злая собака!) двинулись к дому. На шум машины на крыльцо вышел рослый юноша лет пятнадцати. Подошли, поздоровались, с Леонардом они были знакомы раньше.

— Стёпа, а отец дома?

— Отца нет, утром уехал в район, вернётся только завтра.

— Тут такое дело, Степан. В партию приехали геологи из Алма-Аты, наши хорошие знакомые. Наслышаны о наших достопримечательностях. Завтра собираются уезжать, а сегодня решили посмотреть на знаменитый Поющий бархан.

— Так молчит бархан, погода неподходящая, ветра нет. Он у нас редко разговаривает, только при сильном ветре, да и то с севера и с запада. А при восточном ветре, даже в бурю, молчит, как рыба. Вы же были у нас, Леонард Фёдорович, дорогу знаете. Проезжайте, покажите гостям, что к чему, а я не могу оставить кордон, мне ещё живность кормить надо.

— Спасибо, Степа. В партию мы хотим вернуться северной дорогой, проскочим между Калканами. Там буровая наша, надо заехать.

Минут через десять по хорошо накатанной дороге, изрытой промоинами, мы подъехали к величественному природному сооружению. Все пассажиры высыпали из машины. Для нас с Леонардом этот вид был знаком, а вот джигиты мои пооткрывали рты, задрав головы вверх.

— Ни хрена себе куча! Где они столько песка насобирали?

Бархан действительно выглядел впечатляюще. Мы были возле самой крупной песчаной гряды, высотой не менее восьмидесяти метров, вытянутой в северо-западном направлении почти на километр, юго-восточный борт

---

* Местное название джейрана. — **Ред.**

у неё подветренный, поэтому крутой. С наветренной северо-западной стороны подъём на бархан более пологий, изрытый дефляционными воронками, то есть воронками выдувания. Второго, более низкого бархана, примыкающего к основному с севера, с нашей стоянки было не видно. Алихана заинтересовал один момент в расположении и ориентировке песчаных гор.

— Григорьич, то, что барханы расположены между двумя горами, между Калканами, мне немного понятно, но почему они стоят так нараскоряку, до меня не доходит. Река Или бежит в широтном направлении, в этом же направлении — обрывы Калкан, а бархан как-то сикось-накось, градусов под шестьдесят к ним. На берегу Или все пески вытянуты вдоль берега, а здесь что произошло?

— Ты геолог, ты должен понять. Посмотри внимательно на горы. И Улькен и Киши-Калкан — это один горный массив, но разорванный северо-западным тектоническим разломом на две неравные части. Разлом этот — типичный сбросо-сдвиг, причём западный блок, Киши-Калкан, сдвинут на юго-восток почти на полкилометра. Ты видишь, оси хребтов параллельны друг другу, но не совпадают по простиранию почти на пятьсот метров. Улькен находится дальше от реки. Барханы — это эоловые образования, они формируются под воздействием ветра, причём располагаются они всегда поперёк преобладающего направления воздушных потоков. Крутые склоны находятся с подветренной стороны. Основные направления ветров в этом районе — западное, юго-западное и северо-восточное. Поскольку крутой склон бархана ориентирован на юго-восток, то он может быть образован только северо-западным ветром. Вроде несуразица какая-то получается, если забыть о расположении двух частей горного массива относительно друг друга. Западные ветры, наиболее сильные и частые, дующие вдоль долины и зажатые с севера горами Шолак и Матай, через естественные ворота между Калканами обрушиваются вниз, в Илийскую долину, меняя при этом направление на северо-западное. Вот поэтому, Алихан, наши барханы и стоят нараскоряку, как ты говоришь. По карте это видно хорошо, а в натуре с одной точки всего не узреешь.

— А чего они такие музыкальные? Барханов в Казахстане, как собак нерезаных, а поёт один. И слава вся ему.

— Точнее, он не поёт, он ревёт, как бешеный, но только его надо рассердить. Всё дело в составе этого песка и в его сортировке. Посмотрите на его цвет — он белёсый, с небольшой желтизной, потому что процентов на девяносто пять состоит из кварца. Остальное — примесь полевых шпатов, других кремнистых пород. И сортировка почти идеальная: содержание фракции 0,05–0,5 мм превышает девяносто процентов.

О причинах звучания песка существует много догадок. Однако все они относятся к нежному поскрипыванию песка при его движении, но не объясняют гула. Мне кажется, что гул песка — звук, очень похожий на рёв реактивного самолёта, — можно объяснить следующим. В любом бархане на небольшой глубине образуется слой уплотнённого влажного песка. Весной после дождей, а также осенью он смыкается с поверхностным, тоже влажным слоем — и тогда бархан становится немым. Летом в жару песок сверху высыхает, влажный слой, возникающий вследствие конденсации влаги из воздуха, залегает глубже, но под ним снова идёт сухой песок. Когда по бархану течёт песчаная лавина, то верхние слои песка, испытывая меньше трения, обгоняют нижние, при этом возникает своеобразная, хорошо заметная волнистость поверхности. Она передаётся толчками на слои влажного песка, и он, как дека музыкального инструмента, резонирующая от колебания струны, начинает вибрировать, издавая характерный гул.

Между прочим, когда такой песок привозят для изучения в лабораторию, он замолкает. Но если его поместить в герметически закрытый сосуд, он снова начинает звучать. Почему? Пока можно только высказывать предположения.

Таких чистых песков в обычных пустынях не бывает. В мире известны ещё несколько песчаных гор, подобных нашей, но их единицы. А в Казахстане Аккум-Калкан единственный и неповторимый. Звук возникает при трении кварцевых песчинок между собой, когда сильный ветер начинает перемещать песок по поверхности. Особенно сильный рёв начинается тогда, когда бархан начинает куриться и песок стекает по крутому склону. Ну, всё, ребята, я рас-

сказал, что знал. Алихан, а вы не хотите с Булатом забраться на эту гору?

— А чего мы там забыли? Бархан-то молчит, как покойник.

— Ну, как-то так принято. Все, кто приезжает сюда в первый раз, обязательно карабкаются наверх, а потом спускаются оттуда на пятой точке.

Поднимаемся на бархан по острому песчаному гребню. Поднимаемся медленно, шаг за шагом. И кажется, что идём по узкому коньку крутой крыши. Песок то странно поскрипывает под ногами, словно скрипучий снег на морозе, то с шорохом ползёт из-под ног, и ветер тогда целыми пригоршнями швыряет его в глаза.

Больше всего хочется пить.

Горячий ветер засвистывает в ушах, да на зубах поскрипывают песчинки. И рыжие космы песчаной позёмки текут и текут по склонам, полируют их, гладят, кидают к вершине тучи песка. И вершина курится, как вулкан.

ИГОРЬ ШУМЕЙКО

“НУЖЕН ЛИ РОССИИ ЕЁ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?”

Размышления о новой повести Вячеслава Щепоткина “Билет на поезд к вечной мерзлоте”.

Внимание: отправляется поезд. Геостратегический поезд. Направление – Дальний Восток... Пассажиры – мы с вами. Даже те, кто прочитает новую повесть Вячеслава Щепоткина, не покидая дивана в Москве, в воронежском селе, в посёлке под Самарой, в Петербурге... – всем нам суждено проделать этот маршрут...

Но чем тут, в столь глобальной задаче, как удержание российского Дальнего Востока, поможет повесть? Что вообще может сделать “печатное слово”, даже талантливое, искреннее и горячее? Есть у меня ответ скептикам, а отчасти даже и самому себе.

В царствование императора Николая I страна готовилась отпраздновать очередной юбилей династии Романовых. Не самый “круглый”, пышный, но всё же юбилей. Кому-то он дал повод праздновать, а писателю Николаю Полевому – опубликовать в журнале “Северная пчела” знаменитую статью: некий перечень главных приобретений и потерь России за время царствования Дома Романовых. И наиболее тяжкой потерей Николай Полевой назвал уступку Приамурского края по Кяхтинскому (Нерчинскому) договору 1689 года.

Чтоб лучше представить всю внезапность, сенсационность того “открытия Полевого”, напомню: на дворе – первая половина XIX века, Россия – “бесплатный жандарм по вызову”, самозабвенно защищает “Священный Союз”, помогает всем евромонархам, которые вскоре выступят против неё в годы Крымской войны. И вдруг кто-то говорит о далёком и кажется, пустынном крае... Однако Николай I осознал важность Дальнего Востока для будущего России, отправил миссию Путятина в Китай, а Невельского – на Амур, что счастливо скажется даже после Крымского поражения на судьбе страны.

Мысленно извинюсь перед автором за столь долгое (и не последнее) отступление от маршрута повести, но такова уж миссия произведений Щепоткина. (Тут я вспоминаю его “Крик совы перед концом сезона”, тоже полный роковых исторических споров, тревог и вопросов.)

А “Билет на поезд к вечной мерзлоте”, заглавная повесть в новой книге, рассказывает о двоюродных братьях Вениамине Солонкине и Александре Шаповале. Александр – из тех, кто как раз и держит, удерживает Дальний Восток своей работой, жизнью, укоренением на безлюдной земле.

А “Вениамин Солонкин в Северной Республике пробыл недолго. Затеянная Горбачёвым “перестройка” первым делом достала окраины. В том числе

и прочно стоявшие на ногах. Начали рушиться хозяйственные связи, вместо хороших зарплат – неплатежи. Веня вернулся на родину, в Астрахань. Но жизнь на Севере не забывалась, и каждый раз, после очередного появления брата, который прилетал в Астрахань на самолёте, Вениамин после второй-третьей стопки начинал расспросы: как там? что у тебя нового?

Саня отодвигал тарелку с чёрной икрой – осетры ловились не только в Волге, но и в Большой реке – и припадал к арбузу. Аккуратно выплёвывая семечки, рассказывал. О том, что ушёл из рыбаков – стал инспектором по охране природы. Территория большая: миллион гектаров на троих. Каждому – площадь, равная Кипру, Ливану. Большая река образует здесь много островов, а потому ширина её местами до тридцати километров.

– Да-а... Интересная у тебя жизнь получается. Приехать бы, посмотреть...

– А кто тебе не даёт? Приезжай.

– Дорогу построят – приеду (самолётов младший брат стал смертельно бояться – ждал железной дороги).

– Ну, это, видать, не скоро. Что при советской власти успели сделать, то и осталось. Сейчас забросили совсем..."

Прервусь на необходимые пояснения. *"Северная Республика"* – это Саха-Якутия, важная и самая большая республика России (кстати, и самая большая административная единица в мире). "*Большая река"* – Лена. О причинах этих "псевдонимов" можно догадываться – или не догадываться, но... произведение Щепоткина – художественное, в своих приёмах автор волен. А забегая вперёд страниц на тридцать, мы обнаруживаем ещё одно переименование:

"– Владислав Широков... Он был хорошо известен в республике. К сорока восьми годам почти треть жизни – во власти. Сначала – в строительной сфере, поскольку имел образование инженера-строителя. Немного – в партийной. А в 37 лет был избран вице-президентом и одновременно главой правительства Северной Республики. Когда же возникла опасность захвата путём приватизации российскими и зарубежными жуликами главной ценности республики – алмазной компании, – Широкова сделали её президентом. Через годы, оказалось – сделали спасателем".

Тут автор, похоже, не хочет переходить на публицистику и прямые "славословия", но всякому бывавшему в Якутии в те переломные времена или просто хорошо осведомлённому о проблемах современного Дальнего Востока сразу же ясно, что это за "Широков"! Понятно, кто скрывается под этим, как сегодня говорят, "ником".

Сам я бывал в Якутии, и в 2015 году слышал из уст тогдашнего главы Саха-Якутии Егора Афанасьевича Борисова (беседа была не тет-а-тет, а с группой писателей) положительную оценку работы его предшественника. А осенью 2019-го я гостил в Якутии по приглашению известного писателя, якутского и российского классика Николая Лугинова – автора самого "живого", самого яркого, международно экранизированного "Чингисхана". И выступая, встречаясь с читателями, тоже слышал немало откровенных слов. Поэтесса, председатель Союза писателей Якутии Наталья Ивановна Харлампьева прямо и очень тепло рассказала о работе этого "Широкова", то есть...

Моё-то предисловие – произведение отнюдь не художественное, и как публицист я просто обязан строго фиксировать и честно предавать в данном случае то, что речь шла о втором главе Республики – Вячеславе Штырове.

Но вернёмся к персонажам – плоду "художественного вымысла автора". Мне не известно, возможно, они имеют столь же конкретные прототипы, но, когда Щепоткин не связан прямо с описанием жизни высших государственных деятелей, он даёт волю себе-художнику. Вот его портреты и пейзажи:

"Серьёзной" еды у него хватало. Мясо с большими рогами ходило рядом, рыба в широком "ассортименте" плавала тоже недалеко: ленок, щука, язь, таймень и даже осётр, которого можно было ловить по лицензии. Летом держал кур. А вот за хлебом, колбасой, сыром и молоком не наездишься. До посёлка, где находился "коренной" дом Шаповала и где жила его семья, по реке было 150 километров, а это, против течения, несколько часов на моторке. И то, если Большая река не поднимет волну метра в три-четыре. Поэтому радовался Сан Саныч друзьям-приятелям, и без того не молчун, становился особо разговорчивым, общительным, шумно ценил их подарки. Даже такие, как арбуз в конце лета. Правда, ел с нескрываемым разочарованием. Закрывал

глаза и видел в мечтах Астрахань, Вениаминову бахчу, самого брата, который всё ждал железной дороги к вечной мерзлоте".

А волчье-собачьи сюжеты Щепоткина напомнят рассказы Джека Лондона:

"Собак держал не меньше трёх. Утром кормил их впроголодь – чтоб не вальяжничали в лесу. Дождавшись рассвета, ехал осматривать доверенную территорию, заодно ставить или проверять настороженные раньше капканы. Добычей могли быть соболя или волк. С последним зверем Сан Саныч воевал беспощадно: кто кого перехитрит.

Вечером собак кормил основательно. Любитель поговорить за трапезой, разговаривал с ними – других слушателей не было. Ближайшие два таких же Робинзона находились в тридцати километрах – на промежуточной базе большереченского пароходства...

Волк – умный и находчивый зверь. В районе зимнего стойбища появилось много волков. Каждый день бригада находила останки зарезанных оленей. Надо было спасать стадо. Попросили маленький вертолёт. Оленевод и помощник полетели с пилотом. Через некоторое время обнаружили стаю. В лесотундре с редкими деревьями спрятаться волкам было негде. Убили трёх. Оленевод разглядел ещё двоих. Одного догнали, уложили. А второй пропал. Как растворился. Пилот делал круг за кругом – волка не было. Вдруг помощник оленевода закричал: "Смотри! Вон он! – Где? – Да вон, у дерева!" Волк стоял возле большой лиственницы на задних лапах. А передними обхватил ствол и прижимался к нему, чтобы его не разглядели с вертолёта. Такого ещё никто не видел. "Давай оставим этого умного!" – смеясь, крикнул пилот. Стрелки согласились и улетели..."

Но "Севера" и Дальний Восток красивы без сентиментальности, а сюжеты Щепоткина – без слащавости:

"Шаповал понял, что произошло с его собаками. Стая выпустила в качестве приманки одного молодого волка. Собаки, почуяв лёгкую добычу, бросились за убегающим зверем. Тот уводил их к спрятавшейся стае. Когда собаки оказались рядом, стая выскочила. Три собаки отбивались недолго. Их разорвали на куски, но пока волки пировали тёплым мясом, четвёртый пёс убежал и запрыгнул на снегоход.

Волки сожрали даже залитый кровью снег, но подойти к машине побоялись. Это и спасло пса".

В этой "геостратегической повести" согласно всем законам стратегии выбрано "направление главного удара", концентрации сил и внимания автора и героев. Много было важных сфер у главы республики "Широкова" (алмазы, уголь, благоустройство самого крупного в мире города на вечной мерзлоте – Якутска), но автор выбирает, по его мнению (с которым я сто раз согласен), главную – транспорт, дороги, основные из которых, безусловно – железные.

Собственно, вся вторая половина повести – разговор в купе вагона. О, русский дорожный разговор – это особый жанр! Откровенность попутчиков, широта их интересов и замкнутость сведшего их купе – никому не убежать от самого острого вопроса! Вагонные разговоры начинают, разгоняют сюжеты и "Идиота" Достоевского, и "Анны Карениной" Толстого, и чеховских рассказов...

Вот и купе этого "геостратегического поезда" свело "Широкова", журналистов, героя повести Сан Саныча Шаповала и настоящего антигероя:

"Виталий Владимирович Метельский – представитель Министерства транспорта России. Из Москвы".

Биография его точно выхвачена, узнаваема во всех деталях. Папа – банкир лихих 90-х – растил сына в Лондоне, но даже и "лихие" денежки когда-то заканчиваются. По старым (всё никак не рвущимся!) связям пристроил сына в Министерство транспорта: сам транспорт-де не обеднеет, выдержит ещё и никчёмного лондонградца! "Отец сказал, что Россия – это место, где можно набраться опыта и капиталов".

Впрочем, далее его цитировать просто скучно: абсолютная узнаваемость – и все реплики, отсветы убогого кругозора известны наперёд. Единственного сюрприза ждёшь: когда, на какой странице, на какой станции его выведут и, сообразно фамилии, отметелят в тамбуре?

Стократ интереснее сама железная дорога, пришедшая, наконец, в Якутию – "Северную республику". На языке путейцев это "свечка" – перпендикуляр

к БАМу, на север, к Якутску, дошедший совсем недавно до станции Нижний Бестях на правом берегу Лены – точно напротив левобережного Якутска.

В дороге журналисты-попутчики вспоминают крупные удачи: спасли от прихватизации алмазы республики, приговорённый к разворовыванью "Северо-уголь" продали не за втихую сговоренные 150 миллионов, а за два с половиной миллиарда долларов, да ещё положили их в бюджет, минуя многие заинтересованные карманы! Но сам "Широков", кратко отвечая благодарным "северянам"-якутянам, постоянно возвращается к дороге. Тут и нам надо возвратиться... почти на 400 лет.

Справедливо говорили: Россия – не колониальная империя, вроде Испании, Португалии, Британии. Зримый образ: *единая,* связная, как живое тело, страна, половина Евразии. Сравнить с рисунком той же Португальской или Голландской колониальных империй: там клочок, сям клочок, тут прибрежная полоска, тут точка- город... Но **обман** единства российского государственного тела раскроют беспристрастные физические карты, на которых пунктиров госграниц, как правило, нет (они порой так подвижны, временны!), зато есть границы вечные: моря, океаны, горы!

Вся восточная часть страны, выход к океану через Охотское море, Камчатка, Аляска были **отрезаны от России**: те самые горы, встретив которые река Лена поворачивала под прямым углом. За Верхоянским хребтом, на студёном берегу и маячил одинокий Охотск. И далее, за Охотским морем, Петропавловск-Камчатский, далее – Аляска. Как там строили флот? Лес местный, инструмент, гвозди, компасы, парусину – всё тащили на себе. А канаты приходилось в Якутске *разрезать,* а якоря *распиливать,* из-за чего они сильно теряли в прочности – потому что "дорога" на Охотск через Верхоянский хребет, Джугджур была "санно-**вьючной"** тропой! 1261 километр (цифру привожу, исходя из прокладываемой там трассы), до Охотска доходило то, что можно навьючить на лошадок.

И аляскинские меха через Охотск, той же тропой до Якутска, далее караванами до Кяхты – центра русско-китайской торговли шли... 2 (два) года! Цифра и сама-то по себе позорная, хуже русофобского, "декюстриновского" пасквиля, но ещё и меха в той дороге очень портились! До возвращения Невельским Приамурья – *настоящего выхода* к Тихому океану, 200 лет Дальний Восток держался на той единственной горной тропинке, по русскому выражению, "на соплях"!

Так ещё раз аукается упомянутая статья Полевого, разбудившая императора и отправившая Невельского возвращать Приамурье!

А почему – возвращать? Приамурье было уже освоено при Хабарове, русские остроги, посёлки, но... Тут-то и сыграла тема пристально, всю дорогу рассматриваемая героями Щепоткина, – её величество коррупция!

Типичнейший предок банкира Метельского и всех реальных Березовских, Ходорковских – Дмитрий Зиновьев, присланный *для награждения(!)* Хабарова. И в августе 1653 года близ устья реки Зеи вступил с оным в конфликт, развивавшийся по знакомому, прямо-таки "архетипичному" сценарию:

"– Я – ревизор! Прислан... "...всю Даурскую землю досмотреть и тебя, Хабарова, ведать"...

– Ты сперва покажи государев на то указ!

– Вор, бунтовщик!.."

Зиновьев хватает Хабарова за бороду, производит "розыск" и едет с ним в Москву. Оставляя на Амуре начальником Онуфрия Степанова.

Назначенный Зиновьевым сменщик, запредельный авантюрист, переходит Амур, навязывает войну манчжурам, *объединяет против себя (и России) весь Дальний Восток,* даже мирные корейцы присоединились к армии, громящей зиновьевского назначенца! Итог: в б**ою на Корчеевской луке** близ впадения реки Сунгари потеряно всё. Хабарова в Москве полностью оправдали, но... – минус Приамурье! На 200 лет.

Вот главный пафос повести: *"Как нам удержать Дальний Восток?!"* – Строить дороги и выжигать ("калёным железом", прокуратурой, сатирой, повестями, вроде этой) всех Метельских-Зиновьевых-Березовских!

Мне, дальневосточнику по рождению и постоянному интересу, особо важна эта повесть, грозное предупреждение её героя, "Широкова": ***"Запомните: на землю без людей придут люди без земли".***

На мой взгляд – очень удачно, точно Вячеслав Щепоткин разделил роли братьев. Шаповал – давно, как и Широков, "впрягся" в российско-дальневосточное Дело, Миссию. А двоюродный его брат Вениамин Солонкин... За ним ведь тоже важный пласт, "сегмент населения" современной России. Изобрази автор такого же подвижника, как Шаповал, вышло бы банальное упрощение, хуже – неправда! И читатель бы почувствовал: "Что тут мне рисуют сплошных *энтузиастов первых пятилеток!* Я-то вижу разницу эпох!" И был бы прав.

Но эта повесть – о реальной современной России (и для неё). А реалии в том, что жить, действовать приходится в расколотом обществе. И за Солонкиным – весьма значительная часть населения, не Метельские "лондонградцы", но выжидающие, хлебнувшие в "перестройку" и 90-е. Всеми социологами эти расслоения зафиксированы, но у Щепоткина не социологический отчёт – художественная повесть, и очень жизненным выглядит "тест", который избрал для властей Солонкин: железная дорога! На уговоры Шаповала вернуться в Якутию он отвечает: "Приеду по ж. д.!"

Отговаривался то боязнью авиакатастроф, то захватами самолётов... Но читатель понимает: дело не в "аэрофобии". Для второго из братьев критерием поворота, настоящего внимания к Дальнему Востоку будет железная дорога.

Отсюда и радостная нота в последних строках повести:

"– А? Не слышно! Что там у тебя гремит?

– Дождался ты, наконец! Это празднуют здесь! Пришёл первый пассажирский! Так что бери билет на поезд к вечной мерзлоте..."

Повестью, о которой шла речь, *открывается второе издание* сборника повестей и рассказов под названием *"Разговор по душам с товарищем Сталиным". Повесть о "Разговоре..." была в прежнем издании и, как говорится, не осталась незамеченной.* Это я ещё слабо выразился, а не слабо и точно написал рецензент Александр Григорьев в "Аргументах недели" (28 августа 2019):

"После выхода в "АН" небольшой заметки, в которой рассказывалось о книге Вячеслава Щепоткина "Разговор по душам с товарищем Сталиным", произошло невероятное. Звонки, письма: "Спасибо вам за правду о великом человеке", "Из каких источников автор взял цифры жертв репрессий, которые значительно отличаются от официально-пропагандистских?"... Редакции "АН" эта тема также показалась интересной. *СОВРАТЬ всегда! Соврать везде! До дней последних донца!* Самая большая ложь XX века – ложь о количестве жертв так называемого "Большого террора" 1937-1938 г<одов> и прямое участие в них Иосифа Джугашвили. Или товарища Сталина. Начиная с правления Хрущёва "со скошенными к носу от вечного вранья глазами" историки, журналисты будто стремятся перещеголять друг друга...

Наверно, необычайный успех повести, письма читателей, а может, и прямые настояния редакторов заставили включить "Разговор по душам..." и в новую книгу. В повести "Холера", кроме точных выверенных деталей редакционного бытия (автор в своё время работал в ведущих СМИ СССР, России), хоть и не в самом фокусе, но вполне убедительно показаны подробности жизни инфекционной больницы: "холера" заглавия – не только аллегория, но и вполне реальная... не скажу эпидемия – болезнь. А ещё показаны люди, что не дают превратиться второй в первую. Нынешний ковид, увы, добавляет актуальности.

Из рассказов, вошедших в книгу, должен отметить "Возьмите ребёнка на руки (*Посвящается В. А. Штырову)"* – он отчасти симметричен повести "Билет...". Тоже два брата – Царёвы, жизненные пути которых тоже пересеклись с судьбой бывшего главы республики Штырова в одном типично северном, якутском и, наверно, типично штыровском приключении. Пересказывать его – значит лишить читателя части удовольствия от книги. Отмечу лишь, что подобным двойным обращением к фигуре бывшего главы автор, похоже, подбирается к давней российской теме "народ и власть", и выглядит это не как самоцель, но продолжение всё той же сквозной темы. Каким должен быть руководитель, чтоб нам удержать Дальний Восток?

В повести "Слуга закона Вдовин" – снова на "Северах", но уже не якутских, а поморских.

“Казнь С. Разина” – щемящие картины послевоенного детства. “Принцип Козодоева” – о студенческих годах в Ленинграде молодого ставропольца. “Маманя Груня и монах” – история, завязавшаяся в редакционных буднях “большой московской газеты”, перешагнула через подробности... кажется, был такой фильм “Из жизни отдыхающих”, и подошла к Сонечке, самой, пожалуй, живой и живописной женской фигуре во всей книге. Похоже, автору с неотступными вопросами о Сталине, удержании Дальнего Востока было не до рельефных женских образов, а тут он развернулся!

Южный по фактуре “Подарок” закрепляет общую тенденцию всей книги: на “Югах” – преимущественно частная жизнь, быт (как на бахче первого из героев, выжидавшего Вениамина Солонкина). А на “Северах” – государственная, глобальная, жертвенная и героическая.

Наверно, это, как говорили классики, *объективная реальность, данная нам в...* том числе и в новой книге Вячеслава Щепоткина.

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

А ЕГО УЖЕ НЕТ...

(о Василии Белове)

Я жил далеко, и потому мне не достались то случайные (но частые), то непременные встречи с писателями, которые были родственны моей душе, с которыми хорошо и уютно куда-то ехать, сидеть в зале или на пирушке, гулять по старинной усадьбе или по городу. Теперь в старости я о такой многолетней потере жалею особенно, только это и осталось, потому что время исчезло, ничто не повторится, да и многих моих друзей-писателей уже нет на земле.

Жалею я и о том, что мало бывал на русском Севере, в той же Вологде. В моём скоросшивателе с газетными вырезками хранится сообщение: плеяда русских писателей (их потом назовут "деревенщиками") собралась как-то во главе с А. Яшиным и дружно поплыла по Сухоне до Великого Устюга и ещё куда-то. Помню, я эти строчки в "Литературной России" прочитал с обидой: как же это я лишился счастья присутствовать в такой родной компании?! Поздние мои впечатления на вологодских просторах и показанные мне недавно фотографии того плавания только усилили мои прежние представления о северной стороне. Ещё катера и пароходики гудели сигналами на великой Сухоне, деревни были погуще людьми, простоты было побольше, писатели ещё не стали знаменитыми и в энциклопедии пока не попали. Все главные книги ещё не написаны и все съезды писателей в Кремле и в Доме Союзов, где прозвучит столько разных речей и будет возможно потолкаться в коридорах и посудачить обо всем, впереди. Я запросто буду здороваться с автором повести "Привычное дело" и хвастаться ему, что впервые запомнил его фамилию из-за его повести "Деревня Бердяйка". Я прочитаю рассказ Евгения Носова "За лесами, за долами" о беловской Тимонихе, рассказ самого Белова "За тремя волоками" в том тёмно-зелёном томе, который он мне подарит, задолго до печатания эпопеи о крестьянстве прочту главы о деревне, похожей на Тимониху, затем, когда буду на Новый 1977 год в Вологде, Василий Иванович вдруг вскрикнет: "Давай я свожу тебя в Тимониху!" (но не удастся), затем ещё будем мы с Распутиным и Крупиным загадывать, как бы нам отважиться и попариться в беловской баньке. Позднее сколько раз звал туда и на свою дачу (поблизости от Тимонихи) Анатолий Заболоцкий, да сколько юбилеев (больших и малых) протекло, да, наконец, в Краснодаре на выездном писательском пленуме Василий Иванович при гробовой тишине горько признался благополучным казакам, что в его Тимонихе осталось... три жителя. И я, мечтая о дальней скорбной глуши, об избе Анфисы Ивановны, всё, однако, отодвигал и удлинял навеянный срок.

И только в 2011 году узнал я дорогу, по которой ходил и ездил Василий Иванович...

Ещё ближе и понятней мне стал Белов, когда по той же дороге повёз меня в Тимониху Михаил Карачёв через грустные нелюдные деревни. Сиротское молчание полей, огородов, улиц, дворов, угадывание тоскливой тишины в избах, величавая отдалённость от суетного тесного мира, мысли об отчуждённости российских вельмож от народных переживаний воскрешали мне горестные страницы прозы Василия Ивановича, его разговоры в узком кругу, его речи с высоких трибун, постоянную душевную заботу о благополучии родной стороны.

"Так вот где ты, Вася, ходил в Харовск, поближе и подальше, – говорил я ему в ту комнату, где он лежал на постели или сидел в коляске, – вот под каким северным сводом чувствовал ежеминутно и небеса, и лес, обитание в лесу зверья и даже мышку полевую. И как матушка твоя Анфиса Ивановна пробиралась тут на телеге по ухабам и ямам, в дождь и в жару, а я-то, хоть и вырастал возле коровьей стайки, но всё же на краю города и бегал через Обь в театры, такого одиночества под небом не переживал. Какая благодать одиночества... На сотни вёрст. Изо дня в день. Но и какая сиротливая печаль, которая самих чутких благословляет приникнуть к художественному обзору бытия. Всё дышит и звучит Божеским созерцанием".

То же таинственное течение слов рождала моя душа в Тимонихе.

"Так вот этот дом... Вот из каких окон глядел он на траву, на снег... А это кухня. И кадка. И печка. И здесь вы, Василий Иванович, жили с сестрёнкой и братом, без отца. Я жил потеснее, у нас таких северных хором с сеновалом и прочим не было. Как здорово... И не московские же архитекторы проектировали, сами крестьянские мастера, а как всё разумно, крепко, богатырски. И где ж ты, Вася, стихи-то первые писал? "Привычное дело" за каким столом начинал? А у этого окна на улицу Анфиса Ивановна и выглядывала тебя, а ты откуда-то из-за границы или из Москвы долго не показывался на дороге. Э-эх, как тонко тут отзываются Русь наша, Россия, Север великий... Хочется ещё раз перечитать все книги про Север. Ну, Василий Иванович, поругай меня, что я раньше не проведал Тимониху. Сейчас выпью за широким столом под твоим портретом, маслом кем-то написанным. Миша Карачёв стихи свои почитает".

Сожалею теперь, что не позвонил тогда по сотовому телефону Василию Ивановичу в Вологду, любые слова его теперь пришлись бы в моих воспоминаниях как раз...

Было странно и печально, что мы ходим по его дому, крестьянскому деревянному дворцу, без него, он лежит в городской квартире или, когда кто-то близкий заявится, выезжает к столу в коляске. Без него я поднимаюсь в самую верхнюю комнату и хоронюсь там надолго, так что меня уже испуганно стали искать по всему дому и вокруг него: куда пропал? Не передать мне, каким северным вековым эхом, словно озоновым ароматом, дышала моя душа, как я почувствовал лишний раз беловское родство с каждой травинкой, как позавидовал я, что ему вложено, завещано было корневое почвенное наследие, а я всё-таки полугородской, полудеревенский, оттого и легковесный какой-то, неполноценный в своём писании. А задержался я из-за тоненьких журналов царского времени, прочитал случайные строчки и уже не мог оторваться, прямо породнился завистливо с теми, о ком писалось: "Пока хозяин не щёлкнет ложкой по краю блюда, никто не берёт из щей накрошенной говядины", "...высокая трава, обилие цветов, тысячи комаров и все весенние звуки, начиная с соловьиной трели и кончая боем перепелов, дёрганьем коростеля и унылым криком кукушки..."

Я сидел, ходил, обглядывал углы так удивлённо, как и в усадьбах Пушкина, Лермонтова, Есенина, как в высоких избах музея под открытым небом под Вологдой: вот как жили... Между тем я ещё думал, что Василий Белов томится сейчас в Вологде.

Анатолий Заболоцкий сводил меня в сторонку от деревни, туда, где белый храм и могила Анфисы Ивановны.

– Боже мой, – сказал я и Заболоцкому, и себе, и, кажется, всему миру живому, – да почему же всё так скоро кончается? Моей матери нет со мной двенадцать лет. Лежит в Тамани.

В 1970 году, когда приезжал обмывать переселение В. Астафьева в Вологду из Перми, Белов после гулянки забрал меня ночевать к себе, и вот тогда белесая Анфиса Ивановна, расспросив меня о матери, робко посоветовала: "Береги её хорошенько".

В 1976 году мне запомнилось мгновение на берегу реки, там, где теперь скамейка с бронзовым баяном и стихами Рубцова. Мы родственно и старомодно говорили о русских государях, о том, как Иоанн Грозный чуть не перенёс столицу в Вологду, пожалели убиенную последнюю на Русской земле царскую семью, даже сблизились теснее, чем были до этого, будто благословил нас кто на такое ветхое родство, совсем утерянное после революции. Такие минуты дарил мне только Олег Михайлов в Москве и в Коктебеле.

В декабре он обеспечил мне своим влиянием покупку желанной дублёнки, которую я протаскал потом лет двадцать. Я задержался в городе на новогоднюю ёлку.

"Один год жизни – это так мно-ого, – ответил Василий Иванович 31 декабря на моё поздравление по телефону. – Год... его ещё надо прожить..."

Простую вроде бы истину я тревожно запомнил как предостерегающую мудрость.

И вот приспел 80-летний юбилей прикованного к одру болезни писателя. Опасаясь, что в будущем мне дороги в Вологду не проложить, я поехал поздравить Василия Ивановича и в сокровенной тайне проститься с ним. Что ж, не надеюсь уже на своё благополучие и твёрдые ноги. Поеду.

В Москве уселись в вагон немалой гурьбой. Выпили, заговорили про то же русское, что и всегда. Опять пеленалось в душе чувство сиротства, ненужности ветреному обществу, властям. В доме Пашкова (при Российской библиотеке) уж чересчур скромно и буднично, без участия высоких государственных мужей, без "сливок культуры" отмечалось 80-летие того В. Белова, который, как и В. Шукшин, Ф. Абрамов, Е. Носов, В. Распутин, не перевёртывался во время заговоров, а оставался с русским народом. Всё русское почему-то смущает верхи, нет открытого всегласного признания тысячелетних заповедей, верности родным колодцам и праведным обрядам; некоторые русские знаменитости боятся засветиться в кругу резких отважных единоверцев и исповедуются в братстве натихую. Постное поздравление президента считывали с какой-то тетрадки (так, по крайней мере, показалось), и я подумал, что его, наверно, вообще сочинили второпях и президенту не показали. Но на трапезе родство своё мы нашли, постояли друг возле дружки без всякой оглядки, обнялись душой, поговорили о Василии Ивановиче, опавшем в постель уже надолго. В большое широкое окно проглядывался Кремль, его угловая башня, все архитектурные узоры, и от давнишнего его вида, от мгновенных пролётных воспоминаний о царях и боярах душу как-то заветно щемило, и она, душа-то русская, ещё тоньше благодарила всех, кто умел во всякую пору воспевать и хранить отчину.

Поехали в Тимониху на большом автобусе, заглянули в Харовск на руководящий приём, затем повторилась для меня вчерашняя (прошлогодняя) дорога мимо высоких, опять таких скорбящих изб, полей по бокам, мимо застоявшегося нетронутого одиночества вокруг.

Я попросил Мишу Карачёва прочитать что-нибудь своё. Он долго отказывался.

– Ещё черновое:

Это зыбкое время земное
Не удержит меня на земле.
Всё прощается. Тает родное,
Стынут печи в забытом жилье...

Дальше он читать не стал; мы подъезжали.

"Здравствуй, Тимониха", – сказал я про себя, увидев табличку с названием на правой стороне. Поворотили налево, чуть поднялись – тотчас завиднелся тёмный дом Василия Ивановича.

"А его с нами нет, – кольнуло меня. – Он в Вологде лежит на низкой постели. Наверное, думал, как "они едут уже, видимо, в Тимонихе бабы всё приготовили, угостят..."

Северянки ждали на кухне с улыбкой.

Длинный стол был накрыт руками женщин из ближней Азлы. Мужья строго и смирно сидели в углу, помогали, видать, кое в чём с утра. Всё во мне ныло сожалением. Жизнь прошла. Не будет того, что за этими окнами и по дальним околицам переливалось из века в век. Не приедет сюда больше Василий Белов, не сядет на лавку, не заснёт под голосок сверчка. Тяжело ему двигаться. Вологда приневолила его на несчастье. В родной избе и болеть было бы легче. Теперь эти углы будут обходить все, кроме него и Анфисы Ивановны. Я видел её два раза, и она сразу стала мне такой же, как мои родные тёти и двоюродные сёстры, как соседи. В сибирской повести я нечаянно дал матушке своей имя Физа (Анфиса). Эту повесть Вася показывал матери. Он и мою матушку видел в Пересыпи в постели. Мы ехали в Тамань и завернули в посёлке на улицу Чапаева.

Всё это пережитое, носимое памятью, кружилось мошками возле меня до самого вечера. Заглядывал ли я в баньку, спускался ли вниз к глухим падям, глядел ли на землячек писателя, молча стоявших за нашими столами и с улыбкой на нас глядевших, слушал ли северные песни в исполнении Владимира Личутина, читал ли журнал "Охота" в верхней светёлке – всё тоненько преследовало меня одним и тем же сожалением: "А Василия Ивановича за столом с нами нет..."

В прошлую осень елецкие мои друзья, проводники в бунинские пенаты, Александр и Владимир, забрали меня в Ясной Поляне, и мы мимо Москвы подались на машине в Вологду. В путевую тетрадь я заносил названия селений: Зверинцы, Сандырёво, Звонкая, Заболотье, Пречистое, Любим, Обнорская слобода, Талица. Всё русское, давнишнее, намекающее на то, какими были целые века. И закралась между названиями запись: "Облака над мелколесьем, серый денёк, машины снуют по дороге, песни по радио, и мы втроем спели "На тропе" (на слова Николая Палькина, уже покойного). И когда пели, вспомнилось, как пели на те же слова, возвращаясь из Тимонихи:

На тропе,
На тропинке, луной запорошенной,
Были встречи у нас горячи.
Не ходи,
Не ходи ты за мною, хороший мой,
И в окошко моё не стучи...

– А их уже нет, – прокричал я обиженно. – Слышите, елецкие? Нет их! Ни Белова. Ни Распутина. Ни Палькина Николая Егоровича. Это его слова. Из Саратова он.

Как он радовался, уже больной, умирающий, когда я ему сказал, что мы были у Белова, и вот распеваем с умилением твою песню, Николай Егорович, милый наш волгарь. Я послал ему потом видеодиск с нашим пением, ты же помнишь, Александр Васильевич, как мы приехали вечером, и в Союзе писателей на Комсомольском, в кабинете у Котькало, где по стенам портреты Эрика Сафонова, Юрия Селезнёва, Серёжи Лыкошина, Вали Распутина, ты с дочкой Лыкошина Анечкой пел под баян, а я снимал "на цифру" и что-то лопотал про Палькина. Это теперь сохранится навсегда. Надеюсь. По-моему, я и Распутину показывал. "На тропе, на тропинке, луной запорошенной..." Она стала народной. Да, да, братцы мои, мы пели в сумерках в пустом Союзе писателей, только что прибыли с вокзала в этот родной "дом колхозника", где всегда у Ганичева можно обогреться и даже переспать на потёртом кожаном чёрном диване, прошли в кабинет по коридору, где тоже на стене масляный портрет Белова, и опять было грустно, что он обречённо болеет в Вологде, не топчется с нами, как бывало, и мы только что прощались с ним, позавчера обедали, вчера гуляли в его честь в Тимонихе, и вот одни в этой великой и чужой Москве, спасибо Анечке, что встретила нас и лихо подвезла на своей машине (её голые кончики пальцев в прорезях перчаток я ещё опишу), и мы не выпили, но запели Палькина, стали звонить ему. А их уже нету. Как грустно. Всё меньше нас. Мы всё-таки, как ни крути, одной плеяды. Кто крупнее, кто пониже, попроще, но закваска одна: сельская, почвенная, сиротско-русская. Феликс Кузнецов (сам из Тотьмы) на съезде писателей в Орле

назвал это поколение... последним. Вот так. Плакальщики (так терзает их Палиевский). Будут другие. Или их не будет вовсе. Европа чадом пролезет в душу. Зверинцы, Обнорская слобода, Заболотье... И этого не будет. Уже в Тимонихе некому выглядывать на дорогу, ждать (читали Васин рассказ "Зов родины"?). Едем нынче, а Белова в Вологде уже нет. Тоскливо. И сколько тоскует родимых мест!.. Но не вернутся к гнездам хоть на денёк великие дети. Не появится в Сростках В. Шукшин, в Верколе — Ф. Абрамов, на Старом Арбате и в Абрамцеве — Ю. Казаков, в Алепине — В. Солоухин, во Владимире — С. Никитин, на канале Грибоедова в Петербурге — Г. Горышин, в Аталанке — В. Распутин... И пойду я завтра по улицам Вологды, стану там, где мы говорили с Василием Ивановичем в семьдесят шестом-то году (в самый разгар "развитого социализма") о... дочерях Государя, о наследнике цесаревиче, жалели их, материли всех троцких и свердловых, постою у памятника Батюшкову, потрогаю коленку бронзовой музы, куплю в память о Белове плетёную большую корзинку, полюбуюсь речною дугою и церковью на том берегу и проеду к Спасо-Прилуцкому монастырю, где сперва хотели положить Василия Ивановича, коснусь рукой острой ограды на могиле Батюшкова, поеду в музей деревянного зодчества, и всё буду думать, что в доме на улице Октябрьской, где вроде совсем недавно терпеливая Ольга Сергеевна выдерживала наши долгие "вечные речи", а Василий Иванович мельком спросил о Тамани и Пересыпи, теперь странная музейная пустота, что "и придут времена, и исполнятся сроки", и мои годы тоже уже оседают на горизонте. Всё уже живёт без Белова. Через десять минут будем въезжать в Вологду, и скорбь сама напросится на уста. С кем я старомодно и по-домашнему поговорю о монархии? И живёт ли тут хоть один русский человек, который любит родственно беседовать о великих князьях, о государе Иоанне Грозном, в какой раз жалеть невинных царских дочерей и наследника, как умел этим жить и сочувствовать писатель, родившийся позже в маленькой северной деревеньке Тимонихе...

АЛЕКСАНДР СМЫШЛЯЕВ

ВРЕМЯ ПОЛЯРНЫХ БРОДЯГ

(главы из книги)

Север — моя давняя мечта. Имей я три жизни, сколько бы я сделал на этой прекрасной земле. Вы не представляете, как меня манят Колыма и Чукотка.
Я непременно побываю в Заполярье и прострочу его собственными ногами.

Владимир Клавдиевич Арсеньев – своему другу, моряку, капитану Евгению Бессмертному

Назови имя – Олег Куваев. И тотчас получишь ответ: “Это геолог, писатель, знаю его замечательный роман “Территория”, рассказы “Берег принцессы Люськи”, повесть “Дом для бродяг”. Кто-то назовёт больше, но даже “Территории” достаточно, чтобы понять, что Куваева читают до сих пор. Читают, помнят и любят...

Вот она, известность и слава писательская. И человеческая. Когда в 2015 году вышел на экраны фильм режиссёра Александра Мельника “Территория”, в основе которого лежит роман Олега Куваева, люди бросились смотреть его не из-за режиссёрской и актёрской работы, а из-за имени Куваева. Посмотрев кино, зрители, конечно же, сравнивали роман с фильмом. И, как бы ни была грандиозна работа по созданию фильма (одних только северных съемочных экспедиций было три – на плато Путорана и на Чукотку), но сравнение оказалось далеко не в пользу кино. Фильм, такой красивый, такой героический, не смог подняться до высот литературного текста Куваева. Режиссёру, при всём уважении к его большой и сложной работе, не хватило глубокого знания Севера, тонкостей геологической жизни и сердечной, настоящей любви к Чукотке. Но фильм, скажу честно, украсил наш нынешний блёклый в основном кинематограф.

СМЫШЛЯЕВ Александр Александрович родился 16 мая 1952 года в горняцком посёлке Темиртау в Горной Шории (Кемеровская область). По образованию геолог и тележурналист. Работал в геологических экспедициях в Сибири и на Камчатке, с 1989 года — в журналистике. Автор трёх десятков книг, в том числе “К тайнам туманных Курил” (2005). Участник нескольких Курильских историко-географических экспедиций. Работал в геологоразведочных экспедициях: Томь-Усинской, Янской, Северо-Камчатской и Пенжинской. Член Союза писателей России с 2006 года, член Правления СП России. Живёт в Петропавловске-Камчатском.

Сегодня можно услышать, что романтика закончилась, ушла из наших душ, переродилась в экзальтированное притворство. Не соглашусь! Романтика жива. И романтиков много. Просто они другие, я бы сказал – более экипированные, подготовленные. Но такие же безоглядные, готовые ради любви к жизни, а то и настоящим трудностям, а уж к красотам мира – точно, отправиться на край света. И отправляются. И гибнут порой, но идут. Кто-то покоряет горные вершины, кто-то – океанские просторы, а кто и Чукотку, Камчатку, Аляску, где ещё есть что покорять, есть где испытать себя на прочность и человечность.

Как они жили, эти романтики? О чём мечтали, думали? Какие люди их окружали? Мне давно хотелось приблизиться к ответам на эти вопросы, потому что с юности люблю произведения Куваева. Кроме того, хотелось ближе узнать, ещё раз перечитать и других писателей Севера. После прочтения их книг люди становились путешественниками, альпинистами, геологами, океанологами, охотоведами, биологами и т. д. И писателями в том числе. Литературную, романтическую тропу натаптывали по тайге, тундре и полярным льдам Тихон Сёмушкин, Михаил Зуев-Ордынец, Николай Шундик, Владимир Тан-Богораз, Владимир Обручев, сын его Сергей Обручев, Юрий Рытхэу, Григорий Федосеев, Леонид Пасенюк, Михаил Скороходов, Виктор Болдырев, Евгений Рожков, Герман Жилинский. И, конечно же, Джек Лондон, Джеймс Кервуд, Фарли Моуэт. Эта статья – о романтиках литературы, романтиках труда, романтиках подвига, романтиках дороги. Но в первую очередь, всё-таки об Олеге Куваеве. Тепло походных костров до сих пор сохраняется и явственно ощущается, передаваемое нам, читателям, со страниц прекрасных его книг. Так же явственно, как шорох звёзд на чистом ночном небе где-нибудь посреди Чукотки. Или Камчатки.

С тем и начинаю своё повествование.

Олег Куваев, пока ещё просто молодой геофизик и начинающий писатель

Ноябрь в Певеке – месяц зимний. Солнца мало, морозы крепчают. День, через день – снег, снег, снег...

Геофизик Олег Куваев живёт на Сопке, в перенаселённом, но хотя бы относительно тёплом бараке. Он недавно вернулся в Певек из Анадыря, где провёл полевой сезон-1959, поэтому все его мысли пока там – на реке, так не похожей на чукотскую, но оставившую в сердце и памяти неизгладимый след. Всё лето он занимался интересной работой, был поглощён ею, она дала ему хороший эмоциональный заряд на всю предстоящую зиму.

И всё же, всё же он ощущал, что в его жизни что-то не так...

Два года он в полярной геологии. Казалось бы, свершилось всё, о чём мечтал в юности: романтика Севера, трудные маршруты, рядом – красивые и мужественные друзья и коллеги, но душа не может насытиться всем этим, просит чего-то большего. Она мается.

“Я вряд ли могу что-либо получить более удовлетворяющее мечте о странах, лежащих за горизонтом, чем моя настоящая работа”, – пишет он в письме к товарищу, геологу Андрею Попову, но при этом с горечью признаётся, что, “проработав два года, понял, что даже профессия геолога или геофизика не дает полного удовлетворения этой мечте”.

Ему этого действительно мало, потому что “работа – это промышленность, это жёсткие рамки, это ненавистная техника, вертолёты и самолёты, это нудное сидение над отчётами”. А ему надо “шляться по планете именно так, как я хочу, и писать об этом так, чтобы жирным дачникам не спалось по ночам, – и счастливее меня не будет человека. Удивительно и прекрасно каждое место на земле (кроме городов и посёлков), и люди обязательно должны понять это. Может быть, посмотреть, как мчится по кочкам вспугнутый олень, не менее достойное занятие, чем слушать “Пиковую даму”.

В те годы, да и позже, вплоть до середины 1980-х, юноши и девушки зачастую шли в геологию не столько ради самой геологии, самой профессии, сколько ради романтики, однажды вскипевшей в их душах. На первом, втором курсах институтов и техникумов им важнее были песни под гитару у костра, чем ежедневное копание во внутренностях Земли. Важнее было таёжное и тундровое братство, чем производственная дисциплина. Позже, углубляясь

в геологию-науку, начав понимать её, они понимали и то, что в ней больше обычной работы, нежели романтики. И не каждый мог это принять для себя. Но было уже поздно, профессия выбрана. Таким оказался и молодой геофизик Олег Куваев. Он продолжал жить романтикой.

Знаменитый японский путешественник Наоми Уэмура как-то признался: "Мне легче убить медведя, чем произнести две английские фразы". Это признание отнюдь не умаляет интеллектуальных способностей японца, оно лишь подчёркивает, что этот человек, кстати, путешественник-одиночка, привык делать свою жизнь сам, отвечать за себя сам. Заскорузлые, не единожды обмороженные руки всё умеющего трудяги и молчаливая натура, упрямый, сильный характер – это крайняя, самая ярко выраженная разновидность романтиков. "Когда дело доходит до приключений, я становлюсь эгоистом, – говорил Уэмура. – Для меня истинный смысл моих путешествий – в радости от свершения задуманного... Когда удавалось преодолеть себя и продвинуться ещё хоть немного вперёд, я чувствовал радость и гордость за то, что всё это мне пришлось совершить в одиночку, без чьей-либо помощи".

Но Уэмура стал знаменитым чуть позже, после большого путешествия по заполярью Северной Америки, Олег Куваев его не знал, хотя, возможно (конечно, возможно!), был о нём наслышан, и если это так, то чувствовал в нём родственную душу. Наоми Уэмура погиб на Аляске при повторном одиночном восхождении на гору Мак-Кинли (тянула она его) в феврале 1984 года. Ему было ровно 43 года (он и родился в феврале, в 1941 году). Олег Куваев умер в 40 лет (четыре с небольшим месяца не дожив до 41), в 1975 году, когда японец Уэмура как раз шёл в одиночку к своей всемирной славе путешественника, пересекая на собачьей упряжке Гренландию, а затем острова Канадского архипелага.

Олег Куваев как натура творческая тоже стремился к одиночеству. По суровой заполярной реке Омолон он сплавился на лодке в одиночку.

"Живу я очень один, – писал Олег Куваев в 1966 году, когда уже ушёл из геологии в профессиональное писательство, другу-геологу Вилю Якупову. – С литературной шоблой не вожусь, помимо чисто деловых контактов. Скушно мне с ними, самовлюблённый какой-то, легкопенный народ. Получил приличную комнату в 19 метров, поставил диван, стол, постелил на пол шкуру... вот и всё".

Но всё это будет позже – и писательство, и жизнь в Подмосковье в "приличной комнате", и неожиданная смерть от инфаркта в расцвете сил, а пока молодой геофизик Олег Куваев сидит над чистым листом бумаги в относительно тёплом бараке посреди заполярного Певека и размышляет о жизни. За окном, разрисованным морозом, – ноябрь 1959 года. Олег как раз на распутье: продолжать ли работать в геологии, которая связывает его мечты о полной свободе, или же весной уволиться и поехать "на пару месяцев к чукчам-охотникам за моржами куда-нибудь вроде Нунлинграна, после этого сделать свой переход* и появиться в Москве, а там будет видно".

Он думает так ещё и потому, что почувствовал вкус литературного творчества. К тому же местные литераторы и журналисты с теплотой и вниманием приняли его в своё сообщество. Он уже видит себя профессиональным писателем, отвязавшимся от обязательной работы в геологии. Он видит себя только в путешествиях и за писательским столом. И пусть написано пока ничтожно мало, но "в издательстве местном, возможно, выйдет в 1961 или 1962 году сборник моих рассказов".

"В местных кругах пришла ко мне неожиданно литературная слава, – пишет Олег Куваев в очередном письме товарищу Андрею Попову. – Рассказ "Гернеугин, не любящий шума" трижды передавали по Магаданскому радио, дали ещё заказ. "По земле чаучу и каваралинов" будет напечатано в альманахе "На Севере Дальнем". Есть такой орган. Ну, и есть ещё один рассказ у меня... "Иннакели". Романтика в стиле Дж. Лондона. Что из него будет, неизвестно. Пишу ещё один рассказ – "Четвёртый шпангоут". Если получится неплохо, пришлю Вам на отзыв. Ну, а в общем серьёзно этим делом, конечно, заниматься не думаю".

---

* Имеется в виду задуманная им "грандиозная морская программа" похода по Ледовитому океану и Берингову морю вдоль Чукотки и Камчатки, как он называл: "переход Певек – Камчатка".

Ой ли! Конечно, думает. Мечтает о серьёзном литературном творчестве. Иначе зачем ему свобода от работы, зачем планирует увольняться? Чтобы вволю "бродяжничать" (его любимое слово) и писать! В каждом письме он об этом:

"Написал одну романтическую повесть "Лёшка из племени онкилонов" (странички из записной книжки о человеке, который искал пампасы). Не посылаю её Вам, так как только по окончании понял, что слаба она, малокровна. Записки мои о тундре напечатали в альманахе "На Севере Дальнем" Из "Вокруг света" ничего не пишут..."

"Ещё раз спасибо за ваши заботы в "Вокруг света". Напечататься там — это не только огромная моральная поддержка. Если в редакции уверуют в наличие у меня пусть небольших литературных способностей, то я верю, что эти люди заразятся и планами по растревоживанию душ обывателей, о возможности романтики и в наше время. Более того, не пора ли начать давать художественную географию нашего отечества, прекрасной старушки-земли. Планов этих у меня заваль".

Увы, ждал Олега Куваева удар по творческому самолюбию: 30 ноября 1959 года журнал "Вокруг света" отказал ему в публикации двух рассказов. "Сообщают, что оба мои творения дрянь, с чем я совершенно согласен. Чёрт с ними. Они предлагают переделать это на документальный очерк о киновари, но ведь там, где начинаются подлинные факты, там исчезает романтика, а с ней и прелесть творчества. Так мы с редакцией "Вокруг света" принципиально разошлись по важнейшему вопросу современности. Переделывать я ничего не буду, душа не лежит".

Удар этот оказался судьбоносным. Сначала "неудачливый" автор загулял ("страшно недоволен я своей жизнью, даже одно время загулял на пару недель..."), а, выйдя из депрессии, решил, что хватит колебаться между литературой и геологией, надо выбирать геологию.

Но в Чаунском РайГРУ* он не остался, в начале 1960 года перевёлся в Магадан — в Северо-Восточное геологическое управление. Работал старшим инженером отряда геофизического контроля.

Но и здесь его продолжает мучить, как он пишет, "извечный, пошлый вопрос нашего возраста: "Что делать?" Ясно одно: романтика. Для романтики нужна свобода и, прежде всего, материальная. Как этого добиться? И спасательный гвоздь — это наш переход Певек — Камчатка. Я должен во что бы то ни стало его сделать. Что, при известном успехе и рекламе, даст возможность провести год в каком-нибудь увлекательнейшем занятии. Хотя бы в поисках "золотой бабы аримаспов". Вижу, что не верите, а я верю".

Творчество он не бросает, наоборот, усиливает обороты. Вновь посылает рассказы в журнал "Вокруг света" — упрямец! И ждёт оттуда ответа, тайно надеясь, что теперь-то уж напечатают. Тем более что с его первым сборником рассказов, стоявшим в плане Магаданского издательства, происходят "колебания", как он это называет, и "опубликование во всесоюзном журнале было бы очень веским моральным фактором в пользу выхода его в 61 году".

Летом 1960 года он прилетает в Москву. В планах, в том числе, — поступление в Литературный институт. Но "в Литинститут поступать не стал. Главная причина в том, что я понял, что профессионализироваться мне ещё весьма и весьма рано. Вернее, не в том смысле, что рано, а в том, что это ставка на очень неважную карту. Пара опубликованных рассказов ведь совсем не даёт ещё оснований надеяться на большее".

Он всё ещё колеблется. Поэтому, хоть и планировал остаться в Москве и попробовать начать другую жизнь, но всё же возвращается в Магадан.

Как иногда открывают месторождения

Ранний рассказ Олега Куваева "Гернеугин, не любящий шума" (1959) больше похож на притчу, в которой сразу несколько тематических слоёв.

Автор ведёт повествование от имени чукотского охотника. Ведёт мастерски, уже набрался чукотских словечек, и быт тундры познал, хотя работает на Чукотке только два года. Значит, человек наблюдательный. Значит, подходит к делу профессионально.

---

* РайГРУ — районное геологоразведочное управление.

Его герой — старый чукча Гернеугин — переживает за родной уголок тундры, в который пришли геологи и начали взрывать землю. Любопытно и боязно Гернеугину, запряг он собак в нарту и поехал к геологам посмотреть. Те хлебосольно встретили охотника, а на прощанье подарили кусочек касситерита, на который "вели охоту". Вернувшись домой, Гернеугин рассмотрел камешек и понял, что геологи не там ищут, потому что такие камни залегали как раз на месте его землянки. На мысу, где он жил, было много касситерита, он красного цвета, поэтому Гернеугин считал его окаменевшей кровью. Поначалу обрадовался охотник, что геологи идут по ложному следу, значит, не найдя касситерит, свернут работу и уедут, оставят его родную тундру в покое. Он даже пробовал закопать "каменную кровь" на мысу снегом, чтобы ненароком не увидели геологи, не начали взрывать его мыс, но вскоре усомнился в правильности своих действий. "Как собака над китовой головой сидит он здесь. Сам съесть не сможет, другим не отдаст". С тем и кончились беспокойные мысли у Гернеугина, его сомнения. Наломал он касситерита и отвёз камни геологам. Так было открыто первое месторождение олова на Чукотке, в Певекском районе.

Незатейливый рассказ-притча, но есть в нём один важный смысл: местное население Чукотки при всей его любви к малой родине, родной тундре, помогало русским обустраивать свой дальний угол большой страны. Кто-то за премии помогал, а кто-то, как Гернеугин, по совести.

Рассказ Олега Куваева перекликается с содержанием книги чукотского геолога Марка Исидоровича Рохлина "Там, где были яранги" (М., Советская Россия", 1961). В этой документальной книге подробно описывается открытие первого месторождения олова в Певекском районе Чукотки. Есть и сведения о помощи геологам чукчей.

"...Попадались, особенно среди стариков, люди, недовольные нами.

— Зачем на сопке землю копаешь, взрывы делаешь, корм олений портишь? — сетовал колхозный пастух Каакак.

— Скучно стало в тундре. Люди пришли, шуму стало много, песца стало мало, — горевал охотник Рольтенват.

Всё же таких было немного. Большинство, хотя и смутно, но понимало значение работ экспедиции для будущего их родного края. Понимало и помогало, чем могло.

На майские праздники 1937 года в Певек приехали чукчи из стойбищ, расположенных за 100–200 километров. В дом экспедиции пришла чукчанка, принесла с собою отлично сшитые меховые сапоги — торбаса.

— Вы для нас олово ищете, я вам торбаса сшила, чтобы лучше было по тундре ходить..."

Наверняка Олег Куваев знал эти истории с чукчами и описал их в художественной форме.

С помощью местных жителей открывались месторождения не только на Чукотке, открывались во многих других укромных уголках России. Так, местные охотники навели геологов на выходы нефти на Камчатке. Охотник-шорец Шерегешев показал геологам выходы железной руды в Горной Шории в Сибири. И так далее, много было подобных случаев.

А сюжет о помощи чукчей не остался только в описанном здесь рассказе Олега Куваева. Позже он перейдёт в его роман "Территория", материал к которому, поначалу подспудно, неосознанно, просто из любопытства и любви к теме золота, начал собирать писатель уже в 1958 году, почти сразу по приезде на Чукотку, влюбившись в неё и поняв, что она — его Территория.

Омолон, или просто Река

Путешествие Олега Куваева по Омолону проходило осенью 1970 года. Сплавлялся он в одиночку, что, конечно же, вызывает уважение, потому что эта река течёт по большей части в безлюдных местах, на её берегу только одно поселение да метеостанции. Река горная, с характером, к тому же с ледяной водой. Сплавляться по ней небезопасно ещё и потому, что во время паводка вода размывает тундровый, неустойчивый берег, в реку падает много деревьев, и на перекатах образуются заломы, всякий раз неожиданно появляющиеся за поворотами как раз там, где ускоряется течение. Если занесёт под залом, считай — пропал. И многие пропадали.

Но для бродяги Куваева эта река (он пишет её с большой буквы, без названия, просто – Река, как позже будет Территория) стала мечтой. “Она стала мерещиться чуть ли не наяву, как что-то очень важное, что нельзя больше откладывать, как нельзя долго откладывать мечту, чтобы мечта не засохла. Я вдруг понял, что просто надо на Реке быть...”

И он добрался до Реки. До того самого, единственного посёлка на её берегу. Сначала посёлок его разочаровал, потому что не соответствовал мечте. Он оказался вполне цивилизованным, с двухэтажными домами, магазинами и уютной гостиницей “из двух комнат, с коврами, приёмниками, современной мебелью”. Правда, пожив в посёлке некоторое время, автор принял его и даже пожалел: “Из-за пелены дождя и тумана посёлок казался маленьким, заброшенным и забытым всеми: начальством, родственниками живущих здесь людей, всем остальным человечеством. Забыли, и всё”.

Зато не разочаровали люди. Они оказались обычными северянами, каких привык встречать Олег Куваев на своём пути. Жили в посёлке в основном оленеводы. Они кочевали со своими табунами далеко в тундре, поэтому посёлок выглядел пустым. Но лодку для сплава писателю найти удалось. Это была старая, полуразрушенная ветка. Что это за лодка? Олег Куваев объясняет: “Ветка получается, когда каюк* делают из досок. Чаще всего трёх. Всё-таки ветка более устойчива, так как имеет узкое, но плоское днище”. Хозяин ветки, которого в посёлке называли странным именем Шевроле, не продал, а просто подарил её Олегу Куваеву.

Надо заметить, что Шевроле в описании Куваева – колоритная личность. Такие люди не забываются. Автор спрашивал у местных, почему кличка такая – Шевроле? Ему ответили:

“– Шевроле – это импортная машина. У тебя её нет и не будет. А у него была.

– Когда он послом в Копенгагене работал, – добавил другой.

– Не в Копенгагене. И не послом. Просто он на подводной лодке плавал и получил за подвиг”.

Шевроле в посёлке слыл местной достопримечательностью, легендой. Но при близком знакомстве оказался просто выдумщиком, которому скучно было жить под обычным именем с обычной биографией. И он придумывал себе другую жизнь, правда, прошлую. Соседи поддакивали, хотя давно понимали, что врёт, но им тоже было скучно в обыденности жизни, очерченной границами маленького, глухого посёлка, поэтому делали вид, что верят, и охотно разносили легенды дальше.

И вот, когда пришла пора рассчитаться за ветку, Шевроле от денег отказался, произнеся такую пространную речь:

“– Пожалуй, что я у тебя останусь в долгах. Как ты смеялся вчера, когда я тебе про собак рассказывал! А здесь уж никто не смеётся, когда я говорю. Думают, вру. А не поймут, что я вполовину. Я половину жизненно говорю. Не всякий это и знает. А половину присочиняю. Так ты и поступай, как нужно: половину смейся, половину вникай. Де-е-ньги! Ты лучше ишо приезжай. Веришь ли, нет: я ночами не сплю иногда, рассказы наружу просются. Приезжай!”

По произведениям Олега Куваева много таких мужичков и женщин разбросано. Он их выпукло и, я бы сказал, вкусно описывает.

Сплав по Реке Олег Куваев начал 13 августа, в самый урез осени, и к закату дня доплыл до охотничьей избушки. Это была уже его стихия. “На столике горела свеча, в ночной темноте шумели деревья, хрустел валежником кто-то неведомый, кто всегда хрустит по ночам, когда ты один. Ветки тальника пахли горько и пряно. Они пахли осенью”.

Автор вроде бы и наслаждается своим душевным покоем и одиночеством, и в то же время думает о том, что “надо жить так, чтобы было кому оставить собаку”. В посёлке ему отдавали собаку, чтобы она была с ним в походе, но он отказался, потому что “за такую дорогу с собакой сживёшься, как с лучшим другом, а бросить её в конце маршрута никак нельзя”. И с собой в коммунальную квартиру взять тоже нельзя. А если и возьмёшь, то при частых поездках оставить собаку не с кем.

А осень действительно наступила. За первую же ночь, оказавшуюся холодной, пожелтели листья и утром покрылись инеем. Надо было плыть. Но он

---

* Каюк – лодка-долблёнка из цельного ствола дерева. Ещё её называют бат.

не смог покинуть этого места, весь день просидев на возвышенности над Рекой и любуясь открывшимися видами.

Пусть настигает осень, но Куваев не спешит просто плыть, двигаться, измерять свой поход пройденными километрами. Ему важнее прожить эти дни с интересом и пользой для души: вглядываться в окрестности Реки, думать, размышлять, неспешно записывать впечатления. И, конечно же, хотелось приключений. Он и пищи взял минимум: три буханки хлеба, килограмм вермишели и, в качестве неприкосновенного запаса, банку сгущёнки, потому что она высококалорийная. Зачем нагружаться, если имеется ружьё "браунинг" и пятьдесят патронов к нему, есть спиннинг, топор и охотничий нож.

В следующий день пути он проплыл около двадцати километров. Ночевал в палатке. Утром его разбудил рёв моторов – по Реке шли лодки. "И тут, наверное, впервые в жизни, в наивной попытке отступничества от века, я проклял двигатель внутреннего сгорания и того, кто его придумал. Вечером я слышал, как моторки в своём адовом вое прошли обратно другой протокой. И теперь я твёрдо знал, что долго их не услышу. Дальше вниз совхозные рыбаки не плавали. Мы остались с Рекой с глазу на глаз".

Автору этого очерка тоже доводилось оставаться с рекой с глазу на глаз. Правда, это была Сибирь, но такая же дикая, непролазная тайга. Река была поменьше. Мы, геологи, меняли место стоянки. Сплавлялись по реке на резиновых лодках. Я отвёз рабочих, затем пешком, со сдутой лодкой в рюкзаке, вернулся в верховья и, забрав остатки груза, сплавился уже один. Не буду описывать свои приключения, скажу лишь о душевном состоянии. Душа сначала романтично трепетала, затем успокоилась и затихла, созерцая моими глазами мир реки. Я и сам затих, слушая реку и свою душу. И даже, борясь с перекатами, я оставался счастливым. А к концу пути догадался, что просто понял реку. Я её не боялся, потому что понял и сроднился с ней. Одного точного взмаха весла было достаточно, чтобы поставить лодку в нужную струю, чтобы остановить её, подать назад, обогнуть камень и плыть дальше.

Олег Куваев тоже понял Реку. "В это понимание входили речной шум, тысячетонные завалы дерева по берегам, наклонённые в воду лиственницы, солнечный свет и хребты, за которыми торчали ещё хребты, а за теми торчали новые. Сюда входили и лоси, которые лежали глыбами на отмелях и, если стукнуть веслом, убегали. Из-под их копыт со шрапнельным свистом летела галька, а рога, чудовищные рога колымских лосей, самых крупных из всех лосей мира, плыли в воздухе тяжко и невесомо, как короны монархов... Только теперь я понял, почему все говорили о Реке с оттенком мистического восторга и уважения. Я благословил день, когда решил плыть по ней".

Эта повесть о Реке – одна из лучших у Олега Куваева (боюсь сказать – лучшая, потому что и другие его повести люблю). Но эта особенная, скажем так. В ней обнажается душа бродяги, неисцелимого романтика. В ней автор откровенно говорит сам с собой. Это сопоставимо с честной исповедью, а то и выше, потому что автор знает: если повесть будет опубликована, то будет прочитана тысячами людей. И лгать себе, а значит, и людям (не знаю, думал ли он тогда о Боге) грешно. Конечно, спасает художественность, вымысел (или домысел), но в "Доме для бродяг" это не ощущается, свою повесть Олег Куваев намеренно пишет от первого лица, чтобы мысли героя "задокументировать", сделать их реальными, как в документальном произведении. И сделал он это мастерски, в повести действительно его мысли. И его путешествие, его действия в экстремальных ситуациях – правильные и не очень. Но описанные художественно, присущим Куваеву простым, ясным, но хорошо подобранным словом.

"Смытые лиственницы теперь летели мимо меня, как торпеды. А снег всё так же шёл под очень крутым углом навстречу. Есть две заповеди, когда маршрут не получается: "Жми, что есть сил" и "Остановись". Сейчас было место второй заповеди: остановиться. Поставить палатку. Натаскать как можно больше дров. Сварить сытный обед. Залезть в мешок и переждать. Так я и сделал".

А ведь он в этом походе дважды чудом избежал гибели. Полез на скалу, где увидел интересный камень (геолог всё-таки!), и сорвался. Разбил голову. Не помнил, как добрался до палатки. Отлежался. И вспомнил о технике безопасности, которую нарушил, отправившись в поход в одиночку. Но в то же время "с отрешённым восторгом подумал, что если суждено где-то погибнуть, то хорошо бы погибнуть так".

Второй раз чудом избежал гибели, когда его ветка перевернулась. Куваев этот случай в своей повести даже не упомянул, он стал известен только из книги Мифтахутдинова. “На Омолоне ветка Олега перевернулась, – открыл Мифтахутдинов тайну своего покойного (писалась повесть Мифты уже после смерти Олега Куваева) друга. Он потерял ружьё (отечественное, шестнадцатого калибра), рюкзак, НЗ и всё то, что обычно тонет, когда лодка переворачивается. Об этом он мне рассказывал и впоследствии пытался написать, но не написал.

Он вышел из переделки, потому что был опытным полевиком. И не написал об этом только потому, что стеснялся такого приключения. Приключение не делает чести тундровику, а бросает тень на его профессионализм.

Сейчас лодка Олега находится в заломе на одном из левых притоков Омолона, стоит вертикально, заваленная брёвнами и лесинами, как памятник”.

Но саму лодку Олег Куваев, похоже, не потерял, перевернул её обратно, вычерпал воду и сплавлялся далее. Её унесло уже позже, когда он закончил путешествие.

После приключения с лодкой его нагнала большая осенняя вода, поднявшаяся из-за нескончаемых дождей. Одежда не просыхала, постоянно донимал холод. Путешественник устал. “Впервые со дня отъезда из дома я захотел увидеть кого-нибудь из людей. Просто так покурить, перекинуться словом”.

И в тот же день он встретил людей. Сначала услышал удар по металлу, затем тарахтенье движка. Выстрелил. Услышал ответный выстрел. Это были метеорологи. И это означало конец его путешествия. Он добрался до метеостанции в низовьях Омолона.

Рядом с домиком метеорологов стоял “дом бледно-голубого цвета. Я не заметил его ночью. Он был совсем новый, даже стружки вокруг него не пожелтели”.

Метеорологи пояснили:

“– Мало ли кто вниз по Реке поплывёт. Или вверх. Или просто захочет пожить и подумать. Вот ты, например.

– Часто проплывают?

– За три года ты первый.

– Нет, выходит, бродяг?

– Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или её нет...”

Олег Куваев встретил в этом “доме для бродяг” зиму.

“Река помогла мне понять, – написал он в конце повести, – что нельзя изменить тому, что считал правильным долгие годы. Теперь-то я точно знаю, что сердце моё навсегда отдано тем, кто живёт на окраинах государства. Людям с тихим светом в душе”.

Заснеженный остров, где можно вволю думать и мечтать

В феврале 1963 года Олег Куваев осуществил свою давнюю мечту о геофизическом исследовании дна Северного Ледовитого океана со льда. Идея, как можно понять, была в том числе и его, и он долго пробивал возможность её реализации. Наконец, в Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте (СВКНИИ, Магадан), которым тогда руководил (а теперь этот НИИ носит его имя) известный геолог, в то время – член-корреспондент Академии наук СССР Николай Алексеевич Шило, была начата эта работа. Пригласил Шило в институт и геофизика Олега Куваева на скромную должность младшего научного сотрудника.

“...Исследование структур дна Ледовитого океана можно провести, если посадить геофизиков на маленький самолёт Ан-2, которому легко выбрать посадочную площадку”, – писал Олег Куваев в так называемых дорожных записках и размышлениях “Два цвета земли между двух океанов” (Олег Куваев. Сочинения, т. 3. М., Престиж Бук, 2017. – С. 72).

И далее: “Мы проконсультировались с одним из звеньев полярной авиации и получили неожиданное согласие. Лётчики предложили, прежде всего, дополнить самолёт оборудованием: бензиновой выносной помпой, так, чтобы можно было делать дополнительную заправку на льду, поставить навигационные приборы, применявшиеся на тяжёлых самолётах, поставить в самолёте бензиновую печку и увеличить экипаж – вместо обычных двух до пяти человек...”

Работу начали в феврале, когда увеличилось количество светового времени. Эту нелёгкую экспедицию Куваев описал в главе 4-й указанных выше записок. Экипаж на "Аннушке" был знаменитым в среде полярников, первый пилот – Л. М. Бабаков. В 1962 году экипаж на своём маленьком Ан-2, неприспособленном для дальних арктических перелётов, летал спасать полярников станции "СП-8" и этим прославился. В полётах с Куваевым они вновь отличились: практически достигли полюса, удаляясь от острова Врангеля к северу на 400 километров.

Выполнив работу со льда, прилетели на остров Врангеля, "делали посадки на снег или лёд через каждые шестьдесят километров, чтоб потом уже двигаться между этими точками наземным порядком. Так требовалось по работе".

Для этого самого "наземного порядка, требуемого по работе", Олег Куваев с коллегами и застрял на полгода на острове.

Им долго не везло с погодой: двадцать дней завывала пурга. Куваев не терял зря времени: что-то писал, в основном – набрасывал. Писал и письма, например, семье друзей Негребецких:

"Сбылась "мечта идиота" – пишу вам с острова Врангеля. Берег бухты Сомнительной, ночь, хибара, печка, неизменная машинка "Колибри", в сенях половина туши удивительно жирного оленя. В общем, угля пока вдоволь, бобов и бекона тоже. Жить можно.

Весь февраль летал на самолёте где-то около Северного полюса. Сделал 60 посадок на дрейфующий лёд. Получил материал уникальной ценности (конечно, для тех комиков, кому это надо). Сейчас пока жду погоду и собак. Как только погода будет, поеду вокруг острова на собачках".

"...Сижу на берегу бухты Сомнительной в небольшой такой избёнке, – писал он тогда же Ольге Кожуховой. – Топлю печку, набиваю чайник снегом да варю чай, жарю оленину на сковородке, немного работаю, немного пишу, много сплю. Хорошо, знаешь, так ходить в рваных штанах и меховой куртке.

Утро начинаю с отработки выстрела "навскидку", то есть не целясь... А потом трубку в зубы и на койку. Можно думать о разном. Сколько нанять упряжек на апрель? Две или три? Удастся ли сделать на собаках выезды на дрейфующий лёд на 50–70 километров от берега?.. О красотах Врангеля напишу, когда объеду его на собаках..."

Сейчас можно удивляться, но в 1963 году Олег Куваев, находясь на острове Врангеля, получал письма с материка. За полгода пришло несколько. Почта и там работала стабильно, насколько позволяла погода! Доказательства? Выдержка из письма Куваева Ольге Кожуховой от 28 марта 1963 года: "Только что принесли письмо. Какой-то шальной самолёт прилетел в 11 ночи, скинул почту. Это уже второе письмо от тебя".

Конечно, не только трубку покуривал Олег Куваев, лёжа на кровати в своей "хибаре" на острове Врангеля. Ходил на охоту, на которой хватил приключений. Отправились они практически налегке, решив добыть оленя. Встали на лыжи и пошли. Перед этим на острове бушевала пурга, снег сдуло, склоны гор оголились и покрылись коркой льда и фирна. Оленей они увидели именно на горах, поэтому были вынуждены оставить лыжи и карабкаться по скользким склонам наверх, чтобы подойти на верный выстрел. Лезли, как описывал Куваев, так: "в одной руке – карабин, в другой – нож; карабин втыкаешь окованным концом приклада, нож – лезвием. Так и ползёшь на четвереньках".

Олени увели их километров за восемь от места первой встречи, поэтому, когда они одного всё же добыли, пришлось разрубить его на части и нести мясо в руках, потому что рюкзаки оставили внизу. Рукавиц у них тоже не было, "драные кожаные перчатки у дураков только".

"Как мы спускались – это идиотизм... Один парень сорвался и полетел вниз... Потом шли пешком по снегу к лыжам, потом они ломались, потом один парень сдал... в общем, шагали с добычей, держа курс по звёздам, сквозь тундру. Хорошо было, хоть и стал я хилый, прокуренный и пропитый, но рюкзак носить ещё, оказывается, не разучился. Ну и слава богу" (цитаты из письма О. Б. Кожуховой от 28.03.1963).

Впрочем, приключений на острове Олегу хватило за глаза. Когда пришли собачьи упряжки, а их было четыре, поехали делать свою геофизическую работу. Её Куваев описал в дорожных записках и размышлениях "Два цвета земли между двух океанов". Впрочем, о собственно работе он писал мало, всё больше рассказывал о собаках, каюрах-эскимосах и своих дорожных впечатлениях.

Итог этой рабочей поездки на собаках оказался печальным: Сергей, один из коллег Куваева, загрипповал, а сам Олег подхватил воспаление лёгких, потому что не единожды охлаждал потное, разгорячённое бегом тело, скидывая и парку, и меховую кухлянку. Здесь же, на острове, он почувствовал и боль в сердце, возможно, впервые. "Что-то барахлит ноне сердце. Ходил на днях на пик Берри. Глотал валидол..." — писал он в феврале-марте 1963 года друзьям Негребецким.

Им же, Негребецким, он сообщил и некоторые подробности лечения своего воспаления лёгких (в письме от мая 1963 года):

"...По приезде местный фельдшер стал лечить меня наоборот. Я понял, что отдаю концы, сел на вездеход и поехал в бухту Роджерса. А там врач Валечка стала лечить меня пенициллином и женским вниманием, я так скоренько и пошёл на поправку".

Олег Куваев описал своё лечение на острове и врача Валечку в рассказе "Чуть-чуть невесёлый рассказ". В нём между больным и доктором возникает симпатия, но оба не дают развиться чувствам.

Помимо прочего, врач Валечка (которая, к сожалению для Куваева, оказалась замужем, хотя в рассказе она холостая — так требовалось для сюжета) предположила у Олега зачатки туберкулёза и предложила ему лететь на мыс Шмидта на рентген. Он ей не поверил ("Какой, к лешему, туберкулёз при моей роже?"), хотя, как он сам признавался, и ранее врачи советовали ему сходить на рентген, намекая на возможный туберкулёз.

Олег Куваев всё это отринул, долечился у Валечки и продолжил работу. Но... Опять же это "но". Усталость от работы, холодов и болезней всё чаще наводила его на грустные мысли. А на острове было достаточно времени, чтобы крепко поразмыслить над жизнью.

"Я устал от этих полярных впечатлений, — писал он с острова сестре Галине Михайловне Куваевой. — Ну, летаешь со знаменитым экипажем полярной авиации — ну, и что? И то, что тебя запросто могут свозить на Землю Франца-Иосифа, тоже чепуха. И то, что в марте будет возможность слетать на одну из СП, хорошо, конечно, но не в этом счастье. Короче, надо кончать".

Надо кончать с Севером — вот мысль, которая всё чаще и чаще посещает Олега Куваева.

"Сегодня мне достали новую полуметровую финку, — опять же сообщал он сестре. — Лежит она на столе передо мной и блестит. В другое время я бы плясал от радости и скорей бы торопился в экспедицию, чтобы финку на бок нацепить. А сейчас наплевать мне и на финку".

О себе в третьем лице (снова сестре): "Заела Куваева работа и опрощенство. То, что при такой жизни писателя из меня не выйдет, — это точно".

Стать профессиональным писателем и вольным бродягой — вот главная мечта Олега Куваева. Ходи, где хочешь и когда хочешь, и пиши, пиши вволю, не оглядываясь ни на что.

Двумя годами ранее он уже бросал Север, увольнялся из Северо-Восточного геологического управления и уезжал в Подмосковье, в Костино (окраина города Калининграда, сейчас Костино входит в черту города Королёва, бывшего Калининграда Московской области), где у них с сестрой имелась маленькая квартирка (сестра Галина в это время жила с семьёй в Грузии). Но, пожив немного на материке, затосковал по Северу, захотел вернуться и, узнав, что в Магадане образован Северо-Восточный НИИ, написал его директору Николаю Алексеевичу Шило письмо с просьбой взять на работу. Шило принял его с удовольствием и поручил заняться Ледовитым океаном и его островами. Любой геолог или геофизик обзавидовался бы!

Перед отъездом в Магадан, в мае 1962 года Куваев писал Ольге Кожуховой:

"...Укладываю шмуточки, собираюсь на эту забытую богом и людьми землю. Решил кинуть ещё пару лет под ноги науке. В Магадане жизнь спокойная, уединённая. Авось напишу что-либо путное. Хватит перебиваться рассказиками, надо писать покрупнее".

Как видно из приведённых строк, в первую очередь он думает о писательстве, но не о науке. Хотя и в науке показал себя достойно. Н. А. Шило уважал Куваева, даже предоставил ему в Магадане квартиру, в которой тот прописался.

Мне, автору этого очерка, довелось разговаривать с Николаем Алексеевичем Шило в Петербурге, в стенах ВСЕГЕИ во время геологического съезда,

даже имеется фотография с той встречи с академиком. Завёл я разговор и о Куваеве. Шило оживился, стал вспоминать, приводя в адрес Олега Михайловича приятные эпитеты. Смысл их такой: из Куваева мог бы получиться замечательный учёный-геолог, его работа по геофизической съёмке дна Ледовитого океана и почти не исследованной территории между устьями Индигирки и Колымы заслуживает всяческих похвал, она равнялась открытию. "Но он мечтал стать писателем. И я его понял, а потому отпустил", — заключил Николай Алексеевич.

Отпустил он его в 1965 году, а мы здесь продолжим говорить о времени пребывания Олега Куваева на острове Врангеля, о его мыслях и мечтах.

Он маялся, не знал, что предпринять: продолжить работу в геологии или же бросить её и посвятить себя литературному творчеству. А для этого надо уехать. В Москву он не хочет. В Магадан? Тоже не хочется: "Мне до чёртиков надоел Магадан и Север, — пишет он сестре. — Ну его к лешему. В институте очень благоприятная обстановка: мне отдали Чукотку и острова. Года через три помимо воли будешь кандидатом. Но как подумаю про эти три года — повеситься охота. Три! Года! Может, всё же, потерпеть? Можно каждый год летать в отпуск месяца на полтора. В общем, надо решать. Или туда, или сюда".

Ей же: "Работать в геологии в столице не хочу. Это твёрдо. Если быть в геологии, то только здесь. Если уеду из Магадана, то уйду профессионально в литературу. Силёнку и желание пока чувствую. Как твоё мнение на это дело?"

Вернувшись с острова летом 1963 года, он попал под обаяние Николая Алексеевича Шило и продолжил работу в институте по своей теме. В 1964 году опять посещал остров Врангеля. Кстати, прошёл рентген, после чего похвастался сестре: "Здоров, как бык, всё это были просто бредни насчёт лёгких". Но на всякий случай бросил курить. Правда, ненадолго.

А раздвоение осталось. И вылилось, в конце концов, в увольнение из НИИ и переезд из Магадана на материк, в Костино. В окончательный переезд. Теперь в Магадане, и вообще на Севере, он будет только наездами.

Романтика без регламента, или Тайна гигантского медведя

В повести "Не споткнись о Полярный круг" Олег Куваев описал своё отношение к работе в геологии и вольному романтическому бродяжничеству, о котором мечтал:

"...Геологи не идут туда, куда хочется. Маршрут заранее жёстко проложен по карте. И в конце каждого маршрута остаются синие сопки, которые манят к себе, потому что к ним нет времени идти. Кто знает, может быть, именно сегодня ты прошёл мимо самого отчаянного, самого интересного в жизни приключения? Романтика бывает разная. Самая беспокойная из них та, которая не терпит маршрутов, жёстко проложенных по карте" (Олег Куваев. Сочинения. Т. 1. Повести. — С. 163).

Для Куваева это стало смыслом жизни: романтика без жёстких маршрутов. Поэтому он ушёл из геологии, сбежал, как он позже признавался. Уехал сначала в Москву, затем на юг, в Темрюк, где до этого купил дом и где "есть Азовское море — тёплая лужа солёной воды". Писал повести для книги "Весенняя охота на гусей", знакомился с женщинами, пил дешёвое местное вино, радовался свободной жизни.

"Кажется, начинается полоса дождей, — писал он в августе 1965 года сестре Галине в Грузию. — Это хорошо. Можно сидеть дома и работать, благо, действительно, вечера и ночи у меня сейчас совсем свободны, и можно хорошо работать по ночам".

В самом начале 1966 года он опять в Подмосковье, обменял свою комнату на другую, о чём сообщал сестре в феврале 1966 года: "Пишу из новой избы. Она ничего изба, но как-то совершенно чужая. Я прямо с тоской вспоминаю ту комнатушку, до того там всё было мне [знакомо], и я знал, где что лежит, и всё было привычно упрощённо, как в палатке, что ли. Соседей нет, они где-то шляются, в квартире я один. Одно хорошо — газ. Очень удобно. Но в общем-то старая плиточка с успехом его заменяла".

Его литературные дела начали успешно продвигаться. В издательстве "Молодая гвардия" вышла книга повестей и рассказов "Весенняя охота на гусей" тиражом 65 тысяч экземпляров. В Новосибирске ожидала своей очереди на 1968 год книга избранного в серии "Молодая проза Сибири". Олег Куваев

состоял в редколлегии этой серии, чем, похоже, дорожил. Ожидал он и публикаций в журнале "Вокруг света". Кроме того, "что-то заваривалось", как он выразился в письме к писателю и краеведу из Братска Октябрю Леонову, с "Мосфильмом".

"Фамилию приобретаю", – горделиво и, конечно, несколько иронично, чтобы это не показалось хвастовством, писал он далее Леонову.

А вечерами обдумывал очередные планы путешествий, попыхивая трубочкой. В первую очередь его занимали мысли о "серебряной горе" и гигантском медведе-кадьяке на Чукотке. О медведе ему впервые рассказали оленеводы из Чаунской долины. Он тогда не очень им поверил, но вскоре вычитал в книге бельгийского зоолога профессора Бернара Эйвельманса "По следам неизвестных животных", что ещё в 1897 году было известно о существовании самого крупного в мире хищника – огромного бурого медведя, обитающего на Камчатке, в Северо-Восточном Китае и на Сахалине. Крупный медведь-кадьяк встречается и на Аляске. Эту информацию напрямую подтверждала книга канадского писателя Фарли Моуэта, записавшего несколько то ли слухов, то ли легенд о громиле-медведе от ихалмютов – континентальных эскимосов Аляски.

"Совпадение с тем, что я слышал от пастухов семь лет тому назад, было просто поразительным, – воодушевлённо писал Олег Куваев в своих дорожных записках "Два цвета земли между двух океанов". – Следовательно, легенда о каком-то необычном медведе, обитающем в горах Чукотки, не миф, а если миф, то достаточно распространённый для того, чтобы проникнуть [медведю] по ту сторону Берингова пролива... В то время я ещё не знал, что не столь уж давно в Берлинский зоопарк был доставлен с острова Кадьяк экземпляр медведя фантастических размеров, весивший более тысячи килограммов. Этот медведь был отнесён к новому виду гигантских медведей и получил название от острова: медведь-кадьяк".

Информация о буром гиганте настолько поразила Олега Куваева, что надолго заняла все его мысли. Он загорелся идеей разыскать кадьяка или его родственника на Чукотке или Камчатке. Тут же написал письма профессору Эйвельмансу в Париж и Фарли Моуэту в Канаду. "Я сообщал им информацию, полученную от пастухов, и просил высказать их точку зрения в данном щекотливом деле. Кроме того, я написал в посёлок Марково на Южной Чукотке охотоведу и медвежатнику с тридцатилетним стажем Виктору Андреевичу Гунченко".

Фарли Моуэт ответил быстро. В письме он не только согласился с возможностью нахождения гигантского медведя на Чукотке, но и сообщил некоторую информацию ещё об одном медведе – пещерном. Канадец питал надежду, пусть и слабую, что "небольшое число пещерных медведей существует и сейчас. Их передние зубы огромны и высовываются наружу наподобие зубов вымерших саблезубых тигров. И если это так, то я поискал бы их именно в горных районах Верхоянска, Колымы и Анадыря..."

Олег Куваев как геолог хорошо знал отлаженную систему геологических исследований в Советском Союзе – при такой системе белых пятен не оставалось, геологи прошли буквально мимо каждой скалы, по каждому ручейку. Опять же геодезисты и топографы – они-то уж точно нанесли на карту все объекты и изгибы местности. Где спрятаться невиданному зверю?

И всё-таки в нём зародилась мечта. "Медведь – живой зверь, он уклоняется от встреч с людьми, будь то геолог, топограф, этнограф или другой экспедиционный человек, – размышлял писатель. – И все они не более как гости в полярных горах и тундре". А значит, "можно предположить, что у нас существует редкий и малочисленный вид гигантских медведей вроде медведя-кадьяка..."

Вскоре пришло письмо и от Эйвельманса. Он в существовании гигантских медведей не сомневался, но не мог утверждать, что они обитают и на Чукотке. Аляска – вот его местонахождение.

Но с этим Олег согласиться не захотел. И тогда решил действовать, лететь на Чукотку. Причём немедленно. Выбор пал на озеро Эльгыгытгын в центральной части Анадырского нагорья. "Даже геологические экспедиции здесь бывали краем, – обосновывал свой выбор Куваев. – И если где-то бродит канадский аклу или кадьяк, то и чукотский аклу запросто мог сохраниться среди сотен глухих горных долин, окружающих озеро, – писал он. – Надо сказать, что само озеро числилось у чукотских старожилов легендарным. Ходили

слухи о невероятных рыбах, обитающих в нём. О "стадах медведей", пасущихся на его берегах. Даже магнитное поле Земли вело себя здесь неразумно: отклонялось на семнадцать градусов. В общем, я выбрал за исходную точку озеро Эльгыгытгын и принялся за организацию экспедиции".

В командировку его направил журнал "Вокруг света". Редакция не могла пройти мимо возможной сенсации – обнаружения необычного гигантского медведя.

В июле 1967 года Куваев прилетел на озеро. "Я не знаю, с чем его сравнить, – писал Олег. – Пожалуй, если вылить флакон не очень густых чернил на ослепительный лист бумаги – это будет как раз. Круглое озеро лежало в круглой земной чаше. По бокам частоколом, как кончики пальцев чьей-то руки, торчали конусовидные сопки".

Гигантского медведя он не нашёл, хотя очень старался, добросовестно ходил в маршруты. Неудачу он объяснял так: "Времени, которое я провёл на кряже Обручева, вполне хватало, чтобы понять главную ошибку моего плана, которая и осталась бы ошибкой при самых благоприятных прочих условиях. Мне нельзя было вести поиски одному. Если бы нас было хоть четверо! Каждый мог бы взять себе район в наблюдение и осматривал бы его, как осматривают охотники линию капканов – по кольцевым маршрутам... Но я был один, и не было здесь всеведущих пастухов, и снежное лето 1967 года бушевало над озером Эльгыгытгын".

Мечту о медведе-кадьяке он оставил или спрятал глубоко в себе. Фарли Моуэт в следующем письме предлагал искать медведя вместе, но Олег уже увлёкся другой мечтой – Серебряной горой, которую также искал вблизи "Озера нетающего льда" – Эльгыгытгына. Впрочем, озером "нетающего льда" назвал этот необычный водоём не Куваев, а его друг Альберт Мифтахутдинов. Уже после смерти Олега он в очередной раз пошёл по его маршруту, прилетев на озеро. И написал повесть, которую и назвал "Озеро нетающего льда".

Предчувствие Территории

Олег Куваев оказался на той самой "территории" в нужное время. История открытия чукотского золота была тогда совсем свежей, к тому же он и сам имел к этой истории непосредственное отношение как геофизик. Как было не писать о таком грандиозном эпохальном деле! "Кто, если не я", – считал он, хотя подступаться к теме было вообще-то боязно – уж больно она непростая, масштабная, героическая, но и, что правда, романтическая. И книга должна быть такой!

А началась история с того, что на Чукотке геологи постоянно находили в речных отложениях знаки золота, но это была мелочь, даже для диких старателей не годилась. Соседняя Колыма давно была золотой, а Чукотка славилась исключительно оловом. Как писал Куваев в своих так называемых дорожных записках и размышлениях "Два цвета земли между двух океанов", "к началу сороковых годов интерес к чукотскому золоту угас. В районе Певека были найдены богатые месторождения олова, а одна из геологических концепций гласит, что олово и золото трудносовместимы в одной геологической (металлогенической) провинции".

Потому и угас интерес – раздражали геологов единичные мелкие золотые знаки Чукотки. Они манили, а потом оказывались пустышкой. Только внимание отвлекали. Вот и опять в 1940 году геолог Р. М. Даутов обнаружил в отложениях реки Ичувеем, что северо-восточнее Певека, слабое весовое золото. Слабое, никчёмное, как обычно. Но через три года эту реку копнул другой геолог и по совместительству писатель Г. Б. Жилинский и обнаружил в отдельных местах бассейна Ичувеема нормальное весовое золото. Кто бы мог подумать! Написал об этом докладную записку начальству. Но наверху скептически махнули рукой: всё равно это, скорее всего, мелочь... К тому же шла война, зачем распыляться, когда Чукотка была сконцентрирована на стратегическом металле – олове. А золото вволю давала Колыма.

Но после войны, в 1949 году к реке Ичувеем вернулись самые упёртые геологи, оптимисты, которые мыслили по-иному, считая, что должно быть золото на Чукотке. Это были, например, начальник партии Чаунского геологоуправления В. А. Китаев и геологи Ю. П. Хромченко и А. К. Власенко. Они и открыли хорошую россыпь весового золота на Ичувееме. А главный инженер

Чаунского геологического управления Н. И. Чемоданов документально обосновал необходимость постановки там целевых разведочных работ. Но вот беда – денег на них не давали. "Принесите мне это золото, хотя бы с килограмм", – дал тогда задание Чемоданов Китаеву. И в 1953 году они его принесли – ровно килограмм намыл на Ичувееме прораб-геолог Власенко. Вот тогда и началось! Россыпи стали открывать там и тут. Многие опять же открывались при участии Власенко. Так появилась Территория! Но пока географическая, точнее – металлогеническая.

Олег Куваев тоже имел непосредственное отношение к исследованию россыпей Ичувеема. Мало того, именно он, начав работать в 1958 году в Чаунском геологическом управлении, положил начало геофизическим исследованиям на Западной Чукотке вообще. Как свидетельствует ветеран Северо-Восточного геологического управления, заслуженный геолог России Юрий Васильевич Прусс в своей книге "Геологическая служба Северо-Востока России, 1931–2014" (Магадан, Охотник, 2017), Олег Михайлович Куваев проводил вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ) в долине р. Ичувеем. "Работы были направлены на определение мощности рыхлых отложений при поисках россыпных месторождений золота. Позже он проложил гравиметрический профиль через Чаунскую низменность, Чаунскую губу, до острова Айон".

В результате всего комплекса работ – и геологов, и геофизиков – на Чаунской низменности было открыто уникальное по запасам (10 тонн) Чаанайское золоторосыпное месторождение.

Как после этого Куваеву было остаться равнодушным ко всей этой истории? Никак. Он и начал копаться в ней, выискивал факты, делал выписки. Вспомните начало романа "Территория": он начинается с "всестороннего описания предмета", то есть золота. А затем – вступительная статья (не глава) "Примечание к маршруту". Автор объясняет, что это такое – Территория, как до неё добраться. Рассказывает о Посёлке и населяющих его странных людях. Он задаёт интригу, заманивает читателя, берёт его в полон. С тем и начинает роман.

А писался роман трудно. Хотя о работе над романом нам здесь ещё рано говорить. Куваев этот свой роман пока только чувствует. Да-да, автор задолго до того, как сядет за работу, начинает ощущать в себе некий зовущий гул, постепенно переходящий в зуд, а затем уже в непреодолимое желание сесть за работу. Вот и в Куваеве долго копился гул. Его рассказы, даже повести – всё это стало казаться мелочью, потому что рядом лежала большая и важная тема. Большая и важная. Но было страшно даже думать о ней, хотя писатель понимал, что именно она выведет его в первые литературные ряды.

"Видишь ли, Мирон, – писал Олег Куваев своему другу, магаданскому врачу-психиатру Мирону Этлису, – скажу тебе совершенно искренне и без малейшей рисовки. Если бы некий там джинн предложил мне на выбор написать хотя бы одну действительно хорошую книгу и плохо кончить в 45, или не написать ничего путного, но прожить до 80, я бы без секундного колебания выбрал первое. Это не сегодняшняя мысль и даже не вчерашняя. Видно, это и помогло мне вырваться из эдакой нирваны гения областного подчинения..."*

Это писалось в ноябре 1971 года. Скоро-скоро Олег Куваев основательно сядет за свой роман. Но пока больше раздумывает, чем пишет. И, кстати, предсказывает с ошибкой всего-то в пять лет свою славу и свою смерть "после хорошей книги".

Пишет он и том, что мысль эта "не сегодняшняя, и даже не вчерашняя". Ещё десять лет назад, точнее – девять, в 1962 году он в письме к Ольге Кожуховой сообщает примерно об этом же: "Хватит перебиваться рассказиками, надо писать покрупнее".

Писать покрупнее... Но о чём? Конечно, о розовой чайке. Он тогда загорелся этой романтической темой – розовой чайкой. Долго носился с темой, рассказывал о ней друзьям, мысленно видел не повесть даже, а роман, но в результате вышла всё-таки повесть. Очень чистая, добрая, романтичная, но всё же повесть. Сам он считал, что "затрепал" тему. И боялся, как бы не

---

* Здесь и далее выдержки из писем О. М. Куваева и его корреспондентов даются по тексту книги "Олег Куваев", т. 3. "Дорожные записки и размышления. Книга писем". М., Престиж Бук, 2017.

затрепать и эту, о золоте Чукотки. Она гудела в нём, просилась наружу уже в 1970 году. И он отвечает в том же году на письмо Евгении Ивановой: "Ну, и самое главное, о так называемом романе. Если ты действительно хочешь, чтобы хоть что-то вышло, – перестань об этом трепаться. Я, Женя, не дам тебе сделать из этого какую-то игрушку для заполнения дырки в душе, не заполненной церковно-приходскими хлопотами и эстетическим минимумом. Действительно, прошу извинить за резкость, но это именно так. Я слишком много об этом трепался, кретин расхлыстанный, хотя уж мне ли не знать, что нельзя об этом трепаться... Да, поздновато я начал. В результате кристально чёткое понимание цели с весьма и весьма ограниченными возможностями её достижения (если не утраченными безвозвратно). И тем обиднее, что с годами понимание цели становится всё яснее".

Слова "и тем обиднее, что с годами..." можно понять так, что в них пропущено одно очень важное слово – "только" – "только с годами понимание цели становится всё яснее". То есть, упущено много времени, а время – человеческая жизнь, для жизни времени всегда не хватает. Уже после того, как роман "Территория" вышел в журнале "Наш современник", Олег Куваев признавался в том, что "был период, когда я действительно хотел написать историю открытия чукотского золота". Он и материал собирал добросовестно и скрупулёзно. И понимал, что это большой труд, обобщающий все геологические отчёты, все судьбы работяг геологии. "Работа подобного рода, – писал он, – требует скрупулёзности вероятно большей, чем составление геологического отчёта. Материалов у меня было многие папки, но я счёл их недостаточными и начал копать очевидцев с самых дальних времён. В результате я оказался в таком мире интриг, склок, самолюбий, что понял – если я опубликую подобную работу, мне не выбраться из дрязг до конца своих дней. Я не Тильман, и у меня нет позыва орать на многочисленных конференциях, отстаивая неизвестно чью точку зрения. Посему выбрал точку зрения свою и написал роман – сугубо художественное произведение, прототипы которого собраны из Прибалтики, с Памира, в Москве и на Чукотке".

Но роман ещё впереди, а к лету 1971 года гул захватившей его темы вырвался, кажется, наружу. Причём гул сугубо художественный. "Я задумал сейчас такую штуку – аж сам боюсь, – признаётся он другу писателю Юрию Васильеву, хотя "штуку" никак не называет, потому что действительно боится. – То есть я всегда знал свои возможности, и знаю, что в полном варианте я её не вытяну. В половинном бы хоть вытянуть. В тишину бы куда... Наверное, лопнут нервы, и сбегу я на Эльбрус. Сосны там растут. Здоровые люди кругом ходят. Неврастеников нету. Вершины снежные торчат. Воздух есть. И главное: нету автомобилей..."

Он хочет то на Эльбрус, то на Памир, то в Магадан и Певек, а то и на Омолон. Куда угодно, лишь бы не садиться за письменный стол, за машинку, и не писать задуманную "штуку". И он действительно рванул сначала на Эльбрус, затем смотался на Памир, в конце лета 1971 года полетел в Магадан, посетил Сеймчан, Омолон, сплавился с Игорем Шабариным по Олою, после чего через Черский вернулся в Магадан, а затем съездил в Мотыклей. Одним словом, оттягивал работу над романом, как мог. Или, наоборот, накапливал духовные и физические силы перед большой работой, потому что гул начал перерастать в зуд, и вот он уже пишет заявление в Литфонд с просьбой поселить его в Доме творчества в Коктебеле для написания романа. Но не едет в Коктебель, а опять летит в Магадан, Терскол, затем в Минск. Когда же он сядет за работу, в конце-то концов?

"Роман надо писать"...

Писать роман надо. И уже хочется. Но как они пишутся, эти романы? "Я написал десять страниц, и уже дело к концу идёт, – сознаётся обескураженный Куваев в письме писателю Юрию Васильеву. – Страшно мне, что ещё страниц двести надо катать".

Но сесть и, не отрываясь, "катать" у него не получается. Если это Подмосковье, то не дают частые визиты друзей. Или их просьбы. Борис Ильинский заказал курительную трубку, Олегу пришлось мотаться по Москве, искать подходящую. Не дают сосредоточиться и дальние, долгие поездки. Как раз в это время утвердили его сценарий, причём в двухсерийном варианте,

на телевизионный фильм “Идущие за горизонт”. Работала над фильмом белорусская группа, и ему, сценаристу, приходилось ездить в Минск. Но не только. Главный редактор студии собрала команду и вместе с Куваевым двинулась на Колыму посмотреть фактуру. Опять потерянные дни. Кроме того, как раз в это время он сдавал в издательство “Современник” свою книгу повестей и рассказов. И так далее — отвлекающих моментов было много.

И всё же роман потихоньку писался. Автор даже начал думать над названием. “Нет названия для романа, — жалуется он в письме Борису Ильинскому в июне 1971 года. — Было “Иди на Восток”. Но вспомнил, что есть пресловутый советский бестселлер “Иду на грозу”. Для названия романа особая статья. Оно должно или информировать читателя или утверждать. Я перебрал названия всех любимых романов, и так оно и есть. Пока рабочее у меня “Часть божественной сути”, Дело в том, что люди, делавшие Чукотку и Колыму, были всё-таки полубогами. Это так, Боря...”

Но это название будущего романа быстро уходит из его головы. И в это же время приходит мысль о том, что не надо писать документальный роман, а надо именно художественный. “У романа свои законы, у документальной истории свои”, — заключает Олег Куваев.

Но летом 1971 года ему всё ещё не пишется, он весь в разъездах. Осенью опять разъезды. А в ноябре — сдача книги в “Современник”. К тому же, “магаданский гость озверел”. Он так и пишет Ильинскому: “озверел”. И поясняет: “Валит косяками, табунами и пачками. Со всеми говорить надо, коньяк откупоривать”.

В декабре он плюнул на всё и улетел в Терскол. Там он здорово отдохнул, загорел, пришёл в себя, вдоволь накатался на любимых горных лыжах. И накатал (любимое словечко) первые сто страниц романа. Точнее, как он сам говорил, “предварительного черновика романа”. И придумал ему другое название — “Там, за холмами”.

В январе 1972 года вернулся в Москву и тут же собрался в Минск. Телефильм по его сценарию отнял у него почти весь 1972 год и всё-таки вышел на телеэкраны. Работать над романом приходилось урывками. Но это был уже второй его вариант. Первый, практически документальный, так и не устроил автора. И опять в нём сомнения: “Я для такого романа не готов. Маленький я ещё. Есть идея, и готовится материал для второго романа, который символически можно назвать “Уход”*.

Второй вариант Куваева также не устроил, и в январе 1973 года он начинает его заново в третьем варианте. Переделки существенные. В письме к Борису Ильинскому он поясняет: “Большая открывается бездна неувязанных концов, недоведённых типов, невыясненных ситуаций, а уж про сквозную атмосферу и жёсткость формы и говорить нечего. Я впервые в жизни понял, как можно над одной книгой работать десять лет. И это при всём при том, что он вполне годен для чтения и даже публикации. Не знаю: вот у меня ещё два месяца, два с половиной. Буду просветлять и либо зайду в тупик — “все недостатки вижу, но сделать ничего не могу”, — либо плюну и действительно буду ещё года два над ним сидеть. История шибко жестокая для читателя, ибо, если я добьюсь того, чего хочу, то читатель должен понять, какое он дерьмо. Для истинного дерьма это как с гуся вода, но колеблющемуся поможет, устремлённого утвердит”.

В начале февраля 1973 года Олег Куваев уезжает в Терскол, чтобы работать там над четвёртым вариантом романа. Поселяется он на втором этаже “хитрого особняка, именуемого “Эльбрусское лесничество”. Дом этот назвать иначе, как особняк, язык не поворачивается. Сложен он из дикого камня, но с таким умением, что его (дом-то) и в Ницце не стыдно иметь. А живу я тут в угловой комнатушке — два окна, одно на восход, второе на закат. Одно слово — красиво”.

В своей комнатушке он плотно сидит над “черновиком четвёртого варианта”, но подумывает уже о пятом, так как “нюанса нет”, то есть интересных деталей. Но это уже мелочи, по большому счёту, роман готов, он хочет везти его в Москву “на машинку”. И отвозит, но почти сразу возвращается в Терскол, доделывать третью часть романа.

В мае 1973 года Олег Куваев возвращается в Москву. Просматривает напечатанное на машинке и опять остаётся неудовлетворенным:

---

* Речь идёт о зародившейся идее романа “Правила бегства”.

“Думал, что привёз я домой Роман, а сейчас вижу, что привёз так... сочиненьице. Лежит оно в перепечатке, в понедельник, наверное, раздам по адресам. Но придётся вернуться к нему ещё раз... В нём всё на месте, всё правильно, но теперь надо придать ритм — беспощадно вычеркнуть все длинноты и добавить некую ярость”.

В эти дни ему в голову приходит новое название романа — “Серая река”. Оно ему нравится и словом “серая”, и словом “река”. Причем “река” — действующее лицо, как утверждал автор. А вот почему “серая” — мало кому понятно до сих пор. Гипотезы есть, точного ответа нет.

В сентябре 1973 года роман отпечатан на машинке начисто. И опять многое не нравится автору, и он подумывает о шестой его переработке. “Осталось добавить ту неправильность, тот выверт текста, который может дать лишь талант, — пишет он опять же Ильинскому, с которым многим делится. — Для этого надо выбрать момент, сейчас переписывать его я не могу. И месяца три ещё не смогу. Может быть, весной уеду на Чукотку и там, в избе, в тундре и сделаю. Надо дать блеск. Сейчас я могу утверждать, что такого романа в советской действительности ещё никто не давал. Но это всё технически. Сейчас нужен блеск”.

Слава Богу, Олег Куваев понимает, что роман необычен. Нет такого в советской литературе. Это одновременно производственное и романтическое произведение, зовущее жить по совести и каждый день проживать, как последний.

Как раз в это время, в октябре 1973 года Альберт Мифтахутдинов прислал Куваеву свою знаменитую “Великосветскую анкету”, в которой просит ответить на ряд вопросов. Среди них есть вопрос номер шесть: “Что представляет собой новый роман, только что тобой законченный?” И Олег Куваев отвечает. Оказывается, сам он так понимает свой роман:

“Внешне — это открытие золотоносной провинции. Но сие — сугубо внешне. С равным успехом можно было писать о каменном угле, участке леса для разработки и т. д. Внутренне же это история о людях, для которых работа стала религией. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: кодекс порядочности, жестокость, максимализм и божий свет в душе. В принципе, каждый уважающий себя геолог относится к своей профессии, как к символу веры. Производственных романов много. Отличие моего, что герои его веруют ещё и в свой образ жизни как единственно правильный. Таким образом, Арктика, работа и личная жизнь образуют некий единый компот, в котором невозможно выделить составные части.

Законченным роман я не считаю. Слово является всё-таки музыкальным инструментом. Само построение фразы способно вызывать у читателя эмоции. Мне кажется, большинство, работая над романом, увлекаются сюжетной и психологической стороной дела, забывая о возможностях слова, которыми владеют рассказчики. Я говорю о “средних” литераторах. В то же время есть ведь блестящие стилистические образцы романов. Из близких нам Ремарк, Хемингуэй, Фицджеральд, а как написан “Иосиф и его братья”*! Романист я начинающий и, наверное, надо вначале действительно написать роман (сейчас вот это шестой вариант), а потом сесть и переработать его стилистически, чтобы каждая глава была отделана с тщательностью рассказа”.

Ещё весной 1973 года Олег Куваев принёс свой роман в редакцию литературного журнала “Наш современник”. Рукопись понравилась. Когда роман вышел, и стало понятно, что он будет иметь большой успех, главный редактор журнала Сергей Викулов, по свидетельству Альберта Мифтахутдинова, “пообещал Олегу опубликовать его рукописи, которые пока ещё лежат в портфеле журнала, в самое ближайшее время”.

Но сам Олег Куваев был не очень-то доволен отношением редакции “Нашего современника” к роману. “Одобрили в целом, — писал он Альберту Мифтахутдинову 31 мая 1973 года, — но дали просьбу таких поправок, когда вместе с водой выплескивается ребёнок. То есть я должен свести его до уровня любой из своих повестей. А мне ведь не сводить, мне вверх лезть надо. Не в ту сторону они меня тянут. Романист я, конечно, никакой. Первый опыт.

---

* “Иосиф и его братья” — роман-тетралогия Томаса Манна, написанный в 1926-1943 годах и детально пересказывающий известную библейскую легенду об Иосифе Прекрасном.

Но ведь надо и первый опыт. Сейчас переделываю то, чем недоволен сам. Лежит он в "Молодой гвардии". Ланщиков написал очень хорошую рецензию. Падерин* сделал то же. А мне просто надо найти хозяина, который драл бы с меня семь шкур, но тянул на улучшение, а не на ухудшение романа. Вот тогда и будет хорошо".

Но как бы то ни было, именно в "Нашем современнике" впервые вышел роман Олега Куваева, и вышел под названием "Территория", а не "Серая река". Похоже, идея этого названия пришла автору в самый последний момент. И выстрелила! Какая там "Серая река", если в романе отчётливо звучат "Территория", "Посёлок", "Город" и т. д. – всё это указывает на точные географические места действия, обобщает идею, сам сюжет. Конечно, именно "Территория"! Но автор понимал, что нельзя по большому счёту привязать Территорию только к Чукотке, хотя в романе описана именно она. Территория может быть своя (своя!) у любого человека. И совсем не Чукотка. Территория – это кому-то мечта, кому-то – сладкие воспоминания, кому-то – тяжкие, но результативные годы. У каждого Территория своя! У меня, например, их целых три – Горная Шория, Кузнецкий Алатау и Камчатка! Есть своя Территория у Григория Федосеева. Есть она у Леонида Пасенюка, у Василия Шукшина, у Фенимора Купера, у Джека Лондона, у Юрия Рытхэу и т. д.

"Территория – это не Чукотка, – пишет и сам Олег Куваев летом 1974 года в письме к одному обиженному оппоненту, геологу. – Это выдуманная мною страна, которой я придал ряд черт Чукотки. Не скрою, вначале я собирался написать именно историю открытия чукотского золота. Более семи лет собирал материалы. Намерение своё я не рекламировал, но в самом начале работы меня захлестнул поток писем от "обиженных первооткрывателей". Каждый хотел "своё" место. Я понял, что если я влезу в подлинную историю, мне никогда до конца дней не выбраться из кляуз. И я оставил от Чукотки лишь одного подлинно существовавшего человека – Николая Ильича Чемоданова, к нему я всегда относился и отношусь с глубоким уважением, и я жалею и буду жалеть, что перо моё слабо, чтобы выразить всю сложность этого человека и этого человеческого типа. В какой-то степени это всё-таки удалось".

И содрогнулся Магадан...

Роман Олега Куваева "Территория", вышедший в 1974 году в "Нашем современнике" в мартовской и апрельской книжках, для многих явился буквально громом среди ясного неба. Особенно он потряс Магадан, а в нём – геологов. Они знали, что роман пишется. Надеялись, что если уж он не документальный, а художественный, то прототипами-то они уж будут обязательно. Причём узнаваемыми. Но всё оказалось не так. Это и потрясло их.

Одним из первых возмутился старший научный сотрудник Северо-Восточного комплексного НИИ Василий Белый. И не просто возмутился, а написал письмо главному редактору журнала "Наш современник" С. В. Викулову.

Мы не знаем содержания этого письма. Но, читая пространный ответ на него Олега Куваева, о нём можно догадаться. Это обыкновенный пасквиль. Белый и Куваев были знакомы, оба геологи, общались на "ты". Белого как раз и возмутило отсутствие в романе документальной точности, или, по его разуменью, правды. Он и написал в журнал, что ж вы, мол, сделали, напечатали куваевские домыслы (или вымыслы), а всё было не так, автор даже "не осветил истинные образы скромных тружеников" (это единственная цитата в письме Куваева из письма Белого).

"Наш современник" переслал письмо Белого Куваеву: разберись, мол, с коллегами. Олег Михайлович "разобрался", ответив Белому. Вот одна из его реплик:

"Роман написан не для кучки людей, считающих, что их "задели". Он написан для сотни тысяч молодых людей – вон они шляются по двору – и для моих сверстников, которые сейчас свели смысл жизни к метражу жилплощади и сорту мебели. И написан он ради последней его фразы: "Довольны ли вы собой?" Без двух последних страниц его вообще не стоило бы публиковать".

Да, многие колымские и чукотские геологи не нашли себя как прототипов в романе "Территория". Подобно Белому, написал письмо в журнал и главный

---

* Иван Падерин, Анатолий Ланщиков – известные писатели.

геолог Анюйской геологоразведочной экспедиции Марий Городинский. “Куваев должен был отнестись с большей ответственностью...” – звучало в письме.

Было и такое: к Альберту Мифтахутдинову, секретарю Магаданского отделения Союза писателей, глубокой ночью зашли “три пьяных кандидата наук”. “Фамилий он мне не написал, – сообщает Олег Куваев, – видимо, по договорённости. Они показали ему две папочки. “Вот в этой – компромат на Куваева. А вот в этой папочке – компромат на роман. Мы знаем, куда это послать”.

Был в редакцию журнала “Наш современник” и звонок: “Мы пенсионеры, всю жизнь проработали на Колыме. У нас не было этих ужасов, не было работяг под кличками, Куваев чернит нашу колымскую действительность. Не было у нас бараков. Мы жили в комнатах на двоих и на четверых”.

Куваев отвечает: “О, плебейское счастье! Их оклеветали! Они жили не в бараке, а четверо в комнатке! И кличек не было. Не было ни лагерей, ни мордоворотства – были скромные труженики прямо с плаката. Как автор я виноват в том, что я умолчал. А умолчал я не по трусости, а по той причине, что тема жестокости для писателя – тема спекулятивная. И если ты не прошёл это своей шкурой, ты не вправе об этом писать”.

Его вынудили оправдываться. И он оправдывался, хотя понимал, что зря это делает. Но ведь коллеги, геологи, он любил их, как доброе, родное племя. И отвечал: “При последних переделках, кстати, исчезла и детальная геологическая фактология. Она нужна была для десятка, может быть, лиц, работавших когда-то на чукотском золоте. Но она же затемняла главную идею и мешала ей. Я убрал это без сожаления, как отслужившую роль и отмершую служебную часть”.

Вот для чего нужны были бесконечные переделки текста романа, его шесть вариантов. И он ведь хотел писать ещё и седьмой.

Из геологов и прототипов его понял только Герман Жилинский. Пусть не сразу, но понял. И Олег Куваев был ему за это благодарен. Между ними завязалась писательская дружба. Жаль, она длилась недолго из-за ранней смерти Куваева.

Возможно, нападки некоторых коллег на роман и на самого автора внесли свою лепту в столь ранний уход Олега Михайловича. Кто знает...

А Магадан со временем успокоился. Сегодня колымчане с гордостью называют свой регион “Территорией”. А в самом Магадане центральная библиотека носит имя Олега Михайловича Куваева. На Чукотке одна из горных вершин тоже носит имя Олега Куваева.

И воспылала Москва...

Москва литературная, в отличие от некоторой части магаданцев, благожелательно приняла роман “Территория”. Безусловно, это поднимало автора в собственных глазах. “Говорят, что роман я написал неплохой, – сообщал он в марте 1974 года в письме сестре Галине Михайловне Куваевой. – Ну, скажем, средний. Это уже хорошо...”

Ей же, уже в мае 1974 года, после выхода второй, апрельской книжки журнала “Наш современник” с романом “Территория” Олег Куваев сообщал о том, как восприняли его работу на пленуме правления Союза писателей РСФСР:

“Был пленум писательский “Литература 70-х годов”. Такое у него название было. Официальный доклад делал Юрий Бондарев. Он взял да “ляпнул” с трибуны, что мой роман “Территория” – “явление русской литературы”. Он, правда, его ещё в рукописи читал по просьбе редакции. Ну, у Бондарева сейчас авторитет. Да ещё официальный доклад. Да ещё в зале полно народа из ЦК. А я в ЦДЛ зашёл, надо было мне там Алика Мифтахутдинова встретить. Смотрю, меня у порога встречают, как именинника. Редакторы толстых журналов через зал идут, руку тянут (откуда, думаю, они моё имя-то знают, физиономии моей ведь не видали). Ну, и так далее. Главный редактор “Нашего современника” к столику подсел, по плечу хлопает:

– Из ЦК звонили, – говорит. – Говорят, лучшее, что было за последние годы.

Короче, карьера моя устроена”.

Об этом же написал и Альберт Мифтахутдинов. Его версия звучит так:

“Впервые настоящая оценка роману “Территория” прозвучала на пленуме правления Союза писателей РСФСР в 1974 году в докладе Юрия Бондарева,

посвящённом проблемам развития русской советской прозы. Роман Олега Куваева был назван явлением нашей литературы, от романа, было сказано, веет апрельской свежестью.

В Центральном Доме литераторов, где проходил пленум, у меня с Олегом была назначена встреча. Он сидел в нижнем кофейном зале с Юрием Васильевым, ожидая перерыва в работе высокого собрания, и не знал, не ведал, что с этого часа круто изменится его судьба.

Объявили большой перерыв на обед. Я спустился вниз и предложил ребятам подняться в ресторан, сообщив, что есть повод и виновник вот он, рядом, и вкратце изложил суть доклада. Олег молчал и смотрел недоверчиво. "Можешь верить, – сказал Олегу Васильев, – посмотри на него, он сегодня к шуткам не расположен".

Мы поднялись наверх, заняли столик, и тут к Олегу один за другим стали подходить участники пленума с поздравлениями. Запомнилось, как Сергей Викулов, редактор журнала, где печаталась "Территория", пообещал Олегу опубликовать его рукописи, которые пока ещё лежат в портфеле журнала, в самое ближайшее время.

Запомнилось, как подошёл к Олегу знакомиться Гавриил Троепольский. Олег встал. "Понимаете, – сказал Троепольский, – я представлял вас высоким, могучим, а главное, старше. А вы ещё совсем молодой человек!" Олег развёл руками и засмущался, предложил сесть, но Троепольский поблагодарил, пожал руку и откланялся.

Было шумно. Знакомые и незнакомые люди подходили, поздравляли, садились, уходили – столпотворение. Олег чувствовал себя не очень удобно. И решено было втроём уйти на Арбат, в дом, который всегда был приютом для бродяг-северян, где жили наши давние друзья писатель Виктор Николаевич Болдырев и его жена скульптор Ксения Ивановская".

"Издаваться легче будет, – делал из этого вывод сам Олег Куваев. – Но у меня с этим всегда (тьфу-тьфу) просто обстояло. Было бы написано, а уже как-нибудь опубликуют. С кино пока плохо*. Сами они не знают, какого им рожна требуется, а я соответственно не знаю, какого им рожна надо. Ох, помотают они мне душеньку за эти пять тыщ. А мне второй роман писать охота. С лета, наверное, и начну".

Второй роман задумывался совсем о другом. Но о нём – ниже, а пока – о славе земной, которую принёс Куваеву его первенец, роман "Территория".

Писателем разом заинтересовались многие издательства и редакции толстых литературных журналов. Прислал письмо редактор "Юности" Борис Полевой, предложил сотрудничество и похвалил автора "Территории" словами: "По-видимому, у вас доброе сердце и внимательный глаз". В ответ Куваев отправил в "Юность" рассказ, который вышел во втором номере 1975 года. А в январе того же 1975 года он познакомился и с самим Борисом Полевым. "Не мужик, а золото, – написал Куваев о нём сестре. – Больной весь. Простяга, умница". Короткая, но ёмкая характеристика.

Тогда же послал он "Территорию" в "Роман-газету". Она вышла в 3-м номере 1975 года, за несколько дней до его неожиданной смерти. Таким образом, можно считать, что при жизни автора "Территория" выходила только дважды – в журнале "Наш современник" (1974) и альманахе "Роман-газета" в полном книжном варианте в 1975 году. Успел Олег Михайлович подготовить и сценарий романа для радио. Он прозвучал в рубрике "Золотой фонд Всесоюзного радио".

Три миллиона экземпляров "Роман-газеты" с "Территорией" разлетелись по всей стране. Я купил этот номер в городе Междуреченске Кемеровской области, куда приехал работать молодым специалистом в Томь-Усинскую геолого-поисковую экспедицию. О романе я уже был наслышан, и вот он попал мне в руки. После меня читала его вся общага ИТР нашей экспедиции. Как раз начинался полевой сезон, и все мы, молодые геологи, отправились в тайгу, на поиски полезных ископаемых, с особенным воодушевлением и настоящим рвением. И долго потом в палатках звучали разговоры о "Территории", о прекрасной нашей профессии геологов, о том, что жить нужно именно так, как живём мы, – со страстью, полной отдачей делу и любовью, на зависть домоседам. А ведь этого и добивался Олег Куваев своим романом.

---

* Имеется в виду сценарий по "Территории" для "Мосфильма", режиссёр Александр Сурин.

Я написал тогда стихотворенье, в котором выразил отношение к любимой работе:

Прищурившись, оглядываю лес.
Курю, ещё последняя затяжка.
Давно бы на тайге поставил крест,
Да без неё мне в жизни будет тяжко.
И по траве, по зарослям густым,
Через валежник и через кусты,
Под рюкзаковой тяжестью согнутый,
Прокладываю линию маршрута...

Весть о смерти автора пришла к нам чуть раньше самого романа, и мы, конечно, переживали, но после того, как роман был прочитан, буквально загоревали от того, что умер в расцвете творческих сил такой великолепный писатель, к тому же наш коллега. "Столько бы ещё написал!" – с горечью говорили ребята.

Незаконченным остался его следующий роман "Правила бегства". Он начал работу над ним сразу после выхода "Территории" в "Нашем современнике", о чём свидетельствуют строчки из его письма за 1974 год Алле Федотовой:

"Немного выбила из колеи эта шумиха, которая в голосах и наяву была гораздо сильнее, чем в печати. Сильная была шумиха. И ещё какое-то время будет, так как критики подрались за право писать обо мне статьи. Но это всё скоро утихнет – я в их колею не ложусь... Жить будет легче, надо другой роман писать..."

И чуть позже ей же: "... я вдруг начал писать новый роман. Маялся я им, начать не мог. И тут как-то всё и сложилось. Начал. Люди есть. История есть. Название есть. Эпиграф есть. Три печатных листа текста есть".

Его останавливает известие о смерти Шукшина, о смерти Шпаликова, с которым он был хорошо знаком. Выбивает из колеи. Но время лечит. В июле 1974 года он сообщает товарищу по странствиям и походам Игорю Шабарину: "Я, вишь ли, новый роман начал. "Правила бегства". О бичах".

Той же осенью он пишет Игорю уже более подробно о новом романе:

"Я сделал первую часть "Правил бегства". Черновик, разумеется. Будет еще одна такая по объёму часть. О, боже мой, боже мой, каково необъятное море передо мной раскрылось. Необъятное море работы. Ошибку поспешности, допущенную с "Территорией", повторить нельзя. В одном повезло – удачно сложилась концепция. Треугольник: отщепенец – люди, желающие ему помочь, – государство. И у каждой стороны этого треугольника свой рок, своя железная и безжалостная поступь судьбы".

У романа "Правила бегства" есть эпиграф. Сам Олег Куваев говорил, что услышал его от Игоря Шабарина. Так это или нет, неважно, но эпиграфом Куваев дорожил. В одном из писем тому же Шабарину даже так написал: "Правила бегства" должно быть серьёзно. Эпиграф обязывает".

Что за эпиграф, какой великий и обязывающий смысл заложен в нём? Вчитаемся:

"Если я не за себя, то кто за меня?
Но если я только за себя, к чему я?"
Древний вопрос.

Мне видится здесь двоякий смысл. И оба они увязываются с названием романа – "Правила бегства". Олег Куваев всю жизнь убегал от себя. Собственно, все люди когда-то начинают бегать. Между мечтой и реальностью. Между обычными географическими точками. Между душевным спокойствием и надоевшими до чёртиков обязанностями, между желанием остаться честным и чистым и дьявольскими искушениями, между необъятной волей и тисками производственной необходимости. И так далее. При этом важным остаётся одно обстоятельство: эгоист ты или нет. Только ли о себе твоя душа плачет? Только ли тебе твоё сердце поёт? Это с одной стороны. А с другой: если ты не за себя, то кто за тебя?

Олег Куваев увидел по опыту жизни некие правила, которые могли бы както урегулировать этот "древний вопрос", как он пишет в эпиграфе. Наверное,

точнее было бы сказать: “вечный вопрос”. Или: “древний (старый) и вечный вопрос”. Отсюда и название: “Правила бегства”. Как правильно убежать от себя к себе?

В ноябре 1974 года Олег Куваев пишет Борису Ильинскому: “Я знаю цену прозе. И если бог сподобит, роман “Правила бегства” я доведу до ума. Это ведь история о людях, выброшенных из жизни, о бичах, их бедах и горе, и о том, как рушатся попытки идеалистов их спасти. Бича спасает лишь сам бич. И как недавно сказал один крестьянин-сван (я ездил в Сванетию, вернее, сходил туда пешком через перевал). Он сказал, держа в руках мутный стакан самогонки: “А этот тост, друзья, выпьем за тех людей, которые хотели жить. Но не сумели”. Он был тёмный сван, трудяга. Но часто ли тебе приходилось сталкиваться с такой концентрированной мудростью?”

Сто сорок пять книжных страниц – это всё, что он успел написать, работая над романом “Правила бегства”. По большому счёту, он его подвёл к концу, или, как бы сам он сказал, “в черновике написал первый вариант”. Оставались шлифовка, доработка, переработка, дописка, переписка и т. д. Этого он уже не успел, лист бумаги остался в печатной машинке в доме в Переславле-Залесском, где он умер. По его представлениям, над романом ещё надо было сидеть “год-полтора”...

Но этот недописанный роман можно и нужно читать!

Предчувствие смерти

Смерть торопила его. Он её предчувствовал. Стал сниться умерший отец. Захотелось поехать в родную Вятку и отыскать могилу матери. А тут – смерть Василия Шукшина (октябрь 1974 года), которую он сильно переживал. Смерть близкого товарища Геннадия Шпаликова (ноябрь 1974 года). И, наконец, смерть любимого друга Виктора Болдырева, писателя, исследователя Севера, легенды Омолона. Болдырев умер в феврале 1975 года, а 8 апреля умрёт от инфаркта и Олег Куваев.

Но пока он жив и едет в Вятку. Находит могилу матери, которую, к своему большому стыду и сожалению, давно не посещал, как и саму Вятку. “Юма вся утонула в грязи, – пишет он сестре Галине Михайловне о деревне, в которой они росли, начиная с 1944 года. – Не знаю, уж какие памятники надо ставить отцу с матерью за то, что они дали нам возможность выбраться из юмского болота”.

Памятник на могиле матери он решает ставить. И вновь приезжает в Юму в августе 1974 года, на этот раз с мешками цемента. “Там надо было добыть кирпичи, ещё цемент и машину, – пишет он сестре Галине. – С помощью большого количества водки всё это добыл... Натаскал я в рюкзаке шлаку, и поставили на шлаковой подушке, и воду отвели. Пока это самый красивый и самый приличный памятник на кладбище”.

Сообщал он сестре и о болезнях, которые стали посещать его. В мартовском (последнем в жизни) письме 1975 года, за месяц до смерти, он даже отправил сестре “грозную бумагу насчёт давления”, – возможно, кардиограмму. А за год до этого, в марте 1974 года, когда начал выходить в свет журнальный вариант романа “Территория”, написал Галине Михайловне: “Что-то вот уже с год ежедневно думаю о смерти. Что это за штука такая. Мне это необходимо в душе понять, а не могу...”

Светлана Гринь, гражданская жена Олега Куваева последних двух с половиной лет, свидетельствует, что “в 1974-1975 годах Олег купил в Москве иконы и Библию, несмотря на всевозможные запреты и трудности “доставания” таких вещей в те времена. Библию читал до последнего своего дня. Иконы хотел отдать на реставрацию, но не успел. Будучи истинно русским человеком, внутренне (не напоказ) веровал в Бога. А когда ему бывало плохо, часто говорил: “О, Господи! Господи! Если Ты есть, а я знаю, что Ты – есть, прости меня, грешного!”

Хотел ведь Олег Куваев писать ещё один роман – “Последний охотник”, в стиле Фенимора Купера, только своего времени и о Чукотке, о чукчах и пришлом белом охотнике. Но пока заканчивал “Правила бегства”. 6 апреля 1975 года он приехал в Переславль-Залесский, в квартиру сестры Светланы Гринь, где привечали и его, чтобы продолжить работу над романом “Правила бегства”.

Далее свидетельствует родная сестра Светланы Гринь, хозяйка квартиры Людмила Чайко:

“Тот роковой день начался, как всегда, – Светлана, Анатолий и я утром ушли на работу. Олег, вновь приехавший к нам в Переславль-Залесский, приступил к своей любимой работе – шлифовке только что законченного чернового варианта романа “Правила бегства”.

На перерыв я пришла немного раньше положенного, в 12 часов была уже дома. Дверь в комнату Олега была закрыта. Только подумала: не буду мешать, дверь открылась, показался Олег. Увидев его лицо, покрытое крупными каплями пота, я испугалась: “Тебе плохо?” Махнул рукой и потёр в районе сердца. Я сказала, что вызову “скорую помощь”. “Не надо”, – возразил он и спросил, есть ли в доме нитроглицерин. Мы были молоды, и таких лекарств в доме не водилось. Я кинулась к соседке напротив (у неё был телефон) и немедленно вызвала “скорую”. Нитроглицерина у неё тоже не было. Соседка подсказала, что во втором подъезде живёт медсестра.

Я бросилась туда. Навстречу из подъезда – медсестра с медицинской сумкой. Поняла меня с полуслова. Когда мы вошли, Олег лежал на полу недвижно. Медсестра пощупала пульс и произнесла роковое: он мёртв. Я закричала, чтобы сделала укол. Укол действия не возымел. Подоспевшая “скорая помощь” оказалась бессильна.

В это время пришли на перерыв Светлана и Анатолий. Светлана, вся дрожащая, щупала пульс Олега и кричала ещё не ушедшим медикам: “Пульс есть, пульс есть, сделайте что-нибудь!” На самом деле она приняла свой собственный сильно бьющийся пульс за пульс Олега.

Сердце Олега Михайловича Куваева перестало биться 8 апреля 1975 года в 12 часов 15–17 минут. Назавтра вечером в сопровождении моего мужа тело Олега было перевезено в Калининград (Подмосковный). Гражданская панихида проходила в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве. Вместо траурной музыки звучала 40-я симфония Моцарта. По обоюдному согласию сестры Галины Михайловны и жены Олега было решено похоронить Олега Михайловича Куваева на кладбище Болшево (Подмосковного). Он погребён рядом с могилой отца”*.

В гостях у Олега Куваева и его семьи

10 октября 2018 года, я нахожусь в подмосковном городе Королёве, бывшем Калининграде, в доме Дмитрия Бартишвили-Куваева. Он сын сестры Олега Куваева Галины Михайловны и её мужа Георгия Семёновича Бартишвили, то есть племянник Олега Куваева, тот самый Димулька, о котором Олег Михайлович часто упоминал в письмах к сестре, передавал ему тёплые приветы. Но теперь “Димулька” давно взрослый и уже седой.

Пожилые родители Дмитрия живут здесь же, как и его дочь, но она в школе. А родители где-то в своих комнатах, дом большой, и я их пока не вижу.

Когда я нашёл этот дом, встречать меня вышел Дмитрий. За высоким глухим забором – просторный двор, засеянный травой. Октябрь, поэтому трава пожухла, и через нее видны камни. Но не простые и даже не местные. Дмитрий – тоже геолог, как и его знаменитый дядя, поэтому навёз камней из разных мест России.

– Из-за травы плохо видно, но здесь выложена из камней карта России, – поясняет Дмитрий. – Вы стоите как раз на Чукотке и своей Камчатке...

Я невольно делаю несколько шагов назад, оглядываю поляну. Действительно, если приглядеться, то можно увидеть Урал, Алтай, а там, дальше – и Кавказ. Если бы не трава, картинка была бы чёткой.

– Камни привезены из той местности, которую изображают, – добавляет Дмитрий. – Это труд многих лет. Где бывал, оттуда и вёз. Многое друзья привозили. Это Памир. На Памире я был, Олег тоже был. Там породы гранитные...

– Вот Кавказ, – Дмитрий приглашает меня пройти к другому краю поляны. – Мама географ, мамины образцы с Военно-Грузинской дороги... Это амазонит. Могила Олега сделана из него. А за этим камнем в Терсколе работал Олег Михайлович. Там такая опушечка была недалеко от нашего дома, на берегу речки, которая в Баксан впадает. И этот камень был его столом.

---

* Цитируется по: https://old.litrossia.ru/2011/27/06321.html

У него был маленький стульчик, он садился, ставил на камень портативную машинку и печатал. Сюда этот камень ребята привезли. “Территория” и “Правила бегства” во многом на этом “столе” написаны. И “Дом для бродяг”. Он ходил, печатал, когда солнечная погода была. Весной солнце очень греет...

После экскурсии по “каменной России” мы заходим в дом. Дмитрий ведёт меня в рабочий кабинет Галины Михайловны, матери, сестры Олега Куваева. Знакомит. Передо мной сидит в кресле за столом, заваленном кипой каких-то документов и похожих на рукописи бумаг, миниатюрная, седенькая женщина с живыми, весёлыми, но, видно, не очень здоровыми глазами и милой улыбкой на лице. Одета тепло – в свитер и меховую безрукавку-душегрейку.

– Вот, продолжаю разбирать наследие брата, – говорит она. – Вы знаете, что у нас в доме мемориальный музей Олега?

– Да, знаю, – отвечаю я. – Затем и приехал, чтобы с вами познакомиться и музей посмотреть.

– Дима мне сказал про вас, о том, что вы пишете книгу про Олега. Спасибо за интерес к нему.

– Это вам спасибо, что храните память о нём.

Не хочу утомлять пожилую женщину длинным разговором, поэтому желаю ей хорошего дня, и мы с Дмитрием поднимаемся по внутренней лестнице на второй этаж, в комнату, которую он оборудовал под музей. Как долго я об этом мечтал! И вот стою среди вещей и книг любимого писателя. На полу лежит огромная шкура белого медведя, которую привезли Куваеву с Чукотки. У задней стены – большой книжный шкаф. Рядом с входом – шкаф поменьше, на одной из полок которого с книгами самого Куваева лежит его трубка. Здесь же фотография, на которой он с этой трубкой.

Обращаю внимание на то, сколько издано книг Олега Куваева на иностранных языках. Полки этого шкафа почти полностью заставлены ими. И действительно, книги писателя переведены почти на тридцать языков, они выходили в Германии, Франции, Молдавии, Украине, Румынии, Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Венгрии, Англии, Греции и т. д.

– Многое ещё не разобрано, не доделано, – поясняет Дмитрий. – Как только построили дом, справились с внутренней отделкой, я сразу приступил и к этой комнате.

Музей создавался, когда Куваевы жили ещё в старой тесной квартирке. Но по ходатайству Министерства геологии, Союза писателей России, Общества охраны памятников и ряда других общественных организаций руководство города Королёва выделило участок земли, на котором Дмитрий Георгиевич Бартишвили-Куваев выстроил этот отдельный просторный дом из красного кирпича, где и воссоздал мемориальную комнату своего дяди-писателя.

Здесь же, в комнате-музее, стоит небольшой рабочий стол, за которым Дмитрий разбирает записные книжки Олега Куваева. Почерк у писателя был непростой, да ещё и мелкий, работа идёт не быстро, многое приходится читать через лупу.

Обращает на себя внимание обилие на стенах картин и линогравюр на северную тему. Собирали их и сам Олег Куваев, и Дмитрий.

После музея спускаемся в просторную столовую. Дмитрий уходит на кухню приготовить кофе. Собираемся ехать на Болшевское кладбище, на могилу Олега Куваева. Я рассчитывал идти пешком – всего-то пара километров, но Дмитрий предложил велосипеды, благо их у него два – его и дочери. Я давненько не ездил на этом двухколёсном транспорте, но не спорю, соглашаюсь.

Едем через парк, какую-то старую насыпь, переезжаем мосток и выбираемся на автомобильную дорогу. Мне не сразу, но всё же удаётся приноровиться к велосипеду и педалям, и я лишь стараюсь не отставать далеко от Дмитрия.

Вот и кладбищенская ограда. Дмитрий, не сбавляя скорости, юркает через полуоткрытые металлические воротца внутрь кладбища. Я на автомате, не раздумывая и тоже не снижая скорости, – а зря! – заворачиваю в воротца, но задеваю о них концом руля, руки выпускают его, и меня несёт прямо на ближайшую металлическую ограду первой от забора могилы. Не успеваю бросить велосипед и спрыгнуть с него, как впечатываюсь всем лицом в железные прутья ограды. Самый толстый поперечный прут пришёлся как раз по губам и зубам. Хрясь! Валюсь на землю, велосипед улетает в сторону, а у меня, лежащего, изо рта и разбитого носа ручьём течёт кровь. Встаю, наклоняюсь над

землёй, стараясь, чтобы кровь не залила одежду. Как могу, руками вытираю губы и нос – больше нечем, с собой нет даже платочка.

Через некоторое время вернулся Дмитрий, понявший, что со мной что-то случилось. На соседней могиле стояла пластиковая бутылка с водой, и я смог обмыть лицо. Дмитрий дал мне свой носовой платок.

Наконец, едем к могиле. Нет, я уже не еду, а веду велосипед. Другой рукой придерживаю у рта платочек.

– Ну вот, здесь покоится Олег Михайлович, – говорит Дмитрий.

Мысленно здороваюсь с писателем. Вот и добрался я до его могилы! Надгробие состоит из трёх камней. Дмитрий говорит, что самый большой привезён с Чукотки. Кстати, перед нами здесь были гости с Чукотки, оставили на скамеечке чукотский меховой талисман. Могила окружена металлическими цепями.

– Чуть зубы я не оставил на твоей могиле, Олег Михайлович, – говорю я, мысленно обращаясь к Куваеву и глядя на камни. – Будет память на всю оставшуюся жизнь.

Кладбище старое, запущенное, как многие русские погосты. Но здесь, на могиле Куваева, это почему-то воспринимается с неким уютом в душе. Старое, заросшее – значит, тихое, спокойное. Вот и нашёл свой покой неуёмный бродяга, мятущаяся душа, романтик, влюблённый в Север и горы. Успевший оставить нам замечательные произведения, которые и нас зовут жить по "правилам бегства". Бегства к себе, а кому-то – от себя.

– До свидания, последний дом для бродяги, – говорю я перед уходом.

По пути домой Дмитрий рассказывает о себе и своей семье:

– Отец с матерью вместе работали, занимались физикой атмосферы. Здесь у мамы была комната. Она на меня её записала, а сами они всегда жили на Кавказе. У отца была квартира в Тбилиси. Я не знал, куда пойти учиться. Мастер спорта, меня звали хоть куда, хоть в Тбилиси. Но стал я геологом. Когда Олег умер, мама спросила, согласен ли я хранить память Олега? Конечно, я согласился. И сама мама, когда Олег умер, там с работы уволилась, приехала сюда. Она понимала, что книги Олега надо публиковать, и она занялась его литературным наследием. Я тогда только в седьмом классе учился, и мы с отцом там жили, на Кавказе. А мама моталась туда-сюда.

– Мама по фамилии Куваева?

– Да, она не меняла фамилию, она Куваева. И я поменял на Куваева. Отец понимает, что надо оставить фамилию Олега. У меня же брат ещё есть, он Бартишвили. У меня дочь Маша. Мама даже воспрянула, когда я стал Куваевым. Она болеет. Вообще мы думали, что она мало проживёт, но, молодец, держится. Жена у меня белоруска. У мамы была огромная коса, всю жизнь. И у Машки волос бабушкин. У Олега густых волос не было, он даже лысеть начал очень быстро...

Дома Дмитрий обработал мои раны, которые оказались достаточно серьёзными, а вечером со всей семьёй Бартишвили-Куваевых мы скромно помянули Олега Михайловича. Старший Бартишвили – Георгий – рассказывал об Олеге. Говорил тихо. И как-то грустно было слушать его вдумчивый, неспешный голос:

– Олег мало говорил, больше молчал, слушал. Особенно неинтересно ему было с интеллигенцией. К нам наши сотрудники приходили, учёные. Я вижу, он не слушает. Немного посидит и ищет способ удрать. Я спрашивал, почему он так. Он: знаешь, интеллигенция научена скрывать правду, и мне не интересно. Он всегда был учеником, никогда – учителем. Ни с кем он не спорил. Он не говорил своё мнение. Он прислушивался издалека. Интересно – ещё глубже интересуется, интересно – что-то пишет. Как-то девочка Тамрико, семиклассница, из Тбилиси приехала к нам в Терскол. И начала болтать. Олег внимательно слушал и – раз! – что-то записал. Потом Тамрико говорила, и он записал с её слов, что у них в классе есть мальчик, которого дразнят "клизма без механизма". У Олега потом это было. Мы с другом в командировке были, у нас большая русская печка стояла, которую называли "Иван Грозный". И у Олега есть это. Он всегда прислушивался.

Знаете, ему даже более интересны были немножко умственно ограниченные люди, чем умные. Я спросил Олега: почему? Он мне сказал: они искренние. Он тихий был человек. Юмор – только на себя. Изумительно: юмор – только на себя. Он никогда над другими не смеялся. Когда говорили

про русских, он говорил: нет русского этноса, есть Москва, и есть проблемы, связанные с Москвой. А потом, с годами, я убедился, что это так.

— А кого из женщин он всё-таки больше всех любил? — поинтересовался я.

— Аллу Федотову, — уверенно ответил Георгий. Галина Михайловна, слушая мужа, согласно кивнула головой.

— Он её единственную по-настоящему любил, — продолжал Георгий. — Несколько лет назад она пришла сюда, ночевала даже здесь. К сожалению, умерла уже...

Разговор у нас был долгим. Потом мы остались вдвоём с Дмитрием. И опять говорили об Олеге Куваеве. О нём говорить можно бесконечно. Человек прожил сорок лет, а столько нам оставил!..

* * *

"Помни об отце Грине! — писал в одной из записных книжек Олег Куваев. — Мир скучен. Надо выдумывать его и абстрагировать. Но вовсе не значит, что это — лезть в Лиссы и Зурбаганы. Наводи, братуха, цветной прожектор на серую улицу жизни. В живописи это называется условной манерой".

Он был настоящим писателем. Мастером художественной прозы.

АЛЕКСЕЙ КОЛОМИЕЦ

ГИМН РАБОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

О творчестве А. И. Люкина

Неоднократно хотелось мне написать эссе об Александре Ивановиче Люкине, удивительном нижегородском поэте. Я вновь и вновь перечитывал его стихи. Знакомился хоть и с немногочисленными, но, надо сказать, обстоятельными статьями о нём Н. Барсукова и Л. Безрукова (вышедшими в далёкие 60–70-е годы прошлого столетия). С большим интересом изучил работу Л. Калининой о Люкине, опубликованную в Нижнем Новгороде совсем недавно. Это добротный, основанный на глубоком знании жизни Александра Ивановича и его творчества материал. Читал я и другие интересные работы, в частности, Н. Симонова. Но почему же у меня всё настойчивее вызревает желание попытаться написать о нём вновь? Меня занимают вопросы: "Что я могу сказать нового, свежего? Что я обнаружил, почувствовал в его строчках – важное и значимое для себя?"

Вроде бы всё уже сказано: и о самобытном поэтическом таланте Люкина, и о чрезвычайно серьёзном его отношении к своему творчеству, и об остроте поэтического взгляда, и о виртуозном владении простыми деталями. Слова "талантливый самородок" как нельзя более точно определяют именно его. Ведь он сам себя создал – "родил" как поэта – само-родок!

И всё же почему он так сильно притягивает меня, почему я раз за разом перечитываю его строки? Почему его стихи непременно высекают из меня слёзы сопереживания, сопричастности? И дело не в каких-то особых формальных красотах, в неких изысканных новаторских приёмах. Нет, этого у него нет совершенно.

Если уж совсем скрупулёзно оценивать поэтическое мастерство Люкина, то можно заметить у него и большое количество глагольных рифм, местами разорванную ритмику, отсутствие ярких, пышных красок, метафор, эпитетов. Всё, казалось бы, предельно просто. И в то же время строчки разят меня в самое сердце, возникает ощущение близости, родства с его мироощущением. Большинство его стихотворений заканчиваешь читать с комком в горле, а то и со светлой слезой. Кажется мне тогда, что всё, о чём он пишет так сдержанно, но и так проникновенно, я уже видел, чувствовал. Я узнаю этих людей, его лирических героев. Это моя родня: отец и мать, бабушки и дедушки, мои дяди и тёти, окружение. Стихотворение "Отец":

КОЛОМИЕЦ Алексей Маркович — российский учёный, геолог, писатель. Автор девяти книг поэзии и книги прозы. Член Союза писателей России. Член редколлегии литературно-художественного журнала "Вертикаль, XXI век". Живёт в Нижнем Новгороде.

Он пахнет дымом,
Маслом и железом,
Он кажется и сам
Железным вдруг:
Когда детишки
На руки полезут,
То ясно чувствует
Железо рук.

Но он для них
Единственный на свете
И что жестки ладони —
Ничего.
Он очень ласков.
И родятся дети
От несказанной
Нежности его.

Образы этих скромных, застенчивых, как принято почему-то говорить, — "простых" людей поразительно точны у Люкина, узнаваемы. Мы, те, кто жил в прошлом столетии, сами их видели. Они знают цену плодотворному труду, рабочему и крестьянскому. Обладают чувствами высокой ответственности и долга, но и основательным чувством собственного достоинства. Вот как пишет о них Люкин:

Кто видел солнце
В час его восхода?
Его мой друг
Из синего тумана
За корпусами
Нашего завода
В час утренний
Вытягивает краном.
<...>
Я верю в них,
Они такое могут,
Огромное,
Повесили на крюке,
Попятились.
Помедлили немного
И вот о фартук
Вытирают руки.

Со скупой, но огромной симпатией пишет об этих людях Александр Иванович, потому что он сам такой! Он плоть от плоти их, он наследник их врождённой глубокой нравственности, целомудрия, удивительного трудолюбия и искреннего уважения к нелёгкому рабоче-крестьянскому труду. Он и любит их не изысканно-страстно, а предельно уважительно, любовно-жалостливо к женским образам; поэт наполнен той самой "жалостью", о которой и пишут, и поют на Руси. Стихотворение "Счастье" — пример такой высокой жалости:

На всю семью она стирала,
На всю семью она варила.
И если тяжело бывало,
То никому не говорила.
<...>
И если чем поможет детям,
То просветлеет от участья.

Бывает же на белом свете
Красивое такое счастье!

А ещё есть у Люкина трогательные стихотворения “Горе”, “Мадонна с молоком” и множество других. В героинях А. И. Люкина я узнаю моих не умевших писать, но мудрых и чистых душою бабушек Федору и Пелагею, с достоинством переносивших тяготы жизни, нужду и несчастья, с мудростью, терпением и неистребимым чувством долга. Вот они, встают во весь рост в произведении “Во вторую смену”:

Встала утром,
Убрала кровать,
На базар сходила,
Щи сварила,
Собрала дочурку
Погулять,
Напоила всех
И накормила.

Разогнула
Спину от полов,
Поглядела
На часы тревожно.
“Слава те... —
Подумала без слов. —
Вот теперь
И на работу можно”.

Узнаю я отчётливо и в Александре Ивановиче, и в его отце своего отца – крестьянского сына с Украины с одним классом церковно-приходской школы, сумевшего самостоятельно, настырным трудом пробить себе достойную большого уважения дорогу в жизни. С моим отцом не было смысла спорить или даже не согласиться, когда он строго и сурово размышлял о каком-то событии, явлении, человеке, настолько мудро и прозорливо он рассуждал. Вот эту неброскую, сдержанную, но истинно народную, веками воспитываемую поколениями предков мудрость ощущаю я и у А. Люкина.

Немало в России мастеровитых поэтов старшего и молодого поколений, но такого трепетного, глубоко прочувствованного, выразительно точного и уважительно выписанного образа трудового человека я не встречал ни у кого.

А что уж говорить о нынешних поэтах! При всех достоинствах их технического мастерства (если таковые имеются) большинство из них, за редким исключением, погрязли в мелкотемье, в поэтических штампах, в самокопании.

Другая важнейшая тема поэзии Александра Ивановича – война, которую он прошёл рядовым солдатом. Люкин писал о военных солдатских событиях и впечатлениях такие пронзительные и бьющие в сердце строки, как “Фронтовая дружба”, “Если это забуду” и многие другие:

Говорят, что с фронта он пришёл
Хмурый, неприступный и тревожный:
Только тронь — взрывается, как тол.
Мол, с таким работать невозможно.

Больно уж в суждениях быстры.
Мы-то ведь на фронте тоже были
И из тола делали костры,
И спокойно валенки сушили.

О творческой манере, поэтическом мастерстве А. И. Люкина, его необычайном упорстве в поиске образа, рифмы, строки другие уважаемые критики написали достаточно. Я хочу лишь отметить одну значительную, характерную особенность поэзии Александра Ивановича, свидетельствующую о его незаурядном мастерстве. Это поразительное умение в конце стихотворения находить такие “ударные” строки, которые вызывают взрыв эмоций и комок в горле. Иногда они очень серьёзные, иногда подаются с тонкой иронией и юмором, но всегда – ударно эмоциональны. Например:

Ах, как мы много голоду
Испытываем смолоду.
Морковь едим,
Щавель едим,
Ещё чего поесть глядим.
Жадны, как черви, до кино —
Глядим любое, все равно.
Вихрастые мальчишки,
Вовсю глотаем книжки.
На сцене что ни ставится,
Нам до упаду нравится.
И только к старости зато
Нам всё на свете — ересь:
Щавель — не то,
Морковь — не то,
Любовь — не то...
Наелись.

Теперь несколько слов о биографии А. Люкина для тех, кто не знаком с его творчеством. Александр Иванович родился 29 марта 1919 года в деревне Шковёрка Княгининского уезда Нижегородской губернии в обычной небогатой крестьянской семье. Суровый трудяга-отец, работящая любящая мать, семь братьев и сестёр. А Саша – старший из них. И значит, сам постоянно в трудах, брал у родителей трудовые и нравственные уроки. А с какой любовью-жалостью и с каким уважением поэт в своём творчестве впоследствии вспоминал маму!.. С какой доброй усмешкой описывает Александр Иванович трудовое крестьянское детство и отрочество в стихотворении "Король". Какой искренний "Сыновний поклон" отвешивает он своему суровому, но заботливому отцу.

Неутомимо трудясь на крестьянском поприще, Саша в то же время жадно тянулся к знаниям. Когда отец не отпустил его учиться в семилетней школе, Саша упрямо записался туда сам. А окончив её в 1934 году, он, вопреки воле отца, видевшего в нём своего помощника в нелёгком крестьянском труде, настоял в 1936 году отпустить его в Нижний Новгород учиться рабочему ремеслу, жизни. Но уроки жизни отца и матери он помнил всегда. Из стихотворения "Сам":

Мне отец не покупал игрушек,
Он на ветер денег не бросал.
Он, бывало, надерёт мне уши
И сердито скажет:
— Делай сам.
<...>
Сам уехал от отца я в город,
Жил трудом,
Не верю чудесам.
И когда нужда брала за ворот,
С ней я расправлялся
Тоже сам.

В Нижнем Новгороде (Горьком) до войны Саша осваивал рабочие профессии на заводах Сормова, жадно учился жизни в рабочем коллективе. В 1942 году ушёл на фронт, пройдя сначала десантником, а потом рядовым-минёром по трудным дорогам войны. Окончив военную службу в 1947 году, он вновь вернулся на завод. И вот тогда Александр начал писать стихи.

Вообще-то стихи Саша пробовал писать ещё в пятом классе, а затем тайно, потихоньку, – и на заводе, и на фронте. Это была "проба пера". Его первое настоящее стихотворение было опубликовано в 1949 году в заводской многотиражке. Участвуя в литературном кружке завода, Александр продолжал совершенствовать своё поэтическое мастерство, добивался точности образа, силы строки. Не скоро, но его заметили.

В 1957 году Александр Иванович был приглашён участвовать в заседании оргкомитета Союза писателей РСФСР, где он был отмечен маститыми М. Светловым, А. Жаровым и другими. А в 1958 году вышла первая небольшая книга его стихов “Мои знакомые”. И уже вскоре (в 1961 году) он был принят в Союз писателей СССР, замечен критикой, направлен в Москву на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. Два года учёбы и новая, уже значительная книга стихов “Жизнь” (1963), затем – “Беспокойство” (1965), “Судьбы” (1966), которые сделали его знаменитым, читаемым поэтом, названным в конце жизни “лучшим поэтом Волги”.

Это был заслуженный успех. Работая над стихами, Александр Иванович относился к своему творчеству так же, как к нелёгкому труду рабоче-крестьянскому – с высокой ответственностью и тщательностью, с глубоким ощущением чувства долга перед теми, о ком и для кого он писал, не допуская малейшего брака. Этому он учил и своих воспитанников из литобъединения “Волга”, которым ему довелось руководить.

По своему мировоззрению, мироощущению, по своему жизненному опыту Люкин оставался русским крестьянином, рабочим, рядовым солдатом. Рабочие и крестьяне России – это десятки миллионов людей, составляющие не только основную массу населения, но и нравственный костяк нашей страны. Их руками и умом создаётся национальное богатство, от хлебной нивы до громад космических кораблей. Эти люди как бы исчезли сейчас из поля зрения писателей и поэтов, журналистов и людей искусства. Эту пустоту мы ощущаем. Рабоче-крестьянские профессии сегодня – немодные. Молодёжь их избегает. Как же за это стыдно! Тем более надо знать и ценить замечательную поэзию Александра Ивановича Люкина.

Жизнь поэта трагически оборвалась в 1968 году. Ему не было ещё и пятидесяти лет. Названные выше четыре книги и две, вскоре посмертно изданные – “Раздумья” (1969) и “За хлеб, за соль” (1970) – небольшой, в сущности, поэтический багаж. Но он сделал Александра Ивановича заметным, любимым русским поэтом со своим совершенно самобытным народным языком, с яркой, узнаваемой поэтической манерой, проникнутой глубоким уважением и любовью к трудовому человеку, главной нравственной и трудовой силе нашего народа, о чём сегодня, к прискорбному сожалению, уже позабыли. А ещё в его поэзии звучит безусловная правда.

Хотелось бы, чтобы читатель ещё раз обратился к поэзии А. И. Люкина, прикоснулся к поэтическому чуду его творчества.

Вот уже четыре года подряд редакция "Нашего современника" издаёт номера, посвящённые жизни, труду и творчеству геологов России. Эти издания стали весьма популярными, о чём свидетельствует поздравление нашим геологам от нефтяников, присланное в редакцию журнала.

ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ

Дорогие друзья!

От души поздравляю читателей журнала «Наш современник» с 55-летием Дня геолога!

Это, безусловно, национальный праздник, который затрагивает каждого россиянина. Открытие геологами ключевых нефтегазоносных провинций – Волго-Уральской, Тимано-Печорской, Западносибирской – можно считать важнейшими вехами истории всей страны. Лучшие выпускники советских школ мечтали исследовать недра и поступали на геологические факультеты. Развитие науки о строении Земли позволило нашей стране в кратчайшие сроки создать минерально-сырьевую базу и сформировать нефтегазовую отрасль, которая на долгие годы стала локомотивом экономики.

День геолога также значим для нашей Компании, которая в этом году отмечает свое 30-летие.

За этот период времени ЛУКОЙЛ стал одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Сегодня на ее долю приходится примерно 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов.

Эти успехи были бы невозможны без масштабных геологоразведочных работ, благодаря которым Компания открыла целый ряд новых успешных нефтегазоносных провинций.

Речь идет, прежде всего, о Северном Каспии. С момента проведения геологоразведочных работ здесь обнаружено 9 месторождений

с начальными извлекаемыми запасами более 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Одно из них, месторождение имени Владимира Филановского – самое крупное открытие в новейшей истории России, накопленная добыча на нем составила уже 25 млн тонн нефти.

Еще один пример успешной реализации программ ГРР – освоение Денисовской впадины в Тимано-Печорской провинции. С 2008 года здесь открыто 7 месторождений нефти с общими начальными извлекаемыми запасами в более чем 95 млн тонн, в том числе Восточно-Ламбейшорское месторождение. Накопленная добыча нефти по разрабатываемым проектам достигла 22 млн тонн.

В результате активных геологоразведочных работ обнаружены новые морские месторождения и на шельфе Балтийского моря. Освоение этих запасов превратит Калининградский регион в одну из точек роста добычи углеводородов.

Мы постоянно пополняем свою основную ресурсную базу в Западной Сибири – за счет новых месторождений и залежей на действующих проектах. С 2013 года приобретено, в том числе, Имилорское месторождение, на котором благодаря применению современных подходов по освоению трудноизвлекаемых запасов проектный уровень добычи увеличен до 2,5 млн тонн нефти в год.

Также введенные нами в разработку месторождения Большехетской впадины с начальными извлекаемыми запасами почти в 1 млрд тонн условного топлива стали одной из точек роста Компании. Одно из них, Пякяхинское – крупнейшее в Ямало-Ненецком автономном округе по объемам разведанных запасов углеводородов за последние несколько лет. Годовая добыча газа здесь доходит до 4 млрд кубометров, нефти – 1,6 млн тонн.

За 30 лет ЛУКОЙЛ открыл в России более 200 месторождений и свыше 600 залежей углеводородов. А проходка в поисково-разведочном бурении составила почти 5 млн метров.

Добиться успехов нам помогла синергия производственного и научного блоков Компании. Мы применяем самые передовые и высокотехнологичные методы в области строительства скважин, геолого-геофизических исследований. Ведутся широко-азимутальные полевые сейсморазведочные работы 3D с полным комплексом обработки и интерпретации – они позволяют получить самые достоверные представления о структурно-тектонических моделях и фильтрационно-емкостных свойствах продуктивных пластов.

Несмотря на применение современных технологий и цифрового оборудования, главным в профессии геолога по-прежнему остаются человеческие качества – ответственность, умение оперативно принимать решение и преодолевать трудности, работать в команде, и, конечно, любовь к природе. Без этих качеств невозможно быть в авангарде нефтедобычи.

Хочу пожелать всем, кто выбрал для себя путь геолога, высокого профессионализма, веры в свои силы, здоровья и счастья!

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ

КАК И ПОЧЕМУ УНИЧТОЖАЮТ РУССКИЙ ТЕАТР

Вовсе не на арене общественных дебатов вершится истинная битва добра и зла, а на крошечной площадке сердца.

Янн Мартел

Для того чтобы объективно ответить на поставленный в названии статьи вопрос, надо вернуться к тому времени, когда русский театр стал открытием для всего мира. Как известно, это годы (1922-1923) непревзойдённых гастролей МХТ в Европе и Америке.

Не приводя здесь всех восторженных рецензий критиков, отзывов актёров и режиссёров – это заняло бы многие и многие страницы, – скажем главное. Гастроли русского театра навсегда остались в истории европейского и американского театра как событие, ход этой истории изменившее. К примеру, американская пресса писала в то время: "Ни один другой зарубежный театральный коллектив не приезжал на столь длительные гастроли с таким количеством спектаклей в репертуаре и не оказал такого воздействия на искусство театра в Америке".

Прошло почти столетие, но и через годы эти гастроли остаются в памяти под знаковым названием "театральное вторжение" русских.

Станиславский, недоумевая, задавал себе вопрос: почему американцы так превозносят нас? И сам отвечал, что в мхатовской "театральной революции" в центре успеха стоял Ансамбль, сформированный русской культурой и новым взглядом на современный театр.

Теперь попробуем хоть отчасти проследить, как русский театр развивался дальше: в тридцатые годы сталинского правления и позже – в "оттепель", во "время застоя" и до "перестройки", когда с театром произошло небывалое: он стал непохожим на себя, он стал оборотнем.

Давно превратились в легенду рассказы о посещении Сталиным спектакля МХАТа "Дни Турбиных" М. Булгакова. Знатоки театральной истории спорят, уточняя, 15 или 20 раз смотрел "отец народов" эту пьесу, и обязательно пересказывают сопутствующие эмоции деятелей театра и Вождя во время их общения. История одной такой закулисной встречи, во время которой (якобы от волнения) Станиславский представился Алексеевым, а Сталин – Джугашвили – наглядный пример.

В день знакомства перед Сталиным в ореоле славы предстал выдающийся театральный деятель, потомственный купец и один из создателей русской культуры. Великий режиссёр, встретившись с руководителем страны, по свидетельству очевидцев, вёл себя безукоризненно, дал почувствовать вождю не только свою смелость и умение держать себя, но помог Сталину увидеть и осознать причину мирового признания этого театра. Уместно привести ещё одну короткую цитату из сотен рецензий, появившихся во время гастролей МХАТа в Америке. "Приезд МХТ стал случайностью, выразившей необходимость. Театр Станиславского предъявил американскому театру актёрскую труппу невиданного до того – и нового – уровня: объединённую общностью методологии, яркой социальной направленности и единую в театральном языке".

Вы спросите, почему автор придаёт встрече Сталина и Станиславского такое значение?

Во-первых, незначительные детали обычно важнее всего, а во-вторых, русский театр, получивший к этому времени мировое признание, по всем признакам постепенно стал аккумулировать в себе не только новый социалистический строй, но и на протяжении нескольких десятилетий постепенно сжился и даже научился преодолевать "большевистский наезд" на Россию.

Общение Сталина со Станиславским, его договорённость о встрече с Булгаковым, о которой речь пойдёт ниже, при стечении определённых обстоятельств вполне могли бы изменить историю русского театра, сделать её менее болезненной и драматичной.

"Всякая власть от Бога, – утверждает Ж.-Ж. Руссо, – но и всякая болезнь от Него же: значит ли это, что запрещено звать врача?" Конечно, не значит! Такими врачами могут быть только истинные мастера – пророки, способные и "видеть, и внемлить". Но к великому сожалению (мы наблюдаем это и сегодня), власть – "это такой стол, из-за которого никто добровольно не встаёт".

Сегодня рост ностальгических настроений среди населения современной России отмечают многие социологи. В театральной культуре Советского Союза работало громадное количество талантливых актёров и режиссёров. Атмосфера была деловой и строгой, приходилось работать ответственно, да и пригляд был основательным и требовательным. Сегодня, к сожалению, подобная работа – из ложного посыла ни в коем случае не мешать творческим людям – стала практически незаметна. В итоге иногда возникает настоящий бардак или, как говорят шутники, зона комфорта для людей со свалкой в головах.

Русский театр в пору сталинского правления нередко переживал самую нелицеприятную критику. Вот короткий фрагмент из постановления ЦК ВКП(б): "Комитет по делам искусств ведёт неправильную линию, внедряя в репертуар театров пьесы буржуазных зарубежных драматургов. Эти пьесы являются образцом низкопробной и пошлой зарубежной драматургии, открыто проповедующей буржуазные взгляды и мораль.

Предоставление сцены для пропаганды реакционной буржуазной идеологии и морали является попыткой отравить сознание советских людей мировоззрением, враждебным нашему обществу.

Широкое распространение подобных пьес Комитетом по делам искусств среди работников театров и постановка этих пьес на сцене явились наиболее грубой политической ошибкой Комитета по делам искусств".

Но несмотря на такую беспощадную критику, русский театр всё-таки выстоял и не перестал быть значимым явлением в русской культуре. Были поставлены сотни прекрасных спектаклей, появились десятки талантливых артистов, отмеченных званиями и признанием народа.

До сих пор вспоминаются такие яркие спектакли, как "Васса Железнова" М. Горького в Малом театре, "Учитель танцев" Лопе де Вега в театре Советской армии, спектакль по пьесе К. Гольдони "Трактирщица" в театре Моссовета. В это время театральное искусство выдвинуло великолепную плеяду прекрасных актёров: Б. Добронравова, М. Климова, О. Книппер-Чехову, А. Остужева, В. Пашенную, В. Рыжову, П. Садовского, А. Яблочкину...

Готовясь к войне с Советским Союзом, Адольф Гитлер недвусмысленно заявлял: "...необходимо уничтожить всякое упоминание о славянской культуре на территории Европы. Уничтожение очагов культуры есть способ уничтожения нации".

Неоднократно он касается и Шекспира. Его ненависть к Англии перекинулась и на великого драматурга. Эта ненависть не случайна. Гитлер видел

в Шекспире, помимо всемирно известного драматурга, ещё и мощного идеолога. Он прекрасно понимал значение и воздействие шекспировского театра на человечество. Ключевое изречение Шекспира полностью и без остатка вмещает любую идеологию, потому что в театре, в его драматургии и истории существуют все типы мировоззрения, известные человечеству. Вот эта сентенция, так по-современному звучащая: "Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины – все актёры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль".

Не исключено, что Сталин с этой сентенцией был знаком и вполне мог использовать, поскольку перевод её на русский язык был осуществлён Т. Щепкиной-Куперник в 1937 году.

Не в этом ли ряду история звонка Сталина Булгакову? У всех поклонников писателя в памяти благородный жест вождя с предложением Булгакову приступить к работе во МХАТе. Но никто не задавал себе вопрос, что имел в виду Сталин, говоря в конце разговора о необходимости их встречи. Какой план был у Сталина и что принесла бы эта встреча Булгакову?

Вот как описывает обстоятельства этого телефонного разговора Елена Сергеевна Булгакова: "Булгаков лёг после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба его подозвала, сказав, что это из ЦК спрашивают. М. А. не поверил, решив, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и взъерошенный, раздражённый взялся за трубку и услышал:

– Михаил Афанасьевич Булгаков?

– Да, да.

– Сейчас с Вами товарищ Сталин будет говорить.

– Что? Сталин? Сталин?

И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом.

– Да, с Вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков.

– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

– Мы Ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А, может быть, правда – Вы проситесь за границу? Что, мы Вам очень надоели?

(М. А. сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса – да он и звонка вообще не ожидал, – что растерялся и не сразу ответил.)

– Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

– Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

– Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

– А Вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с Вами.

– Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить.

– Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего".

В этом настойчивом: "Да, нужно найти время и встретиться, обязательно", – есть скрытое содержание, которое при встрече могло бы радикально изменить не только судьбу писателя, но, возможно, и историю театра, и даже... идеологию. Михаил Булгаков, будучи выдающейся личностью, вполне мог произвести на Сталина сильное, если не больше – неизгладимое впечатление. В этой связи не могу не привести цитату С. Лунёва, рассматривающего вышесказанное весьма примечательно: "Булгаков и Сталин олицетворяли собой две России – дореволюционную и советскую. Они не могли жить мирно, как, впрочем, и окончательно расстаться. Несмотря на стремление большевиков построить страну "с чистого листа", они не сумели... избавиться от прошлого. Былые традиции культуры, менталитет и талантливые представители старой интеллигенции являлись важным фактором в деле конструирования советской державы. Без этого мощного фундамента невозможно было построить новое общество".

Мощный фундамент – это не только идеология, уклад, но и то, что было всегда желательно, но на годы отринуто – восстановление Божьей правды в православной стране.

Сталин, безусловно, понимал, что без таких людей, как Булгаков, нарождающемуся социалистическому государству не выжить. Не исключено, что, будучи человеком пишущим и в целом увлекающимся литературой, Сталин

понимал, что Булгаков намного талантливее большинства “пролетарских писателей”. Судьба Михаила Афанасьевича высвечивает весь трагизм непростого положения русской интеллигенции, которая после революции стояла перед выбором: потерять либо себя, либо свою родину. В итоге многие лишились и того, и другого.

Каждые десять лет менялось всё. Однако в лице позднего социализма советский театр вновь доказал, что и в горячую, и в холодную пору войны является для мирового сообщества самым ярким провозвестником русской культуры.

Каким же стал театр, когда “скрепы социализма” начали рушиться и размываться в недрах русского театра? Каким же в короткий срок стал он — постсоветский театр?

С одной стороны, есть типичные перемены в сфере отечественного театрального искусства переходного времени — разрушение относительно единой аудитории, а точнее, мифа о её внутренней однородности; появление в больших городах зрителей, не обладающих стабильной традицией “похода в театр”, но стремящихся приобщиться к сценическому искусству как сфере социального престижа; нарастание дифференцированности вкусов, предпочтений, запросов аудитории. Многие тенденции, обострившиеся в эпоху перестройки и иногда ассоциирующиеся именно с этим временем, на самом деле берут своё начало в более раннем периоде — в последних советских десятилетиях, когда исподволь размывались многие нормы официальной советской культуры, жёстко регулировавшей жизнь искусства, в том числе и театра.

К тому же, постсоветский театр оказался в новом для себя контексте: он стал плодиться не по дням, а по часам (на портале “Справочник культурных объектов Москвы” 422 театра, в этом списке к театрам причисляются и открытые эстрады в парках). В драматургии появилась так называемая “чернуха”, конкурентами театру стали досуговые зоны города, телевидение начало насыщаться разного рода реалити-шоу, актёры принялись на скорую руку лепить так называемые антрепризы. Города зажили вечерними и ночными развлечениями, палитра которых значительно расширилась после крушения советской идеологии, цензуры, представлений о нормативах культурной жизни и досуга.

Вспомним, сколько в советские времена стоило развлечься в выходной? Цены на билеты в театр в советские времена были на уровне около 2-3 рублей. В целом, с учётом дороги и буфета, сходить в театр вдвоём можно было в пределах суммы в 10 рублей. Студенты и школьники пользовались льготами и могли потратить на билет в театр почти вдвое меньше — около 1 рубля. ...

Теперь же цены полезли вверх, зрители поделились на богатую элиту и бедный “люмпен”. Но главное: в театр полезла — нахально и без стеснения — “развлекуха и порнуха”.

На смену социально ориентированной культуре пришла либеральная вседозволенность. Что же случилось и почему так быстро пошлость, цинизм и продажность стали “визитными карточками” многих театров?

Ницше писал: “Мы верим в Олимп, а не в Распятого. Сексуальность, наркомания, огромная, радостная благодарность жизни и её тиранническим условиям — вот что составляет сущность языческой культуры. Я считаю наивысшей культурой пессимизм силы. Индивидууму больше не нужно оправдывать зло. Он наслаждается чистым злом, и именно бессмысленное зло кажется ему самым интересным. Если раньше человеку был нужен Бог, то теперь его манит мировой порядок без Бога, мир случайностей, в котором есть место и для ужасов, и для различных животных проявлений”.

Ну, и наконец, нельзя не упомянуть об Арнольде Тойнби, который призвал ещё в 1972 году к уничтожению наций и заявил, что уж лучше человечеству жить при диктатуре ленинского типа, нежели подвергнуться риску уничтожения.

И вот тут мы подходим к сути происходящего, ибо основной целью идеологии Нью-Эйдж и откровенного сатанизма как раз и является создание культурных предпосылок для безжалостного уничтожения традиционных духовных ценностей: религии, театра, кино, музыки, живописи — и превращение их в свою противоположность: порок, глумление, затем уничтожение традиционной семьи и истребление КАК МИНИМУМ ЧЕТВЕРТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, чем наглядно и со всей очевидностью в полную силу занялась тиранически развернувшаяся по всему миру пандемия.

Как бы это ни прозвучало тривиально, но надо напомнить, что организованная дебилизация нашего социума уже давно идёт в русле знаменитого послания Даллеса. Не станем цитировать весь текст этого "меморандума", но начальный абзац этого программного документа всё-таки приведём: "Окончится война, всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, – всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой России".

Вот что правильно и блестяще осуществлено, так это нахождение "своих союзников в самой России". Причём этот "второй фронт" открыт не только в театре и кино, но и на телевидении, в литературе и самым широким образом – в социальных сетях.

Но вернёмся к театру. Для аналитического удобства придётся развести современную режиссуру на три подгруппы. К первой подгруппе относятся одни из самых видных: Константин Богомолов и Кирилл Серебренников. Это группа, метод которой Георгий Товстоногов называл "принцип шокирующей режиссуры", и добавлял: "Он чужд всякому артисту, потому что мертвит актерскую природу. Это форма самовыражения режиссёра, для которого исполнитель становится просто марионеткой".

Константин Богомолов – страстный режиссёр. Одно путешествие в загс на катафалке многого стоит в плане воображения и поставленных творческих задач. Однако шутки в сторону.

Вот личная самооценка Богомолова: "Я к известности отношусь, как Штирлиц: надел чужой мундир, играю с вами в то, что творчеством занимаюсь, смыслы произвожу, и думаю: лишь бы не раскусили". Но вот беда, оказывается, раскусили.

Старшее поколение зрителей помнит спектакль Георгия Товстоногова "Волки и овцы", который, кстати, немало критиковали, хотя он был выдающимся произведением, к тому же поставленным в традиционной эстетике. Спектакль "Волки и овцы" в Мастерской Петра Фоменко с огромным успехом идёт и сегодня. Вот короткий и непосредственный отзыв зрителя: "Этот спектакль – незамутнённый Островский! Яркая и удобная сценография. Великолепно играют актёры, не представляю, как можно сыграть лучше. Удовольствие мы получили несказанное. Отличное настроение гарантировано". В этом небольшом отзыве есть очень доброе и верное определение: "незамутнённый Островский!".

В минувшие советские времена при виде театральных перевёртышей, когда режиссуру слишком "заносило", учили и наставляли такие люди (так и хочется сказать – министры), как А. В. Луначарский, который буквально требовал: "Назад к Островскому!" – правда, позже добавляли: "...если найдём дорогу!".

Сейчас целая группа режиссёров живет под лозунгом: "Театр, который сохраняет традиции, никому сегодня не нужен". Возьмём, к примеру, ту же пьесу А. Островского "Волки и овцы" в постановке вышеупомянутого режиссёра Константина Богомолова.

Вот маленькая рецензия зрителя: "Спектакль, обречённый на успех, как мне кажется. Его будут ругать за бьющую сексуальность танцев, подразумевающих любовные утехи главных героев, за неуважительное отношение к церковным таинствам, за издевательство над святынями (Островский – "наше всё", глубинно-русское...)".

А вот мнение критика этого спектакля в "Табакерке": "Константин Богомолов выстраивает спектакль "Волки и овцы" в духе "фашистских мерзостей". Но чем больше я о спектакле думаю, тем менее продуктивным мне кажется такой к нему подход. В мире "Волков и овец", который держится, с одной стороны, на страхе и лжи, с другой – на глупости и долготерпении, овцой или даже собакой быть если не комфортнее и не удобнее, то, по крайней мере, достойнее, раз уж иного не дано".

Так что дорога к Островскому, как видите, разная.

А вот ещё об одной нашумевшей премьере Константина Богомолова – спектакле театра имени Ленинского комсомола "Идиот" по роману Ф. М. Достоевского, почему-то названном режиссёром "Князь".

Вот суждение одного из театральных критиков: “Это тягостное полотно о насилии, похоти и лицемерии вызвало волны гнева и восторга. Спектакль – тихий и малоподвижный – длится три часа, разбитых на два акта. Всё”.

Нет, не всё, есть нюанс. “Идти следует, чтобы посмотреть, как режиссёр-интеллектуал взаимодействует с великим литературным произведением. Этот нюанс – Настасья Филипповна, то есть предмет вожделения мужской части списка персонажей, в решении Богомолова предстаёт малолетним ребёнком. Когда она (в гротескном исполнении Александры Виноградовой), сюсюкая и картавя, сама про себя говорит “ребёнок” – первая звучная согласная по понятным причинам пропадает. А вместе с ней и часть зрительного зала. Настя (типа Настасья Филипповна) пишет Мышкину (в спектакле Тьмышкину), как сообщают публике, любовное письмо – кровью! После маленькой паузы добавляют: “менструальной”. Уточнение важное и, на наш взгляд, неслучайное. По всей видимости, тема становится “культовой”.

(В перестраиваемом Ириной Апексимовой театре “Содружество актёров Таганки” “менструальная тема” будет представлена пьесой “28 дней. Трагедия менструального цикла”. Репетиции уже идут. Вот что значит: “Лиха беда начало – есть дыра, будет и прореха”.)

Подводя итоги этой постановки Богомолова, критик заключает: “В конечном результате, ударения в спектакле “Князь” расставлены режиссёром настолько неуютно, ненормативно, что ужас берёт: опыт прочтения романа Ф. М. Достоевского оборачивается опытом разглядывания тёмной стороны человеческой природы”.

Ныне Константин Богомолов – руководитель театра на Малой Бронной, где до него работали выдающиеся режиссёры, оставившие яркий след в истории театра. Судя по первым спектаклям – постановки “Норма” и “Бесы” – из того же разряда: “Лиха беда начало – есть дыра, будет и прореха”.

Вспоминая, что режиссёр Константин Богомолов, как он выразился, любит, подобно Штирлицу, притворяться, позволю в его же духе предостеречь: в должности худрука театра, особенно в наступающие новые времена игра в Штирлица не прокатит – рано или поздно раскусят.

Теперь коснёмся творчества другого режиссёра – Кирилла Серебренникова. Ведь Богомолов, по утверждению критики, получил возможность регулярно выпускать пар в качестве актёра в спектакле “Машина Мюллер” – “в буквальном смысле оголтелом откровении Кирилла Серебренникова в “Гоголь-центре”.

И снова в орбиту наших размышлений о театре, о том, кто и почему уничтожает русский театр, приходит наше “всё” – драматург Александр Островский.

Речь пойдёт о постановке Кирилла Серебренникова “Лес”. Вот что пишет критик Татьяна Москвина об этом спектакле:

“И всё-таки А. Островского знают плохо. От незнания говорят банальности, прибегают к тупым штампам. Сокровища телевизионного театра 60–80-х годов лежат под спудом, а на канале “Культура”, к примеру, три раза показывали как выдающуюся драгоценность спектакль “Лес” К. Серебренникова. Показали бы лучше “На всякого мудреца довольно простоты” с Юрием Яковлевым, так неаппетитные миражи современной конъюнктуры мигом бы развеялись, *яко дым от лица огня*. Как играют там Яковлев, Гриценко, Николай Плотников, Максакова – с великолепной лёгкостью и безумно смешно, никакого “нафталина” нет и в помине. (Это так современные невежи любят клеймить всё, что, по их мнению, старомодно, – дескать, “нафталин”. Сами они предпочитают быть молью)”.

Что же это такое – “неаппетитные миражи” режиссёра Кирилла Серебренникова?

А вот уже другое мнение, более резкое и требовательное: “Абсолютно провальная постановка. Очень давно не была в МХТ им. Чехова. И также давно хотела сходить на спектакль с участием Дмитрия Назарова. И очень жалею, что мой выбор пал на “Лес”. Хотя, что, казалось бы, может испортить классического Островского...

Если бы не Назаров и Авангард Леонтьев в роли Счастливцева и Несчастливцева, вообще было бы всё грустно. Понимаю, что Серебренников хотел “обновить” старую пьесу, но получилась ужасная халтура. Зачем в конце один из героев, гимназист Буланов, заговорил голосом Путина, я совершенно не

поняла. При всём моем уважении к Наталье Теняковой, её было совершенно не слышно. Одно расстройство. Единственное, что утешает, достались недорогие билеты".

А вот ещё одно суждение, оно не злое, но индивидуально требовательное и точное: "Люблю этих актеров, люблю МХТ, но не могу сказать "понравилось" про этот спектакль. Очень долго не могли понять и проследить сюжет, после антракта некоторые зрители в зал не вернулись... Зря, потом было быстрее и понятнее. Может, именно сегодня не получилось?"

Так всё-таки получилось или нет? О чём написал Островский?

О жизни и о театре! Где есть истинная жизнь – в сценических репрезентациях или в повседневной рутине? Несчастливцев, отдавший подмосткам жизнь, уверен в истине театра. Несчастливцев так и не стал Геннадием Гурмыжским – он покидает "реальную жизнь", которая ему кажется лесом, дремучим и страшным, и возвращается, вместе со своим спутником Аркашкой Счастливцевым к призрачному существованию странствующих актёров без будущего и без надежды.

В спектакле Кирилла Серебренникова (по принципу "шокирующей режиссуры" время сдвинуто вперёд, в XX и даже XXI век) есть всё: и актёр, говорящий голосом Путина, и радиола с включенной функцией "creative rethinking", есть смех, его много, и он в спектакле самодовлеющ. Его выжимают "на полную катушку". Но, на наш взгляд, у авторов русской культуры смех всегда связан с "невидимыми миру слезами", а комедия неразрывно связана с трагедией.

Но, как нам представляется, успех, подхваченный поклонниками, телевидением, прессой, режиссёру показался недостаточным. Обретя театральную площадку и "пробившись к себе", создав "Гоголь-центр", он поставил спектакль "Машина Мюллер".

Прямо скажем, что близок спектакль, прежде всего, молодым людям – близок своими непотаёнными секретами тела и плоти, запахами и вожделениями. В нём пульсирует мир скрытых, неразрешимых эмоций. Поэтому сознание взвинчивается, когда слышишь такие волнующие речи: "Я хочу выпустить ангела, живущего в вас, в звёздное одиночество". Или, к примеру, текст в сцене Вальмона и Мертей: "Секс – лишь один из ликов этой вечной машины познания-насилия-поглощения: "всех не поимеешь, но стремиться надо".

Замах и запах этого спектакля, разговор про общечеловеческие проблемы и ценности воспринимаются загипнотизированным залом "Гоголь-центра", как сеанс под воздействием наркотиков – до слёз. Но вот в чём штука – это слёзы "стеклянные".

Надо заметить, что сегодня в театр приходит очень умный, молодой и требовательный зритель. Свои суждения он, не стесняясь, печатает в интернет-откликах, и их подчас интереснее читать, чем сервильную критику штатных популяризаторов того или иного театра.

Вот один из примеров: "Два часа жизни отданы К. Серебренникову и его... перформансу. Честно – подмывает назвать дерьмовейшим дерьмом и пожелать им в зал патруль казаков или каких-нибудь аналогичных "офицеров России".

Но то, что сделано с "Онегиным" в театре Вахтангова "режиссёром" Римасом Туминасом, не идёт ни в какое сравнение. Здесь, в "Гоголь-центре", хотя бы всё честно... Однако по сравнению с изощрённо издевавшимся над "Евгением Онегиным" Туминасом, спектакль "Машина Мюллер" из тех представлений, которые можно смотреть. Но другое дело "Евгений Онегин". Это же наша любимая классика! Зачем же издеваться над нею?"

Или вот ещё чуть гастрономическое, но справедливое рассуждение театрального зрителя: "Мы знаем, что продукты питания, содержащие ГМО, различные искусственные добавки и в целом химию, есть вредно. Покупаешь помидор, а от него осталось одно название. А что нам предлагается в качестве пищи для ума? Всё чаще зритель покупает билет в театр на классика, предположим, А. П. Чехова, а от него остались только очки, и те в зале. Куда смотрит Роспотребнадзор? Разве это не нарушение наших прав как потребителей? Это всё равно, что купить торт, а в коробке – ободравшаяся дохлая мышь. Что вы скажете человеку, который вам это продал? На мой взгляд, нужно требовать возврат билетов и компенсацию морального вреда".

Да, конечно, Туминас крупный, с индивидуальным почерком режиссёр. Он лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству. Римас Туминас давно руководит театром Вахтангова, он сделал его после долгих невезучих лет посещаемым, ярким, но... и обстреливаемым критикой.

И хочется разобраться, что в этой критике по существу, а что передёрнуто и несправедливо. Представим себе диалог зрителя и режиссёра.

Завязка: режиссёр Р. Туминас – политик, он знает, как надо общаться с властью, куда дует ветер, и умеет угадать его направление.

Вот его рассуждения ("Трибуна", 16.10.2012) о власти и оппозиции: "Дело в том, что ни Путин, ни Медведев ничего плохого не хотят, но мы им постоянно приписываем зло. Поэтому у нас и все беды, и Болотные площади".

А вот ещё один монолог (фрагмент выступления в Нью-Йорке в июне 2015 года на встрече со зрителями, видеозапись которого была обнародована на YouTube, цитируем по источнику ru.delfi.lt, 10.06.2015):

"Меня очень удивляет, когда ваши корреспонденты спрашивают, как мне там живётся, как художнику живётся в Москве при путинском режиме. Я могу вам сказать своё мнение: строгий режим необходим, может быть, даже жестокий. Иначе начнётся хаос, революции. Это никому не нужно. И потому строгость и дисциплина в управлении, может быть, вопреки каким-то канонам, нужны. Демократия и свобода не возникают сразу. Им надо учиться, надо менять психологию, ждать 20 и 30 лет, однако я надеюсь, что всё вернётся на свои места. Будет меньше войн и больше идей".

А вот следующая мысль ("Московский комсомолец", 06.03.2014) – вполне в духе нашумевшего "Манифеста" режиссёра Константина Богомолова:

"То, что Запад Россию ругает, это понятно, но зачем нам ругать самих себя? Они это делают, потому что завидуют нам, а сами не знают, как жить, будучи самыми несвободными людьми. Поэтому я не верю их предсказателям ни в политике, ни в экономике".

Когда вчитываешься в мысли Римаса Туминаса о назначении театра, воспламеняешься от постановки вопроса и уверенности в сказанном:

"Театр – это праздник. Через потери, боль, конфликты, но всё-таки праздник. Праздник игры, праздник жизни. Это – основа, на которой я сошёлся с вахтанговцами, и сейчас мы все вместе" (Elegant New York, 27.05.2015).

Кульминация: "Театр – это дом доброты, которому трудно существовать, потому что добро сейчас гонимо. Его нужно вернуть, заключить в театры, закрыть там и сжиться с ним" ("Новые известия", 21.04.2014).

А вот и развязка: два "монолога" двух неравнодушных зрителей.

Первый: "Нельзя сказать, что режиссёр Римас Туминас глуп или циничен. Здесь не цинизм, здесь прямая ненависть ко всему русскому, к первоосновам нашей культуры" ("Без совести, без морали", Василий Бубнов, "Завтра", 02.06.2015).

Второй: "Действительно, не пора ли задуматься, кто и зачем на государственные деньги стряпает идиотские постановки, в которых перевирается авторский замысел наших классиков, шельмуется наша история, а народ показан в лучших традициях махровой русофобии?" ("Онегин в трусах – это креативно?", Игорь Чернышёв, "Литературная газета", 08.04.2015).

Эпилог. Вот "письмо Татьяны Онегину", то есть зрительницы Ирины – художественному руководителю академического театра имени Вахтангова Римасу Туминасу:

"Я спрашиваю Вас, зачем же глумиться над тем, что свято для русского человека?! А всё, происходящее на сцене, именно так и называется: глумление над Великим Классиком, над Россией, над русскими актёрами! Сей "спектакль" не следовало называть "Евгений Онегин": к одноименному произведению Пушкина Александра Сергеевича он не имеет никакого отношения, совсем никакого! Также мне стыдно, очень стыдно за русскую публику, приветствующую данное представление. Режиссёрских находок много, а потеря только одна – Пушкин. Неуважительное отношение к Татьяне как к "милому идеалу" Пушкина. Неуважительное отношение к русской культуре. Воспетой Пушкиным природы нет, одна чернота и снежная буря. Вместо пушкинской лёгкой иронии – обострённо-болезненный сарказм. Вместо *энциклопедии русской жизни* – энциклопедия расстройств психики. Туминас – талантливый режиссёр, но упражняться таким образом на Пушкине считаю неправильным,

есть авторы попроще...” (отзыв зрительницы Ирины В. на сайте www.teatr.ru, 23.04.2015).

Эпилог закончен. Тема – не закрыта.

...И, наконец, мы подходим к следующей категории руководителей театров, которые с чьей-то лёгкой руки названы “креативными менеджерами”. И поговорим мы о двух представителях этого направления: Ирине Апексимовой (с недавних пор она директор двух театров – старой Таганки и “Содружества актёров Таганки”; также поговорим о режиссёре, художественном руководителе МХАТ имени М. Горького Эдуарде Боякове.

В первом случае, чтобы не показаться необъективным и предвзятым, предоставляю слово сотруднице театра “Содружества актёров Таганки” Ирине Лисе, проработавшей в нём 27 лет и недавно покинувшей его стены: “Всего полгода назад не стало художественного руководителя театра “Содружество актеров Таганки” Николая Николаевича Губенко, а сейчас кажется, что эта беда случилась уже очень давно... Наш коллектив прожил под его руководством 27 лет, все эти годы оставаясь одним из последних патриотических рубежей среди московских театральных подмостков. Русская и советская классика стала основным художественным “инструментом”, посредством которого Николай Николаевич исследовал русские “культурные коды”, пытаясь просвещать, возрождать в людях интерес к истории и гордость за своё Отечество.

Но всё оборвалось в августе 2020 года... Николай Николаевич всего один день не дожил до своего 79-летия.

А через четыре месяца в “Содружество актёров Таганки” вошёл новый директор – Ирина Апексимова, уже несколько лет руководившая находящимся “за стенкой” Театром на Таганке. Против этого назначения при жизни категорически возражал Н. Н. Губенко, о чём прекрасно было известно и самой новой директрисе, и руководству Департамента культуры.

И тут мы узнали, что такое разрушение. Ирина Викторовна и её сотрудники сразу стали вести себя, как захватчики на оккупированной территории. (“Актёры – это животные, – сказала Ирина Викторовна в одном из недавних интервью. – В хорошем смысле слова...”) О хамском отношении нового руководства к коллективу, думаю, можно и не говорить. Нет, они не ругались и не кричали, а просто вежливо и методично “подводили” того или иного сотрудника к мысли о том, что в их театре он не найдёт себе применения. И сразу же потянулся “ручеек” – профессионалы, проработавшие в “Содружестве...” по 20–25 лет, начали один за другим писать заявления об уходе.

Люди, многие годы, жившие в служебных квартирах, когда-то “выбитых” для театра Николаем Николаевичем, тут же “повисли на волоске”, о чём им не раз намекнули подручные новоиспечённого директора.

Нам стала наглядно ясна истина, озвученная несколько месяцев назад журналистом Андреем Карауловым: нужны не люди и театр, а квадратные метры в центре Москвы. И чем меньше останется живых “голов”, тем лучше...

На смену созидателям пришли дельцы. “Либеральные ценности”, как коррозия, разъедающие страну, проникли и в дом, который мы, кажется, ещё вчера считали своим.

Любовно создаваемые и бережно сохранявшиеся в фойе в течение многих лет выставки, посвящённые истории нашего дома, начавшейся в 1946 году, спектаклям театра и его выдающимся актёрам, Ирина Викторовна, разумеется, дала указание демонтировать. История должна быть стёрта из памяти людей, они обязаны забыть о “Содружестве...”, возглавлявшемся Губенко...

И думается, пройдёт совсем немного времени, и произойдёт реорганизация (это, судя по всему, и есть конечная цель “реформаторов” и “оптимизаторов” театра), “Содружество актеров Таганки” будет поглощено Театром на Таганке (от которого тоже давно осталось лишь название).

Так закончится история дома, созданного патриотом своего Отечества Николаем Николаевичем Губенко...”

13 января 2021 года И. Апексимова выступала в программе канала “Культура” “Главная роль”. Вот её мотивировка своего вступления в должность директора театра “Содружества актеров Таганки”: “Я абсолютно уверена, это моё личное частное мнение, его можно уважать, его можно не уважать. Я считаю, что этот театр должен быть объединён.

Сам Николай Николаевич Губенко говорил о том, что когда-нибудь настанет время, когда "не будет меня и Любимова, и, конечно, эти театры должны объединиться". То есть не я это придумала первая".

На этот пассаж можно ответить следующее: Ирина Апексимова яркая актриса, привлекательная женщина, хорошо поёт, но зачем же лукавить, как Маруська Климова из песни "Мурка", которую она с успехом исполнила в программе "Три аккорда". Ничего подобного Николай Губенко не говорил.

На вопрос корреспондента "Комсомольской правды" о возможности объединения "Таганок" Николай Николаевич ответил следующее: "Это исключено! Если оба театра пытаться объединить, они станут несчастными. Это как сиамские близнецы, которых выдающиеся хирурги разъединили, и они стали жить самостоятельной жизнью. А потом их вновь захотят соединить... Ничего не получится".

И слова Жанны Болотовой, сказанные в интервью "Литературке" и в программе Константина Сёмина на его канале в YouTube, звучат как приговор тем, кто расправляется с уникальным, подлинно патриотическим театром.

Если в практически задушенном "Содружестве актёров Таганки" почти смирились с назначением И. Апексимовой, то история борьбы труппы МХАТ имени М. Горького с "креативным менеджером" Эдуардом Бояковым продолжается.

С момента прихода во МХАТ имени М. Горького нового руководителя, сменившего на этой позиции основательницу театра, народную артистку СССР и полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" Татьяну Доронину, из театра были уволены или вынуждены уйти больше 80 человек ("Газета.Ru", участники труппы МХАТа).

По свидетельству актёров, при встрече министра культуры России Владимира Мединского и советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого с Дорониной было обещано, что при смене руководства коллектив театра и репертуар сохранятся, и это стало основным условием со стороны народной артистки.

На самом деле всё обернулось иначе: прежний репертуар руководитель театра основательно перетряхнул, а выпущенный как заявка спектакль по повести Валентина Распутина "Последний срок" на премьере (до пандемии) собрал всего лишь ползала.

Характер общения худрука с труппой (по свидетельствам актёров в прессе) отличается своеобразной и безапелляционной самоуверенностью: "Я с вами не буду работать. Вас нет в моем творческом пространстве. И не будет. То, что я вас не могу выбросить, это проблема законодательства". Бояков, не стесняясь, говорит и актёрам, и зрителям: "Я здесь начальник. Татьяна Васильевна – почётный президент. Мы её уважаем, любим, мы её ценим, как и вся страна, но она – никто".

Однако, по последним сведениям, "креативный менеджер" почувствовал себя неуютно в театре и уехал снимать фильм. Что ж, время покажет, как в дальнейшем развернётся история этого коллектива.

Мы подходим к концу наших размышлений о русском драматическом театре. В нём много достижений, поисков, много, к сожалению, наносного и эпатажного. Всё это уживается, сосуществует в одно время. Некоторые уверены, что в искусстве нужна конвенция, синергетика, некая хотя бы условная договорённость, поскольку театр, очевидно, становится не кафедрой, "с которой можно много сказать миру добра", а подчас сценой для непристойных экспериментов, чужой опытной площадкой, угрожающей не только назначению театра, но и здравому смыслу.

Некоторые политики и футурологи утверждают: впереди последняя задача – упразднение человечества, политика постгуманизма. Освобождение от коллективной идентичности требует отмены рода и вида. Либеральные футурологи уже воспевают новые возможности постлюдей – сращивание с машиной многократно усилит силу тела, памяти и обострит ощущения; генная инженерия позволит покончить с болезнями; память можно будет хранить на облачном сервере; человечество сможет соединиться с машиной и достичь бессмертия.

Словом, "Большая Перезагрузка" – это и есть триумф идеологии в её высшей стадии – в стадии глобализации.

А что же делать нам, людям театра и тем, кто по-прежнему его любит и в него верит?

Не пора ли, наконец, понять, кто и зачем разрушает русский театр? Почему на государственные средства (деньги налогоплательщиков) стряпают идиотские постановки, в которых перевирается авторский замысел наших классиков, шельмуется наша история, а народ показан в лучших традициях махровой русофобии?

Если вы спросите, где же всё-таки выход из создавшегося положения и, если он есть, в чем он, мы ответим: на наш взгляд, такой выход существует!

Автор приглашает вдумчивого читателя прислушаться к давно оброненному гением русской литературы слову. Оно не потеряло актуальности и звучит так, словно сказано сегодня:

"Я убеждён в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось... Нравственность (как и религия) должна быть уважаема писателем. Безнравственные книги суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества, те, которые проповедуют разврат, рассеивают личную клевету или кои целию имеют распаление чувственности приапическими (возбуждающими низменные инстинкты) изображениями...

...Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом. <...> Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придёт, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона.

...Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое..." (А. С. Пушкин).

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ

ПРЕОДОЛЕНИЕ ХАОСА

(о романе Веры Галактионовой “Спящие от печали”)

У процесса кристаллизации реального в художественное – причудливая логика. Произведения, осмысляющие крупное событие или определённый период в жизни общества, редко выходят тотчас же. Полноценному освоению часто предшествуют “быстрые” формы: сначала появляются дневники Дениса Давыдова, потом авантюрный “Рославлев, или Русские в 1812 году” Загоскина, а только потом “Война и мир”. Чтобы увидеть происшедшее с одной стороны во всей его сложности, а с другой стороны – во всей глубине, необходимо подняться над сиюминутным переживанием, посмотреть на событие “глазами отца нашего Шекспира”, взять по отношению к нему точную ноту. Интуиция большого художника может проделать такую работу достаточно быстро (скажем, “Котлован” или “Тихий Дон”), но чаще всего для этого необходимо время. Кроме того, на процесс художественного освоения могут оказывать влияния и внелитературные факторы (цензура, социальный заказ). А если сюда прибавить возможность обратного процесса, так называемого возвращения литературы “в быт” (например, распространение “нигилизма” после романа Тургенева), а также возможность не только осваивать прошлое, но и предвидеть будущее (те же “Бесы”), то вопрос о взаимоотношении реального и его художественного воплощения предстанет перед нами во всей своей непредсказуемой сложности.

Впрочем, бывают эпохи таких напряжённых противоречий, которые непримиримы и через десятки лет, о которых почти невозможно сказать, не “пересаливая в сочувствиях и враждах”. Таким трудным и противоречивым временем в нашей недавней истории были 90-е годы. Подробный анализ того, как различные писатели пытались охватить в своём творчестве этот период, требовал бы отдельного исследования. Процесс кристаллизации реального в художественное здесь, на мой взгляд, до сих пор не окончен, зато можно говорить о многообразии “допотопных” форм.

Публицистика – первая из таких форм – была очень распространена в 90-е годы и среди больших писателей (её следы можно найти даже в “Пожаре”

ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич родился в 1985 году в городе Салавате Республики Башкортостан. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. Горького (семинар М. П. Лобанова). Публиковался в журналах “Наш современник”, “Новый мир”, “Октябрь”, “Роман-газета” и др. Лауреат премии им. Гончарова в номинации “Ученики Гончарова” (2013 г.), премии “В поисках правды и справедливости” (2015 г.), премии им. А. Г. Кузьмина журнала “Наш современник” (2016 г.). Член Совета по критике при Союзе писателей России. Живёт в Москве.

Валентина Распутина). Яростное и противоречивое время требовало активности, а не осмысления – казалось, сама жизнь тогда не умещалась в художественную форму. В достаточной мере смогли освободиться от публицистичности лишь произведения, рассказывающие о личной трагедии на фоне разрушающегося мира (например, "Геополитический романс" Юрия Козлова, "Запретный художник" Николая Дорошенко, "Асистолия" Олега Павлова, "Возвращение" Алексея Варламова и др.). Интересен в этом смысле опыт Алексея Иванова, хотя его роман о 90-х "Ненастье", к сожалению, свёлся к судьбе одной социальной группы и был испорчен стремлением к ложной концептуальности. Одновременно в другой части литературного процесса шло освоение времени методами сугубо модернистскими (ранние романы Пелевина) или постмодернистскими (деконструкции Сорокина и т. д.). Нельзя ни исключать их из внимания, ни придавать им большого значения. На стыке публицистики и модернизма работал Александр Проханов. Но наиболее интересное рождалось там, где писатели не отрывались от реализма в смысле достоверности жизненной плоти, но в то же время пытались освоить хаос переходного времени методами модернизма.

Пожалуй, самое зрелое из таких произведений – "Спящие от печали" Веры Галактионовой, роман, о котором, к сожалению, не так много писали. Выходила литературоведческая рецензия Станислава Чумакова[1], большого внимания заслуживают подробные разборы Капитолины Кокшеневой[2] и Яны Сафроновой[3]. Любопытно также небольшое эссе Алексея Татаринова "Постмодернизма больше нет"[4], где "Спящие от печали" поставлены в ряд других произведений "патриотического неомодерна": "Заполье" Петра Краснова, "Беглец из рая" Владимира Личутина, "Свободы" Юрия Козлова, "Дядька" Андрея Антипина. Конечно, "патриотичность" перечисленных произведений – не качественная характеристика, а лишь уступка общественным убеждениям предполагаемой целевой аудитории высказывания. Но характерная для Татаринова установка на восприятие литературы XXI века как ряда личных писательских мифов, каждый из которых по-своему борется с экзистенциальной пустотой, кажется мне достаточно плодотворной.

Таким образом, на данный момент моими коллегами проанализирована структура романа, выявлен художественный метод и даже указан ряд схожих по методу произведений. Свою же задачу я вижу в том, чтобы показать, за счёт чего автору удаётся преодолеть хаос переломного времени, а также оценить сам способ этого преодоления в контексте общего процесса художественного освоения 90-ых годов в современной русской литературе.

* * *

"Спящие от печали" – масштабное полотно, вмещающее в себя десятки людских судеб героев, живущих в крошечном посёлке Столбцы на севере Казахстана прямо на границе с Россией в первые годы после распада Советского Союза. Старики, доживающие век в бедности и воспоминаниях о советской жизни, и молодые, пытающиеся выжить в новом мире; русские и казахи; добрые и злые; прагматичные и мечтатели. Система героев усложнена и разветвлена, но абсолютно статична: ни один из них не развивается, максимум – рефлексирует о прошлом. Время действия сжато до одной ночи, во время которой в посёлке отключается электричество, и всё погружается во мрак. Жизнь замерла в ожидании, как во сне, и только камера авторского взгляда выхватывает героев или высвечивает их трагические судьбы. Короткие эпизоды, из которых состоит роман, то выстраиваются в ряд, повествуя об одном персонаже, то перемежаются, выхватывая несколько лиц подряд, сюжет то

---

[1] Станислав Чумаков. "Знаки гибели и надежды". О романе Веры Галактионовой "Спящие от печали" // День литературы. 2011. № 7.

[2] Капитолина Кокшенёва. "С красной строки". Главные лица русской литературы. "Роман-крест Веры Галактионовой. Русские вне русского мира". М.: У Никитских ворот. 2015.

[3] Яна Сафронова. "Пора лихолетий. О романе Веры Галактионовой "Спящие от печали" // Наш современник. 2019. № 3.

[4] Алексей Татаринов. "Постмодернизма больше нет" // Интернет-журнал "Соты". 2018.

возвращается к предыдущему персонажу, то делает рывок к новому – не отследишь и не сумеешь предвидеть. Это и есть хаос жизни и хаос переходного периода, где всё смешалось и сравнялось бурей распада.

Но сам роман вовсе не распадается на части, благодаря общему ощущению трагедии; спаивающей текст образности; единой заклинательной интонации, с которой повторяются фразы-лейтмотивы.

Трагедия разлома объединяет в той или иной мере всех жителей Столбцов, все они – спящие, над всеми – "*небо вынужденного греха*", и никому из них не прорваться ввысь, где сияет огнями Гнездо с пирующими правителями жизни спящих. Как не прорваться им никогда к России, и символом их отделённости является сделанная из чугунной тюремной решётки остановка, стоящая на тракте, за которым – граница. Общее переживание брошенности выражается во внезапном озверении, то и дело охватывающем толпу и заставляющем каждый раз опрокидывать ненавистную остановку в канаву. Но и сама Россия, "*насильно вспоротая и наспех зашитая, обескровленная и обедневшая*", молчаливая настоящая внутренняя Россия также смертельно переживает разрыв со своими детьми – и эта трагическая общность героев между собой и одновременно общность их трагедии с трагедией таинственно олицетворённой страны является важной сцепляющей силой.

Однако образная целостность объединяет хаотический мир романа даже сильнее сюжетной. Образы белой бабочки сна; кривого ружья; гранатового сока и вина, похожих на людскую кровь, – пронизывают текст, обогащаясь, приобретая новые и новые оттенки, соприкасаясь с новыми героями. Иногда эти образы появляются сами по себе, а иногда тонко и органично проникают в бытовую ткань. Например, в сцене прощания семьи, уезжающей из Казахстана в Россию, со своими соседями техник вонзает в арбуз лезвие "*между двумя меридианами, и тяжёлый плод не пришлось резать надвое – он треснул под ножом и развалился сам на несколько сахаристых кусков, брызнув соком и чёрными семечками на клетчатую клеёнку*", что наряду с вещественностью события явно отсылает нас к распаду страны. Или, например, пелёнки, висевшие раньше на бельевых верёвках общего коридора барака, меняются на сатиновые чёрные и красные полоски, свисающие с траурных венков, которые плетут Нюрочка и Иван, чтобы немного заработать и не умереть с голоду. В этой смене есть и объективный факт окружающей героев обстановки, и символ смены "знамён жизни" на "знамёна смерти".

Наконец, заклинательная интонация, в которой напрямую выражается авторская эмоция, обнимающая пространство романа. Этой интонацией Галактионова или сама, или через своих героев транслирует небольшие ритмические лейтмотивы, вырастающие до концентрированных метафизических посылов. Так Нюрочкино "*расти, Саня, расти*" постепенно приобретает смысл не просто обращения одной конкретной матери к своему маленькому ребёнку, но затаённой надежды на выживание всего русского народа, а затем – смысл грозного гимна неизбежного возмездия зверям, обитающим в Гнезде, которое придёт, когда Саша, будущий русский вождь, обретёт силу. Лейтмотивом-заклинанием становятся и "*русская птица, которая сбилась с пути*", и "*мы русские, значит, перед всеми виноваты*". Впрочем, иногда этим повторяющимся фразам не хватает глубины и многомерности. Например, слова о том, что в эпоху разлома империй нельзя детям рождаться на её пограничных окраинах или что старые люди в мороз умирают легче, чем в жару, задевают трагическим обобщением, однако при повторении не вырастают до образа и выглядят назойливым сгущением, попыткой вышибить слезу.

В романе "Спящие от печали" есть ещё одна сцепляющая сила – системообразующий миф. Однако вопрос о мифологии и оправданности её появления у Галактионовой хотелось бы рассмотреть подробнее.

* * *

Художественный метод, основанный на системообразующей параллели между сюжетом мифа и сюжетом произведения, ставший визитной карточкой западного модернизма, впервые был прямо провозглашён Томасом Стернзом Элиотом в статье "Улисс, порядок и миф". Исследуя широко известный роман Джеймса Джойса, Элиот говорит об использовании параллели с "Одиссеей"

не как о частном достижении автора, а как об открытии, сравнимом с теорией относительности Эйнштейна, и предлагает следующим поколениям писателей пользоваться этим открытием не как заимствованным приёмом, но как общим художественным методом.

Это замечание Элиот считает принципиально важным для своего времени, и понятно почему. Дело в том, что из западного мироощущения начала XX века исчезает ощущение всеобъемлющей Истины, а потому ключевыми понятиями становятся хаос и экзистенциальная пустота. Для Элиота, хорошо понимающего эту проблему, мифологический метод Джойса в "Улиссе" есть как раз-таки "*способ взять под контроль, упорядочить, придать форму и значение необозримой панораме пустоты и анархии, каковой является современная история*". Иными словами: раз у истории и жизни нет объективно существующего каркаса в виде Истины, то мы можем взять каркас мифологический и понимать историю и жизнь, опираясь на него. Конечно, миф в таком контексте воспринимается не как произвольный сюжет, а как концентрация пласта человеческого опыта.

Идея Элиота была вполне адекватна его времени. В статье "Улисс, порядок и миф" он апеллирует к книге своего современника Джеймса Фрейзера, посвящённой анализу истоков религии и магии, но по сути идея эта – органичная часть всей юнгианской психологии (формирующейся в те же годы и в тех же метафизических декорациях). Античные мифы действительно воспринимаются психоанализом как зашифрованные архетипы, содержащиеся в коллективном бессознательном, и потому влияющие на реальную жизнь. Подобная установка породила большую традицию, повлиявшую, к примеру, на мировой кинематограф и приведшую его к эпике современных драматических сериалов, так что эту традицию можно признать плодотворной (и в смысле познания человеческой психологии, и в смысле искусства).

Вот только традиция мифологического восприятия мира так или иначе возникла от бессилия перед хаосом жизни и невозможности преодолеть его иначе.

В рамках консервативного мировоззрения "слом" западной цивилизации конца XIX – начала XX века, связанный со "смертью Бога", разочарованием в наследстве схоластического догматизма и в позитивистском оптимизме, воспринимается обычно в негативном смысле как ступень движения цивилизации и мира к апокалипсическому концу. Однако ожидание апокалипсиса вообще свойственно переходным временам, а преодоление "идеалистических" представлений можно трактовать и как ступень "взросления" на пути к познанию мира во всей его сложности и многообразии. И если в смысле жизни этот тезис может быть оспорен, то в смысле литературы вызов, с которым столкнулась западная цивилизация в начале XX века, представляется, скорее, возможностью развития, чем тупиком. При таком подходе модернизм прошлого столетия становится этапом естественного процесса, в котором западное искусство переходило от классицизма к романтизму, а потом от романтизма к реализму Флобера и Мопассана, и в конце концов от реализма Флобера и Мопассана шагнуло к погружению на экзистенциальную глубину Сартра и Камю (другое дело, что русская литература промчалась по этому пути за считанные десятилетия XIX века и в Достоевском и Толстом уже побывала гораздо глубже, а потому властно влияла на западный экзистенциализм). Так личность, познавая мир во всей его хаотичности и страшной глубине, преодолевает старые затвердевшие установки в пользу более полного и трезвого знания о жизни и о себе. Но, приняв хаос как объективно существующую реальность, в какой-то момент может осознать, что пустота и неупорядоченность – не итоговые характеристики этого мира и что сила, гармонизирующая мир, существует, просто она действует не так примитивно, как казалось раньше, и её нельзя свести к нескольким догматическим установкам. Обретение такого осознания – путь к взрослению для личности, а для литературы – путь к реализму.

В этом контексте миф как способ "*взять под контроль реальность*" это не развитие, а защитный механизм, не осознание мира, а построение воздушного замка (сложного, серьёзно организованного, со своей философией, но всё-таки воздушного замка). В конечном счёте, это движение не к реализму, а к воображаемой фикции. Модернизм и свойственный ему мифологизм – есть возвращение в детское состояние, игра в символ, якобы вбирающий

в себя опыт человечества, а значит, позволяющий выдать реальность в концентрированном виде, а на деле заслоняющий многообразную и противоречивую жизнь. И оттого кажется, что Камю и Сартр, не нашедшие "мифологического выхода" из хаоса, поняли об этом мире больше, чем обладающий (по Элиоту) позитивным опытом его преодоления Джеймс Джойс.

* * *

Первому постсоветскому десятилетию в России ощущение "слома" и утраты истины было свойственно даже в большей степени, чем Западу в начале XX века, слишком уж резким оказалось крушение страны и тяжёлыми последствия этого крушения. Хаос, властно ворвавшийся в русскую жизнь, переживался в те годы крайне остро и естественным образом стал центральной проблемой времени. Пытаясь обнять этот хаос силой личной авторской эмоции, Галактионова, конечно же, сужает рамки реальности, сводя многоликую русскую трагедию к всеобъемлющей метафоре – но в этом есть правда, не теряющая подлинности при некотором упрощении. И даже в весьма спорных словах о Сане как о будущем русском вожде, который победит нынешних хозяев жизни, изначально видится не столько мистическое предсказание, сколько выражение общей ненависти к устроителям чудовищного миропорядка.

Гораздо сложнее ситуация обстоит в тех случаях, когда Галактионова вмешивается в голоса героев, заставляя их говорить то, что думает она сама. "*Не верь им! Не верь никому... У них другой бог! Их бог – рогатый бог стяжателей. Твой Бог – всемогущий Бог изгоев... Никому из нас, Саня, не забыть километровых тех очередей, в которых беженцами признавались все, кроме русских... Целые баррикады спешных законов были выдвинуты против нас с тобою, Саня, чтобы назвать нас чужими для России*", – это монолог не молодой женщины Нюрочки; *"Ты зря боялась темноты: это лучшее из того, что осталось на свете от всех наших войн... А худшее – это обман. Они обманули державу. Партийные мошейники. Мошенники во власти... А мы, глупые, старые... Мы с тобой писали врагам, Лиза*", – это монолог не поэта Бухмина; *"В долгах запутается твой заяц Бирюков до самых ушей, отвечаю! В тюрьме окажется! Наши люди везде! Напишут счета, по которым вам не расплатиться. Посадят они, кого надо и когда надо... Но твой маленький божок ещё не нагрешил. Пускай он летит в рай! Не задерживается здесь, на нашей земле. Она теперь наша, только наша, слыхала?*" – это монолог не казахского бандита. Всё это говорит Галактионова. Тенденциозность в этих случаях повреждает органике и явным образом обнажает личное мировоззрение автора.

Кроме того, авторский голос периодически выражает своё отношение к истории и отдельным её событиям. "*Кровавая советская заря*" знаменует начало "*Великой Красной прелести*"; от ленинградцев и рижан, приезжавших в Столбцы в советское время, остаются в бескрайней степи только могилы всеми забытых парней; молодой Бухмин вместе с войсками НКВД конвоирует ссыльных кавказцев – советская жизнь по Галактионовой мало отличается от Великого перелома по степени трагизма и страдания народа. И даже эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной, не носят отпечаток героизма или малейшего восхищения подвигом: изувеченные тела отважных и трусов одинаково безобразны; ранняя гибель Марата под Сталинградом видится лишь избавлением от дальнейших испытаний судьбы; а тётка Родина, если подколет в пшеничные волосы чужеземный гребень, добытый Бухминым во вражеской Германии, станет "*императрица императрицей над всеми странами, освобождёнными советской армией".*

Однако грань между субъективным и тенденциозным в данном случае тонка, и её нарушение может быть воспринято как досадная шероховатость в тексте большого писателя (подобно тому, как картонность Платона Каратаева или спорные концепции, заложенные в "Войну и мир", не умаляют ценности романа Толстого в целом). Главная проблема "Спящих от печали" не в том, что в процессе художественного освоения хаоса жизни и истории Галактионова допускает тенденциозность и чрезвычайную субъективность. А в том, что она пытается "победить" хаос мифом.

В пустоте и богооставленности переломного времени у писательницы нет надежды на действующую в мире гармонизирующую волю, а в пронзительной

трагической ноте остаться она почему-то не хочет, и тогда остаётся только мифологизировать. И вот уже Нюрочка сидит на осле во сне Ивана, а Жоресу видится, что будущий русский вождь рождается в развалюхе, похожей на хлев, в окружении быков и баранов. И вот Порфирий едет в Троице-Сергиеву лавру, ставит свечи за двадцать миллионов русских в изгнании, и на следующее утро "спящие", просыпаясь, видят трёх голубей как благую весть о будущем спасении. Наконец, на последних абзацах булыжником падает в тонкую прозаическую ткань цитата из Добротолюбия, лишая роман воздуха, подменяя зыбкую надежду на догмат о неизбежной победе. Вымоливший спящих Порфирий приходит в художественный мир романа не реальной силой, а символическими оковами.

Понятно, что Галактионова верует в чудо и страстно кричит о своей вере, не разбираясь, правда ли это и может ли произойти чудо в реальности. И в этом страстном исповедовании веры в заранее заданное и именно такое чудо так много надрыва и так мало трезвого ощущения мира, в котором, несмотря на хаос, может властно действовать таинственная организующая воля. Чудо Галактионовой не имеет отношения к реальности, а лишь к эдакому элементу формы в литургическом богословии и является не более чем попыткой загнать божественную волю в рамки того, как она действовала в мире две тысячи назад, не позволяя ей гармонизировать мир реальный и по-разному влиять на каждого отдельного человека, сообразуясь с его свободной волей и мерой принятия в собственную жизнь. Таким образом, в концовке романа мы имеем дело не с гармонизацией мира, а с его мифологизацией, то есть не с освоением реальности, а с подменой её символической схемой и построением очередного воздушного замка.

И потому кажется, что реалистический метод как путь беспрерывного углубления и мировоззренческого "взросления" является всё-таки более высокой ступенью развития литературы, чем занимающийся мифологизацией модернизм (пусть даже "патриотический"). А значит, эпоха Великого Перелома ещё ждёт своего Толстого или Шолохова.

МАКСИМ ЕРШОВ

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ

О романе Михаила Попова “На кресах всходних”

Сегодня, по многим примерам, современная русская литература не в силах обрезать пуповину исторического происхождения смыслов. XX век раз за разом оказывается тем вместилищем ужаса, где современные прозаики находят почву для работы. Почему дело во многом обстоит именно так? А потому, что в российском XXI веке ничего не происходит. Прекрасного – ничего. Из ужасного вспоминать ничего не стану: не принято это. В основном реальный ужас разложения нормальной социальности описывают молодые – как умеют, многие описывают хорошо. Но они пока ещё не пишут больших романов. Или материал для больших романов ещё не вызрел, не образовался, не прояснился. Возможно, в XXI веке он не прояснится никогда: для романа в качестве героя нужна личность, трудно и бессмысленно писать об индивиде, ещё трудней и ещё бессмысленней – о том двуногом объекте банковского менеджмента, которого чем далее, тем больше подразумевают под словом “индивид”.

Поэтому – трагический век Двадцатый. Конечно, Война, конечно, Революция. Конечно, ад на земле, в который вверг землян империализм как последняя (оказалось – предпоследняя) стадия восхождения царя Мамона на глобальный трон.

В этой глубокомысленной и далеко уводящей связи совсем не случаен выбор автором романа “На кресах всходних” места события – пограничья между Империей (последней христианской империей) и постхристианской Европой. Река Неман. Белорусские пущи. Линия разлома цивилизационных плит. Белорусский народ.

Незадолго до событий 2013–2014 годов в Украине Михаил Попов обратился к русскому миру романом “Москаль”, посвящённым, за рамками внешней его остросюжетности, проблеме Украины, особенностям украинского самосознания, взаимоотношениям великорусского характера с малороссийским. И уже через пару лет по выходе “Москаля” вдруг выяснилось, что книга эта

ЕРШОВ Максим родился в 1977 году в городе Сызрани Куйбышевской области. Окончил политехнический техникум, техник-механик автотранспорта. Учился в Литературном институте им. М. Горького по специальности “поэзия” (семинар Станислава Куняева). Поэт, критик, постоянный автор “Нашего современника”. Автор трёх книг стихотворений: “Флагшток” (2011), “Марафет” (2017), “Полдень” (2020). Лауреат ежегодной премии журнала “Наш современник” (2018). Член Союза писателей России.

актуальна. Скорее всего, на фоне затянувшегося пленения Украины антимоскалями, книга Попова недостаточна. Но это теперь. Тогда, году в 2010–2012, она была, во всяком случае, своевременна.

Вот и к новому роману Попова, к его "На кресах всходних" приходится возвращаться на пару лет назад, когда наблюдаешь трудные итоги президентский выборов и попытку смены власти в Беларуси.

Интерес Попова к западным окраинам России ("всходние кресы" – это восточные окраины бывшей Речи Посполитой) вновь оказался своевременным. И правда: мы здесь, в РФ, слишком мало знали и слишком мало интересовались историей и самочувствием украинцев и белорусов. Поэтому диванно недоумеваем, что с всходних кресов одна и та же общерусская история и проблематика выглядит, воспринимается и "дышит" совсем не так, как об этом говорилось в позднесоветских фильмах и учебниках. Аналитический и художественный интерес романиста вновь оказался актуальным, поскольку жизненность геополитических (исторических) амбиций современной России зависит от восточноевропейской политики, как ни от какой иной. Если мы не будем в Киеве и Бресте, мы по-настоящему не будем нигде. В этом главный и единственный смысл действий антимоскалей в Беларуси. Понятно, что антимоскали – не русские (не украинские, не белорусские). Они – с той, западной стороны Немана и Днестра.

История белорусского народа – это тёмная летописная, "внеисторическая история" дреговичей и частично кривичей тысячу двести лет назад. После, тысячу лет назад, – история выделенного Ярославом Мудрым из состава своей державы Полоцкого княжества-удела. Далее, от рубежа XIII–XIV веков – история княжества Литовского, соединённого королевства Польши и Литвы, далее – история под властью иноверной и, по сути, инородной Речи Посполитой. Имя "литвин" в применении к белорусским славянам явилось раньше, чем имя "белорус".

Территория Беларуси – это лес, болото и суглинок, это земля, где можно жить, но очень трудно разбогатеть. Торговые пути обошли эти пущи стороной, торговые и ремесленные города заняли литовские, русские, польские, еврейские пришельцы. Нет ничего удивительного в том, что, в силу серьёзнейших экономических обстоятельств, культура и самосознание белорусского народа (хоть и мало затронутого Ордой) развивались с отставанием. Но, кроме того, ведь были и причины политические, имя которым – Польша, католичество. Не думаю, что окажется преувеличением сказать, что для вельможного панства, для высокомерного католичества лесная Чёрная Русь (таково истинное историческое территориальное наименование Беларуси) была тем же, чем лесная мордва для киевских и ростовских князей и позже – для московских бояр.

Неудивительно поэтому, что в Литве возникшая, но угасающая, полонизирующаяся или бегущая от дискриминации в Москву после церковной унии 1596 года народная интеллигенция как явление всебелорусского масштаба появляется вновь только к концу XIX – началу XX века. Является из учебных заведений Российской Империи, является из Петербурга, чтобы заговорить от имени рядового белоруса.

Один из главных героев романа – такой новый интеллигент Николай Адамович Норкевич. Вот как пишет Попов о задачах и обстоятельствах, которые тот видел и чувствовал:

"Нужно было независимой мыслью, как лобзиком, выпилить из многослойного массива всей изученной наднеманской культуры очертания отдельного белорусского этнокультурного своеобразия. Ещё прежде него многие умы к тому обращались, даже придумали, как уйти от назойливо им вменяемой "мужицкости", объявили свету, что имеется в виду литвинство.

Места эти были столь плотно пропитаны разными историческими соками, кровью и потом, песнями и фантазиями, всё время перемешивавшимися в последнюю тысячу лет, что задача Николая Адамовича виделась титанической. Поверх языческого Великого княжества литовского налегло прихотливо сшитое одеяло католическо-православных магнатств Речи Посполитой, перебаламученное сапогами ратей Стефана Батория, Радзивиллов, Сапег, Карла XII, Петра Великого, наполеоновских маршалов... Вплоть до последнего "делателя страшных дел" – Муравьёва".

Нет, не последнего. Сюжет романа "стартует" в 1908-м, у подножия Далибукской пущи, в затерянном в пространстве и времени белорусском уголке Империи, где селения и хутора, где до города – даль, а православная церквушка прячется – до сих пор! – в тени шляхетского костёла. Есть совпадение и связь между нежеланием Империи последовательно поддерживать православных (значит, русских) против организованных, развитых и нетерпимых католиков (значит, по факту или по духу – поляков) и тем, что единственный на всю округу русский граф – человек здесь случайный, бездеятельный. Граф Турчанинов имеет в жизни одну страсть – оранжерею. И оранжерея, наполненная диковинными растениями из далёких и чуждых стран, становится здесь метафорой имперской дворянской культуры вообще. Культуры достаточно высокой для того, чтобы безнадёжно оторваться от живой окружающей национальной почвы. Достаточно чуждой, чтобы подвергнуться нападению. Достаточно хрупкой, чтобы погибнуть без следа...

На своей кровной территории Империя в критический момент оказалась непростительно слаба. Есть что-то очень печальное и даже унизительное для нас в том, что своего императора Россия сдала в местах знаковых: где-то меж Могилёвом и Псковом, на станции... Дно.

Могло ли случиться что-то ещё в конце третьего года тяжелейшей войны, если за немного лет до того белорусский деятель Норкевич, *"являясь бывшим студентом столичного российского университета, вернувшись домой... обнаружил, что в тех образованных кругах, где ему неизбежно теперь придётся вращаться, царит хоть и необъявленное, но полное польское владычество... что многие царские чиновники считали правильным быть в хороших отношениях с польским обществом и по возможности ему не перечить"*?

Польская политика в Белоруссии была принципиально иной: явственно отдавая расизмом, она всегда была (и, если что, будет) настырной и злобной. Не имея полной государственности, поляки научились, пишет Попов, *"сидя под тёплой полой царской шинели, культивировать мастерство политических игр и предательств"*.

Кажется, что именно вакуум "русскости", отсутствие настоящего имперского давления в Малороссии, Белоруссии, Прибалтике и Финляндии, отсутствие политической хватки у русской метрополии (по германскому, польскому или шведскому образцу) не только позволило, но и побудило местные народности к заполнению этой пустоты посредством своего роста под той же самой "шинелью" вечно извиняющейся имперской администрации.

Основное место действия романа – деревня Порхневичи, селение Тройной хутор и другие, имение Турчаниновых Дворец, ближайший городок – Волковысск. Мы наблюдаем в основном сельскую белорусскую жизнь – до Великой войны, во время неё и последовавшей революции в Петербурге, во время перемены властей и "польского ренессанса" при "начальнике государства" Пилсудском... Имение Дворец сожжено, граф и половина его безобидной семьи перебиты. Восстанавливается польский сугубо буржуазный порядок, при котором православная церквушка окончательно заколочена, носы шляхты направлены поверх туземных голов, а реальная власть в деревушке и окрестностях принадлежит коренному местному хозяину – потомственному мироеду, белорусу с претензией на шляхетство.

История трёх поколений старой трудовой и богатеющей семьи местного "владыки" дана Михаилом Поповым очень широко и ярко. Повествование его достигает шолоховского размаха, и даже авторский голос в большом романе – спокойный и ровный, словно мы находимся посреди эпического разлива, достигшего максимума, а потому застывающего в созерцательном равновесии. Видно, что автор крепко "в материале", которым широко делится с читателем.

Две трети романа "На кресах всходних" посвящены событиям Великой Отечественной. И "после Муравьёва", наводившего порядок в западных губерниях по итогам польского восстания 1863 года, и после событий 1914–1920 годов Беларусь снова становится одной из арен большой истории. Деревня Порхневичи сожжена, и её жители – словно род или племя много веков назад – во главе со своим вождём Витольдом Порхневичем оказываются всё в той же тысячелетней Пуще, которая может спасти, а может и погубить.

Но кроме выживания в условиях почти диких, кроме крайней нужды, перед "племенем" или табором стоит задача ещё выжить в эпицентре столкновения исторических сил: *"Все ощущали себя оказавшимися меж двумя жерновами одинаковой жёсткости. Надо выбираться наружу из этой конструкции – внутри, как ни пригибайся, не выживешь".*

Но выбираться некуда. Витольду Порхневичу, его сыновьям, братьям, племянникам, всем односельчанам, ставшим семьёй-табором, приходится волей-неволей брать на себя задачи партизанского отряда.

Не зря, наверное, белорусов иногда называют партизанским отрядом в центре Европы. Может быть, таким же отрядом можно назвать и сербов. Почему в обоих случаях это славяне? Вот вопрос, который навечно поставлен перед Москвой...

Михаил Попов пишет свою большую историю подчёркнуто сдержанным языком. По всему тексту читатель найдёт множество больших и малых житейских мудростей в точных наблюдениях. Но вот экспрессия, артикуляция, даже, может быть, и динамика этого в общем-то приключенческого романа оставлена автором на втором месте. Несмотря на детективные приёмы построения сюжета, на хорошую долю мелодрамы в нём. Несмотря на материал, который позволял бы "заострить", "подогреть" повествование. Попов не захотел этого делать, видимо, желая оставить читателю свободное место для восприятия общей идеи. Кажется, лишь раз Михаил Попов даёт волю сердечному порыву – в сцене расстрела гитлеровцами группы еврейских женщин и детей со стариком во главе. Наблюдавшая происходящее из безопасного укрытия девочка в безумном порыве выходит и бежит к построенным в шеренгу своим:

"...Оглянувшийся солдат что-то шепнул офицеру, тот, щурясь, обернулся.

Сара уже была в нескольких всего шагах от шеренги. Не выбирая, она вцепилась в подол средних лет женщины в разодранной, заправленной в чёрную юбку рубахе, с растрёпанными, буйно торчащими в разные стороны волосами и абсолютно безумным лицом.

– Мама! – раздался крик...

Сара обхватила женщину за талию и уткнулась лицом ей в плоскую грудь.

– Мама.

Седой старик что-то прокаркал по-своему. Женщина поняла и стала отталкивать от себя руки Сары и что-то кричать ей. Понять было нетрудно, что. Уходи! Уходи!!!

Немцы с интересом и как бы даже иронически поглядывали на эту сцену, не предпринимая пока никаких действий.

– Мама! – снова налетала девочка с растопыренными руками на женщину, после того как была отброшена.

Женщина била её по щекам и отпихивала, отпихивала.

Офицер отдал команду.

Сара вцепилась в женщину...

Долго, секунд десять наверно, было тихо, потом раздалось:

– Фойе!

Залп".

И именно проникновенность этой сцены оттеняет, повторюсь, общую авторскую сдержанность. Не холодность, не равнодушие, нет – это именно сдержанность мудрого наблюдателя, который оставляет читателю свободу вообразить и проникнуться самому. Отсюда же и относительное изобразительное спокойствие. Попов занят большим полотном и потому лишь нечасто позволяет себе мазки, подобные этому: *"Касперович дремал, отворив рот, щёки его алели так, словно ему снился стыдный сон".*

"На кресах всходних" даёт ещё много простора для дальнейших размышлений и демонстраций. Но уважая нашу современную любовь к краткости всякого сообщения, добавлю только следующее. И эрос, и танатос в романе стремительны и стихийны, они напоминают собой шопенгауэровскую Волю, как ветер летящую над пущами и страной. Любовь здесь менее отчётлива и менее окончательна, чем смерть, ибо в конце войны весь партизанский отряд Порхневичей, а значит, и вся деревня Порхневичи, гибнет – как племя вместе со своим белорусским вождём...

Легко было бы продемонстрировать и в ткани большого произведения, и в его разворачивающемся в бесконечность идейном поле ещё многие значительные и красивые, смешные и фатальные повороты – от хитросплетений интриги-судьбы до точных человеческих образов героев. Материал Попова соответствует теме – истории. Эрос и танатос – это, конечно, и силы, и константы. И всё-таки содержание жизни итожит борьба, в данном случае – всеобщая борьба национальных субъектов, в их, конечно, политическом облаченье, обычно соответствующем военной форме. Немцы, поляки, белорусы, евреи, русские – все они имеют красную кровь, хотя замыслы их и разного цвета...

И может быть, главное чувство, которое теплится в "подложке" произведения, – авторская грусть, которой нет исхода, поскольку это грусть по "третьей правде" для Беларуси.

По окончании истории – будь это кино – оператор должен был бы поднять камеру в самое небо, чтобы пустить её над Белоруссией, скажем, на квадрокоптере. С высоты птичьего полёта хотелось бы напоследок глянуть на эту землю, на эту страну.

Я назвал Михаила Попова своевременным (значит, и современным?) писателем, потому что в итоге его романа становится понятно, почему этот народ один не изменил своего советского флага, один сохранил и развил советскую индустрию, один не делает фетиша из языка. Один умеет ценить то, что дало ему русско-белорусское братство.

P. S.: Когда этот номер готовился к печати, из Самары пришла горестная весть о смерти поэта Максима Ершова. Он умер в расцвете творческих сил, когда в свет у него вышла четвёртая книга стихов, о которой он мечтал, когда его статьи о литературе заслуженно привлекли внимание читателей и писателей России, когда он встал в первые ряды нашей литературной жизни как талантливый публицист. А я с радостью вспоминал, что Максим был одним из лучших студентов-заочников Литинститута и обучался в моём семинаре. Вспоминал я и о том, что редакция журнала не раз помогала ему в трудных обстоятельствах его жизни в Сызрани.

Сколько замечательных русских писателей и авторов журнала мы потеряли в это страшное вирусное время! Александра Казинцева, Валентина Курбатова, Ларису Васильеву, Валентина Осипова, Даля Орлова, Геннадия Хомутова... А теперь вот и Максима Ершова.

Вечная им всем память.

Ст. Куняев

СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ

ЛИЦО СО ШРАМОМ

Памяти Максима Ершова

Что-то перевернулось внутри: погиб Максим Ершов, чья двухметровая фигура в нашей изнищавшей словесности означала лично для меня, да и для многих понимающих цену слову, надежду на воплощение самых лучших её стремлений в ближайшие два-три десятилетия.

Максим воплощал в себе удивительный тип настоящего самородка, подлинного интеллектуала, овладевшего всей линейкой гуманитарного инструментария.

Но кроме того и помимо всего прочего, он был поэт, русский поэт, незаурядный истинно мужским взыскующим выкриком в бледное русское небо.

* * *

Он сам написал мне году в пятнадцатом. Вдруг захотел, чтобы мои стихи вышли в одном региональном журнале.

— *Сергей, как поживаете?*

— *Привет, Максим. Попал на работу в Церковь, и рад этому несказанно. Статьи пишу.*

— *Та ваша подборка так и не пошла, хоть была одобрена. Но слышал, что вышла книга, рад, мне кажется, пора вам на большую дорогу. Крушить пора многих :) сам пишу критику, вроде получается, публикую у Куняева, в Москве, у Бондаренко. N что-то много о себе думает, кажется:) и к NN не пробьюсь из своей дали. Церковь — это хорошо. Как в монгольские времена, это ядро, на которое есть последняя надежда...*

“Монгольские времена” — известно, что такое. Русского человека не обманешь. Глянешь “розановским острым глазком”, и баскаки у нас рыщут, и в Орду за ярлыками ездят, и холопами оптом и в розницу торгуют, и крамола кругом. “Иго”. Только чьё, не различить.

Максим из своей Сызрани, которую и любил, и ненавидел, наблюдал столько всего, что взгляд его можно смело считать эталонным русским. Так и такой видят Русь теперь все наши зрячие.

* * *

В семнадцатом — беда.

— *Сергей, я осуждён, нахожусь в ИК-13, связь тут плохая. Можно попросить вас о публикации моих стихов в журналах, которые сами сочтёте пригодными? Собираю материал для УДО.*

— *Конечно.*

Я понял – надо выложиться. Поэт сидит, не кто-нибудь. Я знал его, и этого было достаточно. Экстренно отписал всем, кто мог помочь, и спустя месяц отослал Максиму ссылки на “Юность”, “Поэтоград” и “День и Ночь”.

Вызволили.

– *Сергей, привет! Благодарю за помощь, всё получилось. Как дела? Я сейчас вышел, утрясаю первоначальные дела. В голове конечно, шум... Надо привыкать.*

– *Максим, я рад твоему освобождению, как ничему другому. <...> Шум уймётся, это совершенно точно. И работа найдётся. Мне кажется, лучшее, что есть у человека – его угол, где пахнет чуть отсыревшими обоями, на которые можно смотреть бесконечно. Дальше на земле не отступишь... но кто вообще сказал, что мы обязаны отступать и терять?*

* * *

А потом он приехал. В Литинститут. За дипломом. И ко мне на семинар.

Было самое начало октября, как раз те дни, когда поминают жертв 1993 года. Максима долго не пускали на вахте, охранник опять не к месту припомнил должностные инструкции. Разведя руками, я пошёл договариваться к ректору, проректору, кому угодно, только бы пустили. Звонил тем, чьи телефоны были. Пошёл в аудиторию предупредить, что припозднимся на пять минут, снова побежал к вахте, а когда вернулся, обнаружил, что Максим уже просочился и, довольный, возвышающийся над всеми, сидит в аудитории.

– *Рад был встрече, Сергей, спасибо за тепло.*

Ему было холодно.

Я заржавленный столб
во степи,
где дожди и метели
мириадами нот
обрывают
мои провода.

* * *

Его похоронят в Сызрани, и похороны вряд ли будут многолюдными. Я не успею на них, и кто только на них не придёт из тех, кто обязан Максиму его полночными думами.

Что же вышло? И когда он получил свой крупный шрам, вовсе не уродовавший его, а делавший его лицо скорее радостным, а не пришибленным? Догнала зона? Его догнала Россия. Это сама русская жизнь решила, что ему пора. И кто теперь напишет апелляцию к высоким инстанциям?

Я напишу.

Я скажу так: дорогая русская жизнь, пожалуйста, отмени своё решение, вызванное твоей крайней неразборчивостью и скоропалительностью. Ты не понимаешь, так ещё не поздно. Верни его нам, пожалуйста. Оставь Максима в живых, излечи его от ран, и даруй ему... Впрочем, что мои ходатайства, когда вот уже середина марта, оттаивает земля, и начинают петь проворные синицы, и мы изготавливаемся, вернее, изловчаемся, как можем, к лету, а Максим почему-то машет нам из того далека, откуда ни в Москву, ни в Белгород, ни в Самару, ни в Сызрань.

Навеки “Вконтакте” останутся те наши две совместных и единственных фотографии там, в ночи, едва освещённые отблесками своей эпохи, своего времени.

Чувствую сейчас одно: ты во мне жив. Я виноват: на книжку твою, с трудом пересланную мне, не откликнулся, замотался, а на последнюю статью твою вообще отреагировал нервно – уж больно, прости, не прилежащую к поэзии в моём понимании персоналию ты для неё выбрал. Досаду-то я успел выместить, да только ты не ответил.

Ты жив. Просто удалился из социальных сетей, “временно вне зоны доступа”. А может, и есть он, доступ, а я не знаю туда ни логина, ни пароля...

РУСЛАН СЕМЯШКИН
публицист, общественный деятель,
член Крымского рескома КПРФ

ВЕЛИКОЕ СЛУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЕ

К 110-летию со дня рождения Георгия Маркова

1

О классиках советской литературы в наше время говорят нечасто, и оценки бывают далеко не однозначными. Что и неудивительно. У нас до сих пор нет единого понимания советской литературы как уникального явления, возникшего в результате колоссальных преобразований в стране после 1917 года. Во многом это даже и хорошо, что на литературный процесс советского времени и его непосредственных участников смотрят в современной России поразному, руководствуясь, в первую очередь, личными интересами и предпочтениями.

Каковы же данные интересы и предпочтения? Не основываются ли они на элементарном незнании многих фактов, напрямую связанных с советской многонациональной литературой и личностями, её творившими?

Почему пишу об этом, предваряя разговор о большом писателе? А потому, что и с годами не прекращаются потоки лжи, очернительства, не прекращаются навешивания несуразных обвинений в адрес целого ряда самобытных художников.

Среди многих (вполне образованных и интеллигентных) сограждан распространено до боли банальное суждение примерно такого содержания: “Если писатель советский, то, значит, обслуживал авторитарную власть, работал на тоталитарную систему, да и писателем-то такого человека можно назвать лишь с натяжкой, поскольку настоящим талантам в СССР развернуться не давали”. Не называя конкретных имён, скажу и о том, что среди таких “недовольных” советским строем литераторов, как ни странно, оказалось предостаточно и таких, кто в советские годы тогдашнюю власть славил, находясь в рядах правящей партии, получал от этой власти высокие государственные награды, звания, другие блага...

А вот по-настоящему советским писателям действительно не повезло. Нападать же на них, в том числе и тех, кто давно ушёл в вечность, продолжают по-прежнему. Ругают, принижают талант, называют неподобающими словами, не желая слышать противоположного мнения.

К сожалению, не миновала чаша сия и выдающегося русского советского писателя, публициста, общественного и государственного деятеля Георгия

Мокеевича Маркова, чей сто десятый день рождения приходится на 19 апреля текущего года.

Тем не менее, оговоры и критиканство писатель переносил стойко. Держать удар, не теряя собственного достоинства, Марков умел. Способен он был и трезво оценивать подобные неурядицы, о чём писал внук писателя, кандидат исторических наук Ф. Тараторкин: "Было время, когда как только не травили Георгия Мокеевича. Называли одиозным советским деятелем, обвиняли его в насаждении культа собственной личности. Всем, кто был с ним знаком, было ясно: это бред. Скромность, непритязательность, простота Георгия Мокеевича, полное отсутствие всякой позы и равнодушие к почестям и регалиям были притчей во языцех в писательских кругах. Он не выносил подхалимов, но при этом всегда был ровен, сдержан и корректен со всеми, в том числе с собственными гонителями и хулителями. Помню, меня это задевало, я не мог понять, почему он не отвечает на заведомую клевету, на жестокие и ложные обвинения. Он видел, слышал и читал всё, что о нём писали. И ни разу никому не ответил. На мой прямой вопрос однажды отозвался так: "Ну, недопоняли чего-то, не разобрались. Ладно уж". Его незлобие и доброжелательность поражали и, казалось, не имели границ".

Далее в этой публикации внук Маркова обращает внимание читателей на ключевой момент, связанный с жизнью писателя и пониманием его мировоззрения: "В 1988 году на XIX Всесоюзной партийной конференции давний друг Георгия Мокеевича Егор Кузьмич Лигачёв произнёс самую, наверное, пронзительную свою речь. Увы, в памяти многих людей сохранился только растиражированный упрёк "Борис, ты не прав". Не запомнилось, похоже, ни как это было сказано, ни почему. Мне тогда было четырнадцать лет, но до сих пор ярко помню достоинство и спокойствие тогдашней речи Лигачёва. Не забуду, с какой гордостью за их многолетнюю тёплую дружбу слушал Егора Кузьмича мой дед. "В годы застоя я жил и работал в Сибири – краю суровом, но поистине чудесном, – говорил тогда Лигачёв. – Меня нередко спрашивают, что же я делал в то время. С гордостью отвечаю: строил социализм. И таких были миллионы". Пафос Лигачёва был для моего деда и его правдой, его историей, его ви́дением времени и самого себя. Я бережно храню его партийные документы, понимая, что коммунистическая идеология была для него тем воздухом, которым он дышал, тем маяком, по которому он сверял свои действия и решения".

О том же, какими были взгляды и представления писателя о мире, как он понимал прошлое, настоящее и будущее страны, красноречиво говорили его произведения, в том числе и публицистические, где более конкретно, без привязки к вымышленным событиям и героям, Марков писал о Сибири, её тружениках и гигантских стройках, о литературе, писателях, их конкретных произведениях, о вопросах духовно-нравственного воспитания личности, о различных сторонах общественной жизни.

Говоря о Маркове, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов его общественно-политическую деятельность, которую и не могут простить писателю те, кто увлёкся упражнениями по извержению антисоветской пропаганды. И опять-таки слышатся несуразные обвинения в том, что "зажимал, запрещал, мешал", так как руководил Союзом писателей самолично, чётко выполняя указания, получаемые со Старой площади. А уж там за "послушание" Маркова ценили, наделяя властными полномочиями, избирая в высшие партийно-государственные органы, чрезмерно награждая. Но справедливы ли такие оценки? А честны ли сопоставления и злорадство по поводу того, что Маркову второй раз присвоили звание Героя Социалистического Труда, а вот такой крупнейший русский прозаик, как Л. Леонов, был удостоен этого высочайшего государственного признания только лишь единожды?

Нет, не честны, не объективны и не справедливы. О наградах, думается, так и вообще говорить кощунственно. Кстати, дикое сравнение Маркова и Леонова по количеству у каждого из них геройских звёзд автору этих строк приходилось слышать не только от людей, глубоко и беспристрастно в этом вопросе не разобравшихся, но и встречать намёки на него аж в дневнике такого видного украинского советского писателя и общественного деятеля, как О. Гончар. Вот так-то! Оказывается, и в среде корифеев советской литературы не всё было гладко... И там наблюдались зависть и злорадство, помноженные, ко всему прочему, и на элементарную непорядочность, тем не менее, такими людьми умело скрывавшуюся.

Мог ли Марков их всех, русских и представлявших национальные литературы, как того же Гончара, оказавшегося на излёте советской эпохи, так до сих пор основательно не изученной и многими не понятой, сторонником националистических политических сил, олицетворением которых в УССР был приснопамятный РУХ, – всецело устраивать? Вряд ли. Но, что интересно, и каких-либо серьёзных нареканий в адрес Маркова как руководителя Союза писателей СССР также не высказывалось. Все разглагольствования сводились, как правило, к частностям из серии: "не то сказал, вовремя не заметил, не выдвинул, не написал представление к награждению, не помог в решении бытовых вопросов".

Для понимания личности Маркова, в том числе и как первого секретаря правления Союза писателей СССР, позволю себе привести слова В. Казакова, в чем-то спорные, но написанные, по всей видимости, от души, из статьи "Слово для дела или дело для слова?", опубликованной в "Литературной газете" к столетнему юбилею со дня рождения писателя: "Ещё со времён баек Войновича про то, как ему не дали то шапку, то писательскую квартиру, руководители СП выставляются тупыми бездарными монстрами. Но Марков – талантливый писатель. Были ли у него свои заморочки? Без сомнения. Но при этом, уверен, он был честным человеком. Другое дело, что такие большие люди, как Георгий Марков, уходили в писательские функционеры. Отодвигая от себя литературу – это да. Я думаю, это была трагедия личная для него. Сильный писатель вдруг начинает заниматься абсолютно бредовым для нормального человека делом. Заседания, коллегии, отчёты, конференции, бухгалтерия! Да какая бухгалтерия! Назовём всё своими именами: Союз писателей СССР был министерством литературы. Или министерством книги, так поэтичнее. А Марков соответственно – министром. Ему подчинялась огромная индустрия. Десятки журналов, газет, издательства, типографии, дома творчества, поликлиники, детские сады, санатории, квартиры, кооперативы, дачи. Причём это всё дублировалось на уровне союзных республик. Империя целая.

Что его толкнуло на это? Жажда благополучия, сытой жизни? Не думаю. К 1971 году, когда он возглавил Союз, Марков был состоявшимся и состоятельным писателем. Его книги выходили миллионными тиражами. И кстати, до сих пор выходят. Последние переиздания – 2007 и 2008 годов. Он получил Сталинскую, Государственную (имеется ввиду Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых. – **Р. С.**), Ленинскую премию. Кстати, одну из премий, 10 000 рублей – огромные деньги по тем временам, цена лучшей квартиры в Москве – он отдал на строительство библиотеки в родном селе. Не напомните ли мне, кто из нынешних лауреатов государственных и прочих "Букеров" сделал то же самое? Я не осуждаю никого, просто спрашиваю: может, упустил кого в суете. Уже позже Марков отказался от установления бронзового бюста на родине. Эта процедура была положена всем дважды Героям Советского Союза. Или Социалистического Труда, коим Марков и являлся. То есть тщеславие при уходе в литературные функционеры решающей роли, видимо, не играло".

Для тех, кто искренне служил литературе, кто самозабвенно работал на местах, а не только в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик, Марков всегда был непререкаемым авторитетом. Прекрасно знали в писательских организациях регионального уровня и о деловых качествах Георгия Мокеевича, и о чисто человеческих. "Литературный генерал", как Маркова называет писатель и историк советской литературы В. Огрызко, был человеком отзывчивым, доброжелательным, не даром, как писал поэт и публицист, главный редактор "Сибирских огней" А. Смердов, "...не только в писательской среде слышится по-свойски почтительное его поименование – Мокеич". Он старался помогать всем тем, кто в его помощи нуждался. Не всё, как и бывает в реальных жизненных обстоятельствах, получалось... Всё же и Марков был не всесильным.

"Георгий Мокеевич, – вспоминал бывший секретарь правления Союза писателей СССР К. Скворцов, – был одним из немногих руководителей Союза писателей, который знал практически всю отечественную литературу, никогда не путал даже самых неудобных для славянского произношения имён и фамилий писателей наших республик и Запада, не говоря уж о писателях Урала, Сибири и Дальнего Востока. Не было ни одного классика, в кавычках и без

оных, в судьбе которых он не принял бы участия. В шесть часов утра он просматривал все основные газеты (что неоднократно и мне советовал делать), потому всегда был в курсе всех событий не только литературы, но и далёких от неё. В выходные дни с раннего утра он совершал вояжи по книжным магазинам Подмосковья, скупая книги провинциальных авторов, и обязательно их прочитывал. Как он это всё успевал – непостижимо!

Время, когда Марков руководил Союзом писателей СССР, уже не было фадеевским – "расстрельным", но не было и простым. СП СССР как организация во многом подчинялся идеологическому отделу ЦК КПСС, но каждый писатель был вправе, как и сегодня, выбрать свой путь, свою судьбу в литературе, за что тогда уже не уничтожали, но частенько и не печатали...

По инициативе Георгия Маркова, а не только ЦК мы... добились отмены пресловутого постановления по журналам "Звезда" и "Ленинград" и, как говорил поэт, свершали "и другие добрые дела..." Была перестройка. Перестрелка ещё не началась.

Скромный от природы, Марков не претендовал на звание "классика", будучи писателем, который всегда подставлял своё плечо коллегам, сам оставаясь в полутени, несмотря на все свои звания и награды. Его романы читались в своё время, как сегодня читаются самые тиражные издания".

Времена, как известно, *не выбирают*. А вот то, что время выбрало однажды Маркова в качестве своего олицетворения, убедительно подтверждавшего преимущества социалистического строя, факт неоспоримый. И писатель старался своё время – не идеальное, конечно, но далеко и не такое страшное, как пытаются его сегодня некоторые современники представлять – духовно обогащать, создавая собственные произведения и развивая многонациональные литературы, способствуя тем самым тому, чтобы писатели в Советском Союзе имели все возможности для творчества и оставались людьми уважаемыми и авторитетными, а советские граждане продолжали быть самыми читающими людьми в мире.

Убеждён, эту правду забывать не стоит! Следует её доносить и до будущих поколений.

2

Художественное своеобразие Маркова как романиста, тяготевшего к созданию эпических полотен, проявилось в нескольких существенных моментах.

Во-первых, на протяжении всего творческого пути, начиная со "Строговых" и заканчивая романом "Грядущему веку", он был неизменно предан одной большой всеобъемлющей теме, посвящённой грандиозным народнохозяйственным и социально-психологическим изменениям и преобразованиям, произошедшим в Сибири в результате свершения Великой Октябрьской революции. В сущности, Сибирь и выступала в качестве главного героя марковских произведений. И если даже сюжетные линии выходили за её пределы, как, например, в романе "Сибирь", где действие временно переносилось в дореволюционные Петербург и Стокгольм, или как в романе "Грядущему веку", в котором автор забрасывал своего главного героя, первого секретаря Синегорского обкома партии Антона Соболева, в капиталистическую Италию 70-х годов прошлого столетия, то всё же и эти перемещения как бы вращались вокруг Сибири.

Во-вторых, многогранность таланта позволяла Георгию Мокеевичу без каких-либо особых затруднений сочетать в писательской работе как черты художника, так и практические навыки публициста. При этом художник Марков никак не противоречил Маркову–философу и историку. Исследовательская деятельность писателя не носила, разумеется, сугубо научного характера, так как учёным, посвятившим себя служению науке, он не был, а являлась, по сути, тем вспомогательным делом, позволявшим ему неплохо разбираться в определённых исторических периодах в жизни Сибири. В этой связи приведу фрагмент из очерка Маркова "Среда – знание – труд", где он рассказывает о том, как трудился над созданием своего первого романа "Строговы": "Свой роман "Строговы" я писал медленно, идя от варианта к варианту. Самый верный, самый поэтический материал для романа мне дали впечатления детства и юности, знание жизни родной деревни, её обитателей.

Но, естественно, пришлось привлекать и дополнительные факты, и сведения. Скажем, я нередко показываю в романе революционное настроение крестьянства, показываю это на конкретном материале борьбы за охотничьи и промысловые угодья. Я не был свидетелем, непосредственным очевидцем всего этого. Поэтому, чтобы представить себе общую картину этой борьбы, я начал изучать статистические сборники, различные исследования о сибирской деревне, волостные архивы, рыночные дневники Красноярска, Томска. Таким образом, экономика сибирской деревни предстала передо мной в более широком, полном виде. Изучал я также и историю сибирских тюрем и ссылок, так как ссыльные оказывали большое влияние на местное население. Словом, прежде чем написать роман, я проделал огромную подготовительную черновую работу. Молодёжь должна знать, что без такой работы, на первый взгляд, очень неблагодарной литературное творчество невозможно".

В-третьих, работая над описанием Сибири, края огромного, скорее даже и не края, а целого континента, удивительного, с его обширными лесами и протяжёнными реками, несметными природными богатствами и масштабными, всесоюзного значения стройками, по крайней мере, бывшими на то время, Марков с предельной художественной достоверностью и большой эмоциональной силой обозначал знаковые вопросы, напрямую связанные с морально-нравственной стороной жизнедеятельности общества. И таких было немало, начиная с самого краеугольного, принципиально важного, зримо высветившегося ещё в романе "Строговы" и касавшегося исторического конфликта двух диаметрально противоположных форм человеческого восприятия и постижения действительности: индивидуалистической и коллективистской.

А уж вокруг этого, по сути, мировоззренческого конфликта вращались и более, что называется, приземлённые и локальные проблемы, впрочем, не менее актуальные. Скажите, разве вопрос о борьбе с хищниками, жившими в заскорузлом мире безудержного накопительства, коварства, лжи, подлости, кулаками и мироедами, зажимавшими сибирское крестьянство, не имел под собой реальной почвы и не стоил того, чтобы подвергнуть его писательскому исследованию в таких романах, как "Строговы", "Отец и сын", "Сибирь"? Или не важно было взглянуть на проблему отношения человека к природе? А оно далеко не всегда было гуманным, заботливым и рачительным. Марков неоднократно показывал людей, воспринимавших природные богатства лишь как средство для обогащения и не думавших о будущем родного края, но при этом готовых за владение данными природными ресурсами побороться. Наглядным примером такого несправедливого, собственнического подхода к народному достоянию являлась схватка, описанная в "Строговых" и рассказывающая о том, как богатеи Юткины и Штычковы бились из-за кедровника с крестьянами их деревни Волчьи Норы.

Показывая подобные, носившие классовый характер столкновения, когда на одной стороне находились силы индивидуализма, а на другой – силы народного коллективизма, Марков вдобавок к сему высвечивал и целый ряд негативных явлений, таких, как приспособленчество, корыстолюбие, алчность, стяжательство, лицемерие, подлость. К сожалению, не будут эти пороки изжиты и в советское время, в чём мы станем убеждаться, смотря на некоторых героев из прозы писателя, посвящённой им современности.

К сему следует добавить одну немаловажную деталь. Марков как тонкий психолог, привыкший скрупулёзно разбираться в характерах своих героев, а многие из них имели и прототипов в реальной жизни, не старался сгущать краски, дабы показать отрицательных героев предельно просто и прямолинейно, по известной формуле, согласно которой есть во всех отношениях хорошие персонажи, а тот или иной герой – плохой, живёт бесчестно, и этим всё сказано. Шаблонных подходов писатель избегал, понимая, что в жизни с её непредсказуемыми зигзагами всё значительно сложнее, и подобное однобокое разделение на хороших и нехороших, добрых и злых в действительности не срабатывает.

А вообще-то Марков, вводя в канву повествования героев противоречивых, вроде и не законченных негодяев и прощелыг, но и не блещущих добродетелями, оставлял возможность самому читателю оценить такие образы и их поступки. Однако, как оказалось, не так-то и просто судить о внутреннем мире и делах таких героев, как, скажем, Артём Строгов из романа "Соль земли".

Секретарь райкома партии, человек честный, деятельный, болеющий за общее дело, он тем не менее не способен заглянуть за горизонт. Не понимает Артём и тех, кто думает о перспективах освоения природных богатств Улуюлья. Для него они – мечтатели, прожектёры. И в этом понимании действительности он стоит твёрдо, не отдавая себе отчёта в том, что мыслит узко, местечковыми мерками, без государственного размаха, отличавшего настоящих управленцев той поры. Но вправе ли мы ругать его за это несоответствие вызовам выпавшего на его долю времени? И да, и нет.

Посему, не вдаваясь в подробности, но взвешивая все его положительные качества и наблюдая за тем, как он реально отстаёт в своём развитии и поступательном движении к новым жизненным высотам, возьму на себя смелость и всё-таки причислю Артёма Строгова к героям положительным. Хотя, конечно, мой вывод крайне субъективен уже, в первую очередь, по той причине, что смотрю я на этот образ через призму дня сегодняшнего, в котором мы – российские граждане вроде великой и могучей страны, с её несметными возможностями и богатствами, – испытываем дефицит руководителей честных, искренно верящих в государство и его институты, не подверженных мздоимству и живущих не ради личного обогащения. В этом отношении различие между такими, как Артём Строгов, притом, что и мыслил он всё ж узковато, и теми, кто в нашем времени используют руководящие должности для удовлетворения собственных амбиций и решения своих подчас откровенно корыстных интересов, столь разительно, что обсуждать его нет никакого смысла. То поколение, и это необходимо признать, в основе своей было бессребрениками, людьми, довольствовавшимися малым и не гнавшимися за мнимым, с мещанским душком благополучием. И не будь у них этих качеств, не думай они "вначале – о Родине, а потом – о себе", неизвестно, что было бы с нашим государством и его жемчужиной – Сибирью, развивавшейся, особенно в те, послевоенные годы семимильными шагами, чему не переставал удивляться и чем не уставал восхищаться писатель и подлинный советский патриот Марков.

В романе "Соль земли" присутствует и ещё один очень существенный эпизод, по которому опять же приходится судить о существе ряда героев и определяться с тем, кто они – люди порядочные и живущие по совести, или беспринципные временщики, привыкшие подстраиваться под вышестоящее начальство и определённые жизненные обстоятельства? А речь о том, как проходило заседание бюро Притаёжного райкома партии, на котором рассматривалось персональное дело коммуниста, учителя Краюхина, одного из главных героев романа, олицетворявшего собою всё лучшее, что должно быть в человеке, и стремящегося к открытию природного потенциала Улуюлья. Конечно, из партии его исключат по формальным причинам – за самовольную отлучку из школы в рабочее время и гибель взятого в тайгу общественного коня. Фактически же районное руководство увидит в нём человека, не желающего считаться с их мнением, воспринимаемым ими как единственно правильное и отвечающее государственным интересам. Стало быть, и Краюхин должен, вопреки своим наблюдениям, поискам, исследованиям, мыслить так же, как и они, а никак иначе.

Казалось бы, налицо вполне объяснимый конфликт между застывшими на месте управленцами, уверовавшими в то, что их район должен стать плацдармом для выращивания льна, и пытливым искателем, желающим докопаться до истины, тем самым найдя в Улуюлье куда более существенные резервы для его последующего интенсивного развития.

Вот тут-то и возникает главный вопрос: как оценить позицию Артёма Строгова, выявившуюся на том заседании, и воинственность председателя райисполкома Череванова вместе с защищавшим последнего начальником милиции Пуговкиным, не преминувшим напомнить Краюхину о возможности обращения в суд за то, что тот в отчаянии назвал председателя исполкома хвостистом? Перечитывая страницы романа, повествующие о том кульминационном повороте в единой сюжетной линии повествования, вновь убеждаюсь: да, Строгов, Череванов, Пуговкин и другие заблуждались, повели себя неправильно, не по-товарищески, но, подчеркну, эти их отступления от истины не носили злонамеренного характера. И, как бы там ни было, их нельзя считать людьми, не болевшими за порученные им участки работы. Не назовёшь их и равнодушными созерцателями. Ни в коем случае не приклеишь им

и ярлык руководителей, не отстаивавших интересы района как составной части всего социалистического государства.

В том и проблема, говорит нам Марков, исколесивший Сибирь и повидавший массу подобных столкновений тех, кто накрепко уцепился за день вчерашний, и людей, жадно впитывающих новшества дня сегодняшнего, что старое, заскорузлое мышление укореняется крепко, основательно, тормозя стучащиеся в дверь перемены.

Марков был взыскательным художником и суетности в процессе писания произведений не допускал. Она ему претила. Посему, если сложить вместе всё, им написанное, и сравнить по объёму с созданным другими маститыми советскими прозаиками, то Георгий Мокеевич окажется явно не в числе передовиков писательского цеха. Но стоит ли оценивать писателей лишь по количеству созданных ими произведений? Или, может, есть необходимость задуматься над тем, а современен ли творческий багаж Маркова, творившего в 30–80-е годы XX века, сегодня, на двадцать первом году XXI века, века новых технологий и стремительного внедрения в жизнь новшеств, которые 30–50 лет тому назад трудно было даже представить?

Для того же, чтобы ответить на эти вопросы, следует вновь обратиться к произведениям писателя. Перечитать, переосмыслить, попытаться взвесить их с позиций дня сегодняшнего, уйдя при этом от бездумного навешивания ярлыков, несправедливых, зачастую и откровенно похабных, а фактически и перечёркивающих всю советскую литературу.

Наверное, нет нужды писать о том, что русским языком Марков владел в совершенстве и письмо его было исконно традиционным и выдержанным, точным, в меру красочным, без языковых украшательств и лишних огрехов, маловыразительных слов и фраз. Да и писал он неторопливо, основательно, закладывая в каждое предложение лишь самое необходимое и то существенное, что позволяло рисовать как событийный фон, так и портреты героев, тщательно выписывая их мысли, монологи и диалоги.

Куда важнее то, каков был художественный мир писателя, в конечном итоге и поставивший Маркова в первый ряд крупнейших советских писателей, с чьими именами, по сути, и ассоциируется в нашем понимании вся многонациональная советская литература. Существенен вопрос и о писательском стиле Маркова, темах его произведений, сюжетных линиях, героях, постижении их характеров и возможности философского осмысления прозы и публицистики, вышедшей из-под пера писателя.

В статье “В поисках поэзии и правды”, написанной в 1963 году, Марков высказал одно справедливое суждение, в полной мере касавшееся и его творческого существа: “Нельзя писать, не познавая Родины, не познавая жизни, её людей, не видя полей и лесов, морей и рек, не слыша свиста степных ветров, не зная запахов родной земли. И познание это должно быть постоянным и непрерывным, как непрерывна сама жизнь. Но невозможно дать писателю этакую всеобъемлющую инструкцию для такого познания, ибо каждый писатель познаёт действительность своим особым способом, присущим только ему одному. Однако же при всём этом кому же из литераторов не известно, что и Пушкин, и Лев Толстой, и Горький, как и многие советские выдающиеся писатели, обогащали свои знания и своё воображение благодаря поездкам по родной стране и встречам с людьми?!”*

Такие встречи, поездки, а вместе с ними и выступления в различных аудиториях практиковал и Марков, и не только в те годы, когда приобрёл всесоюзное признание и возглавлял правление Союза писателей СССР. Колесил он по родным местам и в более ранние годы.

Любопытными представляются и некоторые размышления Маркова о писательском труде, высказанные им в большой, что называется, программной статье “За высокую идейность и художественность советской литературы”, написанной в 1961 году. Приведу их с небольшими комментариями: “Мы порой стараемся облегчить себе задачу, упростить цель своего писательского труда, считая, что если человек велик и интересен в конечных результатах своей деятельности, то достаточно показать эти результаты, и художественный образ современника якобы готов. Тем самым мы уходим от главного нерва искусства – от исследования человеческой судьбы, человеческого развития, от раскрытия *диалектики души* человека, от исследования того, какие истоки питают этот результат”.

Именно так о важности исследования человеческих характеров Марков писал не случайно. Внутреннему миру героев он придавал первостепенное значение. Особо старательно писатель выписывал при этом положительные образы. Но и приукрашивания, чрезмерного любования героями Марков старался избегать. Отсюда и прорастала их реалистичность, не вызывавшая у читателя сомнений. Подчеркну – реалистичность, а не простоватость, от которой, как известно, недалеко и до примитивизма. А уж таких марковских героев, как Анну и Матвея Строговых, деда Фишку из "Строговых", Максима и Артёма Строговых, Краюхина, Лисицына, встретившихся нам на страницах "Соли земли", Романа Бастрыкова из романа "Отец и сын", Федота Безматерных, Степана Лукьянова, Ивана Акулова, Катю Ксенофонтову, Венедикта Лихачёва из "Сибири", Антона Соболева из романа "Грядущему веку", этакими простачками с примитивным мышлением никак не назовёшь. Скорее наоборот. Мы видим их сильные натуры, цельность характеров, целеустремленность, деловые качества.

Далее мастер говорил о том, что "попытки под флагом новаторства протаскивать оправдание формализма есть отступление от лучших традиций реалистической революционной литературы. В конечном счёте, такие попытки ведут к потере художественности, к огромным потерям в области формы, так как форма всегда существенна, красота её зависит от глубины и содержательности того, что она призвана выражать".

Формализма в литературном творчестве Марков не допускал.

3

Портрет большого мастера окажется не полным, если мы, потомки, пытаясь постичь его величие, не обратимся к тем истокам, которые и вывели на широкий жизненный простор писателя и гражданина Георгия Маркова.

Родился будущий классик советской литературы в селе Ново-Кусково Томской области в многодетной, небогатой по достатку семье охотника, ставшего впоследствии организатором первой коммуны на Васюгане. "Я происхожу, как говорят, из простонародья, – вспоминал годы спустя Марков. – Наша семья – потомственная охотничья семья. Рос я в тайге, дом наш стоял в лесной глуши... Среда, которая меня окружала, была средой охотников. В охотничьих семьях было принято приучать детей с малолетства к ремеслу, которым занимались отцы и деды".

Рано он начал приобщаться и к суровому быту простых тружеников, и к изучению величественной природы, и к меткому народному слову. А охотничья среда стала его первой жизненной школой.

Тринадцатилетним пареньком Марков вступает в комсомол и буквально сразу же становится селькором газет "Томский крестьянин", "Красное знамя", "Путь молодёжи". Несколько позже он был выдвинут на комсомольскую работу. Непродолжительное время трудился в Сибирском краевом комитете комсомола, в Новосибирском и Томском горкомах комсомола, редактором юношеского журнала "Товарищ" и краевой газеты "Большевистская смена", издававшихся в Новосибирске; одновременно обучался и в Томском университете.

На глазах Маркова в Причулымье пришла Советская власть и начались великие перемены, в результате которых на местах бывших охотничьих и рыбацких станов, заброшенных скитов стали появляться посёлки нефтяников, газовиков, горняков и лесодобытчиков, а также и сельскохозяйственные комплексы.

Эти невиданные доселе преобразования не оставляли Маркова равнодушным. Вместе с журналистскими текстами он исподволь начинает писать и прозаическое произведение. Причём он сразу дерзновенно берётся за написание большого романа.

Первую книгу романа "Строговы" Марков, двадцати семи лет от роду, завершит в 1938 году и повезёт в Москву. "Рукопись своего романа я хотел передать П. А. Павленко, – вспоминал через два десятилетия Марков, – но не решился и отнёс в Гослитиздат. Зная, что рукописи читают не сразу, я купил билет и собрался уже ехать обратно в Сибирь. Но перед отъездом всё же позвонил в издательство, и мне сказали: "Вот вы где! А мы вас ищем с милицией!" Случилось так, что рукопись мою прочитал как раз Павленко. Он дал положительный отзыв. Мне пришлось продать билет и остаться".

“Строговых” в Гослитиздате прочитает и И. Э. Бабель. А затем, в один из приездов Маркова в Москву, состоится и их личное знакомство.

“Я прочёл вашу рукопись с удовольствием, — скажет маститый писатель начинающему прозаику. — Вы мир видите просто и просто о нём пишете... Учтите: ничто не имеет столько нераскрытых возможностей, сколько настоящее чувство художественной простоты. Если вы будете следовать этому — вас ждут удачи”.

Этому совету Марков последовал. В дальнейшем он в действительности писал просто, но не упрощённо, не допуская неточностей, словесной эквилибристики, неоправданных повторов и расплывчатости сюжетных линий.

А работу над “Строговыми” прервёт Великая Отечественная война, и вторая книга романа в свет выйдет только в 1946 году в Иркутском областном издательстве.

Суровые военные испытания, выпавшие на долю нашей страны и народа, не обойдут стороной и Маркова, которого страшная весть застала в родном селе Ново-Кусково, куда он приехал с женой и дочкой порыбачить, походить по тайге с ружьишком и поработать над второй книгой “Строговых”; он ушёл на войну добровольцем. Более четырёх лет прослужит он в войсках Забайкальского фронта в редакции войсковой газеты “На боевом посту”. Примет Марков участие и в походе через Хинган, а также и в разгроме отборных соединений Квантунской армии. О личных впечатлениях тех лет и военных действиях в Забайкалье, Монголии и Маньчжурии Марков поведает читателю в повести “Орлы над Хинганом”, написанной в 1948 году, а затем, через тридцать лет, в документальной повести “Моя военная пора”.

В том же 1948 году в издательстве “Советский писатель” роман “Строговы” будет впервые издан в полном объёме. Он принесёт писателю по-настоящему большой успех и тысячи восторженных писем от читателей.

В центре внимания писателя — жизнь семьи Строговых, обосновавшейся на глухой таёжной пасеке, о чём Марков и говорит в самом начале романа: “...Строговы жили на скромные доходы от пасеки; подспорьем служила охота, а кроме того, кедровые орехи, грибные и ягодные угодья тайги. Жили на пасеке семьёй из пяти человек: старики Захар с Агафьей да родной брат Агафьи — дед Фишка — и Матвей с молодой женой Анной.

Пятистенный дом Строговых, окружённый густо разросшимися кустами черёмухи, стоял на косогоре, окнами к южной, солнечной стороне. От дома влево — двор, крытый по-сибирски наглухо, вправо — пасека.

У подножья косогора — речка Соколинка с прозрачной родниковой водой. За речкой — опять косогор, за ним — долины, холмы, мелколесье, нераспаханные вольные сибирские земли.

К северу от пасеки — стеной тайга. Тайга на тысячи вёрст и безлюдье, простор, глушь...”

Так начинал Марков большое повествование о Сибири и сибиряках. Затем, в 1960 году появится роман “Соль земли”, где мы повстречаем новое поколение Строговых. Несколько позже свет увидит роман “Отец и сын”, во многом автобиографичный, рассказывающий историю отца и сына Бастрыковых, связывавшуюся с событиями по созданию первой коммуны на Васюгане... С тех самых пор сибирская тема и не отпускала писателя.

4

Творческой вершиной в пятитомной эпопее Маркова о Сибири, вне всякого сомнения, стал роман “Сибирь”. Эпопеей же, при некоторой условности, критики и литературоведы обозначали все пять романов писателя: “Строговы”, “Соль земли”, “Отец и сын”, “Сибирь”, “Грядущему веку”. Думается, что это объединение в единый эпический цикл было правильным, посему не станем от него отказываться и мы.

Развитие, движение “сибирской эпопеи” идёт одновременно и вширь, и вглубь. Если “Соль земли” и “Отец и сын” в той или иной мере продолжают “Строговых” — новые поколения (Матвей и Артём Строговы, Алёша Бастрыков) как бы принимают эстафету у своих дедов и отцов, дальнейшими своими поступками доказывая состоятельность и непреходящую актуальность идеи о непрерывности революции и преемственности поколений в утверждении её идеалов, то в романе “Сибирь”, отражающем примерно тот же исторический

период, что и “Строговы”, происходит углубление художественного исследования тех условий и предпосылок, которые способствовали возникновению и укреплению революционного сознания сибиряков.

В романе “Сибирь”, гармонично объединившем как эпическое, так и лирическое начало, Марков изобразил этот необъятный край в его своеобразии и красоте, показав величие, природную мощь, изобилие, суровость, загадочность, овеянные легендами и былями, присущие сибирской земле. Явственно заметен в повествовании и удивительный, неповторимый сибирский колорит. На его фоне писатель красочно рассказывает нам о необыкновенной природе, о народных обычаях, о древних курганах и находках, о ловле рыбы, витье верёвок, об обычае таёжников оставлять для других людей всё самое необходимое, без чего нельзя обойтись в таёжных условиях. Принципиально Марков подошёл и к показу обобщённого, собирательного лика сибиряка тех лет, напрочь отвергая, как и в предыдущих романах “Строговы”, “Соль земли”, “Отец и сын”, предвзятое, одностороннее представление о сибиряках как диких, отсталых людях, живущих по патриархальным канонам в страшном и жестоком мире, где разумные мысль и действие отодвинуты на задний план.

Тем не менее главными действующими лицами в этом произведении становятся не коренные жители, рождённые на сибирских просторах, а ссыльный Иван Акимов и его невеста Катя Ксенофонтова. И пассаж сей не был случайным. Марков целенаправленно представлял Сибирь глазами людей пришлых, незнакомых с характерными особенностями данного региона и, соответственно, непредвзятых, не ангажированных в своей слепой привязанности к этому краю. Они-то и смотрят на Сибирь свежим глазом, испытывая некий познавательный настрой. Заинтересованы эти герои и в изучении реального положения дел в крае, новых человеческих натур и крестьянских судеб.

Сковывают же их в этом стремлении реальные ограничения, на которые они идут, являясь революционерами. Потому-то несколько проще изучать Сибирь получается всё ж у пытливой Кати, однажды для себя мысленно отметившей: “Сибирь... Она в Сибири... Умопомрачительно! Приехала сама, вызвалась добровольно... Если б кто-нибудь пять лет назад предрёк бы ей всё это, она бы сочла того сумасшедшим...” Ей удаётся пробраться в деревню, увидеть жизнь сибирских крестьян и даже выступить перед молодёжью. Задумывается она и о расслоении крестьянства, его причинах. Узреть тот социальный срез, достаточно выпукло выписанный Марковым, можем и мы, разумеется, смотря на него с учётом принципиального обстоятельства, заключающегося в том, что роман этот повествует, прежде всего, о революционерах и тех, кто задумывается о необходимости революционных преобразований.

Не стоит полагать, что роман “Сибирь” — произведение предельно идеологизированное и безмерно выхолощенное на предмет строгого соответствия партийности в литературе, которая для Маркова всегда имела приоритетное значение. При том, что главные герои романа — большевики, его, как крупное эпическое полотно, рассматривать следует с разных ракурсов. И с чисто художественных, начиная с языковых особенностей письма, и с сугубо реалистической стороны, позволяющей ответить на ключевой вопрос: а достоверно ли описал то время Марков? Не сгустил ли краски?

Думается, что истине писатель никак не противоречил, не выводя в данном историческом, или, как принято было называть в советском литературоведении, историко-революционном романе ни одного исторического лица. А вот крестьяне, рыбаки, охотники, лавочники, попы, сельские старосты, кулаки-мироеды, полицейские, чиновники в “Сибири”, наблюдаемые в череде драматичных событий с побегами ссыльных, с облавами, сельскими сходами, вечёрками, праздничными выходами охотников в тайгу, свадьбами и необычными происшествиями на великом Сибирском тракте, не воспринимаются опосредованно. Они не плод фантазии писателя, желавшего представить их однобоко, лишь показывая зарождение революционных настроений у некоторых из них, таких, например, как неутомимый труженик, умелец Степан Лукьянов, забывая при сём об основных чертах и *родимых пятнах* того дооктябрьского времени.

Вообще же образы исконных сибиряков у Маркова написаны довольно-таки колоритно, с явной авторской симпатией, основанной на первых детских и юношеских впечатлениях, когда будущий писатель только начинал присматриваться к своим землякам, внешне суровым, но с богатым духовным миром

и устоявшимися представлениями о жизни, человеческих взаимоотношениях, труде.

Среди героев из народа, олицетворявших Сибирь и сибиряков, особо люб писателю, по всей видимости, был удивительный старик Федот Федотович Безматерных, неутомимый жизнелюб, своеобразный поэт тайги, выходец из рабочей среды, ещё в 70-е годы XIX века участвовавший в одной из первых рабочих стачек в России и осуждённый на каторгу и вечное поселение в нарымском крае. Его Марков показывает в неразрывной связи со ставшей для него родной сибирской землёй, исхоженной им вдоль и поперёк. И кажется, что, как ни обширна тайга, а нет всё же в ней мест, не знакомых Безматерных. Лучшего проводника, заботливого и не устающего просвещать, настоящего "таёжного профессора" для Ивана Акимова и быть не могло. Да и для нас, читателей, образ этот – словно открытие, неистощимый источник практических знаний о матушке-Сибири.

Примечательно и то, что в пути, пролегавшем по извилистым дорогам, вдоль речных гладей Оби, Парабели, Кети, Чулыма, Юксы, Ивану Акимову, как и Кате Ксенофонтовой, повстречается немало других интересных людей, смелых, боевых, знающих таёжные тропы. Семьи Горбяковых и Лукьяновых, крестьянин Ефим Власов, молодой тунгус Николка, помогающий ссыльным отшельник и правдоискатель Окентий Свободный и становятся в романе олицетворением самобытных сибирских характеров. По их делам и думам молодые большевики переживают "узнавание" Сибири. Благодаря этим героям Сибирь постигали и миллионы читателей.

Дивную встречу подарит нам Марков и с мудрой старухой Мамикой, моральный авторитет которой в деревне непререкаем. Жена Степана Лукьянова Татьяна Никаноровна так рассказывает Кате о ней: "У нас, правда, в Лукьяновке потише, чем в других местах... А всё оттого, что есть мировой судья, слава богу, пока живая. Зовут Мамика. Старуха. Говорят, скоро сто лет стукнет. В такие годы многие из ума выживают, а эта – наоборот. Из себя хилая, в чём душа держится, а ума – палата и год от году всё мудрее... С дочерью живёт. Сынов покрошила война. Старших два пали ещё от японцев, а младшего загубил германец... Мамика – это по-нашему, по-деревенски, вроде мать всех. А зовут её Степанида, по отцу Семёновна".

Введя в повествование Мамику, столетнюю старуху, далёкую и от революционных помыслов, и, тем более, от большевизма, о котором она, наверное, нигде и не слышала, Марков решает принципиально важную задачу по показу преемственности поколений и незыблемых нравственных устоев, царивших в сибирских деревнях того предреволюционного времени. Мудрость народная, говорит нам писатель, как раз и заключалась в том, что в сибирских селениях такие вот Мамики выступали в качестве верховных авторитетов. То бишь младшие, как это и было заведено испокон веков, почитали старших, прислушивались к ним. Потому и считают лукьяновцы Мамику своей праматерью, почитая её за справедливость, рассудительность и строгость. Неслучайно посчитает Марков необходимым скрываться Кате Ксенофонтовой после побега из-под ареста за большевистскую агитацию именно в избе старой Степаниды, показывая таким образом и то, что не принято было у сибиряков отказывать в помощи и защите людям, преследуемым и гонимым. А уж разделить кров с каждым нуждающимся так и вовсе считалось делом обязательным и богоугодным...

Не откажется помочь Кате и щуплый старик с редкой бородкой и лохматой, непричёсанной головой Окентий Свободный. Между ними произойдёт занимательный диалог, показывающий философские воззрения старика, явно противоречивые, но и не лишённые определённого смысла и оснований для их зарождения. Так, на вопрос Кати к Окентию, в кого он верит, Марков представил читателю следующий разговор между этими неординарными людьми:

"– Ни в бога, ни в черта, ни в царя, – переходя с писклявого голоса на твёрдый и резкий тон, ответил Окентий, и кончик его носа вызывающе приподнялся.

– Ну, а всё-таки во что-нибудь вы верите? Без веры жить невозможно. Например, в материальность мира верите? В человеческое счастье верите? – Катя в последние дни мало разговаривала и сейчас испытывала удовольствие от возможности задавать Окентию вопросы. Она оживилась, глаза её загорелись.

— Скажу, дочь, во что верю, — приподняв руку, остановил её Окентий. — Верю в Природу. Она была до нас вечно и будет после нас вечно. И существа будут, как и были. Такие ли, как при нас, или иные, но будут. Всё от солнца, дочь. Солнце кончится — и Земле конец. И будет это нескоро. Сосчитать нельзя — счёту не хватит у человека. Потому что ум у него короткий. А что будет дальше, не знаю, но что-то всё-таки будет. Ничего не может не быть.

"Стихийный материалист", — промелькнуло в голове Кати, и она поторопила Окентия всё тем же вопросом:

— А в счастье человека верите?

— Измельчали людишки, разменяли людское на зверское. — Окентий вскинул свою голову, и кончик его носа заострился, как бы невидимо вонзаясь в Катины любопытствующие глаза. — Свобода от страха, дочь, в этом счастье человека... Я пробился, дочь, к этому через страдания. Гнёт страха преследовал меня. Вначале был страх, который внушала семья. Страх перед родителями. Потом страх перед обществом. С малых лет грозовой тучей висел над моей бедной головой страх перед богом. Пожалуй, самый большой страх. А страх перед царём? А страх перед нечистой силой? Перед голодом? Перед смертью? Я не жил, а трепетал, душа моя всегда была собрана в комок..."

А далее Окентий говорит Кате о силе человеческой души: "— Человек, дочь, чем слаб, тем и силён: душа. От неё он может стать суеверным калекой, которого то бог, то сатана будут преследовать каждую минуту, а может от неё же, от души стать бесстрашным богатырём... которому всё нипочем... подвластно самое неподвластное". И стать им можно, по разумению старика, лишь в том случае, если душа отвергнет страх, восстанет против него.

Образы Лукьяновых, Мамики, Федота Федотовича, Окентия и дают нам возможность прочувствовать ту неразрывную связь простого сибиряка с родной землёй, с народными узами, традициями, устоями и неписаными законами, свято чтимыми людьми, привыкшими жить своим, а не чужим трудом.

Демонстрации неизбежности революции как единственно возможной силы, способной изменить повседневную жизнь большинства народа, а вместе с ним избавить и саму землю от хищнического, потребительского отношения к ней, посвящал этот свой роман Марков, когда начинал над ним работать в конце 60-х годов прошлого столетия. При этом следует подчеркнуть и одно принципиальное обстоятельство. Роман "Сибирь" ни в коей мере не стал продолжением творческой разработки темы о приходе сибирского мужика к революции, которую писатель талантливо развил в своём первом романе "Строговы". Да и проблематика романов несхожая. Роднит же их то, что писались они о Сибири и сибиряках, а также и тех, кто, как Иван Акулов, Катя Ксенофонтова, профессор Лихачёв, в этот край, не будучи его уроженцами, влюбляются; ну и, конечно, те хронологические рамки, в которых Марков и выстраивал сюжетные линии этих внушительных по объёму, содержанию и смысловой нагрузке произведений.

Очевидно и то, что "Сибирь" — более глубокое, наполненное социально-психологическими и философскими размышлениями и обобщениями творение, выходящее за рамки семейной хроники о жизни Строговых. В нём присутствуют исключительно важные мысли исследователя Сибири профессора Венедикта Лихачёва, который в романе выступает как бы главным предтечей тех преобразований, неминуемость которых он предвидел ещё до Великой Октябрьской революции. Символичны и его слова, которые в конце романа Иван Акулов, не застав профессора в живых в злополучном Стокгольме, куда он так мучительно долго пробирался из Сибири, прочтёт на седьмой странице его "Набросков" к работе "Сибирь (введение)": "Родина моя накануне социальных потрясений. Буря и разрушает, и создаёт условия для роста новых сил. Даже на опустошённых ею участках вырастает лес и гуще, и крепче. Не будем бояться этой бури. Пусть она пронесётся, как смерч. Иначе родная земля не очистится от скверны. Иначе бесталанные люди — всякого рода мерзавцы и самозванцы — будут продолжать топтать мой народ, изгаляться над его великой и прекрасной душой, взнуздывать его в пору благородных порывов, глушить его высокие стремления.

Нет, не будем бояться бури!"

Буря в России настанет очень скоро.

Георгий Мокеевич Марков оставил потомкам внушительное литературное наследие, лучшие вещи из которого были к тому же и вполне удачно экранизированы и о котором, разумеется, в одночасье не скажешь. Хочется верить, что оно не будет забытым и к нему обратят свои взоры новые поколения. Искренне хочется верить и в то, что в народе поймут и воспримут его фигуру во всём многообразии – как писателя, гражданина, крупного общественного и политического деятеля своей советской эпохи, в которой он жил, творил и которую считал достойной для своего многонационального народа. Такими именами нельзя разбрасываться и сводить всё к политике. Литература действительно нередко имеет с политикой самую тесную связь. Но всё же о писателе, какие бы должности он ни занимал, следует говорить, прежде всего, как о художнике, а в том, что Марков был художником по-настоящему крупным, необычайно талантливым и самобытным, думается, сомнений быть не может.

В № 3 за 2021 год на странице 235 следует читать “До него это не удалось ни маршалу Победы Георгию Жукову, ни Генералиссимусу Иосифу Сталину...”

Редакция приносит извинения за допущенную ошибку.

Виктору Ивановичу ЛИХОНОСОВУ — 85 лет

Поздравляем замечательного русского прозаика, чародея русского слова, автора “Брянских”, “Осени в Тамани”, “Люблю тебя светло”, “Нашего маленького Парижа”. Здоровья и творческого вдохновения!

“Никуда далеко не выбираюсь, самая длинная моя дорога — сорок вёрст, в Тамань. Вчера там был. В той, голубчик, Тамани, где построил монастырь преподобный Никон, где (уж позволь напомнить тебе лишний раз) вытеснялись век за веком греки, татары, черкесы, генуэзцы, турки, где Суворов пил чай с запорожцем Захарием Чепигой, а лёгкий молодой Пушкин постоял мгновение на круче, печальный Лермонтов невзлюбил слепого мальчика, где высаживался на берег по пути в Екатеринодар Александр Второй и ночевал, может, в какой-то хате, в той самой Тамани, где спустя много десятилетий нечаянно, но только для тебя одного возникла девочка Надя и притянула тебя однажды за руку полюбоваться горою Лыской и Керчью. В этой, о Господи, Тамани не пристают уже четверть века к берегу катера и не качаются на волнах лодки рыбаков, и столько же не плачет у морской камки та самая девочка, которую ты выманул в Москву навсегда”.

Рассказ Виктора Лихоносова “Ветхая тишина у гирла” и его воспоминания о Василии Ивановиче Белове читайте на стр. 109 и 214.

Мне захотелось посмотреть на то, как поедет на фронт мой подарок. Я тотчас спрыгнул с полатей и прильнул к окну. Утренний морозец подёрнул стекло белесыми кружевами, но всё же мне видно было, как нянька передала мой мешок с тыквенными семечками и надписью “От Саши” бородатому Петру Лукьянову, старому конюху, сидевшему в санях. Дед уложил его поверх других подобных, покивал головой и взял в руки вожжи. Рыжка, знакомый мне долгоногий коняга из нашей пятой бригады, стронул воз и, ускоряя шаг, потянул его далее, к домам моих соседних приятелей — Пашки Звягина, Ванчи Тёплых, Тольки Платонова, где уже стояли у ворот мешки с подготовленными подарками “для фронта, для победы”.

Александр Щербаков. “Подарок нашим”
(из цикла “Дети Победы”).

По традиции, майский номер журнала посвящён Великой Победе, и в этом году мы предлагаем рассказы и повести наших постоянных авторов — Александра Щербакова “Дети Победы”, Александра Силаева “За оградой”, Алексея Литвинова “Винтовка” и Дмитрия Леонова “На Берлин!”

Те, кто проливал кровь на передовой и пот на предприятиях тыла, и те, кто вообще в те годы был маленьким, — все они дети войны, каждый по-своему испившие чашу горя и чашу Победы.